МОПАССАН

Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ
10

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю. И. Данилина.

ДЯДЮШКА МИЛОН

ДЯДЮШКА МИЛОН

Вот уже месяц, как щедрое солнце льет на поля свое жгучее пламя. Лучезарная жизнь расцветает под этим огненным ливнем; всюду, куда ни кинешь взгляд, зеленеет земля. Небо сине до самых краев горизонта. Нормандские фермы, разбросанные по долине, похожи издали на маленькие рощицы, окаймленные стеной высоких буков. Вблизи же, когда откроешь источенную червем калитку, кажется, будто попал в гигантский сад: старые яблони, напоминающие угловатых старух-крестьянок, стоят в цвету все, как одна. Древние черные стволы, кривые, корявые, вытянулись вдоль двора и с гордостью показывают небу свои сияющие купола, розовые и белые. Нежный аромат цветения смешивается с густым запахом раскрытых хлевов, с испарениями дымящейся навозной кучи, где хлопочут куры.

Полдень. В тени большой груши, растущей у самой двери, сидит за обедом все семейство: отец, мать, четверо детей, две служанки и три работника. Все молчат. Едят суп, затем снимают крышку с миски картофеля, жаренного в свином сале.

Время от времени одна из служанок поднимается с места и идет в погреб, чтобы вновь наполнить опустевший кувшин сидром.

Хозяин, высокий сорокалетний мужчина, долго смотрит на виноградную лозу, совсем еще голую и, как змея, обвившую стену дома под ставнями.

— Нынешний год,— говорит он,— почки рано набухли на лозе старика. Может, дождемся и винограда.

Жена тоже оборачивается и смотрит, не говоря ни слова.

Лозу посадили на том самом месте, где был расстрелян отец.

Это случилось во время войны 1870 года. Пруссаки захватили весь край. Северная армия во главе с генералом Федербом еще оказывала им сопротивление.

Прусский штаб расположился на этой ферме. Старик-крестьянин, которому она принадлежала, дядюшка Милон, по имени Пьер, принял и устроил пруссаков как нельзя лучше.

В течение месяца немецкий авангард оставался в деревне для разведок. Французы находились на расстоянии десяти лье, но не двигались с места, а между тем каждую ночь исчезало несколько улан.

Когда разведчиков посылали в дозор по двое или по трое, никто из них уже не возвращался.

Утром их находили мертвыми где-нибудь в поле, на задах огорода или в овраге. Даже их лошади издыхали на дорогах, зарубленные саблей.

По-видимому, эти убийства совершали одни и те же лица, но никто не мог их обнаружить.

Все население подверглось жестоким преследованиям. На основании малейшего доноса расстреливали мужчин, сажали в тюрьму женщин, угрозами пытались выведать что-нибудь у детей. Все было напрасно.

Но вот однажды утром дядюшку Милона нашли на соломе в конюшне. Лицо его было рассечено сабельным ударом.

А в трех километрах от фермы подобрали двух улан с распоротыми животами. Один из них еще сжимал в руке окровавленную саблю. Очевидно, он дрался, защищался.

Тут же перед домом, во дворе, был немедленно созван военно-полевой суд, на который привели старика.

Ему было шестьдесят восемь лет. Он был мал ростом, худощав, сгорблен; большие руки напоминали клешни краба. Сквозь волосы, бесцветные, редкие и легкие, как пух утенка, просвечивал лысый череп. На шее, под темной и сморщенной кожей, набухли толстые

жилы, уходившие под челюсти и вновь проступавшие на висках. Он слыл в поселке человеком несговорчивым и скупым.

Пять офицеров и полковник уселись во дворе за столом, вынесенным из кухни. Старика под охраной четырех солдат поставили перед ними.

Полковник заговорил по-французски:

— Дядя Милон! С тех пор как мы здесь, мы ни в чем не могли упрекнуть вас. Вы всегда были услужливы и даже предупредительны по отношению к нам. Но вот сейчас над вами тяготеет страшное обвинение, и необходимо пролить свет на это дело. Откуда у вас рана на лице?

Крестьянин ничего не ответил.

— Дядя Милон,— продолжал полковник,— ваше молчание уличает вас. Но все же я требую, чтобы вы ответили мне, слышите? Вы знаете, кто убил двух улан, найденных сегодня утром у распятия на дороге?

Старик отчетливо выговорил:

— Я.

В изумлении полковник замолчал и пристально посмотрел на арестованного. Дядюшка Милон тупо уставился в землю, словно стоял на исповеди перед деревенским кюре. Лишь одно выдавало в нем внутреннее волнение: он часто и с заметным усилием глотал слюну, как будто она застревала у него в горле.

Семья старика — сын его Жан, невестка и двое маленьких внуков — стояла сзади, шагах в десяти, испуганная и растерянная.

— А известно ли вам,—продолжал полковник,—кто убил остальных разведчиков нашей армии, которых в последнее время каждое утро находили мертвыми в поле?

— Я,— ответил старик все с тем же тупым спокойствием.

— Что? Всех?

— Всех, как есть.

— Вы? Один?

— Один.

— Расскажите, как вы это делали.

На этот раз старик, видимо, взволновался; необходимость произнести длинную тираду явно его смущала.

— Почем я знаю? Как приходилось, так и делал.

— Предупреждаю,— продолжал полковник,— что вам придется рассказать все, как было. Поэтому вам же будет лучше, если вы сознаетесь сразу. Расскажите все сначала.

Старик беспокойно оглянулся на свою семью, которая настороженно прислушивалась, стоя за его спиной. Еще с минуту он колебался, потом вдруг заговорил:

— Как-то вечером — было это часов около десяти, на другой день после того, как вы явились к нам,— я шел домой. Вы и ваши солдаты отняли у меня корову, двух баранов, а сена забрали не меньше, как на пятьдесят экю. Я подумал про себя: «Ладно, сколько бы ни брали, я за все расквитаюсь». Я еще и другую обиду держал на сердце — скажу после. Так вот, как-то вечером вижу я: один из ваших кавалеристов сидит за моей ригой, у канавы. Сидит и покуривает трубку. Я снял с крюка косу, тихонечко подкрался к нему сзади,— он ничего не слышал. И вот я отрубил ему голову одним махом, словно колос срезал. Он не успел и ахнуть! Поищите в болоте: он лежит там на дне в мешке из-под угля, на шее — камень из ограды... Я знал, что мне делать. Снял с него мундир, потом сапоги, шапку, все поснимал и спрятал в печи, где мы обжигаем известь. Это в Мартеновой роще, недалеко, за моим двором.

Старик замолчал. Пораженные офицеры смотрели друг на друга. Допрос возобновился, и вот что они узнали...

Совершив свое первое убийство, старик стал жить одной мыслью: убивать немцев! Он ненавидел их упорной и затаенной ненавистью крестьянина-скопидома и вместе с тем патриота. Как он сказал, «он знал, что ему делать». Он выждал несколько дней.

Ему позволяли свободно разгуливать по деревне, уходить и возвращаться, когда вздумается,— таким смиренным, покорным и услужливым по отношению к победителям он успел себя зарекомендовать.

Каждый вечер дядюшка Милон видел, как уезжают нарочные с донесением; он знал название деревни, куда

отправлялись всадники, и выучил, постоянно общаясь с немецкими солдатами, те несколько слов, которые были ему нужны; и вот однажды ночью он решился.

Он вышел со двора, прокрался в лес, дошел до обжигательной печи, проник в глубь длинного подземного коридора, достал мундир убитого им пруссака и надел его.

Затем он начал рыскать по полям, пробираясь то ползком, то прячась за бугорками, беспокойно прислушиваясь к малейшему шуму, словно какой-нибудь браконьер.

Когда, по его мнению, настало время действовать, он подошел ближе к дороге и спрятался в колючем кустарнике. Здесь он подождал еще. Наконец около полуночи раздался конский топот. Старик приник ухом к земле, желая убедиться, что едет только один всадник, затем приготовился.

Улан ехал рысью: он вез депеши. Он приближался, зорко всматриваясь в даль, напрягая слух. Когда он оказался не более чем в десяти шагах, дядюшка Милон выполз на дорогу и застонал: «Hilfe! Hilfe!» («Помогите! Помогите!») Всадник остановился, увидел лежащего на земле немецкого кавалериста, решил, что тот ранен, соскочил с коня, подошел ближе, ничего не подозревая, и в тот момент, когда он нагнулся над неизвестным, длинное кривое лезвие сабли вонзилось прямо ему в живот. Он свалился на землю, как подкошенный, и только вздрогнул несколько раз в предсмертных судорогах.

Тогда, полный радости, немой радости старого крестьянина-нормандца, дядюшка Милон поднялся и для большей верности перерезал мертвому горло. Затем он дотащил труп до оврага и бросил его туда.

Лошадь спокойно ждала своего хозяина. Дядюшка Милон уселся в седло и галопом поскакал по равнинам.

Часом позже он заметил еще двух улан, бок о бок возвращавшихся в деревню. Он поехал прямо на них, крича, как в первый раз: «Hilfe! Hilfe!» Пруссаки, узнав свой мундир, поджидали его без малейшего подозрения. И, как пушечное ядро, промчавшись между ними, старик уложил обоих: одного ударом сабли, а другого выстрелом из револьвера.

Он выпустил кишки их лошадям — немецким лошадям! — тихонько вернулся назад, к обжигательной печи, и спрятал лошадь первого улана в глубине темного коридора. Здесь он снял мундир, снова облачился в свое нищенское тряпье и, добравшись до постели, проспал до утра.

Он не выходил четверо суток, ожидая конца дознания; однако на пятую ночь он отправился снова и убил еще двух солдат с помощью такого же маневра. С той поры он не пропускал ни одного случая. Призрачный улан, охотник на людей, каждую ночь он бродил, он рыскал по окрестностям, убивая пруссаков, где только мог, галопом носясь по безлюдным, залитым лунным светом полям. Выполнив свою задачу, оставив позади, на дорогах, трупы врагов, старый всадник возвращался к обжигательной печи и прятал там лошадь и мундир.

Среди дня он с безмятежным видом относил овса и воды своему коню, остававшемуся в глубине подземного коридора, и кормил его вволю, так как требовал от него нелегкой работы.

Но вот в последнюю ночь один из пруссаков, на которых напал дядюшка Милон, не растерялся и рассек ему лицо саблей.

Тем не менее старик убил обоих. У него еще хватило сил доехать до печи, спрятать лошадь и надеть свое крестьянское платье, но на обратном пути он так ослабел, что не смог дойти до дома и едва дотащился до конюшни.

Здесь его и нашли, окровавленного, на соломе...

Окончив свой рассказ, дядюшка Милон внезапно поднял голову и с гордостью взглянул на прусских офицеров.

Полковник спросил его, теребя ус:

— Вам больше нечего сказать?

— Нет, нечего. Счет у меня верный. Я убил шестнадцать человек — ни больше и ни меньше.

— Известно вам, что вы должны умереть?

— Я, кажется, не просил у вас пощады.

— Вы когда-нибудь служили в солдатах?

— Да, было время, я участвовал в походах. И отец мой был солдатом, еще при первом Наполеоне. Вы его убили. Вы и Франсуа убили, моего младшего сына, в прошлом месяце, близ Эвре. Я был у вас в долгу, я вам уплатил сполна. Теперь мы квиты.

Офицеры переглянулись.

— Восемь за отца, восемь за сыночка, мы квиты,— продолжал старик.— Не я первый затеял с вами ссору! Я вас совсем не знаю! Не знаю даже, откуда вы и взялись! Пришли ко мне и распоряжаетесь, точно у себя дома. Я выместил это на тех, на шестнадцати. И ничуть об этом не жалею.

И, расправив сгорбленные плечи, старик с горделивым смирением скрестил руки.

Пруссаки долго переговаривались шепотом. Один капитан, тоже потерявший сына месяц назад, защищал храброго крестьянина.

Полковник встал и, подойдя к дядюшке Милону, сказал, понизив голос:

— Послушай, старик. Пожалуй, есть еще средство спасти тебе жизнь. Если ты...

Но старик не стал его слушать. Его редкие волосы развевались на ветру, худое, изуродованное ударом сабли лицо свело страшной судорогой; он впился глазами в офицера-победителя и, набрав в грудь воздуха, что было силы плюнул пруссаку прямо в лицо.

Полковник в бешенстве занес руку, но старик плюнул ему в лицо еще раз.

Все офицеры, вскочив с мест, одновременно выкрикивали какие-то приказания.

Старика схватили, поставили к стене и расстреляли, и до последней минуты он спокойно улыбался обезумевшим от ужаса сыну, невестке и внукам.

В ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

Жанна выходила замуж за своего кузена Жака. Они знали друг друга с детства, и любовь их была свободна от той стеснительной формы, которую она обычно принимает в светском обществе. Они воспитывались вместе и не подозревали, что любят друг друга. Молодая девушка, немного кокетка, иногда чуть поддразнивала кузена; она находила его красивым, славным и каждый раз при встрече от души целовала, но никогда не испытывала той дрожи, от которой пробегают мурашки по всему телу, с головы до ног.

Он же просто говорил себе: «Она миленькая, моя кузиночка»,— и думал о ней с той бессознательной нежностью, которую мужчина всегда испытывает к красивой девушке. Дальше его мысли не заходили.

Но вот однажды Жанна случайно услыхала, как ее мать говорила тетке (тете Альберте, а не тете Лизон, оставшейся старой девой):

— Уверяю тебя, что эти дети тотчас же влюбятся друг в друга: это по всему видно. Мне кажется, Жак — именно тот зять, о котором я мечтала.

И Жанна немедленно же начала обожать своего кузена Жака. Она краснела при встречах с ним, теперь рука ее дрожала в руке юноши, она опускала глаза под его взглядом и иногда жеманничала, чтобы вызвать его на поцелуй, так что в конце концов он заметил это. Он понял все и в порыве удовлетворенного самолюбия и искреннего чувства крепко обнял кузину, шепнув ей на ухо: «Люблю тебя, люблю».

С этого дня началось воркование, ухаживание и тому подобное — целый поток проявлений любви, которые не вызывали в них благодаря их прежней близости ни неловкости, ни смущения. В гостиной Жак целовал невесту на глазах у трех старушек, трех сестер: своей матери, матери Жанны и тетки Лизон. Он по целым дням гулял вдвоем с нею в лесу, вдоль маленькой речки, по сырым лугам, где трава была усеяна полевыми цветами. Они ждали свадьбы без особого нетерпения, упиваясь чарующей нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных, столь долгих взглядов, что их души, казалось, сливались воедино; их смутно волновала пока еще неясная жажда пылких объятий, а их губы словно ощущали тревожный призыв и, казалось, подстерегали, поджидали и обещали.

Иногда, проведя целый день в томлении сдерживаемой страсти, в платонических ласках, они оба чувствовали по вечерам необъяснимую усталость и глубоко вздыхали, сами не зная почему, не понимая этих вздохов, вызываемых ожиданием.

Обе матери и их сестра, тетя Лизон, с умилением следили за этой юной любовью. Особенно тетя Лизон казалась растроганной при виде их.

Эта маленькая женщина говорила мало, старалась быть незаметной, не производила ни малейшего шума. Она появлялась лишь к столу и затем возвращалась в свою комнату, где постоянно сидела запершись. Это была добрая старушка с ласковыми, грустными глазами; в семье с ней почти не считались.

Обе вдовые сестры, занимая известное положение в свете, смотрели на нее как на существо незначительное. С ней обращались с бесцеремонной фамильярностью, за которой скрывалось нечто вроде пренебрежительной доброты к старой деве. Родившись в дни, когда во Франции царил Беранже, она носила имя Лизы. Когда увидели, что замуж она не выходит и, вероятно, никогда не выйдет, Лизу переименовали в Лизон. Теперь же она была «тетей Лизон», скромной, чистенькой старушкой, ужасно застенчивой даже с родными, а они любили ее любовью, смешанной с привычкой, состраданием и доброжелательным равнодушием.

Дети никогда не поднимались наверх, чтобы поздороваться с ней в ее комнате. К ней входила только служанка. Когда с тётей Лизон хотели поговорить, за ней посылали. Едва ли даже все знали, где находится комната, в которой одиноко протекала эта бедная жизнь. Старушка совсем не занимала места. В ее отсутствие о ней никогда не говорили, никогда не думали.

Она была тем незаметным существом, которое остается чуждым и неизвестным даже близким родным и смерть которого не оставляет в доме пустоты, существом, которое не умеет ни войти в жизнь, в привычки тех, кто живет бок о бок с ним, ни вызвать их любовь.

Она ходила всегда маленькими быстрыми беззвучными шагами, никогда не производила шума, никогда ни за что не задевала и, казалось, сообщала предметам способность не издавать ни малейшего звука: руки ее были словно из ваты, так легко и осторожно обращались они с тем, до чего дотрагивались.

Когда произносили «тетя Лизон», эти два слова не пробуждали, так сказать, ни единой мысли в чьем-либо сознании. Все равно как будто говорили: «кофейник» или «сахарница».

Собачка Лут обладала, несомненно, гораздо более заметной индивидуальностью; ее постоянно ласкали, звали: «Дорогая Лут, милая Лут, маленькая Лут». И оплакивали бы ее несравненно больше.

Свадьба кузенов должна была состояться в конце мая. Молодые люди жили, не спуская глаз друг с друга, не размыкая рук, сливаясь мыслью и душой. Весна, поздняя в том году, неустойчивая и холодная, с ночными заморозками и свежестью мглистых утренних часов, вдруг развернулась вовсю.

Несколько теплых, слегка пасмурных дней пробудили все соки земли; как бы чудом распустились листья, и повсюду разлился сладкий, нежный аромат почек и первых цветов.

Затем однажды, после полудня, разгоняя клубы тумана, показалось победное солнце, озарив всю равнину. Его ликующий свет затопил всю округу, проник всюду, наполнив растения, животных, людей живительной радостью. Влюбленные птицы порхали, хлопали крылья-

ми, перекликались. Жанна и Жак, подавленные восхитительным ощущением счастья, встревоженные новым трепетом, вливавшимся в них вместе с возбуждающим ароматом лесов, но смущенные больше обычного, сидели целый день рядышком на скамье у ворот замка, уже не смея уединиться и рассеянно глядя на пруд, где гонялись друг за другом большие лебеди.

Вечером они почувствовали себя спокойнее и после обеда тихо разговаривали у открытого окна гостиной; их матери играли в пикет в светлом кругу от абажура лампы, а тетя Лизон вязала чулки для местных бедняков.

За прудом тянулся вдаль большой лес. Вдруг сквозь молодую листву высоких деревьев показалась луна. Медленно поднявшись из-за ветвей, которые вырисовывались на ее диске, она выплыла на небо и, затмив сияние звезд, стала изливать на мир тот меланхолический свет, в котором реют светлые грезы, столь дорогие мечтателям, поэтам, влюбленным.

Молодые люди сначала глядели на луну, затем, поддаваясь сладкому очарованию ночи, очарованию мерцающего освещения газонов и кустов, тихими шагами вышли из дому и стали прохаживаться вдоль большой светлой лужайки до пруда, блестевшего в темноте.

Окончив четыре вечерних партии пикета, обе матери, чувствуя, что их клонит ко сну, собрались ложиться.

— Надо позвать детей,— сказала одна из них.

Другая же, окинув взором бледный горизонт и две медленно двигающиеся тени, возразила:

— Оставь их, на воздухе так хорошо. Лизон подождет их. Не так ли, Лизон?

Старая дева подняла на них испуганные глаза и ответила робким голосом:

— Конечно, я их подожду.

И обе сестры ушли в свои комнаты.

Тогда тетя Лизон, в свою очередь, поднялась и, оставив на ручке кресла начатую работу, шерсть и спицы, облокотилась на подоконник, любуясь очаровательной ночью.

Влюбленная чета прохаживалась без устали по лужайке от пруда к крыльцу, от крыльца к пруду. Они держались за руки и молчали, забыв обо всем, что их

окружало, становясь частицей той зримой поэзии, которой дышала земля. Вдруг Жанна заметила в освещенном четырехугольнике окна силуэт старой девы.

— Погляди,— сказала она,— тетя Лизон смотрит на нас.

Жак поднял голову.

— Да,— ответил он,— тетя Лизон смотрит на нас.

И они продолжали мечтать, медленно ступая, отдаваясь чувству любви.

Трава стала покрываться росой, и оба вздрогнули от сырости.

— Пора домой,— сказала она.

И они пошли обратно.

Когда они входили в гостиную, тетя Лизон продолжала вязать, лицо ее склонилось над работой, а худенькие пальчики слегка дрожали, как будто от усталости.

Жанна подошла к ней.

— Тетя, мы пойдем спать.

Старая дева подняла глаза. Они были красны, как будто она плакала. Жак и его невеста не обратили на это никакого внимания. Но молодой человек заметил, что тонкие ботинки молодой девушки промокли. Встревоженный, он нежно спросил ее:

— Не озябли ли твои милые ножки?

И вдруг пальцы тети Лизон так задрожали, что работа выпала из ее рук и клубок шерсти далеко откатился по паркету; порывисто закрыв лицо руками, старая дева судорожно разрыдалась.

Дети кинулись к ней; потрясенная Жанна, став на колени и отведя ее руки, повторяла:

— Что с тобой, тетя Лизон? Что с тобой, тетя Лизон?

И бедная старушка, запинаясь и вся скорчившись от горя, ответила со слезами в голосе:

— Да вот он... он... тебя спросил: «Не озябли ли... твои милые ножки?..» Никто никогда... никогда не говорил мне таких слов!.. Никогда!.. Никогда!..

СЛЕПОЙ

Откуда этот восторг при первом появлении солнца? Почему этот свет, падающий на землю, наполняет нас таким чувством радости жизни? Небо синее-синее, вокруг все зелено, дома все белые; наши восхищенные взоры упиваются яркостью этих красок, веселящих душу. И нас охватывает желание плясать, бегать, петь; в нас пробуждается счастливая легкость мысли, какая-то всеобъемлющая нежность, и хочется расцеловать солнце.

Слепые же, сидящие у дверей, нечувствительны к вечно окружающему их мраку и, как всегда, спокойны среди этой новой радости; не постигая ее, они ежеминутно успокаивают свою собаку, которой хотелось бы порезвиться.

Когда же на исходе подобного дня они возвращаются домой, держась за руку младшего брата или крошки-сестры, то на слова ребенка: «Какая сегодня была чудная погода!» — слепой обычно отвечает:

— Я сразу заметил, что погода хорошая: Лулу не сиделось на месте.

Я знавал одного из таких людей, жизнь которого была жесточайшим мучением, какое только можно себе представить.

Это был крестьянин, сын нормандского фермера. Пока отец и мать были живы, о нем еще мало-мальски заботились; он страдал лишь от своего физического недостатка, но как только старики умерли, существование его сделалось ужасным. Одна из сестер приютила

его у себя, но все на ферме обращались с ним, как с бездельником, который отнимает хлеб у других. Каждый раз за столом его попрекали этим хлебом, называли лодырем, деревенщиной, и, хотя зять захватил его долю наследства, слепому жалели похлебки и давали ровно столько, чтобы он не умер с голоду.

Лицо у него было без кровинки, а большие глаза белы, как облатки; он оставался безучастен к обидам и так замкнулся в себе, что незаметно было, чувствовал ли он их вообще. Впрочем, он и не знал, что такое нежность, даже мать обращалась с ним всегда сурово и совсем его не любила: в деревне бесполезные люди — только помеха, и крестьяне охотно поступали бы по примеру кур, которые заклевывают слабых цыплят.

Покончив с супом, он садился летом у порога, а зимой у печки и уж больше не сходил с места до самого вечера; он не делал никаких жестов, никаких движений, и только веки, волнуемые каким-то нервным страданием, опускались иногда на белые пятна его глаз. Были ли у него разум, способность мыслить, ясное представление о своей жизни? Никто не задавал себе таких вопросов.

Так прошло несколько лет. Но в конце концов неспособность слепого к труду, а также его невозмутимость ожесточили родню, и он стал козлом отпущения, чем-то вроде шута-мученика, жертвой природной жестокости и дикой веселости окружавших его дикарей.

Изобретались всевозможные злобные шутки, внушаемые его слепотой. И, чтобы возместить себе то, что он съедал, время его обеда превратили в часы забавы для соседей и пытки для калеки.

На это веселое зрелище собирались крестьяне из соседних домов, об этом сообщали из дома в дом, и кухня фермы всегда бывала битком набита. На стол перед миской, из которой слепой начинал хлебать суп, сажали кошку или собаку. Животное, чутьем угадывая немощность человека, подкрадывалось и начинало бесшумно и с наслаждением лакать; когда же более громкое лаканье возбуждало внимание бедняги, животное благоразумно отодвигалось, чтобы избегнуть удара ложкой, которою слепой наудачу размахивал перед собою.

Тогда зрители, толпившиеся вдоль стен, разражались хохотом, подталкивали друг друга, топали ногами. Он же молча продолжал есть правой рукой, защищая левой свою миску.

Его заставляли жевать пробку, дерево, листья, даже нечистоты, которых он не мог различить.

С течением времени надоели и эти шутки, и зять, вне себя оттого, что надо вечно кормить слепого, стал его бить, осыпать пощечинами, потешаясь над тщетными усилиями бедняги защищаться или самому нанести удар. Возникла новая игра: игра в пощечины. Возчики, работники, служанки непрестанно били его по лицу, от чего он постоянно мигал. Он не знал, куда скрыться, и все время стоял с вытянутыми руками, чтобы уклониться от нападений.

В конце концов его принудили просить милостыню. В базарные дни слепого ставили на дорогах, и как только до его слуха доносился шум шагов или стук катящейся повозки, он протягивал шляпу, бормоча:

— Милостыньку, подайте милостыньку...

Но крестьяне не расточительны, и в течение целых недель он не приносил домой ни гроша.

Это возбудило против него настоящую ненависть, безжалостную, неистовую. И вот каким образом он умер.

Зимой земля была покрыта снегом и стояли страшные морозы. Однако же как-то утром зять отвел его просить милостыню очень далеко, на большую дорогу. Он оставил его там на целый день, когда же наступила ночь, уверил своих домашних, что не нашел его, и при этом добавил:

— Довольно, нечего о нем беспокоиться. Должно быть, кто-нибудь увел его, чтобы он не замерз. Ей-ей, не пропадет. Наверняка завтра же явится за своим супом.

На следующий день слепой не явился.

После долгих часов ожидания, окоченев от холода, чувствуя, что он замерзнет, слепой решился идти. Не различая дороги, скрытой под снежной пеленою, он блуждал наобум, падал в канавы, подымался и молча шел дальше, в поисках какого-либо жилья.

Но ледяное оцепенение постепенно овладевало им,

и, не в силах больше держаться на слабых ногах, он сел посреди поля. И больше не поднялся.

Белые хлопья снега сыпались, не переставая, и заносили его, пока, наконец, окоченевшее тело не исчезло под бесконечно нараставшей снежной массой. Ничто больше не выдавало места, где находился его труп.

Родственники делали вид, будто справлялись о нем и будто бы искали его в течение целой недели. Они даже поплакали.

Зима стояла суровая, и оттепель наступила не скоро. И вот как-то в воскресенье, идя к обедне, фермеры заметили большую стаю ворон, которые то кружились над равниной, то опускались черным дождем на одно и то же место, улетали и вновь возвращались.

На следующей неделе они все еще копошились там, эти мрачные птицы. Они тучей застилали небо, как будто слетелись со всех сторон горизонта; с громким карканьем опускались они в сверкающий снег, покрывая его причудливыми пятнами, с ожесточением рылись в нем.

Один мальчуган отправился взглянуть, что они там делают, и наткнулся на труп слепого, уже наполовину сожранный, истерзанный в клочья. Исчезли его белые глаза, выклеванные длинными прожорливыми клювами.

Ощущая живую радость солнечных дней, я уже не могу теперь отделаться от печального воспоминания и грустной мысли о бедняге, до того обездоленном при жизни, что его ужасная смерть принесла облегчение всем, кто его знал.

ТОРТ

Назовем ее г-жой Ансер, чтобы не узнали ее настоящего имени.

Это была одна из тех парижских комет, которые оставляют за собою нечто вроде огненного следа. Она писала стихи и новеллы, обладала поэтической душой и была восхитительно красива. Она принимала у себя редко — и только людей выдающихся, тех, кого обыкновенно называют королями чего-нибудь. Быть принятым у нее считалось своего рода почетным титулом, настоящим титулом ума; так, по крайней мере, оценивали ее приглашения.

Ее муж играл роль скромного сателлита. Быть супругом звезды — дело нелегкое. Но этот супруг возымел заносчивую мысль создать государство в государстве, приобрести личные заслуги — пусть даже не очень значительные. Словом, приемные дни его жены стали и его приемными днями: у него была своя специальная публика, которая ценила его, слушала и оказывала ему больше внимания, чем его ослепительной подруге.

Он посвятил себя земледелию, кабинетному земледелию. Подобно этому бывают кабинетные генералы — из тех, что рождаются, живут и умирают чиновниками военного министерства,— разве таких нет? Бывают кабинетные моряки — смотри в морском министерстве, — кабинетные колонизаторы, и проч., и проч. Итак, он изучал земледелие, изучал его основательно, во всех его взаимоотношениях с другими науками, с политической экономией, с искусствами — слово «искусство»

употребляют теперь в разных сочетаниях, даже ужасные железнодорожные мосты называют «произведениями искусства». В конце концов он достиг того, что о нем сказали: «Это большой человек». Его цитировали в технических журналах, по ходатайству жены он был назначен членом какой-то комиссии при министерстве земледелия.

Эта скромная слава его вполне удовлетворяла.

Под предлогом сокращения расходов он приглашал своих друзей в те же дни, когда жена его принимала своих, так что они соединялись, или, вернее, составляли две группы. Г-жа Ансер со своей свитой из художников, академиков, министров занимала нечто вроде галереи, меблированной и убранной в стиле ампир, а г-н Ансер обычно удалялся со своими земледельцами в меньшую комнату, служившую курительной; г-жа Ансер иронически называла ее салоном Агрикультуры.

Оба эти лагеря были резко разделены. Г-н Ансер еще проникал иногда, впрочем, без всякой зависти, в Академию своей супруги, где обменивался сердечными рукопожатиями; но Академия бесконечно презирала салон Агрикультуры, и почти не бывало случая, чтобы один из королей науки, мысли и тому подобного присоединялся к земледельцам.

Приемы эти устраивались без особых расходов: чай, торт — вот и все. В первое время г-н Ансер требовал два торта: один для Академии, другой для земледельцев; но когда г-жа Ансер совершенно справедливо заметила, что подобный образ действий мог бы показаться разделением на два лагеря, две партии, на два приема гостей, г-н Ансер более не настаивал; таким образом, подавали всего один торт, которым г-жа Ансер оказывала честь Академии, после чего торт переходил в салон Агрикультуры.

И вот вскоре этот торт стал у Академии поводом для любопытнейших наблюдений. Г-жа Ансер никогда не разрезала его сама. Роль эта постоянно переходила к тому или другому из именитых гостей. Эта своеобразная и особо почетная обязанность, которая была предметом домогательств, оставалась за каждым более или менее продолжительное время: месяца три, редко когда больше; при этом замечали, что привилегия «разреза-

ния торта» влекла, по-видимому, за собою множество других преимуществ, нечто вроде королевской или, скорее, вице-королевской власти, весьма подчеркнутой.

Царствующий разрезыватель разговаривал громче других, властным тоном, и все милости хозяйки дома принадлежали ему, решительно все.

В интимном кругу, вполголоса, за дверями, этих счастливцев именовали «фаворитами торта», и каждая смена фаворита вызывала в Академии своего рода революцию. Нож был скипетром, торт — эмблемой; избранникам приносили поздравления. Земледельцы никогда не резали торта. Сам хозяин был исключен раз навсегда, хотя он и съедал свою порцию.

Торт последовательно разрезали поэты, художники, романисты. В течение некоторого времени торт делил известный музыкант, ему наследовал посланник. Иногда кто-нибудь менее известный, но элегантный и изысканный — один из тех, кого называют сообразно эпохе истинным джентльменом, примерным кавалером, денди, как-нибудь иначе,— тоже усаживался перед символическим пирогом.

Каждый из них в течение своего непродолжительного царствования выказывал супругу величайшее внимание, когда же наступал час низложения, он передавал нож другому и снова смешивался с толпой поклонников и обожателей «прекрасной г-жи Ансер».

Так длилось долго-долго; но ведь кометы не вечно светят одним и тем же светом. Все на свете стареет. Стали говорить, что усердие разрезывателей мало-помалу ослабевает; казалось, они уже колебались, когда к ним придвигали блюдо; эта обязанность, некогда столь завидная, становилась менее привлекательной, ее сохраняли не на такой длительный срок и как будто ею меньше гордились. Г-жа Ансер расточала улыбки и любезности, но, увы, разрезали не так уж охотно. Новые гости, по-видимому, отказывались от этого. Один за другим снова появлялись бывшие фавориты, подобно свергнутым монархам, которых на короткое время возвращают к власти. Затем избранники стали редки, совсем редки. В течение одного месяца — чудо! — разрезал торт сам г-н Ансер; затем это, по-видимому, его утомило, и вот однажды вечером гости увидели, что

г-жа Ансер, прекрасная г-жа Ансер, разрезает торт самолично.

Но это, очевидно, ей наскучило, и в следующий же приемный день она так упрашивала одного из гостей, что тот не посмел отказаться.

Символическое значение этого было, однако, слишком известно; все переглядывались исподтишка, испуганные, встревоженные. Разрезать торт было пустяком, но привилегии, на которые всегда давала право эта обязанность, теперь уже пугали. И впредь как только появлялся пирог, академики в беспорядке устремлялись в салон Агрикультуры, как будто для того, чтобы укрыться за спиною вечно улыбающегося супруга. А когда озабоченная г-жа Ансер показывалась в дверях, с тортом в одной руке и ножом в другой, все располагались вокруг ее мужа, как бы прося его заступничества.

Прошли годы. Никто не разрезал больше торта, но, следуя глубоко укоренившейся привычке, та, которую из любезности все еще величали «прекрасной г-жой Ансер», каждый вечер выискивала глазами самоотверженного гостя, который взялся бы за нож, и каждый раз вокруг нее возникало то же движение — общее бегство, искусное, полное сложных и хитроумных маневров, лишь бы избегнуть просьбы, готовой сорваться с ее уст.

Но вот однажды вечером ей представили совсем еще молодого человека, непосвященного новичка. Он не знал тайны торта, поэтому, когда торт появился и все разбежались, а г-жа Ансер приняла из рук лакея блюдо, юноша спокойно остался с нею.

Быть может, ей показалось, что он знает, в чем дело; она улыбнулась и нежно произнесла:

— Не будете ли вы так любезны разрезать торт?

Он засуетился и снял перчатки, в восторге от оказанной чести.

— Конечно, сударыня, с величайшим удовольствием.

Издали, из уголков галереи и в открытые двери салона Агрикультуры, на него глядели изумленные лица. Но когда все увидели, что новый гость резал довольно уверенно, все быстро приблизились к нему.

Старик-поэт игриво потрепал новичка по плечу.

— Браво, молодой человек! — шепнул он ему на ухо.

На юношу смотрели с любопытством. Сам супруг, казалось, был поражен. Что же касается молодого человека, то его удивило внимание, которое ему вдруг стали выказывать, а главное, он никак не мог понять той особенной любезности, той явной благосклонности, тех знаков молчаливой признательности, которые выказывала ему хозяйка дома.

Однако в конце концов он, кажется, уразумел.

В какой момент и где снизошло на него это откровение, неизвестно. Но когда он появился на следующем вечере, у него был рассеянный, почти пристыженный вид, и он с опаской поглядывал по сторонам. Наступил час чаепития; вошел лакей. Г-жа Ансер, улыбаясь, взяла блюдо, отыскивая своего молодого друга, но он так быстро улетучился, что его и след простыл. Тогда она отправилась на поиски и вскоре нашла его в салоне Агрикультуры. Держа мужа под руку, он взволнованно советовался с ним относительно способов истребления филоксеры.

— Сударь,— обратилась она к нему,— не будете ли вы любезны разрезать торт?

Он покраснел до ушей и пролепетал что-то в полной растерянности. Г-н Ансер сжалился над ним.

— Милый друг,— сказал он жене,— будь любезна, не мешай нам: мы беседуем о земледелии. Вели разрезать торт лакею.

И с этого дня никто из гостей никогда уже не разрезал торт г-жи Ансер.

ПРЫЖОК ПАСТУХА

Побережье от Дьеппа до Гавра представляет собою сплошную скалу вышиной около ста метров, прямую, как стена. Местами эта длинная линия белых утесов внезапно понижается, и небольшая узкая долина с крутыми склонами, поросшими низкорослым дерном и морским тростником, спускается с возделанного плоскогорья к каменистому морскому берегу, где заканчивается лощиной, похожей на русло горного потока. Природа создала эти долины, грозовые ливни образовали в них эти овраги, уничтожив то, что еще оставалось от линии скал, и прорыв до самого моря русло для вод, которое служит теперь дорогой.

Иногда в этих долинах, куда с силой врывается ветер морских просторов, ютится какая-нибудь деревушка.

Я провел лето в одной из таких бухт побережья, у крестьянина; окна его домика были обращены к морю, и я мог любоваться большим треугольником голубой воды, окаймленным зелеными склонами долины и испещренным иногда белыми парусами, что плыли вдали под жгучим солнцем.

Дорога к морю шла по дну ущелья, затем внезапно суживалась между двумя стенами мергеля, образуя нечто вроде глубокой выбоины, и выходила на обширную береговую полосу, покрытую круглыми камнями, отполированными вековою лаской волны.

Это зажатое между крутыми скатами ущелье называется «Прыжок пастуха».

Вот драма, давшая повод к такому названию.

Рассказывают, что некогда в церкви этой деревни служил молодой священник, суровый и жестокий. Он вышел из семинарии, проникнутый ненавистью к тем, кто жил по законам человеческой природы, а не по законам его бога. Непреклонно строгий к себе самому, он относился к другим с неумолимой нетерпимостью; одно в особенности возбуждало в нем гнев и отвращение — любовь. Живи он в городах, среди людей цивилизованных и утонченных, скрывающих грубые акты, природные инстинкты под тонким покровом чувства и нежности, исповедуй он в полутьме элегантного храма надушенных грешниц, прегрешения которых как бы смягчаются прелестью падения и возвышенностью чувств, облагораживающих чувственный поцелуй, он, быть может, не испытывал бы так сильно того бешеного возмущения, той необузданной ярости, которые охватывали его при виде нечистоплотного совокупления в грязи канав или на соломе риг.

Этих людей, не ведавших любви и только спаривавшихся наподобие животных, он уподоблял скотам, он ненавидел их за грубость душ, за грязное удовлетворение инстинктов и за то омерзительное оживление, с которым даже старики толковали о подобных гнусных забавах.

Быть может, он даже невольно терзался тоской неудовлетворенных вожделений и втайне страдал, борясь со своей плотью, восставшей против деспотического и целомудренного духа.

Но все, что касалось тела, возмущало его, выводило из себя. Его свирепые проповеди, полные угроз и гневных намеков, вызывали насмешки девушек и парней, которые исподлобья переглядывались в церкви, а фермеры в синих блузах и фермерши в черных накидках, возвращаясь после мессы в лачугу, из трубы которой поднималась к небу струя голубоватого дыма, говорили друг другу:

— Да, с этим он не шутит, господин кюре.

Как-то раз из-за пустяка он рассвирепел до потери рассудка. Он шел к больной. И вот, войдя во двор фер-

мы, он заметил кучку детей, сбежавшихся с соседних дворов. Дети столпились перед собачьей конурой и с любопытством что-то разглядывали, стоя, как вкопанные, полные сосредоточенного и безмолвного внимания. Священник подошел ближе. Это щенилась сука. Перед конурой пять щенят уже копошились около матери, которая нежно лизала их, и в тот самый момент, когда кюре вытянул свою шею над детскими головками, появился на свет шестой щенок. Обрадованные мальчуганы принялись кричать, хлопая в ладоши: «Вот еще один, еще один!» Для них это была игра, простая игра, где не было места ничему нечистому; они смотрели на эти роды, как смотрели бы на падающие яблоки. Но человек в черном одеянии задрожал от негодования и, не помня себя, взмахнул огромным синим зонтиком и принялся бить детей. Они пустились бежать со всех ног. Очутившись наедине со щенившейся собакой, кюре изо всей мочи ударил ее. Привязанная на цепь, она не могла убежать, и так как она с воем отбивалась, священник вскочил на нее; топча ногами, он выдавил из нее последнего щенка, доконал ее ударами каблуков и бросил окровавленное тело среди новорожденных щенят — пищавших, неповоротливых, которые, тихо скуля, уже тянулись к соскам.

Он предпринимал длинные прогулки в одиночестве и быстро шагал с видом совершенного дикаря.

Однажды, майским вечером, возвращаясь с такой прогулки и идя скалистым берегом по направлению к деревне, он был застигнут ужасным ливнем. Кругом не видно было жилья, только пустынный берег, пронизываемый водяными стрелами ливня.

Бурное море катило пенистые волны, а тяжелые темные тучи, набегая с горизонта, приносили новый дождь. Ветер свистел, завывал, пригибал молодые посевы и сбивал с ног кюре, с которого вода стекала ручьями, облепляя его тело насквозь промокшей сутаной, и с шумом проникал ему в уши, наполняя тревогой его возбужденное сердце.

Кюре снял шляпу, подставил лицо буре и медленно приближался к спуску в деревню. Но на него нале-

тел такой шквал, что он не мог идти дальше. Вдруг он заметил возле пастбища для баранов передвижную будку пастуха.

Это было убежище, и кюре побежал к нему.

Собаки, исхлестанные ураганом, не шевельнулись при его приближении, и он дошел до деревянной будки; это было нечто вроде собачьей конуры на колесах, которую пастухи перевозят летом с одного пастбища на другое.

Низенькая дверца над подножкой была распахнута, и внутри будки виднелась соломенная подстилка.

Священник уже собрался войти, как вдруг разглядел там влюбленную пару, обнимавшуюся в темноте. Тогда, быстро захлопнув дверцу на крюк, он впрягся в оглобли, согнул свой тощий стан и потащил повозку, как лошадь. Задыхаясь под тяжестью промокшей суконной сутаны, он побежал, увлекая за собой к крутому откосу, к гибельному откосу, застигнутых в объятиях молодых людей, которые стучали кулаками в стенку будки, думая, конечно, что над ними подшутил какой-нибудь прохожий.

Добравшись до края откоса, он выпустил из рук легкую будочку, и она покатилась по крутому берегу вниз.

Будка ускоряла свой бешеный бег и летела все быстрее, подпрыгивая, спотыкаясь, как живое существо, ударяя о землю оглоблями.

Старик-нищий, прикорнувший во рву, видел, как она стрелой пронеслась над его головой, и слышал ужасные крики, доносившиеся из деревянного ящика.

Вдруг от сильного толчка сорвалось колесо, будка упала набок и покатилась, как шар, как дом, снесенный с вершины горы; затем, достигнув края последнего обрыва, она подпрыгнула, описав кривую линию, и, рухнув в глубину, разлетелась вдребезги, как яйцо.

Любовников нашли изувеченными, изуродованными, с поломанными членами; они так и не разомкнули объятий, и руки их обнимали друг друга в смертельном ужасе, как в часы любовных утех.

Кюре запретил внести их трупы в церковь и лишил их надгробного напутствия.

А в воскресенье, во время проповеди, он горячо говорил о седьмой заповеди, грозя любовникам карой таинственной руки и ссылаясь как на ужасающий пример на обоих несчастных, погибших от своего греха.

Когда он выходил из церкви, его арестовали.

Таможенный надсмотрщик, укрывавшийся в сторожевой яме, видел все. Кюре был присужден к каторжным работам.

Крестьянин, рассказавший мне эту историю, добавил с серьезным видом:

— Я знавал его, сударь. Это был человек суровый, я согласен, но глупостей он не терпел...

СТАРЫЕ ВЕЩИ

Дорогая Колетта.

Не знаю, помнишь ли ты, как мы читали Сен-Бёва? Одна его строка навсегда запечатлелась в моей памяти, ведь этот стих так много говорит мне и так часто успокаивал мое бедное сердце, — особенно с некоторых пор.

Вот он:

Родись, живи, умри — все в том же старом доме!

Я теперь совсем одна в этом доме, где родилась, где жила и где надеюсь умереть. Постоянно жить здесь не весело, но приятно, так как меня окружают воспоминания.

Мой сын Анри — адвокат, он приезжает ко мне ежегодно на два месяца. Жанна живет с мужем на другом конце Франции, и я сама езжу к ней каждую осень. Итак, я здесь в одиночестве, в полном одиночестве, но окружена дорогими мне вещами, беспрестанно напоминающими о моих близких — и об умерших и о живых, которые далеко.

Я много уже не читаю, я стара, но без конца думаю или, вернее, мечтаю. О, я больше не мечтаю так, как мечтала прежде. Помнишь наши безумные мечты, те приключения, которые мы измышляли в двадцать лет, и смутно рисовавшиеся нам тогда горизонты счастья?

Ничто из этого не осуществилось; или, вернее, осуществилось, но совсем иначе, не так очаровательно, не так поэтично, хотя и сносно для тех, кто умеет мужественно довольствоваться своим жизненным уделом.

Знаешь, почему мы, женщины, так часто бываем несчастны? Потому что в юности нас учат слишком верить в счастье. Нас никогда не воспитывают в мыслях о борьбе и страданиях. И при первом же ударе наше сердце дает трещину. Мы доверчиво ждем, что на нас хлынет целый водопад счастливых событий. Действительные же события оказываются лишь наполовину хорошими, и мы тотчас начинаем проливать слезы. Я познала, в чем состоит счастье, истинное счастье наших грез. Оно отнюдь не в том, чтобы на нас снисходило великое блаженство — эти блаженные мгновения весьма редки и кратки,— оно состоит в постоянном ожидании радостных дней, которые никогда не наступают. Счастье — это ожидание счастья, это безграничность надежд — словом, это нескончаемая иллюзия. Да, дорогая, ничего нет лучше иллюзий, и как я ни стара, я все еще создаю их изо дня в день; изменилась только их цель: мои желания уже не те, что раньше. Я ведь говорила тебе, что провожу время, вызывая светлые образы прошлого. Да что больше и делать? Достигаю я этого двумя способами. Я тебе расскажу о них; быть может, тебе это пригодится.

О, первый способ очень прост: состоит он в том, что я усаживаюсь у огня в низеньком уютном кресле, удобном для моих старых костей, и мысленно возвращаюсь ко всему, что было в прошлом.

Жизнь, как она коротка! Особенно жизнь, которая вся проходит в одном и том же месте:

Родись, живи, умри — все в том же старом доме!

Воспоминания тесно связаны одни с другими, и когда состаришься, кажется иногда, что не прошло и десяти дней с тех пор, как ты была молода. Да, все пролетело, как один день: вот утро, полдень, вечер, и вот наступает ночь, ночь без рассвета!

Когда в течение долгих-долгих часов смотришь на пламя, прошлое возникает так ясно, как будто это было вчера. Забываешь о том, где ты; мечты увлекают, и перед тобой вновь проходит вся твоя жизнь.

И мне часто представляется, что я еще девочка, до того ясно воскресают во мне прежние порывы, юные чувства, даже движения сердца, весь пыл восемна-

дцати лет, до того отчетливо проносятся перед моим взором видения былого.

О, как живы воспоминания о моих прогулках в дни ранней юности! Странно, но тут, в моем кресле, перед огоньком, я вновь увидела как-то вечером закат солнца на горе Сен-Мишель, а сейчас же вслед за этим охоту верхом в Ювильском бору, и мне вспомнился запах мокрого песка и листьев, покрытых росой, и жар солнца, погружавшегося в воды, и влажная теплота его первых лучей, когда я скакала верхом в лесу. И все, о чем я тогда мечтала, мой поэтический восторг перед бесконечной далью моря, живая радость, рожденная во мне шелестом ветвей, самые пустячные мысли, все решительно обрывки снов, желаний, чувств — все, все вернулось, как будто я была еще там, как будто с тех пор не прошло пятидесяти лет, охладивших мою кровь, изменивших мои ожидания.

Но другой мой способ вновь переживать прошлое много лучше.

Известно тебе или нет, дорогая Колетта, что у нас в доме ничего не уничтожают? У нас наверху, на чердаке, большой чулан, который зовут «комнатой для старых вещей». Все, что негодно, складывается туда. Я часто поднимаюсь наверх и рассматриваю все. Я снова нахожу тот хлам, о котором давно перестала думать, но с которым у меня связано немало воспоминаний. Это не те славные, дорогие нам предметы обстановки, знакомые с детства, с которыми связана память о радостных или грустных событиях, о различных датах семейной истории и которые, войдя в нашу жизнь, приобрели своего рода индивидуальные черты, физиономию и служили нам друзьями в наши печальные или веселые часы, единственными, увы, друзьями, которых мы, наверное, не утратим, единственными, которые не умрут, подобно тем, чей облик, любящие глаза, уста, голос исчезли навсегда. Но в куче ненужных безделушек я обретаю старые пустячные вещицы, находившиеся в течение сорока лет рядом со мной и никогда не привлекавшие моего внимания, но теперь, увидев их вновь, я постигаю их значение как свидетелей ушедших времен. Они напоминают мне людей, давным-давно знакомых,

всегда сдержанных, но которые вдруг в один прекрасный вечер ни с того ни с сего начинают болтать без конца, рассказывать про свое житье-бытье, про интимные стороны своей жизни, про то, о чем никто никогда и не подозревал.

И я перехожу от одной вещи к другой, и сердце у меня слегка замирает. Я говорю себе: «Вот это я разбила в тот вечер, когда Поль уезжал в Лион», или: «Ах, вот мамин фонарик, который она брала с собой в зимние вечера, когда ходила в церковь».

Есть там и вещи, ничего уже не говорящие, оставшиеся от моих предков, вещи, которых никто из ныне живущих не знал, происхождение которых никому не известно и чьих владельцев никто даже не помнит. Никто не видал ни рук, обращавшихся с ними, ни глаз, глядевших на них. Сколько пищи моим мечтам дают эти предметы! Они представляются мне покинутыми существами, последние друзья которых умерли.

Для тебя, дорогая Колетта, все это, может быть, непонятно, и ты усмехнешься, читая мое наивное письмо, удивишься моим ребяческим сентиментальным причудам. Ты парижанка, а вам, парижанкам, совсем незнакома эта внутренняя жизнь, это копание в собственном сердце. Вы живете на виду, и ваши мысли разлетаются по ветру. Я же, живя одиноко, могу говорить только о себе. Когда ты будешь мне отвечать, расскажи о своей жизни, и тогда я представлю себя на твоем месте, как ты сможешь завтра представить себя на моем.

Но ты никогда не поймешь всей глубины стиха Сен-Бёва:

Родись, живи, умри — все в том же старом доме!

Тысяча поцелуев, мой старый друг.

Аделаида.

МАГНЕТИЗМ

Это было в конце обеда, в мужской компании, в час бесконечных сигар и беспрерывных рюмок. Наступила внезапная сонливость, вызванная пищеварением после массы поглощенных мясных блюд и ликеров, и головы начали слегка кружиться.

Зашла речь о магнетизме, о фокусах Донато, об опытах доктора Шарко. И эти милые скептики, равнодушные ко всякой религии, принялись вдруг рассказывать о странных случаях, о невероятных, но, как утверждали они, действительно случившихся историях... Неожиданно охваченные суеверием, они цеплялись за этот последний остаток чудесного, благоговейно преклоняясь пред таинственной силой магнетизма, защищая ее от имени науки.

Улыбался только один из присутствующих — здоровый малый, неутомимый волокита, покоритель девичьих и женских сердец; он не верил ничему, и это неверие так сильно утвердилось в нем, что он даже не допускал никаких споров.

Он повторял, посмеиваясь:

— Чепуха, чепуха! Чепуха! Не будем спорить о Донато: ведь это просто-напросто очень ловкий фокусник. Что же касается господина Шарко, как говорят, замечательного ученого, то он, по-моему, похож на тех рассказчиков в духе Эдгара По, которые, размышляя над странными случаями помешательства, кончают тем, что сами сходят с ума. Он установил наличие некоторых необъясненных и все еще не объ-

яснимых нервных явлений, но, бродя ощупью в этой неизученной области, хотя ее теперь исследуют изо дня в день, он не всегда имеет возможность понять то, что видит, и слишком часто, быть может, прибегает к религиозному объяснению непонятного. И, наконец, я хотел бы услышать его самого; пожалуй, получилось бы совсем не то, что вы утверждаете.

К неверующему отнеслись с состраданием, как будто он вздумал богохульствовать перед собранием монахов.

Один из присутствующих воскликнул:

— Однако бывали же прежде чудеса!

Тот возразил:

— Я это отрицаю. Почему же их теперь не бывает?

Но тут каждый стал приводить случаи невероятных предчувствий, общения душ на больших расстояниях, таинственного воздействия одного существа на другое. И все подтверждали эти случаи, объявляли их бесспорными, между тем как настойчивый отрицатель повторял:

— Чепуха! Чепуха! Чепуха!

Наконец он встал, бросил сигару и, заложив руки в карманы, сказал:

— Хорошо, я также расскажу вам две истории, а затем объясню их. Вот одна из них. В небольшой деревушке Этрета мужчины — все они там моряки — отправляются ежегодно на отмели Новой Земли ловить треску. И вот как-то ночью ребенок одного из этих моряков внезапно проснулся и крикнул: «Папа умер в море!» Малютку успокоили, но он снова проснулся и завопил: «Папа утонул!» Действительно, спустя месяц узнали о смерти отца, смытого волной с палубы. Вдова вспомнила о ночных криках ребенка. Стали говорить о чуде, все пришли в волнение, сверили числа, и оказалось, что несчастный случай и сон приблизительно совпадали; отсюда заключили, что они произошли в одну и ту же ночь, в один и тот же час. И вот вам новый таинственный случай магнетизма.

Рассказчик смолк. Кто-то из слушателей, сильно взволнованный, спросил:

— И вы можете объяснить это?

— Вполне, сударь, я раскрыл секрет. Этот случай поразил меня, даже привел в смущение, но я, видите ли, не верю из принципа. Если другие начинают с того, что верят, я начинаю с того, что сомневаюсь; если же я ничего не понимаю, то продолжаю отрицать возможность телепатического общения душ, будучи уверен в том, что для объяснения достаточно одной моей проницательности. Я приступил к розыскам и, хорошенько расспросив всех жен отсутствующих моряков, в конце концов убедился, что не проходит и недели без того, чтобы кто-нибудь из них или из детей не увидел во сне, что «отец умер в море», и не объявил об этом в момент пробуждения. Постоянный страх и ожидание подобного несчастья — вот причина, почему об этом беспрестанно говорят и думают. И если одно из таких многочисленных предсказаний по весьма простой случайности совпадает с фактом смерти, тотчас же начинают кричать о чуде, так как сразу забывают обо всех остальных снах, об остальных предчувствиях, об остальных предсказаниях несчастья, оставшихся без подтверждения. Я лично наблюдал более пятидесяти случаев, о которых неделю спустя никто и не вспоминал. Но умри человек на самом деле, память немедленно пробудилась бы, и одни увидели бы в этом вмешательство бога, другие — силу магнетизма.

Один из курильщиков заявил:

— То, что вы говорите, довольно справедливо, но выслушаем вашу вторую историю.

— О, моя вторая история весьма щекотлива для рассказа. Случилась она со мной, почему я и не доверяю своей оценке. Никогда нельзя быть судьей в собственном деле. Словом, вот она. Среди моих светских знакомых была одна молодая женщина; я никогда о ней не помышлял, никогда не приглядывался к ней, никогда, как говорится, не замечал ее.

Я относил ее к числу незначительных женщин, хотя она не была дурнушкой; мне казалось, что ни глаза, ни нос, ни рот, ни волосы — ничто не отличает ее от других и что у нее совершенно бесцветная физиономия. Это было одно из тех созданий, на которых мысль останавливается только случайно, не задержи-

ваясь, и вид которых не вызывает ни малейшего желания.

Однажды вечером, перед тем как лечь спать, я писал у камина письма; среди хаоса мыслей, среди вереницы образов, которые проносятся в уме, когда в течение нескольких минут с пером в руке предаешься мечтам, я почувствовал вдруг легкую дрожь в сердце, в голове промелькнула какая-то неясная мысль, и тотчас же без всякого повода, без всякой логической связи я отчетливо увидел перед собой, увидел так, как будто касался ее, увидел с ног до головы и без покровов эту самую молодую женщину, о которой я никогда не думал дольше трех секунд, ровно столько, сколько нужно, чтобы ее имя промелькнуло в моей голове. И вдруг я открыл в ней бездну достоинств, которых раньше не замечал,— чарующую прелесть, привлекательную томность; она пробудила во мне ту любовную тревогу, которая заставляет нас бежать за женщиной. Но я недолго думал об этом. Я лег спать и уснул. И вот какой приснился мне сон.

Вам, конечно, случалось видеть эти своеобразные сны, наделяющие нас всемогуществом, дарящие нам неожиданные радости, раскрывающие перед нами недоступные двери, недосягаемые объятия?

Кто из нас во время этих тревожных, нервных, трепетных снов не держал, не обнимал, не прижимал к себе ту, которая занимала его воображение, кто не обладал ею с необычайной обостренностью чувств? И заметили ли вы, какой сверхчеловеческий восторг у нас вызывает во сне обладание женщиной? В какое безумное упоение повергает оно нас, какими пылкими спазмами сотрясает и какую беспредельную, ласкающую, проникновенную нежность вливает оно нам в сердце к той, которую мы держим в своих объятиях, слабеющую и распаленную, в этой обаятельной, грубой иллюзии, кажущейся нам действительностью!

Все это я испытал с незабываемой страстной силой. Эта женщина была моей, настолько моей, что еще долго после сладостного и обманчивого сна мои пальцы осязали нежную теплоту ее кожи, в памяти сохранялся ее аромат; вкус ее поцелуев еще оставался на моих губах, звук голоса — в моих ушах, ее руки, каза-

лось, еще обнимали меня, и я ощущал всем телом пламенные чары ее ласк.

Сон этот возобновлялся в ту самую ночь три раза.

Все утро следующего дня ее образ неотвязно преследовал меня; я был в ее власти, она завладела моим умом и чувствами настолько, что мысль о ней ни на секунду не покидала меня.

Наконец, не зная, что делать, я оделся и пошел к ней. Поднимаясь по лестнице, я дрожал от волнения, и сердце мое безумно билось: я весь был охвачен бурной страстью.

Я вошел. Она выпрямилась, услыхав мою фамилию, встала, и внезапно наши взоры встретились и замерли. Я сел.

Я пробормотал несколько банальных фраз; она, казалось, вовсе не слушала. Я растерялся и не знал, что говорить, что делать; и вдруг бросился к ней, схватил ее в объятия, и сон мой стал мгновенно такой простой, такой безумно сладостной явью, что я даже подумал, не сплю ли я...

Она была моей любовницей два года..

— Какой же вывод делаете вы из этого? — произнес один голос.

Рассказчик как будто колебался.

— Да тот... тот вывод, что это было случайным совпадением, черт возьми! Да и как знать? Быть может, какой-нибудь ее взгляд, на который я не обратил особого внимания, дошел до меня в тот вечер в силу тех таинственных, бессознательных возвратов памяти, которые нередко восстанавливают перед нами все упущенное нашим сознанием, все, что прошло в свое время незамеченным!

— Воля ваша,— сказал в заключение один из гостей,— но если вы после всего этого не уверовали в магнетизм, вы, сударь, попросту неблагодарны.

КОРСИКАНСКИЙ БАНДИТ

Дорога постепенно шла в гору среди Аитонского леса. Громадные ели простирали над нами свой стонущий свод и как бы без конца тянули горькую жалобу, а их тонкие прямые стволы справа и слева казались рядами органных труб, издававших однообразную мелодию ветра, звучавшую в их вершинах.

К концу трехчасового пути сплошная стена этих высоких, перепутавшихся ветвями стволов стала просвечивать. Теперь местами попадались гигантские пинии. Они стояли в одиночку, раскрытые, как громадные зонтики, простирая свою темно-зеленую крону; и вот внезапно мы достигли границы леса, в нескольких метрах ниже ущелья, ведущего в дикую долину Ниоло.

На двух острых утесах, высящихся над этим проходом, стоит несколько уродливых, старых деревьев; они с трудом, казалось, взобрались наверх, подобно разведчикам, опередившим скученную позади толпу. Оглянувшись, мы увидели под нами весь лес: он был похож на громадную, наполненную зеленью чашу, замкнутую со всех сторон голыми вершинами, как бы упиравшимися в самое небо.

Мы снова тронулись в путь и через десять минут достигли ущелья.

И я увидел изумительную картину. Там, за другим лесом, оказалась долина, подобной которой я никогда не видывал: это была каменистая пустыня длиною в десять лье, между высокими, в две тысячи метров, горами, и на ней не видно было ни возделанного поля,

ни деревца. Это Ниоло, родина корсиканской свободы, неприступная твердыня, из которой завоеватели никогда не могли вытеснить горцев.

Мой спутник сказал мне:

— Тут же укрываются и все наши бандиты.

Скоро мы очутились на дне этой дикой, невообразимо красивой ложбины.

Ни травинки, ни растеньица: гранит, везде только гранит. Перед нами, насколько хватало глаз, лежала сверкающая гранитная пустыня, раскаленная, как печь, лютым солнцем, будто нарочно подвешенным над этим каменным ущельем. Когда поднимаешь глаза к гребням гор, останавливаешься ослепленный, изумленный. Они кажутся красными, причудливо изрезанными наподобие кораллов, так как все вершины здесь из порфира, небо же над ними, обесцвеченное соседством этих необычайных гор, кажется фиолетовым, лиловым. Ниже — искристо-серый гранит; под нашими ногами он словно истерт, истоптан, мы ступаем по блестящему порошку. Справа от нас, в длинной и извилистой расщелине, гремит и мчится шумный поток. Начинает кружиться голова от этого зноя и яркого света в жгучей, бесплодной, дикой долине, перерезанной оврагом, где бушует вода; она как будто торопится пронестись мимо, не имея сил оплодотворить эти скалы, затерянная в этой громадной печи, которая жадно впитывает воду, никогда не насыщаясь ею и не освежаясь.

Справа от нас показался вдруг небольшой деревянный крест, вставленный в кучу камней. Тут, значит, кого-то убили, и я попросил своего спутника:

— Расскажите-ка мне о ваших бандитах.

Он начал:

— Я знавал самого знаменитого, самого ужасного из них — Санта-Лючиа — и расскажу вам его историю.

Отца его, говорят, убил в ссоре один молодой человек из той же местности, и Санта-Лючиа со своей сестрой остались сиротами. Это был слабенький, скромный юноша невысокого роста, частенько хворавший, очень нерешительный. Он не объявил вендетты убийце отца. Все родные приходили к нему, умоляя отомстить, но он оставался глух к их угрозам и мольбам.

Тогда, по старинному корсиканскому обычаю, воз-

мущенная сестра отобрала у него черную одежду, чтобы он не смел носить траура по убитому, оставшемуся неотомщенным. Он отнесся безучастно даже к этому оскорблению и, вместо того, чтобы снять с крюка еще заряженное отцовское ружье, заперся и никуда не выходил, боясь презрительных взглядов местных парней.

Шли месяцы. Казалось, он даже забыл о преступлении и тихо жил в своем доме с сестрой.

В один прекрасный день тот, кого подозревали в убийстве, решил жениться. Санта-Лючиа, казалось, это известие не взволновало; но жених, несомненно, желая бросить ему вызов, прошел на пути в церковь мимо домика сирот.

Брат и сестра, сидя у окна, ели жареные пирожки, и вдруг молодой человек увидел перед своим домом свадебное шествие. Он задрожал, встал, не говоря ни слова, перекрестился, снял ружье, висевшее над очагом, и вышел из дому.

Рассказывая об этом позже, он говорил:

— Не знаю, что со мной стряслось; словно огонь вспыхнул у меня в крови; я вдруг почувствовал, что должен так поступить, что никак не устою перед этим, и я спрятал ружье в лесной чаще по дороге в Корт.

Через час он вернулся с пустыми руками; у него был обычный грустный, усталый вид. Сестра решила, что он ни о чем больше и не помышляет.

Но с наступлением ночи он исчез.

Враг его должен был в ту самую ночь идти пешком в Корт с двумя друзьями.

Они шли с песнями по дороге, когда Санта-Лючиа очутился перед ними; глядя убийце в лицо, он крикнул: «Час настал!» — и в упор прострелил ему грудь.

Один из друзей убитого бежал, другой глядел на молодого человека и твердил:

— Что ты сделал, Санта-Лючиа!

Затем он хотел было бежать за помощью в Корт. Но Санта-Лючиа крикнул:

— Если ты сделаешь еще хоть шаг, я раздроблю тебе ногу!

Тот, зная его как человека робкого, ответил: «Не посмеешь!» — и пошел вперед. Но тотчас же упал с раздробленным пулей бедром.

Санта-Лючиа подошел к нему и сказал:

— Я осмотрю твою рану; если она не опасна, я тебя оставлю здесь, если же смертельна, прикончу тебя.

Он осмотрел рану, решил, что она смертельна, не торопясь снова зарядил свое ружье, предложил раненому прочесть молитву и раздробил ему череп.

На другой день он был в горах.

И знаете ли, что сделал затем этот Санта-Лючиа?

Вся его родня была арестована жандармами. Его дядя-священник, которого заподозрили в подстрекательстве к мести, был посажен в тюрьму по обвинению родственников покойного. Но он бежал, захватив с собою ружье, и присоединился к племяннику в маки.

Тогда Санта-Лючиа убил одного за другим обвинителей своего дяди и выколол им глаза, чтобы научить других никогда не утверждать того, чего они не видали своими глазами.

Он убил всех родных своего врага и всех друзей его семьи. Он убил на своем веку четырнадцать жандармов, сжег дома своих противников и был до самой смерти самым ужасным бандитом из тех, о ком сохранилась память.

Солнце исчезло за Монте-Чинто, и громадная тень от гранитной горы легла на гранит долины. Мы ускорили шаги, чтобы добраться к ночи до деревушки Альбертаччe, которая казалась грудой камней, сливавшихся с каменными стенами дикого ущелья. И, раздумывая о бандите, я сказал:

— Что за ужасный обычай эта ваша вендетта!

Но спутник мой возразил тоном покорности судьбе:

— Что делать, приходится исполнять свой долг!

НОЧНОЕ БДЕНИЕ

Она умерла без агонии, спокойно, как женщина жизнь которой была безупречна, и теперь покоилась на кровати с закрытыми глазами, с недвижным лицом; ее длинные седые волосы были тщательно причесаны, как будто она только что совершила свой туалет; бледное лицо почившей было так сосредоточенно, так спокойно, так безропотно, что было ясно, какая кроткая душа обитала в этом теле, какую безмятежную жизнь вела эта чистая сердцем старушка, какая кончина без потрясений и угрызений совести была уделом этой благородной женщины.

На коленях у кровати неудержимо рыдали ее сын, судья, известный своими непоколебимо строгими правилами, и дочь Маргарита, в монашестве сестра Евлалия. Мать привила им с детства твердую нравственность, воспитала их в суровых догматах религии и в безусловном повиновении долгу. Он, мужчина, стал судьей и, потрясая мечом закона, безжалостно карал слабых, сбившихся с пути; она, девушка, проникнутая добродетелью, окружавшей ее в этой суровой семье, посвятила себя богу из отвращения к людям.

Они совсем не знали своего отца; им известно было только, что он сделал их мать несчастной. Подробности были им неведомы.

Монахиня безумно целовала свесившуюся руку усопшей, руку того же цвета слоновой кости, что и рас-

пятие, лежащее на постели. По ту сторону распростертого тела другая рука, казалось, еще комкала простыню жестом, характерным для умирающих; на полотне сохранились легкие складки, как воспоминание об этих последних движениях, предшествующих вечной неподвижности.

Легкий стук в дверь заставил рыдавших детей поднять головы: вошел только что пообедавший священник. Лицо его разрумянилось, он с трудом дышал из-за начавшегося пищеварения, так как усердно подливал себе в кофе коньяк, чтобы побороть усталость предшествовавших ночей и подбодриться к начинавшейся ночи бдения.

Он казался опечаленным фальшивой печалью церковного служителя, для которого смерть — заработок. Он перекрестился и, приближаясь, произнес профессиональным тоном утешения:

— Бедные дети мои, я пришел помочь вам провести эти скорбные часы.

Но сестра Евлалия быстро поднялась с колен:

— Благодарю, отец мой. Брат и я, мы хотим остаться подле нее одни. Ведь это для нас последние минуты, что мы ее видим, мы хотим побыть втроем, как прежде, когда мы... мы... мы были маленькими и наша бед... бедная мама...

Она не могла договорить, с такой силой хлынули у нее из глаз слезы, так душило ее горе.

Священник склонился с просиявшим лицом, подумав о своей постели.

— Как хотите, дети мои.

Он опустился на колени, перекрестился, прочел молитву, поднялся и тихо вышел, бормоча:

— Она была святая.

И они остались одни, умершая и ее дети. Часы, спрятанные где-то, мерно отбивали в темноте свои удары, а в раскрытое окно вместе с бледным светом луны проникал нежный аромат сена и лесов. Ни малейшего звука в деревне, кроме кваканья лягушек и временами жужжания ночного насекомого, влетавшего, как пуля, в окно и ударявшегося о стену. Ничем не нарушаемый покой, божественная истома, безмятежная тишина окружали скончавшуюся, казалось, исходили от нее,

изливались наружу, примиряюще действовали на саму природу.

Судья, все еще стоя на коленях, уткнув голову в постель, вскрикнул глухим, раздирающим душу голосом, проникшим сквозь толщу простынь и одеял: «Мама, мама, мама!», а сестра его, упав на паркет, колотясь, как фанатичка, лбом об пол, извиваясь в судорогах и вся дрожа, как в припадке эпилепсии, стонала: «Иисусе, Иисусе, мама, Иисусе!»

Потрясенные бурным приступом горя, оба они задыхались, хрипели.

Наконец кризис понемногу стих, смягчился, и они заплакали тихими слезами; так спокойные дожди следуют за шквалами в разбушевавшемся море.

Прошло немало времени, пока они смогли подняться и вновь отдаться созерцанию дорогой усопшей, и воспоминания, далекие воспоминания, вчера еще такие приятные, а сегодня такие мучительные, возникали в их памяти с мельчайшими забытыми подробностями, с теми маленькими, интимными, чисто семейными подробностями, которые как бы воскрешают исчезнувшего человека. Они припоминали слова, улыбку, голос той, которая больше не заговорит с ними, припоминали отдельные случаи из ее жизни. Они вновь видели ее счастливой, спокойной, видели ее легкий жест рукой, — как бы отбивавшей такт,— когда она произносила что-нибудь особо значительное.

И они любили ее, как никогда не любили раньше. По силе своего отчаяния они могли судить, до какой степени одинокими будут они теперь.

То, что исчезло, было их опорой, их руководством, олицетворением их молодости, радостью их существования, той нитью, которая привязывала их к жизни: это была мать, мамочка, та плоть, создавшая их, та связь с предками, которой более у них не будет. Они становились теперь сиротами, одинокими, разобщенными, и не могли больше мысленно возвращаться к прошлому.

Монахиня сказала брату:

— Ты знаешь, матушка любила перечитывать свои старые письма; они все тут, в ее ящике. Что, если бы и мы прочли их и пережили всю ее жизнь сегодня ночью,

подле нее? Мы как бы пройдем ее крестный путь, мы познакомимся с ее матерью, с неизвестными нам предками, о которых она так часто говорила нам, помнишь?

И они вынули из ящика десяток небольших пачек желтой почтовой бумаги, старательно перевязанных и сложенных по порядку. Они выложили эти реликвии на кровать и, выбрав одну из них, на которой было написано слово «отец», раскрыли и стали читать.

Это были письма давних времен; их находишь в старых фамильных секретерах, и они отзываются иным веком. Первое начиналось словами: «Моя дорогая»; другое: «Моя милая внучка»; следующее: «Дорогое дитя»; еще одно: «Дорогая дочь». И монахиня принялась читать вслух, перечитывая умершей ее же историю, воскрешая все дорогие ей воспоминания. Судья облокотился о постель и слушал, устремив глаза на мать. И неподвижное тело казалось счастливым.

Прервав чтение, сестра Евлалия сказала:

— Надо будет положить их вместе с ней в могилу, сделать ей из них саван, схоронить ее в нем.

И она взяла другой пакет, на котором не было никакой надписи. И она начала читать вслух: «Божество мое, я люблю тебя до безумия. Со вчерашнего дня я страдаю, как осужденный на адские муки: меня сжигают воспоминания о тебе. Я ощущаю твои губы на моих губах, твои глаза под моими глазами, твое тело, прижавшееся ко мне... Я люблю тебя, люблю тебя! Ты свела меня с ума. Мои объятия раскрываются, и я весь трепещу, горю страстным желанием вновь обладать тобой. Все тело взывает к тебе, жаждет тебя. На моих губах живет ощущение твоих поцелуев...»

Судья выпрямился, монахиня прервала чтение; он вырвал у нее письмо, стал искать подпись. Ее не было, но под словами «обожающий тебя» стояло имя «Анри». Их отца звали Ренэ. Значит, это был не отец. Быстрым движением руки сын разрыл пачку писем, вынул другое и прочел: «Я не могу жить без твоих ласк» ...И, стоя с суровым лицом, как на заседании суда, он взглянул на бесстрастно лежавшую покойницу. Монахиня замерла, как статуя, со слезами на глазах и жда-

ла, наблюдая за братом. А он тихо прошел по комнате к окну и задумался, устремив взор в ночную тьму.

Когда он обернулся, сестра Евлалия все еще стояла около постели с поникшей головой, но глаза ее были сухи.

Он подошел, быстро собрал письма, бросил их обратно в ящик и задернул полог кровати.

И как только дневной свет затмил свечи, горевшие на столе, сын медленно поднялся с кресла и, не взглянув на мать, которую он отлучил от себя и сестры и осудил, тихо произнес:

— Теперь удалимся, сестра.

ГРЕЗЫ

Происходило это после дружеского обеда, обеда старых друзей. Их было пятеро: писатель, врач и трое богатых холостяков, ничем не занятых.

Переговорили уже обо всем, и наступила усталость, обычная после пиршества и побуждающая к разъезду. Один из собеседников, молча смотревший на волнующийся, шумный бульвар, освещенный газовыми рожками, вдруг сказал:

— Когда ничего не делаешь с утра до вечера, дни тянутся без конца.

— И ночи также,— добавил его сосед.— Я совсем не сплю, развлечения меня утомляют, а разговоры все об одном и том же надоедают. Никогда не встречаю я новых мыслей и, прежде чем завязать беседу с кем бы то ни было, испытываю страстное желание совсем не говорить и ничего не слышать. Просто не знаю, куда мне девать вечера.

Третий бездельник провозгласил:

— Дорого дал бы я за средство приятно проводить хотя бы часа два в день.

К ним подошел писатель, уже перекинувший через руку пальто.

— Человек,— сказал он,— который изобрел бы новый порок и преподнес его своим ближним, пусть даже это сократило бы их жизнь наполовину, оказал бы бо́льшую услугу человечеству, нежели тот, кто нашел бы средство обеспечить вечное здоровье и вечную юность.

Доктор рассмеялся и произнес, пожевывая сигару:

— Да, но не так-то просто это изобрести. Тем не менее, с тех пор как создан мир, человечество неутомимо ищет. Первые же люди сразу достигли в этом отношении больших успехов. Но нам не сравниться с ними.

Один из трех бездельников пробормотал:

— Жаль.

И тут же добавил:

— Получить бы только возможность спать, крепко спать, не ощущая ни жары, ни холода, спать с чувством того изнеможения, какое бывает после утомительных вечеров, спать без сновидений!

— Почему без сновидений?— спросил сосед.

Тот отвечал:

— Потому что сны не всегда приятны: они причудливы, неправдоподобны, бессвязны, и когда спишь, нет даже возможности по своему вкусу насладиться лучшим из них. Стало быть, надо грезить наяву.

— Кто же вам мешает?— спросил писатель.

Доктор бросил свою сигару.

— Мой милый, для того чтобы грезить наяву, необходимы внутренняя собранность и большая работа воли, а это вызывает сильную усталость. Настоящая греза наша, мысленная прогулка по миру очаровательных видений, несомненно, самое восхитительное, что есть на свете, но она должна возникать естественно, без напряжения; кроме того, она должна сопровождаться чувством физического блаженства. Такую грезу я могу вам предложить, но при условии, что вы дадите обещание не злоупотреблять ею.

Писатель пожал плечами:

— Ну да, знаю, это гашиш, опиум, зеленое варенье, искусственный рай. Бодлера я читал и даже отведал пресловутого зелья, от которого не на шутку расхворался.

Но доктор прочно расположился в кресле.

— Нет, это эфир, только эфир, и добавлю даже, что вам, писателям, не мешало бы иногда применять это средство.

Трое холостяков подошли ближе.

— Объясните нам его действие,— попросил один из них.

Доктор продолжал:

— Оставим в стороне громкие слова, не так ли? Я не говорю ни о медицине, ни о нравственности: я говорю о наслаждении. Вы ежедневно предаетесь излишествам, сокращающим вашу жизнь. Я же хочу обратить ваше внимание на новое ощущение, доступное лишь людям интеллекта, скажу даже, большого интеллекта; оно вредно, как все, что чрезмерно возбуждает наши органы, но восхитительно. Добавлю, что вам понадобится некоторая подготовка, то есть некоторая привычка, для того, чтобы воспринять в полной мере своеобразное действие эфира.

Оно не похоже на действие, производимое гашишем, опиумом или морфием, и сразу же прекращается, как только прервано впитывание лекарства, тогда как другие возбудители грез продолжают действовать в течение многих часов.

Теперь я постараюсь как можно обстоятельнее разобраться в том, что ощущаешь при этом. Но задача эта не из легких, до того тонки, почти неуловимы эти ощущения.

Я применял это средство во время приступов ужаснейшей невралгии и с тех пор, быть может, немного им злоупотреблял.

У меня была страшная головная боль, болела шея, а кроме того, был нестерпимый жар, лихорадочное состояние. Я взял большой пузырек эфира, улегся и начал медленно его вдыхать.

Через несколько минут мне послышался смутный шум, который вскоре перешел в какое-то гудение, и мне показалось, что все тело становится легким, легким, как воздух, и словно растворяется.

Затем наступило нечто вроде душевного оцепенения, приятное состояние дремоты, несмотря на продолжавшиеся боли, которые перестали, однако, быть мучительными. Это были уже такие страдания, с которыми примиряешься, а не та ужасная пытка, против которой восстает все наше измученное тело.

Своеобразное и восхитительное ощущение пустоты в груди вскоре расширилось; оно перешло на конечности, которые, в свою очередь, стали такими легкими, будто тело и кости растаяли и осталась одна кожа, для

того, чтобы я мог воспринять всю сладость этого дивного состояния. Я заметил, что больше не страдаю. Боль исчезла, как-то растаяла, растворилась. И я услышал голоса, четыре голоса, два диалога, но не мог разобрать слов. То это были неясные звуки, то до меня как будто доходило какое-то слово. Но я понял, что это просто усилившийся шум в ушах. Я не спал, я бодрствовал: я понимал, чувствовал, рассуждал ясно, глубокомысленно, с необычайной силой и легкостью ума, испытывая странное упоение оттого, что мои умственные способности удесятерились.

Это не была греза, как под действием гашиша, это не были болезненные видения, вызываемые опиумом; это было чудесное обострение мышления, новый способ видеть мир, судить о нем, оценивать жизненные явления и при всем этом уверенность, убежденное сознание, что этот способ и есть самый настоящий.

И вдруг в моем уме возник библейский образ. Мне представлялось, что я вкусил от древа познания, что все тайны раскрыты передо мною, настолько я находился во власти новой, своеобразной, неопровержимой логики. И доводы, умозаключения, доказательства так и толпились в моем уме, а на смену им, опровергая их, тотчас же приходили другие доводы, умозаключения, доказательства, еще более сильные. Моя голова стала полем битвы идей. А я становился высшим существом, вооруженным непобедимейшей способностью мышления, и я наслаждался безумной радостью от сознания своего могущества...

Это продолжалось долго-долго. Я все еще вдыхал эфир из горлышка пузырька. Вдруг я заметил, что он пуст. И это ужасно меня огорчило.

Четверо слушателей в один голос запросили:

— Доктор, скорее рецепт на литр эфира!

Но доктор надел шляпу и ответил:

— Ну, нет: пусть вас отравляют другие!

И он ушел.

Милостивые государыни, милостивые государи, неужели вашему сердцу ничего не скажут эти строки?

ИСПОВЕДЬ ЖЕНЩИНЫ

Друг мой, вы просили меня рассказать вам наиболее яркие воспоминания моей жизни. Я очень стара, и у меня нет ни родных, ни детей, следовательно, я вольна исповедаться перед вами. Только обещайте мне не раскрывать моего имени.

Меня много любили, вы это знаете, и я сама часто любила. Я была очень красива; я могу это сказать теперь, когда от красоты не осталось ничего. Любовь была для меня жизнью души, как воздух — жизнью тела. Я предпочла бы скорее умереть, чем жить без ласки, без чьей-либо мысли, постоянно занятой мною. Женщины нередко утверждают, что всей силой сердца любили только раз в жизни; мне же много раз случалось любить так безумно, что я даже не могла себе представить, чтобы моя страсть могла прийти к концу: тем не менее она всегда погасала естественным образом, подобно печи, которой не хватает дров.

Сегодня я расскажу вам о первом из моих приключений, в котором я была совершенно неповинна, но которое повлекло за собою все дальнейшие.

Ужасная месть этого отвратительного аптекаря из Пека напомнила мне жуткую драму, которой я была невольной участницей.

Всего год, как меня выдали замуж за богатого человека, графа Эрве де Кер, бретонца древнего рода, которого я, разумеется, не любила. Настоящая любовь

нуждается — так я, по крайней мере, полагаю — в свободе и одновременно в препятствиях. Разве любовь по обязанности, любовь, утвержденная законом и церковью,— это любовь? Поцелуй законный никогда не сравнится с поцелуем похищенным.

Муж мой был высокого роста, элегантен и с внешней стороны настоящий дворянин. Но он не был умен. Чересчур прямолинейный, он высказывал суждения, рубившие, как клинок. Чувствовалось, что ум его насыщен готовыми убеждениями, вложенными в него отцом и матерью, которые и сами приобрели их от своих предков. Он никогда не колебался, немедленно и с легкостью высказывая обо всем свое мнение, весьма при этом ограниченное, и не понимал, что могут существовать иные точки зрения. Чувствовалось, что это недалекий человек, что к нему не имеют доступа те идеи, которые обновляют и оздоровляют ум, подобно ветру, проникающему в дом сквозь раскрытые двери и окна.

Замок, в котором мы жили, находился в пустынной местности. Это было большое унылое строение, окруженное громадными деревьями; мох, покрывавший их, напоминал седые бороды старцев. Парк, настоящий лес, был окружен глубоким рвом, который называли «волчьей ямой», а на самом конце парка, на краю ланды, находились два больших пруда, заросших тростником и водорослями. Между ними на берегу соединявшего их ручья мой муж приказал выстроить небольшой шалаш для охоты на диких уток.

Кроме обычных домашних слуг, у нас были еще сторож, грубое животное, но до смерти преданный моему мужу, и горничная, страстно привязанная ко мне, почти что моя подруга. Лет за пять до того я привезла ее из Испании. Это был брошенный родителями ребенок. Темноглазая, со смуглым цветом лица, волосами, густыми, как лес, и постоянно растрепанными, она напоминала цыганку. В то время ей было шестнадцать лет, но на вид можно было дать двадцать.

Наступала осень. Мы охотились то у соседей, то у себя, и я обратила внимание на одного молодого человека, барона де С., который зачастил к нам в замок.

Затем он перестал приезжать, и я не вспоминала о нем, но заметила, что поведение мужа по отношению ко мне резко изменилось.

Он казался молчаливым, озабоченным, не целовал меня, и, несмотря на то, что он не входил более ко мне,— я пожелала иметь отдельную спальню, чтобы быть хоть немного одной,— я часто слышала по ночам осторожные шаги: они доходили до моей двери и через несколько минут удалялись.

Так как мое окно находилось в нижнем этаже, мне также часто казалось, будто кто-то бродит в темноте вокруг замка. Я сказала об этом мужу, он пристально поглядел на меня несколько секунд и ответил:

— Ничего, это сторож.

Однажды вечером, когда мы заканчивали обед, Эрве, казавшийся необычайно веселым, хотя веселость эта была притворной, спросил меня:

— Не желаете ли провести часика три в шалаше? Мы подстрелим лисицу, которая приходит каждую ночь поедать моих кур.

Я удивилась и задумалась, но так как он смотрел на меня со странной настойчивостью, я в конце концов ответила:

— Ну, разумеется, друг мой.

Надо вам сказать, что я не хуже мужчины охотилась на волков и кабанов. И предложение насчет шалаша было поэтому вполне естественным.

Но странно, что муж мой пришел вдруг в нервное состояние: он волновался весь вечер и был крайне возбужден, он то вскакивал с места, то снова садился. Около десяти часов он сказал мне:

— Вы готовы?

Я встала и, так как он сам принес мне мое ружье, спросила:

— Заряжать пулей или дробью?

Он удивился, затем ответил:

— О, одной дробью, этого будет достаточно, уверяю вас.

Затем спустя минуту добавил странным тоном:

— Вы можете похвалиться замечательным хладнокровием.

Я рассмеялась:

— Я? Почему? Хладнокровием, чтобы пойти и пристрелить лисицу? Что вам пришло в голову, друг мой?

И вот мы бесшумно двинулись к парку. Весь дом спал. Полная луна, казалось, окрашивала в желтый цвет старинное мрачное здание с блестевшей шиферной кровлей. На коньках двух башенок по обеим сторонам замка отражался свет луны, и ни малейший шум не нарушал тишины этой светлой и печальной, нежной и душной ночи; она казалась мертвой. Ни малейшего движения воздуха, ни кваканья лягушки, ни гуканья совы; над всем нависло мрачное оцепенение.

Когда мы очутились под деревьями парка, на меня повеяло свежестью и ароматом прелых листьев. Муж не говорил ни слова, но вслушивался, вглядывался, внюхивался, охваченный с головы до ног страстью охотника.

Мы скоро дошли до прудов.

Тростник, которым они заросли, не колыхался, ни малейший ветерок не ласкал его, но еле заметное движение иногда пробегало по воде. По временам на поверхности воды показывалась точка, и от нее разбегались легкие круги, подобно светящимся морщинам, которые расширялись без конца.

Когда мы дошли до шалаша, где должны были устроить засаду, муж пропустил меня вперед, затем не спеша зарядил свое ружье; сухое щелканье затвора произвело на меня странное впечатление. Он почувствовал, что я дрожу, и сказал:

— Может быть, этого испытания для вас уже достаточно? Тогда уходите.

Я ответила, изумившись до крайности:

— Нисколько. Я не для того явилась сюда, чтобы возвратиться ни с чем. Что с вами сегодня?

Он пробормотал:

— Как вам угодно.

И мы продолжали стоять неподвижно.

Прошло приблизительно полчаса, и, так как ничто

не нарушало тягостного покоя этой светлой осенней ночи, я спросила шепотом:

— Вполне ли вы уверены, что зверь пройдет именно здесь?

Эрве вздрогнул, точно я его укусила, и, прижав губы к моему уху, ответил:

— Вполне уверен.

И молчание возобновилось.

Кажется, я уже стала дремать, когда мой муж сжал мне руку, и его голос, шипящий, изменившийся, произнес:

— Видите его, там, под деревьями?

Как я ни вглядывалась, я ничего не различала. Эрве медленно вскинул ружье к плечу, пристально глядя мне в глаза. Я и сама приготовилась стрелять, и вот внезапно, в тридцати шагах от нас, показался озаренный луною человек, удалявшийся быстрыми шагами, согнувшись, как бы спасаясь бегством.

Я была так поражена, что громко вскрикнула; но прежде чем я успела обернуться, перед моими глазами вспыхнуло пламя, выстрел оглушил меня, и я увидела, что этот человек рухнул на землю, как волк, сраженный пулей.

Охваченная ужасом, обезумев, я пронзительно закричала, но рука взбешенного Эрве схватила меня за горло. Он повалил меня на землю, затем поднял своими сильными руками. Держа меня на весу, он подбежал к телу, распростертому на траве, и швырнул меня на него изо всей силы, точно хотел разбить мне голову.

Я почувствовала, что погибаю: он готовился убить меня. И он уже занес над моим лбом свой каблук, когда, в свою очередь, внезапно был схвачен и опрокинут, прежде чем я могла понять, что происходит.

Я быстро вскочила на ноги: на нем стояла на коленях Пакита, моя горничная; вцепившись в Эрве, подобно взбесившейся кошке, со сведенным судорогой лицом, вне себя, она рвала на нем бороду и усы, разрывала кожу на лице.

Затем, как бы внезапно охваченная другой мыслью, она вскочила и, упав на труп, сжала его в своих объятиях, целуя его глаза, рот, раскрывая своими губа-

ми мертвые губы, стараясь найти в них дыхание — высшая степень любовной ласки.

Поднявшись на ноги, муж смотрел на нее. Он понял все и, упав к моим ногам, воскликнул:

— О, прости, дорогая, я заподозрил тебя и убил любовника этой девушки! Сторож ввел меня в заблуждение.

Я же глядела на страшные поцелуи, которыми живая женщина осыпала мертвеца, слушала ее рыдания, видела порывы ее отчаявшейся любви.

И с этого момента я поняла, что буду изменять мужу.

ЛУННЫЙ СВЕТ

Г-жа Жюли Рубер поджидала свою старшую сестру, г-жу Генриетту Леторе, возвращавшуюся из путешествия по Швейцарии.

Супруги Леторе уехали около пяти недель тому назад. Генриетта предоставила мужу одному возвратиться в их имение Кальвадос, куда его призывали дела, а сама приехала в Париж провести несколько дней у сестры.

Наступал вечер. В небольшой, погруженной в сумерки гостиной, убранной в буржуазном вкусе, г-жа Рубер рассеянно читала, при малейшем шорохе поднимая глаза.

Наконец раздался звонок, и вошла сестра в широком дорожном платье. И сразу, даже не разглядев друг друга, они бросились в объятия, отрываясь друг от друга лишь для того, чтобы обняться снова.

Затем начался разговор, и пока г-жа Леторе развязывала вуаль и снимала шляпку, они справлялись о здоровье, о родных, о множестве всяких подробностей, болтали, не договаривая фраз, перескакивая с одного на другое.

Стемнело. Г-жа Рубер позвонила и приказала подать лампу. Когда зажгли свет, она взглянула на сестру, собираясь снова ее обнять, но остановилась, пораженная, растерянная, безмолвная. На висках г-жи Леторе она увидела две большие седые пряди. Волосы у нее были черные, блестящие, как вороново крыло, и только по обеим сторонам лба извивались как бы два

серебристых ручейка, тотчас же пропадавшие в темной массе прически. А ей не было еще двадцати четырех лет, и произошло это внезапно, после ее отъезда в Швейцарию. Г-жа Рубер смотрела на нее в изумлении, готовая зарыдать, как будто ее сестру поразило какое-то таинственное, ужасное несчастье.

— Что с тобой, Генриетта? — спросила она.

Улыбнувшись грустной, болезненной улыбкой, та ответила:

— Ничего, уверяю тебя. Ты смотришь на мою седину?

Но г-жа Рубер стремительно обняла ее за плечи и, пытливо глядя ей в глаза, повторяла:

— Что с тобой? Скажи, что с тобой? И если ты солжешь, я сейчас же почувствую.

Они стояли лицом к лицу, и в опущенных глазах Генриетты, смертельно побледневшей, показались слезы.

Сестра повторяла:

— Что случилось? Что с тобой? Отвечай же!

Побежденная этой настойчивостью, та прошептала:

— У меня... у меня любовник.

И, прижавшись лицом к плечу младшей сестры, она разрыдалась.

Когда она немного успокоилась, когда в ее груди стихли судорожные всхлипывания, она вдруг заговорила, как бы желая освободить себя от этой тайны, излить свое горе перед дружеским сердцем.

Держась за руки и сжимая их, женщины опустились на диван в темном углу гостиной, и младшая сестра, обняв старшую, прижав ее голову к своей груди, стала слушать.

— О, я не ищу для себя никаких оправданий, я сама себя не понимаю и с того дня совершенно обезумела. Берегись, малютка, берегись: если б ты знала, до чего мы слабы и податливы, как быстро мы падаем! Для этого достаточно какого-нибудь пустяка, малейшего повода, минуты умиления, внезапно налетевшего приступа меланхолии или потребности раскрыть

объятия, приласкаться, поцеловать, которая порой находит на нас.

Ты знаешь моего мужа и знаешь, как я его люблю; но он уж немолод, он человек рассудка, и ему непонятны все эти нежные, трепетные переживания женского сердца. Он всегда ровен, всегда добр, всегда улыбается, всегда любезен, всегда безупречен. О, как иной раз хотелось бы мне, чтоб он вдруг схватил меня в объятия, чтоб он целовал меня теми долгими сладостными поцелуями, которые соединяют два существа подобно немому признанию; как бы я хотела, чтобы и он почувствовал себя одиноким, слабым, ощутил бы потребность во мне, в моих ласках, в моих слезах! Все это глупо, но таковы уж мы, женщины. В этом мы не властны.

И, однако, мне ни разу не приходила мысль обмануть его. Теперь это произошло — и без любви, без повода, без смысла; только потому, что была ночь и над Люцернским озером сияла луна.

В течение месяца, как мы путешествовали вдвоем, мой муж подавлял во мне своим безмятежным равнодушием всякое проявление пылкой восторженности, охлаждал все мои порывы. Когда мы на заре в дилижансе, запряженном четверкой лошадей, мчались с горы, и когда я, увидя сквозь прозрачный утренний туман широкие долины, леса, реки, селения, в восторге хлопала в ладоши и говорила: «Как это прекрасно, мой друг, поцелуй меня!» — он слегка пожимал плечами и отвечал с добродушной и невозмутимой улыбкой:

— Ну, стоит ли целоваться потому только, что вам нравится вид местности?

Это обдавало меня холодом до глубины души. Мне кажется, что когда любишь, то хочется любить еще сильнее при виде всего прекрасного, что нас волнует.

Наконец бывали во мне и поэтические порывы, но он их тут же останавливал. Как бы тебе сказать? Я была похожа на котел, наполненный паром, но герметически закрытый.

Однажды вечером (мы жили уже четыре дня в одном из отелей Флюэлена) Робер, чувствуя легкий приступ мигрени, тотчас же после обеда поднялся к се-

бе в спальню, а я пошла в одиночестве прогуляться по берегу озера.

Ночь была сказочная. На небе красовалась полная луна; высокие горы с их снеговыми вершинами казались покрытыми серебром, волнистую поверхность озера бороздила легкая серебристая рябь. Мягкий воздух был напоен той расслабляющей теплотой, которая доводит вас до изнеможения и вызывает непонятную негу. Как восприимчива и отзывчива в такие мгновения душа, как быстро возбуждается она, как сильно чувствует!..

Я села на траву, глядела на это большое меланхолическое, очаровательное озеро, и что-то странное происходило во мне: я почувствовала неутолимую потребность любви и возмущение унылым однообразием моей жизни. Неужели я так никогда и не пройдусь под руку с возлюбленным по крутому берегу, озаренному луною? Неужели мне никогда не испытать тех долгих, бесконечно сладостных, сводящих с ума поцелуев, которые дарят друг другу в эти нежные ночи, как бы созданные самим богом для ласк? Неужели ни разу не обовьют меня страстные руки в светлом сумраке летнего вечера?

И я разрыдалась, как безумная.

Послышался шорох. За мною стоял мужчина и смотрел на меня. Когда я оглянулась, он узнал меня и подошел поближе:

— Вы плачете, сударыня?

Это был молодой адвокат; он путешествовал с матерью, и мы несколько раз с ним встречались. Его глаза нередко следили за мной!

Я была так потрясена, что не знала, что ответить, что придумать. Я поднялась и сказала, что мне нездоровится.

Он пошел рядом со мной с почтительной непринужденностью и заговорил о нашем путешествии. Он выражал словами все, что я чувствовала; все, что заставляло меня содрогаться, он понимал все так же, как я, лучше меня. И вдруг он стал мне читать стихи, стихи Мюссе. Я задыхалась, охваченная непередаваемым волнением. Мне казалось, что само озеро, горы, лунный свет пели что-то невыразимо нежное...

И это произошло, не знаю как, не знаю почему, в состоянии какой-то галлюцинации...

А он... с ним я свиделась только на следующий день, в момент отъезда.

Он дал мне свою карточку...

И г-жа Леторе в полном изнеможении упала в объятия сестры; она стонала, она почти кричала.

Сосредоточенная, серьезная, г-жа Рубер сказала с нежностью:

— Видишь ли, сестра, очень часто мы любим не мужчину, а самую любовь. И в тот вечер твоим настоящим любовником был лунный свет.

СТРАСТЬ

Спокойное море сверкало, еле колеблемое приливом, и весь Гавр смотрел с мола на входящие в порт суда.

Они были видны издали, и их было много: то большие пароходы, окутанные дымом, то влекомые почти невидимыми буксирами парусники с их голыми мачтами, походившими на деревья без сучьев и с ободранной корой.

Со всех концов горизонта спешили они к узкому устью мола, которое поглощало эти чудовища, а они стонали, рычали, свистели, выпуская клубы пара, как прерывистое дыхание.

Два молодых офицера прогуливались по молу, заполненному народом, они отдавали честь, отвечали на приветствия, иногда останавливались, чтобы кое с кем поболтать.

Вдруг один из них, который был повыше ростом, Поль д'Анрисель, сжал руку своего товарища, Жана Ренольди, и шепнул:

— Смотри, вот госпожа Пуансо: вглядись хорошенько, уверяю, что она строит тебе глазки.

Она шла под руку с мужем, богатым судовладельцем. Это была женщина лет под сорок, еще очень красивая, немного дородная, но благодаря этой миловидной полноте сохранившая свежесть двадцатилетнего возраста. В кругу друзей ее звали «богиней» за гордую осанку, за большие черные глаза, за благородство всей ее внешности. Она была безупречной; ни малейшее по-

Худ. Ш. Юар. 1904. «ДЯДЮШКА МИЛОН».

Худ. Ш. Юар. 1904. «СЛЕПОЙ».

дозрение ни разу не коснулось ее. На нее ссылались как на образец уважаемой, простой женщины, столь почтенной, что ни один мужчина не осмеливался мечтать о ней.

И вот уж целый месяц, как Поль д'Анрисель уверял своего друга Ренольди, что г-жа Пуансо нежно поглядывает на него.

— Будь уверен, я не ошибаюсь, — настаивал он. — Я прекрасно вижу: она любит тебя страстно, как целомудренная женщина, которая никогда не любила. Сорок лет — это критический возраст для порядочных женщин, если они чувственны; тут они сходят с ума и совершают безумства. Эта женщина уже поражена любовью, мой милый; она уже падает, как раненая птица, и упадет в твои объятия... Да вот она, смотри...

Навстречу им шла высокая женщина с двумя дочерьми, двенадцати и пятнадцати лет. Увидев офицера, она внезапно побледнела. Она устремила на него горящий, пристальный взор и, казалось, никого уже более не замечала вокруг себя: ни своих детей, ни мужа, ни толпы. Она ответила на поклон молодых людей, не опуская взора, в котором пылало такое пламя, что в голову лейтенанта Ренольди, наконец, закралось сомнение.

А друг его пробормотал:

— Я был в этом уверен. Убедился ты теперь? Она все еще лакомый кусочек, черт возьми!

Но Жана Ренольди вовсе не привлекала светская интрижка. Не будучи особенным охотником до любовных похождений, он прежде всего стремился к спокойной жизни и довольствовался теми случайными связями, которые всегда попадаются молодому человеку. Та сентиментальность, те знаки внимания и любви, которых требует хорошо воспитанная женщина, нагоняли на него тоску. Как бы ни были легки цепи, всегда налагаемые подобного рода приключениями, эти цепи пугали его. Он рассуждал так: «К концу месяца я буду сыт по горло, а следующие шесть месяцев придется терпеть из вежливости». Вдобавок его пугал самый разрыв с неиз-

бежными сценами, намеками, навязчивостью покинутой женщины.

Он избегал встреч с г-жой Пуансо.

Но вот как-то вечером он очутился рядом с нею за столом на званом обеде и беспрестанно ощущал на своем лице, в своих глазах, в самом сердце жгучий взгляд соседки; их руки встретились и почти невольно сомкнулись в пожатии. Это было уже началом связи.

Он снова встретился с ней, и опять-таки вопреки своему желанию. Он чувствовал, что его любят, он смягчался, охваченный чем-то вроде тщеславного сострадания к бурной страсти этой женщины. И он позволил себя обожать, продолжая быть только любезным и твердо надеясь остаться таким же и в своем чувстве.

Как-то она назначила ему свидание, чтобы, по ее словам, встретиться и свободно поболтать. Но она вдруг почувствовала себя дурно, упала в его объятия, и ему поневоле пришлось стать ее любовником.

Это тянулось полгода. Она любила его необузданной, захватывающей дух любовью. Порабощенная этой исступленной страстью, она ни о чем больше не помышляла; она отдалась ему целиком: тело, душу, доброе имя, положение, благополучие — все бросила она в это пламя своего сердца, как некогда бросали в жертвенный костер драгоценности.

А ему уже давным-давно все надоело, и он с сожалением вспоминал о своих легких победах красавца-офицера. Но он был связан, его удерживали, он чувствовал себя пленником. Она беспрестанно говорила ему:

— Я отдала тебе все; чего же тебе еще надо?

И ему ужасно хотелось ответить:

— Но ведь я ничего не требовал и прошу тебя: возьми обратно то, что ты мне дала.

Не беспокоясь о том, что ее могут заметить, ославить, погубить, г-жа Пуансо приходила к нему каждый вечер, все более и более воспламеняясь. Она бросалась к нему на шею, сжимала его в объятиях, замирала в пылких поцелуях, которые смертельно ему надоедали. Он говорил усталым голосом:

— Да ну же, будь благоразумна.

Она отвечала: «Я люблю тебя», — опускалась к его ногам и подолгу, с умилением любовалась им. В конце концов под этим упорным взглядом он выходил из себя и пытался поднять ее.

— Да сядь же, наконец, поговорим.

Она шептала: «Нет, оставь меня», — и продолжала сидеть у его ног в каком-то экстазе.

Он говорил своему другу д'Анриселю:

— Знаешь, я ее просто побью. Я не желаю больше, не желаю! Надо положить этому конец, и немедленно!

Затем добавил:

— Что ты мне посоветуешь?

Тот ответил:

— Порви с ней.

Ренольди, пожимая плечами, возразил:

— Тебе легко говорить. Ты думаешь, так просто разойтись с женщиной, которая изводит тебя вниманием, истязает услужливостью, преследует нежностью, заботится лишь о том, чтобы нравиться тебе, и виновна лишь в том, что отдалась тебе вопреки твоей воле?

Но вот в одно прекрасное утро стало известно, что полк переводится в другой гарнизон. Ренольди танцевал от радости. Он был спасен! Спасен без сцен, без криков! Спасен!.. Оставалось потерпеть только два месяца... Спасен!..

Вечером она вошла к нему, возбужденная более обычного. Она узнала ужасную новость. Не снимая шляпки, она схватила его за руки, нервно сжала их, смотря ему в глаза, и произнесла дрожащим, но твердым голосом:

— Ты уедешь, я знаю. В первый момент я пришла в отчаяние, но затем поняла, как должна поступить, и больше не колеблюсь. Я приношу тебе величайшее доказательство любви, какое только может дать женщина: я последую за тобой. Для тебя я брошу мужа, детей, семью. Я гублю себя, но я счастлива: мне кажется, что я снова отдаюсь тебе. Это моя последняя и величайшая жертва: я твоя навсегда!

Холодный пот выступил у него на спине, глухая, бешеная ярость, бессильный гнев охватили его. Однако он взял себя в руки; бесстрастным тоном, с неж-

ностью в голосе он отверг ее жертву, пытался ее успокоить, урезонить, дать ей понять ее безумие. Она слушала с презрительной усмешкой на губах, не возражая, глядя ему в лицо своими черными глазами. Когда же он умолк, она только спросила:

— Неужели ты окажешься подлецом, одним из тех, кто, обольстив женщину, затем бросает ее по первому капризу?

Он побледнел и пустился в рассуждения; он указал ей на неминуемые последствия подобного поступка, которые будут их преследовать до самой смерти: жизнь их будет разбита, общество закроет для них свои двери... Она упорно отвечала:

— Что за важность, когда любишь друг друга!

И вдруг он не выдержал:

— Ну, так нет же! Не хочу. Слышишь? Не хочу, запрещаю тебе.

И, срывая свою давнишнюю злобу, он выложил все, что было у него на душе.

— Довольно уж, черт возьми, ты любишь меня против моей воли! Недостает, чтоб я тебя еще увез. Благодарю покорно!

Она ничего не ответила, но по ее мертвенно-бледному лицу пробежала еле заметная болезненная судорога, как будто все нервы и мускулы ее сжались. И она ушла, не попрощавшись.

В ту же ночь она отравилась. В течение целой недели ее считали погибшей. В городе сплетничали, жалели ее, оправдывая ее поступок силой страсти: ведь чувства, доведенные до крайности и ставшие поэтому героическими, всегда заставляют простить то, что было бы в другом случае достойно осуждения. Женщина, которая себя убивает, перестает, так сказать, быть виновной в прелюбодеянии. И вскоре оказалось, что все осуждали и единодушно порицали лейтенанта Ренольди за отказ повидаться с г-жой Пуансо.

Рассказывали, что он ее бросил, изменил ей, бил ее. Полковник, почувствовав сострадание к ней, намекнул об этом своему офицеру. Поль д'Анрисель зашел к другу.

— Однако, черт возьми, мой милый, нельзя же доводить женщину до самоубийства: это подло.

Тот возмутился и заставил замолчать своего товарища, произнесшего слово *подлость*. Они дрались. Ренольди, к общему удовлетворению, был ранен и долго пролежал в постели.

Она узнала об этом и, предположив, что он дрался из-за нее, почувствовала к нему еще большую любовь. Но, прикованная к постели, она так и не увиделась с ним до ухода полка.

Ренольди жил уже три месяца в Лилле, когда однажды утром его посетила молодая дама, сестра его бывшей любовницы.

Не в силах преодолеть долгих страданий и отчаяния, г-жа Пуансо умирала. Она была обречена, безнадежна. Ей хотелось увидеться с ним один-единственный раз, прежде чем навсегда сомкнуть глаза.

Разлука и время дали успокоиться гневу и пресыщенности молодого человека; он смягчился, всплакнул и поехал в Гавр.

Она была, казалось, в агонии. Их оставили наедине, и тут, у постели умирающей, которую он невольно убил, его охватил приступ ужасной скорби. Он рыдал, осыпал ее нежными, страстными поцелуями, какими никогда раньше не целовал. Он лепетал:

— Нет, нет, ты не умрешь, ты выздоровеешь, мы будем любить друг друга... любить... вечно...

Она шептала:

— Правда ли это? Ты меня любишь?

И он, охваченный отчаянием, давал ей клятвы, обещал ждать ее выздоровления и, полный жалости, долго целовал исхудавшие руки бедной женщины, сердце которой лихорадочно билось. На следующий день он возвратился в свой гарнизон.

Через шесть недель г-жа Пуансо приехала к нему, до неузнаваемости постаревшая и влюбленная сильнее прежнего.

Он растерялся и принял ее. А затем, так как они жили вдвоем, словно люди, соединенные законом, тот самый полковник, который когда-то вознегодовал на него за то, что он ее покинул, возмутился этими неподобающими отношениями, не совместимыми с добрым примером, который обязаны подавать в полку офицеры. Полковник предупредил своего подчиненного, затем

стал с ним резок, и Ренольди подал в отставку. Они поселились в вилле, на берегу Средиземного моря, классического моря влюбленных.

Прошло еще три года. Она поседела. Ренольди, покорившийся игу, был порабощен и свыкся с этой упорной любовью.

Он считал себя человеком конченым, погибшим. Надежда на будущее, какая бы то ни было карьера, чувство удовлетворенности или радости — все это отныне было ему заказано.

И вот однажды утром ему подали карточку: «Жозеф Пуансо, судовладелец. Гавр». Муж! Муж, который дотоле молчал, понимая, что нельзя бороться с безнадежным упорством женщины. Что ему было нужно?

Г-н Пуансо дожидался в саду, отказавшись войти в дом. Он вежливо поклонился, не захотел даже сесть на скамью в одной из аллей и заговорил обстоятельно, не торопясь.

— Я приехал сюда, сударь, не для того, чтобы упрекать вас; я слишком хорошо знаю, как все произошло. Надо мною... над нами... тяготело... нечто... вроде... злого рока. Я никогда не потревожил бы вас в вашем уединении, если бы не изменившиеся обстоятельства. У меня две дочери, сударь. Одна из них, старшая, любит одного молодого человека и любима им. Но семья этого юноши противится браку, ссылаясь на положение... матери моей дочери. Во мне нет ни гнева, ни злобы, но я обожаю своих детей, сударь. И вот я приехал просить вас возвратить мне мою... мою жену; надеюсь, что теперь она согласится вернуться ко мне... к себе. Со своей стороны, я сделаю вид, что забыл все, ради... ради моих дочерей.

У Ренольди сильно забилось сердце, его охватил необузданный восторг, как приговоренного к смерти при известии о помиловании.

Он пробормотал:

— Да, да... конечно, сударь... я сам... верьте мне... без сомнения... это справедливо, вполне справедливо...

Ему хотелось схватить руки этого человека, сжать его в объятиях, расцеловать в обе щеки.

Он продолжал:

— Войдите же. Вам будет удобнее в гостиной, я позову ее.

На этот раз г-н Пуансо не противился и сел.

Ренольди взбежал по лестнице, постарался успокоиться перед дверью и вошел к любовнице совершенно спокойно.

— Тебя просят сойти вниз,— сказал он,— хотят что-то сообщить по поводу твоих дочерей.

Она поднялась:

— Моих дочерей? Что? Что именно? Не умерли же они?

Он ответил:

— Нет, но создалось серьезное положение, которое ты одна можешь разрешить.

Дальше она не слушала и быстро спустилась по лестнице.

Сильно взволнованный, он бросился в кресло и стал ждать.

Прождал он долго, очень долго. Затем, когда до него снизу донеслись гневные голоса, он решил спуститься.

Г-жа Пуансо, раздраженная до крайности, готовилась уйти, а муж удерживал ее за платье, повторяя:

— Поймите же, вы губите наших дочерей, своих дочерей, наших детей!

Она упорно отвечала:

— Я не вернусь к вам.

Потрясенный Ренольди понял все, выступил вперед и спросил шепотом:

— Как? Она отказывается?

Она повернулась в его сторону и, стесняясь говорить с ним на «ты» в присутствии законного супруга, сказала:

— Знаете, о чем он меня просит? Он требует, чтобы я вернулась к нему, под его кров!

И она усмехнулась с безграничным пренебрежением к этому человеку, который упрашивал ее чуть ли не на коленях.

Тогда Ренольди с решимостью человека, доведенного до отчаяния и ставящего на карту последнюю ставку, в свою очередь, заговорил в защиту бедных девушек, мужа и самого себя. Когда он прервал свою

речь, подыскивая какой-нибудь новый довод, то г-н Пуансо, уже исчерпавший все средства убеждения, пробормотал, машинально обратившись к ней на «ты» по старой привычке:

— Послушай, Дельфина, подумай о своих дочерях.

Окинув их обоих взглядом величайшего презрения, она бросилась к лестнице, выкрикнув:

— Вы оба — негодяи!

Оставшись наедине, они переглянулись, одинаково удрученные, убитые горем. Г-н Пуансо поднял свою упавшую шляпу, стряхнул рукою пыль с колен и, прощаясь с Ренольди, провожавшим его до двери, произнес в полном отчаянии:

— Мы с вами очень несчастливы, сударь!

И, тяжело шагая, удалился.

ПЕРЕПИСКА

Госпожа де Х..... госпоже де Z...

Этрета, пятница

Дорогая тетушка!

Я потихоньку еду к вам. Во Френе буду второго сентября, накануне открытия охоты, которую ни за что не хочу пропустить, назло этим господам. Вы, тетушка, чересчур добры, если разрешаете им в такой день, оставаясь с ними одна, обедать не во фраке и не бриться под предлогом усталости после охоты.

Поэтому-то они и в восторге, когда меня нет. Но я приеду и произведу в час обеда генеральский смотр. И если хоть один будет одет сколько-нибудь небрежно, я его пошлю на кухню обедать с горничными.

В наши дни мужчины так мало соблюдают приличия и светские манеры, что надо всегда держать их в строгости. Положительно настало царство грубиянов. Ссорясь друг с другом, они ругаются, как извозчики, и держат себя в нашем присутствии куда хуже лакеев. Надо видеть их на морских купаниях. Они съезжаются туда целыми батальонами, и там можно составить о них всех полное представление. О, какие это мужланы!

Представьте себе, что в вагоне железной дороги один из них, господин на первый взгляд довольно приличный (благодаря своему портному), незаметно снял с себя ботинки и заменил их туфлями. Другой, уже старик, должно быть, богатый выскочка (эти уж совсем

невоспитанные), сидя против меня, осторожненько водрузил обе ноги на скамью рядом со мною. И это считается допустимым.

На курортах — разгул грубости. Следует, однако, добавить: быть может, мое возмущение вызывается тем, что я не привыкла общаться с людьми, с которыми здесь сталкиваешься. Этот сорт мужчин поражал бы меня меньше, если бы я чаще встречалась с ним.

В бюро отеля меня чуть не сбил с ног молодой человек, который брал свой ключ через мою голову. Другой, выходя после бала из казино, так сильно толкнул меня, что у меня заболела грудь; а он даже не извинился, даже не приподнял шляпы. Вот каковы они все. Взгляните, как они на террасе подходят к дамам: они едва им кланяются. Они просто подносят руку к своему головному убору. Впрочем, так как они все лысы, то это, пожалуй, и лучше.

Но что раздражает и шокирует меня больше всего,— это свобода, с которой они публично, без стеснения, говорят о самых возмутительных своих похождениях. Стоит сойтись двум мужчинам, как они начинают рассказывать друг другу поистине ужасные вещи, употребляя самые неприличные выражения, самые гнусные слова, нимало не беспокоясь о том, что где-нибудь вблизи могут оказаться женские уши. Вчера на морском берегу мне пришлось пересесть, чтобы не оставаться невольной слушательницей непристойного анекдота, который передавался со столь грубыми подробностями, что я почувствовала себя и оскорбленной и возмущенной тем, что могла услышать подобную мерзость. Разве самая элементарная благопристойность не должна была бы научить их говорить потише о таких вещах вблизи нас?

Этрета, кроме того,— страна злословия, а следовательно,— родина кумушек. С пяти до семи часов мы видим, как они шмыгают в поисках всяких сплетен, которые затем передаются от одной группы к другой. Вы всегда говорили мне, дорогая тетушка, что сплетня — это достояние мелких людей и мелких умишек. Она же служит утехой женщин, которых больше не любят, за которыми больше не ухаживают. Достаточно мне взглянуть на тех, которых считают главными

сплетницами, чтобы убедиться в том, что вы не ошибаетесь.

Как-то на днях я была в казино на музыкальном вечере одной замечательной артистки, г-жи Массон, которая действительно поет очаровательно. Я имела удовольствие аплодировать восхитительному Коклену и двум очаровательным артисткам Водевиля, М... и Мейле. Здесь же я увидела и всех приезжих, съехавшихся в нынешнем году на купание. Это люди не очень высокой марки.

На другой день я поехала завтракать в Ипор. Я обратила внимание на бородатого мужчину, который выходил из большого дома, похожего на крепость. Оказалось, что это художник Жан-Поль Лоранс. Ему, по-видимому, недостаточно замуровывать своих героев, он замуровал и самого себя.

Затем мне случилось как-то сидеть на валуне рядом с молодым еще мужчиной; у него была приятная и изящная наружность, спокойные манеры, он был увлечен чтением стихов; читал он их с таким вниманием, с таким страстным, сказала бы я, чувством, что ни разу не взглянул на меня. Я была несколько задета и с напускным равнодушием осведомилась у старшего сторожа о фамилии этого господина. В глубине души я подсмеивалась над этим любителем рифм; он казался мне отсталым для мужчины. Это, думалось мне, наверное, какой-нибудь простачок. И вот, тетушка, сейчас я без ума от моего незнакомца. Представьте себе: его зовут Сюлли-Прюдом. Я возвратилась и снова села рядом с ним, чтобы хорошенько рассмотреть его. Характерные черты его внешности — спокойствие и изящество. К нему подошли, и я услышала его голос, нежный почти робкий. Вот уж кто, наверное, не станет публично говорить грубости и толкать людей, не извиняясь! Какой это, должно быть, деликатный человек, даже болезненно-деликатный и исключительно чуткий. Я постараюсь нынче зимой, чтобы мне его представили.

Вот и все новости, дорогая тетушка, и я спешу проститься с вами, так как близится час отправки почты. Целую ваши руки и щеки.

Преданная вам племянница

Берта де Х...

P. S. А все-таки я должна добавить, в оправдание французской вежливости, что наши соотечественники во время путешествий — это еще образец хорошего тона в сравнении с ужасными англичанами, которые кажутся конюхами по своему воспитанию, до того они стараются ни в чем не стеснять себя и постоянно беспокоить своих соседей.

Госпожа де Z..... госпоже де X.....

Френ, суббота

Дорогая малютка, ты сообщаешь мне немало вполне разумных вещей, что, однако, не мешает тебе ошибаться. Подобно тебе, и я некогда возмущалась тем, что мужчины невежливы и что, как я полагала, они не уделяют мне должного внимания; но с годами, размышляя обо всем, переставая быть кокетливой, беспрестанно наблюдая, я пришла к следующему выводу: если мужчины не всегда вежливы, то женщины, наоборот, всегда невыразимо грубы.

Мы думаем, что нам все дозволено, моя дорогая, и считаем, что все люди нам обязаны, сами же совершаем с легким сердцем поступки, лишенные того самого элементарного приличия, о котором ты так страстно говоришь.

Теперь, напротив, я нахожу, что мужчины уделяют нам много внимания, сравнительно с тем, как мы обращаемся с ними. В конце концов, малютка, мужчины должны быть и бывают такими, какими делаем их мы. В обществе, где все женщины были бы настоящими светскими дамами, все мужчины превратились бы в джентльменов.

Итак, понаблюдай и поразмышляй.

Взгляни на двух женщин, встретившихся на улице: что за позы, что за критикующие взгляды, что за презрение в глазах! Чего стоит это движение головы сверху вниз, чтобы смерить тебя и осудить! И если тротуар слишком узок, не воображаешь ли ты, что какая-нибудь из них даст тебе дорогу или извинится? Никогда! Если двое мужчин сталкиваются в узком переулке, оба раскланиваются и уступают дорогу одновремен-

но, ну, а мы, женщины, сталкиваемся грудь с грудью, нос к носу, нахально разглядывая друг друга.

Взгляни на двух знакомых между собой женщин, встретившихся на лестнице, у дверей приятельницы; одна из них только выходит от нее, другая — собирается войти. Они начинают болтать, загораживая всю ширину прохода. Если кто-нибудь поднимается вслед за ними, мужчина или женщина,— не воображаешь ли ты, что они отодвинутся хоть на шаг? Ни за что! Ни за что!

Прошлой зимой я прождала двадцать две минуты, с часами в руках, у дверей одного салона. Тут же ждали двое мужчин, но в отличие от меня они не собирались приходить в бешенство. Потому что они с давних пор приучены к нашим бессознательно наглым выходкам.

В другой раз, перед отъездом из Парижа, я отправилась обедать, как раз с твоим мужем, в один из ресторанов Елисейских Полей, чтобы подышать свежим воздухом. Все столики были заняты. Гарсон попросил нас подождать.

Я заметила одну пожилую даму благородной внешности, только что расплатившуюся по счету и, по-видимому, собиравшуюся уходить. Она увидела меня, смерила с головы до ног и не двинулась с места. Прошло более четверти часа, а она все продолжала неподвижно сидеть, натягивая перчатки, оглядывая столы, спокойно посматривая на тех, кто ждал, подобно мне. Но вот двое молодых людей, кончавших обедать, увидев меня, спешно подозвали гарсона, расплатились и тотчас же предложили мне свое место, объявив даже, что подождут сдачу стоя. И подумай, моя красавица, что я уж больше не прекрасна, как ты, а старуха с седыми волосами.

Вот видишь, именно нас следовало бы поучить вежливости, но труд этот был бы так тяжел, что сам Геркулес не справился бы с ним.

Ты рассказываешь мне об Этрета и о людях, которые сплетничают на этом милом берегу. Это местечко для меня больше не существует, но когда-то я весело проводила в нем время.

Нас было там немного: несколько светских людей,

настоящих светских людей, и общавшихся с нами художников. В то время не занимались сплетнями.

А так как у нас не было этого глупого казино, где выставляют себя напоказ, перешептываются, занимаются пошлыми танцами и до одури скучают, то мы изыскивали способы весело проводить вечера. И вот отгадай, что выдумал один из наших мужей? — Ходить каждую ночь плясать на одну из окрестных ферм.

Мы отправлялись целой гурьбой с шарманкой, на которой обыкновенно играл художник Ле Пуатвен с бумажным колпаком на голове. Двое мужчин несли факелы. Это было настоящее шествие, и мы смеялись и болтали, как сумасшедшие.

Будили фермера, служанок, батраков. Заказывали даже луковый суп (о, ужас!) и плясали под яблонями под шарманку. В курятниках пели разбуженные петухи, в конюшнях топтались лошади на своих подстилках. Свежий деревенский ветерок, насыщенный ароматом трав и сжатых хлебов, ласкал нам щеки.

Как все это далеко! Как далеко! Тридцать лет прошло с тех пор!

Мне не хочется, дорогая, чтобы ты приехала к началу охоты. Зачем отравлять радость нашим друзьям, заставляя их в этот день грубоватого сельского развлечения облачаться в светские костюмы? Так-то вот и портят мужчин, моя малютка.

Целую тебя.

Твоя старая тетка

Женевьева де Z...

ПЛУТНЯ

— Это женщины-то?

— Ну, и что же? Что — женщины?

— А вот что: нет более искусных фокусников, которые сумели бы провести нас по любому случаю, с тем или иным умыслом или без всякого умысла, и нередко обмануть из одного только удовольствия. И они обманывают с невероятной простотой, с поразительной смелостью, с неоспоримой тонкостью. Они плутуют с утра до вечера, и все решительно, все, вплоть до самых честных, самых правдивых, самых умных.

Добавлю, что иной раз их к этому вынуждают. Мужчина всегда упрям, как дурак, и прихотлив, как тиран. У себя дома муж ежеминутно нелепо капризничает. Он полон вздорных причуд; обманывая, жена лишь потворствует им. Она уверяет его, что та или иная вещь стоит столько-то, так как он завопил бы, если бы она стоила дороже. И обычно она ловко выпутывается из беды с помощью таких легких и хитроумных средств, что мы руками разводим, когда случайно обнаруживаем обман. И в изумлении спрашиваем себя: «Да как же это мы не заметили?»

Говорил это бывший министр империи, граф Л..., по слухам, большой повеса и человек выдающегося ума.

Группа молодежи слушала его.

Он продолжал:

— Меня обманула смешным, но и поучительным образом одна скромная мещаночка. Я расскажу эту историю вам в назидание.

Я был тогда министром иностранных дел и имел привычку подолгу гулять каждое утро по Елисейским Полям. Дело было весной, и я прохаживался, жадно вдыхая чудный аромат первой листвы.

Вскоре я заметил, что ежедневно встречаю прелестную женщину, одно из тех поразительных и грациозных созданий, что носят на себе отпечаток Парижа. Была ли она красива? И да и нет. Хорошо ли сложена? Нет, лучше того. Пусть ее талия была слишком тонка, плечи слишком прямы, грудь слишком выпукла, но я предпочитаю таких прелестных пухленьких куколок крупному остову Венеры Милосской.

К тому же они неподражаемо семенят ножками, и одно только подрагивание их турнюра вызывает в нас страстные вожделения. Казалось, будто она мимоходом меня оглядывает. Но в подобных женщинах мало ли что покажется, и никогда нельзя быть ни в чем уверенным...

Однажды утром я увидел, что она сидит на скамье с раскрытой книгою в руках. Я поспешил сесть рядом с нею. Не прошло и пяти минут, как мы подружились. В последующие дни после сопровождаемого улыбкой приветствия: «Добрый день, сударыня», «Добрый день, сударь» — завязывалась беседа. Она рассказала мне, что замужем за чиновником, что жизнь ее уныла, что развлечений мало, а забот много, и так далее.

Я сказал ей, кто я такой; это вышло случайно, а быть может, из тщеславия: она весьма удачно притворилась удивленной.

На другой день она зашла ко мне в министерство и стала затем приходить так часто, что курьеры, узнав, кто она такая, сообщали друг другу при ее появлении имя, которым ее окрестили: «Мадам Леон». Так зовут меня.

Я встречался с ней ежедневно, по утрам, в течение трех месяцев, ни на минуту не пресытившись ею, так умела она разнообразить и обострять свои ласки. Но однажды я заметил в ее глазах страдальческое выра-

жение и блеск от сдерживаемых слез, заметил, что она еле говорит, охваченная какой-то скрытой тревогой.

Я просил, заклинал ее поведать мне причину беспокойства, и в конце концов она, вздрагивая, пролепетала:

— Я... я беременна.

И разрыдалась. О, я скорчил ужасную гримасу и, надо полагать, побледнел, как обычно бледнеют при таких известиях. Вы и не представляете себе, какой неприятный удар в грудь получаешь при сообщении о подобном нежданном отцовстве. Но рано или поздно вы познаете все это. Я пролепетал:

— Но... но... ведь ты же замужем, не так ли?

Она ответила:

— Да, но муж месяца два как в Италии и еще долго не возвратится.

Я хотел во что бы то ни стало избавиться от ответственности. Я сказал:

— Надо сейчас же ехать к нему.

Она покраснела до корней волос и, опустив глаза, ответила:

— Да... но...

Она не решалась или не хотела договорить.

Я понял и деликатно вручил ей конверт с деньгами на путевые расходы.

Неделей позже она прислала мне письмо из Женевы. На следующей неделе я получил письмо из Флоренции. Затем из Ливорно, Рима, Неаполя. Она писала мне: «Я чувствую себя хорошо, дорогой мой, любимый, но выгляжу ужасно. Не хочу показываться тебе на глаза, пока все это не кончится; ты меня разлюбишь. Муж ничего не подозревает. Командировка удержит его в этой стране еще надолго, и я возвращусь во Францию только после родов».

Приблизительно в конце восьмого месяца я получил из Венеции только два слова: «Это мальчик».

Несколько позже, как-то утром, она стремительно вошла в мой кабинет, свежее и красивее, чем когда-либо, и бросилась в мои объятия.

И наша былая любовь возобновилась.

Я покинул министерство. Она стала приходить в мой особняк на улице Гренелль. Она часто говорила со

мной о ребенке, но я еле слушал ее: это меня не касалось. По временам я вручал ей довольно крупную сумму, говоря только:

— Положи это на его имя.

Прошло еще два года, и все чаще и настойчивее заговаривала она со мной о мальчике, о Леоне. Иногда она плакала:

— Ты не любишь его; не хочешь даже повидать его; если бы ты знал, какое горе ты мне этим причиняешь!

Наконец она до того извела меня, что однажды я обещал ей пойти на следующий день на Елисейские Поля, в тот час, когда она поведет гулять сына.

Но в тот момент, когда мне надо было идти, меня удержал страх. Человек слаб и глуп; кто знает, что произойдет в моем сердце? А вдруг я полюблю это маленькое существо, рожденное от меня, моего сына?

Я стоял в шляпе, с перчатками в руках. Я кинул перчатки на письменный стол и шляпу на кресло: «Нет, решено, не пойду, это будет благоразумнее».

Дверь распахнулась. Вошел мой брат. Он протянул мне полученное утром анонимное письмо: «Предупредите графа Л..., вашего брата, что дамочка с улицы Кассет нагло издевается над ним. Пусть-ка он наведет о ней справки».

Я никогда никому не говорил об этой давнишней любовной связи. Я был поражен и рассказал брату все, с начала до конца, добавив:

— Я лично не хочу этим заниматься, но будь ты так любезен, пойди и разузнай.

Когда мой брат ушел, я подумал: «В чем же она могла меня обманывать? Имеет другого любовника? А какое мне дело? Она молода, свежа, красива; ничего большего от нее я и не требую. Она, по-видимому, любит меня и в конце концов не слишком дорого мне обходится. Право, ума не приложу».

Мой брат возвратился быстро. В полиции ему сообщили прекрасные сведения о муже. «Чиновник министерства внутренних дел, корректен, на хорошем счету, благонадежен, но женат на очень красивой женщине, издержки которой, кажется, не вполне

соответствуют его скромному положению». Вот и все.

Тогда брат мой разыскал ее квартиру и, узнав, что ее нет дома, развязал деньгами язык привратнице.

— Госпожа Д... — прекрасная дама, и муж ее — прекрасный человек; не богаты, но и не мелочны.

Брат спросил, чтобы сказать что-нибудь:

— Сколько теперь лет ее маленькому сыну?

— Да у ней вовсе нет сына, сударь.

— Как нет? А маленький Леон?

— Нет, сударь, вы ошибаетесь.

— Тот, который родился у нее во время ее путешествия по Италии, года два тому назад?

— Она никогда не бывала в Италии, сударь, и не покидала этого дома в течение всех пяти лет, что проживает здесь.

Мой брат, пораженный, продолжал расспрашивать, выведывать, вести дальше свои расследования. Ни ребенка, ни путешествия не оказалось.

Я был чрезвычайно удивлен, но не понимал конечного смысла всей этой комедии.

— Я хочу вполне удостовериться и успокоиться. Я попрошу ее прийти сюда завтра. Прими ее вместо меня; если она меня обманула, вручи ей эти десять тысяч франков, и больше я с ней не увижусь. Да и на самом деле все это начинает мне надоедать.

Поверите ли, всего лишь накануне сознание, что у меня есть ребенок от этой женщины, приводило меня в отчаяние, теперь же я был раздражен, пристыжен, оскорблен тем, что его у меня уже нет. Я оказался свободным, избавленным от всяких обязательств и беспокойств и, тем не менее, приходил в бешенство.

На другой день мой брат поджидал ее в моем кабинете. Она вошла, по обыкновению оживленная, подбежала к нему с раскрытыми объятиями и остановилась, разглядев его.

Он поклонился и извинился:

— Прошу извинения, сударыня, что нахожусь здесь вместо моего брата, но он поручил мне попросить у

вас объяснений, лично получить которые ему было бы тяжело.

Затем, глядя ей в глаза, он резко произнес:

— Нам известно, что у вас не было от него ребенка.

После первого изумления она овладела собой, села, улыбнувшись, взглянула на своего судью и спокойно ответила:

— Да, у меня нет ребенка.

— Нам известно также, что вы никогда не бывали в Италии.

На этот раз она рассмеялась от всей души:

— Да, я никогда не бывала в Италии.

Мой брат, ошеломленный, продолжал:

— Граф поручил мне передать вам эти деньги и сказать вам, что все кончено.

Она снова сделалась серьезной, спокойно сунула деньги в карман и простодушно спросила:

— Значит... я больше не увижу графа?

— Нет, сударыня.

Это, видимо, раздосадовало ее, и она совершенно спокойно добавила:

— Тем хуже: я его очень любила.

Видя, что она так быстро примирилась с судьбой, мой брат, улыбнувшись, спросил ее, в свою очередь:

— Скажите мне теперь, для чего вы придумали всю эту долгую и сложную плутню с путешествием и ребенком?

Она удивленно взглянула на моего брата, как будто он задал глупый вопрос, и ответила:

— Ах, это просто хитрость! Уж не полагаете ли вы, что бедная, ничтожная мещаночка, вроде меня, способна была бы в течение трех лет удерживать графа Л..., министра, важного господина, светского человека, богатого и обольстительного, если бы она чем-нибудь не привязывала его к себе? Теперь все кончено. Тем хуже. Вечно так быть не могло. Но в продолжение трех лет мне все же удавалось удержать его. Передайте ему мой искренний привет.

Она поднялась. Мой брат продолжал спрашивать:

— Ну, а... ребенок? Он был у вас подставной?

— Конечно, ребенок моей сестры. Она давала его

мне на время. Держу пари, что это она вам выдала меня.

— Хорошо, а все эти письма из Италии?

Она снова села, чтобы вволю посмеяться.

— О, эти письма, это целая поэма. Ведь недаром же граф был министром иностранных дел.

— Ну... а дальше?

— Дальше — это мой секрет. Я никого не хочу компрометировать.

И, поклонившись, с несколько насмешливой улыбкой, она вышла, ничуть не смущаясь, подобно актрисе, роль которой окончилась.

И граф Л... добавил в виде нравоучения:

— Вот и доверяйте подобным птичкам.

ИВЕЛИНА САМОРИС

— Это графиня Саморис.

— Та дама в черном?

— Та самая; она носит траур по дочери, которую убила.

— Полноте! Что вы мне рассказываете?

— Самую обыкновенную историю, без всяких злодейств и насилий.

— Что же произошло?

— Да почти ничего. Говорят же, что большинство куртизанок родилось, чтобы быть честными женщинами, а многие так называемые честные женщины,— чтобы быть куртизанками, не так ли? Так вот, у госпожи Саморис, прирожденной куртизанки, была дочь, прирожденная честная женщина, вот и все.

— Я что-то плохо понимаю.

— Сейчас объясню. Графиня Саморис — это одна из тех поддельных иностранок, которые ежегодно наводняют Париж. Венгерская или валашская графиня, или что-то в этом роде, она появилась как-то зимой в одном из апартаментов на Елисейских Полях, в этом квартале авантюристов, и распахнула двери своих гостиных перед первыми встречными.

Я пошел туда. Чего ради, спросите вы. Да сам не знаю. Пошел, как ходят туда все, потому что там играют в карты, потому что женщины там доступны, а мужчины бесчестны. Вам известен этот мир проходимцев, украшенных всевозможными орденами: все они благо-

родного происхождения, все титулованные и все неизвестны посольствам, за исключением разве шпионов. Все они по малейшему поводу начинают толковать о чести, перечислять предков, рассказывать о своей жизни. Это хвастуны, лгуны, мошенники, которые обманывают вас, как их имена, и опасны, как их карты, словом — аристократия каторги.

Я обожаю таких людей. Интересно их разгадывать, интересно с ними знакомиться, забавно их слушать, они часто умны и никогда не бывают банальны, подобно чиновникам. Их женщины всегда красивы, с каким-то налетом чужеземного плутовства, с несколько загадочным прошлым, ибо жизнь их наполовину, быть может, прошла в исправительном доме. Обычно у них великолепные глаза и фальшивые волосы. Я их также обожаю.

Госпожа Саморис — типичная авантюристка, элегантная, несмотря на зрелый возраст, все еще красивая, обаятельная, вкрадчивая; чувствуется, что она порочна до мозга костей. В ее доме веселились, играли в карты, танцевали, ужинали... словом, занимались всеми светскими развлечениями.

И у нее была дочь, высокая, великолепно сложенная, жизнерадостная, всегда готовая веселиться, всегда смеявшаяся от души и танцевавшая до упаду. Истая дочь авантюристки. Но это была невинная и наивная девушка; она пребывала в полном неведении, ничего не замечала, ничего не понимала и совсем не догадывалась о том, что происходило в родительском доме.

— Откуда вы это знаете?

— Откуда знаю? Это и есть самое интересное. Однажды утром ко мне позвонили, и мой камердинер доложил, что меня хочет видеть господин Жозеф Боненталь. Я тотчас же спросил:

— Кто он такой?

Слуга ответил:

— Не знаю, сударь, но, должно быть, лакей.

Это был действительно лакей, желавший поступить ко мне на службу.

— У кого вы служили перед этим?

— У графини Саморис.

— А! Но ведь мой дом совсем не то, что ее.

— Я это знаю, сударь, и поэтому хочу поступить к вам, довольно с меня этих людей; туда еще можно иногда заглядывать, но оставаться там нельзя.

Мне как раз нужен был человек, и я принял его.

Месяц спустя таинственным образом умерла м-ль Ивелина Саморис.

Вот подробности этой смерти, которые я узнал от Жозефа, а он — от своей приятельницы, камеристки графини.

Как-то вечером, на балу, двое вновь прибывших гостей разговаривали, стоя за дверью. М-ль Ивелина, только что танцевавшая, прислонилась к этой двери, чтобы подышать свежим воздухом. Они не видели, как она подошла, но она услыхала их разговор. Они говорили:

— Кто же отец этой девушки?

— Какой-то русский, кажется, граф Рувалов. Он больше не бывает у матери.

— А кто тут сейчас царствует?

— Вон тот английский принц, что стоит у окна; госпожа Саморис его обожает. Но это обожание никогда не длится больше месяца или шести недель. Впрочем, как видите, персонал друзей многочислен; все званы, и... почти все избраны. Обходится это несколько дорого, но...

— Кому она обязана фамилией Саморис?

— Тому единственному человеку, которого она, быть может, любила, берлинскому банкиру-еврею, его звали Самуил Моррис.

— Так. Благодарю вас. Теперь вы меня просветили, мне все ясно. И я буду действовать напрямик.

Какая буря разразилась в голове молодой девушки, одаренной всеми инстинктами честной женщины? Какое отчаяние потрясло эту простую душу? Какие пытки погасили это непрестанное веселье, этот чарующий смех, эту ликующую жизнерадостность? Какую борьбу выпесло это юное сердце, пока не удалился последний гость? Вот чего не мог сказать Жозеф. Но в тот же вечер Ивелина неожиданно вошла в спальню матери, которая готовилась лечь в постель, отослала горничную, оставшуюся подслушивать за дверью, и,

стоя, бледная, с широко раскрытыми глазами, произнесла:

— Мама, вот что я только что услыхала в гостиной.

И передала слово в слово разговор, о котором я вам говорил.

Пораженная графиня сначала не нашлась, что ответить. Затем стала решительно все отрицать, придумала какую-то историю, клялась, призывала в свидетели бога.

Молодая девушка ушла от нее растерянная, но не убежденная. И с тех пор начала следить.

Я прекрасно помню, что в ней произошла странная перемена. Сосредоточенная и печальная, она устремляла на нас пристальный взгляд, как бы читая в глубине наших сердец. Мы не знали, чем это объяснить, и решили, что она ищет себе мужа, постоянного или временного.

Однажды вечером она перестала сомневаться; она застала мать врасплох. Тогда хладнокровно, тоном делового человека, излагающего условия договора, она сказала:

— Вот что я решила, мама. Мы уедем с тобой в какой-нибудь городок или в деревню; мы будем жить там как можно скромней. Одни твои драгоценности — уже целое состояние. Если тебе удастся выйти замуж за порядочного человека, тем лучше; еще лучше, если и мне это удастся. Если же ты не согласишься на это, я покончу с собой.

На этот раз графиня приказала дочери лечь спать, запретила ей впредь возобновлять этот неприличный в ее устах разговор.

Ивелина ответила:

— Даю тебе месяц на размышление. Если после этого мы не изменим образа жизни, я покончу с собой, так как никакого иного честного выхода для меня не остается.

И она ушла.

К концу месяца в отеле Саморис все еще плясали и ужинали.

Тогда Ивелина притворилась, что у нее болят зубы, и приказала купить у соседнего аптекаря несколько капель хлороформа. На следующий день она

повторила то же самое; да и сама, должно быть, выходя из дому, покупала незначительные дозы этого наркотического средства и собрала целый пузырек.

Однажды утром ее нашли в постели уже похолодевшей. Лицо было покрыто ватой, пропитанной хлороформом.

Гроб утопал в цветах, церковь была затянута белым. Похороны собрали многочисленную толпу.

И, право же, если бы я знал,— но ведь никогда не знаешь,— пожалуй, я и женился бы на этой девушке. Она была чертовски хороша собой.

— А что сталось с матерью?

— О, она долго плакала. Всего неделя, как она снова начала принимать близких друзей.

— Чем же объяснили эту смерть?

— Говорили о какой-то усовершенствованной печке, механизм которой испортился. И так как несчастные случаи с этими печами наделали и раньше немало шуму, никому это не показалось странным: все поверили.

ПРИЯТЕЛЬ ЖОЗЕФ

Они тесно сблизились в течение зимы в Париже. Потеряв друг друга из виду, как всегда по окончании коллежа, друзья встретились однажды вечером в обществе, уже постаревшие, седые, один — холостяк, другой — женатый.

Г-н де Меруль проживал полгода в Париже и полгода — в своем маленьком замке Турбевиле. Женившись на дочери местного помещика, он зажил мирной, здоровой жизнью, с беспечностью человека, ничем не занятого. Наделенный спокойным темпераментом и уравновешенным умом, которому были не свойственны ни смелость идей, ни бунтарская независимость, он проводил время, кротко сожалея о прошлом, жалуясь на современные нравы и учреждения, и постоянно повторял своей жене, которая воздымала к небу глаза, а иногда и руки, в знак полного согласия с ним:

— При каком правительстве живем мы, боже мой!

Г-жа де Меруль складом ума походила на мужа, как сестра на брата. И по традиции ей было известно, что надо прежде всего чтить папу и короля!

Она не знала их, но любила и почитала всем сердцем, с поэтической восторженностью, с наследственной преданностью, с умилением женщины знатного рода. Душа ее была преисполнена доброты. У нее не было детей, и она непрестанно сожалела об этом.

Когда г-н де Меруль снова встретил на одном балу Жозефа Мурадура, своего старого товарища, он глубоко и простодушно обрадовался этой встрече, так как в дни юности они очень любили друг друга.

После удивленных возгласов по поводу перемен, произведенных временем в их внешности, они стали расспрашивать друг друга о житье-бытье.

Жозеф Мурадур, южанин, занимал должность генерального советника в своих родных местах. Человек с открытой душой, он говорил живо, несдержанно и высказывал свои мысли целиком, без всяких предосторожностей. Он был республиканец, из той породы республиканцев, добрых малых, которые превращают бесцеремонность в правило поведения и рисуются свободой слова, доходящей до грубости.

Он посетил дом своего друга, и его там сразу же полюбили за сердечность и обходительность, хотя его передовые взгляды не нравились хозяевам. Г-жа де Меруль восклицала:

— Что за несчастье! Такой очаровательный человек!

Г-н де Меруль говорил своему другу доверительно и самым проникновенным тоном:

— Ты и не подозреваешь, сколько зла вы причиняете нашей стране.

Однако он его нежно любил: нет ничего прочнее детской дружбы, возобновившейся в зрелые годы. Жозеф Мурадур, подшучивая над женой и мужем, называл их «моими милыми черепахами» и иногда позволял себе звонкие тирады по адресу отсталых людей, предрассудков и традиций.

Пока он таким образом изливал потоки своего демократического красноречия, супруги, чувствовавшие себя неловко, молчали из приличия и такта; затем муж пытался переменить разговор во избежание столкновений. Жозефа Мурадура они принимали только в тесном кругу.

Наступило лето. Меруль не знали большей радости, как принимать друзей в своем имении Турбевиль. Это была искренняя, здоровая радость добрых людей, сельских помещиков. Они выезжали навстречу гостям, на ближайшую станцию, и привозили их

оттуда в своем экипаже, прислушиваясь к их хвалебным отзывам о местности, растительности, о состоянии дорог в департаменте, о чистоте крестьянских домов, о тучности скота, попадавшегося на полях, обо всем, что виднелось кругом.

Они обращали внимание гостей на то, что бег их лошади поразителен для животного, занятого часть года на полевых работах, и с тревогой ждали, что скажет новый гость об их родовом владении, чутко внимая малейшему слову и испытывая признательность за малейший благосклонный намек.

Жозеф Мурадур был приглашен и сообщил, что приезжает.

Супруги прибыли к поезду в восторге от того, что будут принимать у себя гостя.

Как только Жозеф Мурадур заметил их, он выпрыгнул из вагона с быстротой, доставившей им еще большее удовольствие. Он пожимал им руки, поздравлял их, осыпал комплиментами.

В течение всего пути он был очарователен, поражался вышине деревьев, густоте всходов, резвости лошади.

Когда он вступил на крыльцо замка, г-н де Меруль произнес с оттенком дружеской торжественности:

— Теперь ты у себя!

Жозеф Мурадур ответил:

— Спасибо, дорогой мой, я и рассчитывал на это. Впрочем, я не стесняюсь с друзьями. Гостеприимства по-другому я не понимаю.

Затем он поднялся в свою комнату, чтобы, по его словам, одеться по-деревенски, и сошел вниз в костюме из синего холста, в шляпе-канотье и в желтых кожаных башмаках — в полном неглиже развеселого парижанина. И казалось, он стал еще проще, веселее, непринужденнее, ибо, облачившись в сельский костюм, он одновременно напустил на себя некоторую фамильярность и развязность, которые считал приличными случаю. Эта новая манера поведения несколько смущала супругов де Меруль, которые всегда держали себя строго, с достоинством, даже у себя, в деревне, как будто дворянская частица «де»

перед их родовым именем заставляла их соблюдать известный церемониал даже в интимном кругу.

После завтрака пошли осматривать фермы, и парижанин озадачил почтительных крестьян приятельским тоном разговора.

Вечером в замке обедал кюре, старый толстяк, обычный воскресный гость, которого в этот день пригласили в виде исключения, в честь новоприбывшего.

Увидя его, Жозеф скорчил гримасу, затем с удивлением стал его разглядывать, как редкий экземпляр особой породы, никогда им столь близко не виденной. Он рассказывал за обедом нескромные анекдоты, допускаемые в тесном кругу, но казавшиеся Мерулям неуместными в присутствии духовного лица. Он говорил не «господин аббат», а просто «сударь» и смутил священника философскими рассуждениями по поводу различных суеверий, бытующих на земном шаре. Он говорил:

— Ваш бог, сударь, это одно из тех существ, которых надо уважать, но о которых надо и спорить. Моего же бога зовут Разумом: он был всегда врагом вашего.

Мерули в полном отчаянии старались отклонить разговор от этой темы. Кюре ушел домой очень рано.

— Не слишком ли ты далеко зашел в присутствии священника? — осторожно сказал муж.

Но Жозеф тотчас же воскликнул:

— Вот глупости! Чтобы я стал стесняться перед каким-то попом! Впрочем, знаешь ли, сделай мне удовольствие,— не навязывай мне больше в обеденное время этого простака. Общайтесь с ним сами сколько вам угодно, и по воскресеньям и в будни, но, черт возьми, не угощайте им своих друзей!

— Но, дорогой мой, его священный сан...

Жозеф Мурадур прервал его:

— Ну да, конечно, с ними надо обращаться, как с непорочными девицами! Знаем, дружок! Когда эти господа будут уважать мои убеждения, тогда и я буду уважать их убеждения!

В этот день никаких событий больше не произошло.

Когда на следующее утро г-жа де Меруль вошла в гостиную, она вдруг увидела на столе три газеты, от которых так и попятилась: *Вольтер, Репюблик франсэз* и *Жюстис*.

А на пороге тотчас же появился, по-прежнему одетый в синее, Жозеф Мурадур, углубленный в чтение *Энтрансижан*.

— Тут, в этом номере,— воскликнул он,— превосходная статья Рошфора! Этот парень изумителен!

Он начал читать статью вслух, подчеркивая остроты с таким воодушевлением, что не заметил прихода своего друга.

Г-н де Меруль держал в руке *Голуа* — для себя, *Клерон* — для жены.

Пылкая проза знаменитого писателя, свергнувшего империю, декламируемая с жаром певучим южным произношением, звучала в мирной гостиной, приводя в содрогание ровные складки старинных портьер; она, казалось, так и обдавала градом хлестких, дерзких, иронических, убийственных слов стены, высокие ковровые кресла и всю тяжелую мебель, целое столетие не менявшую своего места.

Муж и жена, один стоя, другая сидя, слушали в полном оцепенении, до того возмущенные, что не могли тронуться с места.

Мурадур метнул заключительную фразу, как ракету, затем заявил торжествующим тоном:

— Ну, что? Здорово он насолил, а?

Но вдруг он увидел обе газеты, принесенные приятелем, и остолбенел от изумления. Затем быстро подошел к нему, спрашивая с яростью:

— Что ты намерен делать с этой бумагой?

Г-н де Меруль отвечал, запинаясь:

— Но... это мои... мои газеты.

— Твои газеты... Да ты смеешься надо мной! Сделай мне одолжение — читай мои газеты. Они освежат тебе голову. А что касается твоих... то вот что я с ними сделаю...

И прежде чем ошеломленный хозяин мог удержать его, он схватил обе газеты и выбросил их за

окно. Затем с важностью вручил *Жюстис* г-же де Меруль, передал *Вольтера* мужу, а сам уселся в кресло дочитывать *Энтрансижан.*

Супруги притворились из деликатности, что читают, а затем возвратили ему республиканские газеты, которые они держали кончиками пальцев, как будто те были отравлены.

Тогда он расхохотался и заявил:

— Неделя подобной пищи — и я обращу вас в свою веру.

К концу недели он действительно уже командовал в доме. Он закрыл двери для кюре, которого г-жа де Меруль навещала теперь украдкой; он запретил доставку в замок *Голуа* и *Клерон,* и один из слуг тайком ходил за ними на почту, а при появлении Мурадура их прятали под подушки дивана; он распоряжался всем, оставаясь все таким же очаровательным, добродушным, веселым и всемогущим тираном.

Предстоял приезд других гостей, людей благочестивых, легитимистов. Хозяева замка сочли встречу их с Жозефом Мурадуром невозможной и, не зная, как поступить, объявили ему однажды, что им необходимо отлучиться на несколько дней по небольшому делу, но просили его остаться. Он ничуть не смутился и отвечал:

— Очень хорошо, это для меня безразлично, я буду ждать вас здесь сколько угодно. Говорил же я вам: между друзьями нет церемоний. Вы вправе заниматься своими делами, черт возьми! Я нисколько не обижусь на это, напротив: это освобождает меня от всякого стеснения с вами. Отправляйтесь, друзья, а я буду вас поджидать.

Г-н и г-жа де Меруль уехали на следующий день.

Он их поджидает.

Худ. Ш. Юар. 1904. «ПЕРЕПИСКА».

Худ. Ш. Юар. 1904. «ПРИЯТЕЛЬ ЖОЗЕФ».

Худ. Жаннио. «ПЕРВЫЙ СНЕГ».

СИРОТА

М-ль Сурс когда-то усыновила этого мальчика при весьма печальных обстоятельствах. Ей было тогда тридцать шесть лет, а ее уродство (ребенком она соскользнула с колен няньки, упала в камин, и ее страшно обожженное лицо стало безобразным) привело к тому, что она не вышла замуж: ей не хотелось, чтобы на ней женились из-за денег.

Одна ее соседка овдовела во время беременности, а затем умерла от родов, не оставив ни гроша. М-ль Сурс приняла на себя заботу о новорожденном, сдала его кормилице, воспитала, отправила в пансион, затем в возрасте четырнадцати лет взяла обратно с тем, чтобы иметь наконец у себя в доме кого-нибудь, кто любил бы ее, заботился бы о ней, услаждал бы ее старость.

Она проживала в небольшом поместье, в четырех лье от Ренна, и уже не держала служанки. С появлением сироты расходы увеличились более чем вдвое, и ее трех тысяч франков дохода не хватило бы на содержание трех человек.

Она сама вела хозяйство и стряпала, а за покупками посылала мальчика, который, кроме того, ухаживал за садом.

Он был кроток, застенчив, молчалив и ласков. И она испытывала глубокую радость, новую радость, когда он целовал ее, видимо, не дивясь ее уродству и не пугаясь его. Он звал ее тетей и обращался с ней, как с матерью.

По вечерам они усаживались вдвоем у очага, и она приготовляла ему лакомства. Она согревала вино и поджаривала ломтик хлеба; это был очаровательный маленький ужин перед отходом ко сну. Она часто сажала его к себе на колени и осыпала его ласками, нашептывая ему нежные слова. Она называла его: «Мой цветочек, мой херувимчик, мой обожаемый ангел, мое божественное сокровище». Он позволял ласкать себя, прижимаясь головой к плечу старой девы.

Ему было теперь почти пятнадцать лет, но он оставался хрупким, невзрачным, болезненным на вид.

Иногда м-ль Сурс возила его в город к своим двум родственницам, дальним кузинам, вышедшим замуж и жившим в одном из предместий,— к своей единственной родне. Обе женщины все еще сердились на нее за то, что она усыновила этого ребенка, они сердились из-за наследства, но, тем не менее, принимали ее любезно, надеясь получить свою долю — третью часть, конечно, если бы пришлось делить ее наследство поровну.

Постоянно занятая ребенком, она была счастлива, очень счастлива. Она покупала ему книги, чтобы его ум развивался, и мальчик принялся читать с увлечением.

Теперь по вечерам он больше не взбирался к ней на колени, чтоб приласкаться, как бывало прежде, но быстро усаживался на свой маленький стул у очага и открывал книгу. Лампа, стоявшая на краю полки, над его головой, освещала его кудрявые волосы и уголок лба; он не двигался, не поднимал глаз, не делал ни одного жеста, он читал, захваченный событиями, о которых повествовала книга.

Сидя против него, м-ль Сурс устремляла на него жадный, пристальный взгляд, удивленная его сосредоточенностью, испытывая ревность, порою готовая разрыдаться.

Иногда она ему говорила: «Ты утомишься, мое сокровище!» — надеясь, что он поднимет голову и подойдет поцеловать ее; но он даже не отвечал, не

слышал, не понимал; он ничего иного не хотел знать, кроме того, что видел на страницах книги.

В течение двух лет он поглотил неисчислимое количество томов. Его характер изменился.

Уже несколько раз он выпрашивал денег у м-ль Сурс, и она давала их. Но требования его все возрастали, и она в конце концов стала ему отказывать, так как отличалась любовью к порядку, силою воли и умела быть рассудительной, когда это было нужно.

После долгих упрашиваний он однажды вечером получил от нее крупную сумму; но когда через несколько дней снова стал клянчить, она выказала себя непреклонной и в самом деле не уступила.

Казалось, он с этим примирился.

Он снова стал спокойным, как прежде, вновь полюбил просиживать неподвижно целыми часами, опустив глаза, отдаваясь мечтам. Он даже не разговаривал больше с м-ль Сурс и еле отвечал на ее вопросы короткими, точными фразами.

Тем не менее он был любезен с ней, угождал ей, но уж больше никогда не целовал ее.

Теперь, по вечерам, когда они неподвижно и молча сидели лицом к лицу, по обеим сторонам очага, он порою внушал ей страх. Ей хотелось растолкать его, сказать что-нибудь, лишь бы прервать это страшное, как лесной мрак, молчание. Но он, казалось, не слышал ее больше, и она, бедная слабая женщина, содрогалась от ужаса, когда раз пять — шесть кряду обращалась к нему и не получала ни слова в ответ.

Что происходило с ним? Что творилось в этом замкнутом уме? Просидев таким образом в течение двух — трех часов напротив него, она чувствовала, что сходит с ума; она готова была бежать, спасаться в поле, лишь бы избежать этого молчаливого постоянного пребывания с глазу на глаз, а также той смутной опасности, которую она не предвидела, но предчувствовала.

Она часто плакала, когда была в одиночестве.

Что с ним? Стоило ей изъявить какое-либо желание, и он безропотно исполнял его. Требовалось ей

что-нибудь в городе, он тотчас же отправлялся туда. Ей не приходилось жаловаться на него, конечно, нет. А все-таки...

Прошел еще год, и ей показалось, что в загадочном уме молодого человека произошла новая перемена. Она заметила это, почувствовала, угадала. Каким образом? Это не важно. Она была убеждена, что не ошиблась, но не могла бы сказать, в чем именно изменились неведомые ей мысли этого странного юноши.

Ей казалось, что до сих пор он колебался, а теперь вдруг принял какое-то решение. Эта мысль возникла в ее уме как-то вечером при встрече с его взглядом, неподвижным, необычным, совсем незнакомым.

С тех пор он ни на минуту не спускал с нее глаз, и ей хотелось укрыться, чтобы избегнуть этого устремленного на нее холодного взгляда.

Целыми вечерами он сидел, пристально глядя на нее, и отворачивался лишь тогда, когда она, доведенная до крайности, произносила:

— Да не смотри же так на меня, дитя мое!

Тогда он опускал голову.

Но как только она поворачивалась к нему спиной, она снова чувствовала на себе его глаза. Куда бы она ни шла, он преследовал ее своим упорным взглядом.

Иногда, прогуливаясь в маленьком садике, она вдруг замечала, что он притаился в чаще, как в засаде; или же, когда она садилась перед домом штопать чулки, а он вскапывал какую-нибудь грядку для овощей, он, не прерывая работы, продолжал исподтишка следить за ней.

— Что с тобой, мой малыш? — допытывалась она.— Вот уж три года, как ты совсем другой. Я не узнаю тебя. Скажи мне, что с тобою, о чем ты все думаешь, умоляю тебя.

Он неизменно произносил тихим, усталым голосом:

— Да ничего, тетушка!

Иногда она продолжала настаивать, упрашивая его:

— Дитя мое, ответь мне, ответь, когда я с тобой говорю. Если бы ты знал, как меня огорчаешь, ты всегда отвечал бы мне и не смотрел бы так на меня. Нет ли у тебя какого-нибудь горя? Поделись им со мной, я утешу тебя...

Но он уходил с усталым видом, бормоча:

— Уверяю тебя, ничего.

Он не особенно вырос и внешне все еще походил на ребенка, хотя черты его лица были, как у взрослого человека. Они были грубы и вместе с тем как бы не закончены. Он казался неполноценным, неудавшимся, лишь вчерне набросанным существом, волнующим, как загадка. Это было существо замкнутое, непроницаемое, в котором, видимо, шла непрерывная умственная работа, действенная, опасная.

М-ль Сурс все это прекрасно сознавала, беспокоилась и не могла спать. На нее нападали ужасные страхи, дикие кошмары. Она запиралась в спальне и загораживала дверь, мучимая ужасом.

Чего боялась она?

Этого она и сама не знала.

Она боялась всего: ночи, стен, теней, отбрасываемых луною сквозь белые занавески окон, а в особенности боялась его.

Почему?

Чего ей было бояться? Этого она не знала!

Так жить дальше она не могла. Она была уверена, что ей грозит беда, ужасная беда.

Однажды утром она тайком уехала в город к родственницам. Задыхаясь от волнения, она поведала им все. Обе женщины подумали, что она сходит с ума, и пытались ее успокоить.

Она говорила:

— Если бы вы знали, как он смотрит на меня с утра до вечера! Он не спускает с меня глаз! Иногда мне хочется позвать на помощь, крикнуть соседей, до того мне страшно! Но что могла бы я им сказать? Он ничего мне не делает, только смотрит на меня.

Кузины спрашивали:

— Не бывает ли он груб с вами, не отвечает ли вам дерзко?

Она возразила:

— Нет, никогда; он делает все, что я захочу, он прилежно работает, стал теперь аккуратен, но я не нахожу места от страха. У него что-то на уме, я уверена в этом, совершенно уверена. Я не хочу больше оставаться наедине с ним в деревне.

Испуганные родственницы говорили ей, что это всех удивит, что ее не поймут, и советовали отбросить свои страхи и помыслы; они, впрочем, не отговаривали ее от переселения в город, надеясь этим путем вернуть себе наследство полностью.

Они даже обещали ей помочь продать домик и приискать другой поблизости от них.

М-ль Сурс вернулась домой, но была так взволнована, что вздрагивала от малейшего шороха, и руки ее начинали дрожать при самом незначительном волнении.

Еще два раза возвращалась она сговариваться с родственницами, теперь уже твердо решив не оставаться больше в своем уединенном жилище. Наконец она нашла в предместье маленький флигелек, который ей подходил, и тайком приобрела его.

Бумаги были подписаны во вторник утром, и остальную часть дня м-ль Сурс провела в приготовлениях к переезду.

На обратном пути в восемь часов вечера она села в дилижанс, проходивший в одном километре от ее дома, и приказала остановиться на том месте, где кондуктор обыкновенно высаживал ее; кучер крикнул ей, стегнув лошадей:

— Добрый вечер, мадмуазель Сурс, доброй ночи!

Она ответила, удаляясь:

— Добрый вечер, дядя Жозеф.

На следующий день, в половине восьмого утра, почтальон, доставлявший в деревню письма, заметил на проселочной дороге, недалеко от шоссе, большую, еще свежую лужу крови. Он подумал: «Глядика! Какой-нибудь пьяница разбил себе нос». Но в десяти шагах дальше он увидел носовой платок, также в крови. Он поднял его. Полотно было тонкое, и удивленный почтальон приблизился к канаве.

где он, казалось, увидел какой-то странный предмет.

В траве лежала м-ль Сурс; горло ее было перерезано ножом.

Час спустя жандармы, судебный следователь и представители властей высказывали около трупа свои предположения.

Обе родственницы, вызванные в качестве свидетельниц, рассказали о страхах старой девы и о ее предсмертных планах.

Сироту арестовали. Со дня смерти той, которая его усыновила, он рыдал целыми днями и был, по крайней мере с виду, повергнут в жесточайшую печаль.

Он доказал, что провел вечер до одиннадцати часов в кафе. Человек десять видели его и оставались в кафе до его ухода.

А кучер дилижанса показал, что высадил убитую на дороге между половиной десятого и десятью часами. Преступление могло быть совершено лишь на пути от шоссе до дому, самое позднее в десять часов.

Подсудимый был оправдан.

Завещание, давно составленное, находившееся у нотариуса в Ренне, делало его единственным наследником. Он вступил в права наследства.

Долгое время местные жители сторонились его, все еще питая подозрение. На его дом, принадлежавший усопшей, смотрели как на проклятый и старались обходить.

Но он выказывал себя таким добрым малым, таким чистосердечным, таким обходительным, что мало-помалу ужасное подозрение забылось. Он был щедр, предупредителен и беседовал даже с бедняками о чем угодно и сколько угодно.

Нотариус, г-н Рамо, одним из первых изменил о нем свое мнение, покоренный его общительностью. Как-то вечером, за обедом у сборщика податей, он объявил:

— У человека, который так приветливо разговаривает и всегда находится в хорошем расположении

духа, не может лежать на совести подобное преступление.

Под влиянием этого довода присутствующие поразмыслили и действительно вспомнили долгие беседы с этим человеком, который почти насильно останавливал их на перекрестках, чтобы поделиться с ними своими мыслями, который принуждал их заходить к нему, когда они проходили мимо его садика,— человеком, чьи остроты были куда остроумнее острот самого жандармского лейтенанта и чья веселость была так заразительна, что, несмотря на внушаемое им отвращение, они не могли удержаться в его обществе от смеха.

И перед ним раскрылись все двери.

Теперь он мэр своей общины.

РАЗНОСЧИК

РАЗНОСЧИК

Сколько отрывочных воспоминаний, мелких приключений, встреч, скрытых драм, подмеченных, разгаданных или подозреваемых нами, служат для нашего молодого, еще неопытного ума теми путеводными нитями, которые мало-помалу приводят его к познанию горестной правды!

В часы долгих и праздных раздумий, которые развлекают меня, когда я бесцельно брожу по дорогам, витая душою в пространстве, я всякий раз мысленно обращаюсь к прошлому, и мне вспоминаются забытые давно мелкие события, то веселые, то печальные; они проносятся в памяти, как вспугнутые птицы, что вылетают из кустов, заслышав мои шаги.

Этим летом я бродил в Савойе, по дороге, которая тянется вдоль правого берега озера Бурже. Скользя взором по этой зеркальной глади воды несравненного бледно-голубого оттенка, залитой косыми лучами заходящего солнца, я чувствовал, как мое сердце наполнялось тихой радостью, которую я ощущал с детства при виде озера, реки или моря. На противоположном краю этого огромного водного пространства, столь широкого, что не видно было его берегов — один терялся далеко у Роны, другой у Бурже,— высился зубчатый гребень горной цепи, заканчивающийся вершиной Кошачьего Зуба. По обеим сторонам дороги перекидывались с дерева на дерево виноградные лозы; обвивая один ствол за другим, они глушили своей листвой нежные побеги поддержи-

вающих их ветвей и тянулись через поля зелеными, желтыми и красными гирляндами, в которых темнели гроздья черного винограда.

Дорога была пустынная, белая и пыльная. Вдруг из-за купы высоких деревьев, заслоняющих деревню Сент-Инносан, показался человек; он шел навстречу мне, согнувшись под тяжестью ноши и опираясь на палку.

Когда он приблизился, я увидел, что это разносчик, один из тех странствующих торговцев, которые продают мелкий дешевый товар по деревням, заходя из дома в дом.

И в памяти моей возникло вдруг одно далекое воспоминание, пустячный эпизод, встреча ночью между Аржантейем и Парижем, когда мне было двадцать пять лет.

В то время я страстно увлекался греблей. Я снимал комнату в Аржантейе, в харчевне. Каждый вечер я садился в поезд для чиновников, длинный поезд, который еле тащился, высаживая на каждой станции толпу мужчин с небольшими свертками в руках; все они были тучные и неуклюжие, так как никогда не ходили пешком, и брюки их совсем потеряли фасон от постоянного сидения на казенных стульях. Поезд этот, в котором, казалось мне, так и пахло канцелярией, зелеными папками и зарегистрированными документами, довозил меня до Аржантейя. Там меня ждал ялик, всегда готовый к отплытию, и я немедля принимался грести во весь дух, чтобы пообедать в Безоне или в Шату, в Эпине или в Сент-Уэне. Потом я возвращался, убирал лодку в сарай и, если светила луна, шел в Париж пешком.

И вот однажды ночью, шагая по белой от пыли дороге, я увидел, что впереди меня идет какой-то человек. Да, я почти каждый раз встречал этих ночных пешеходов из парижского предместья, которых так боятся запоздалые буржуа. Человек шел медленно, сгибаясь под тяжестью ноши.

Я быстро пошел за ним. Шаги мои гулко раздавались по шоссе. Он остановился, посмотрел на меня и, видя, что я приближаюсь, перешел на другую сторону дороги.

Но когда я опередил его, он окликнул меня:

— Добрый вечер, сударь!

Я ответил:

— Добрый вечер, приятель!

Он продолжал:

— Вам далеко?

— Я иду в Париж.

— Вы-то не замешкаетесь, быстро шагаете, а с моей ношей так не пойдешь.

Я пошел медленнее.

Почему этот человек заговорил со мной? Что нес он в таком большом тюке? Смутная мысль, что передо мной преступник, мелькнула в мозгу и пробудила мое любопытство. В утренних газетах так часто пишут о происшествиях, которые случаются как раз в этом месте, на полуострове Женевилье, что кое-чему приходится все-таки верить. Не сочиняют же просто так, для развлечения читателей, всю ту хронику арестов и разнообразных преступлений, которой полны газетные столбцы, предоставленные репортерам.

Однако голос этого человека, казалось, звучал скорее робко, чем дерзко, и поведение его было до сих пор скорее осторожным, чем вызывающим.

Я спросил, в свою очередь:

— А вам-то далеко идти?

— Всего только до Аньера.

— Вы сами из Аньера?

— Да, сударь, я торгую вразнос, а живу в Аньере.

Он свернул с тропы, по которой обычно идут пешеходы днем в тени деревьев, и вышел на середину дороги. Я сделал то же самое. Мы продолжали смотреть друг на друга недоверчивым взглядом, держа палки в руках. Но, подойдя к нему ближе, я совершенно успокоился. Он, по-видимому, также, потому что спросил меня:

— Могу я просить вас поубавить шагу?

— Зачем это?

— Не люблю я этой дороги ночью. Ведь у меня товар за плечами, да и всегда лучше быть вдвоем, чем одному. Когда идут двое вместе, на них редко нападают.

Я почувствовал, что он не лжет и что он трусит. Я исполнил его желание. И глухой ночью мы с незнакомцем зашагали рядом по дороге от Аржантейя в Аньер.

— Как вы не боитесь возвращаться так поздно?— спросил я моего спутника.

Он рассказал мне, в чем дело.

Он не рассчитывал вернуться в этот вечер обратно, потому что утром взял товара на три — четыре дня. Но торговля пошла очень бойко, и ему пришлось немедленно возвратиться домой, чтобы завтра же доставить покупателям разные заказанные ими вещи.

Он объявил с большим самодовольством, что отлично торгует, что у него исключительная способность расхваливать товар; он показывает всякую дребедень, а сам развлекает покупателя болтовней и таким образом сплавляет то, что нелегко сбыть.

— У меня лавка в Аньере,— прибавил он.— Там торгует жена...

— Так вы женаты?

— Да, сударь, уже полтора года. Я нашел себе славную женку. Вот удивится она, когда я вернусь нынче ночью!

Он стал рассказывать мне о своей женитьбе. Два года добивался он этой девчонки, но она все тянула. Она уже с детства торговала в лавочке на углу улицы. Торговала чем придется: лентами, в летнюю пору — цветами, но главным образом пряжками для туфель, прехорошенькими пряжками, и другими дешевыми безделушками, которыми снабжал ее благоволивший к ней фабрикант. В Аньере все знали ее и прозвали Васильком, потому что она часто носила синие платья. Мастерица на все руки, она отлично зарабатывала. В последнее время ей как будто нездоровится. Он думал, уж не беременна ли она, но не был в этом уверен. Торговля у них шла хорошо, и он странствовал главным образом для того, чтобы распространять образцы среди мелких торговцев округи. Он стал своего рода разъездным комиссионером для некоторых фабрикантов и работал одновременно на них и на себя.

— А вы кто будете?— спросил он.

Тут я прихвастнул. Я рассказал, что у меня в Аржантейе парусная яхта и два гоночных ялика. Я приезжаю каждый вечер покататься и так как люблю ходить, то возвращаюсь иногда в Париж пешком. Я намекнул, что у меня довольно выгодная профессия.

Он ответил:

— Господи Исусе! Будь у меня ваши деньги, разве стал бы я так бегать ночью по дорогам? Здесь ведь место ненадежное.

Он посмотрел на меня искоса, и я подумал, не злоумышленник ли он, может быть, какой-нибудь опытный злоумышленник, не желающий действовать наобум?

Но он успокоил меня, пробормотав:

— Не торопитесь, пожалуйста. У меня тюк нелегкий.

Показались первые дома Аньера.

— Вот я почти и дома,— сказал он.— Мы в лавке не ночуем, ее стережет ночью собака, такая собака, что четырех сторожей стоит. А квартиры в центре города слишком дороги. Послушайте, сударь, вы оказали мне большую услугу, ведь у меня на сердце неспокойно, когда я с товаром на большой дороге. Так не зайдете ли ко мне выпить теплого винца с моей женой, если только она не спит: у нее очень крепкий сон, и она не любит, чтоб ее будили. А потом я провожу вас до ворот города с моей дубинкой: без мешката я ничего не боюсь.

Я отказался, он стал уговаривать, я уперся, он горячо настаивал и так искренне огорчался, сожалел, так убеждал меня и с таким оскорбленным видом допытывался: «Может быть, я гнушаюсь выпить с простым человеком, как он»,— что под конец я уступил и последовал за ним по пустынной дороге к одному из тех больших запущенных домов, которые составляют окраину предместья.

При виде его жилища я заколебался. Этот высокий оштукатуренный дом был похож на ночлежку для городских бродяг, на разбойничий притон. Разносчик пропустил меня вперед, толкнув незапертую

дверь, и повел меня за плечи в глубокой темноте к лестнице, которую я нащупывал ногами и руками, естественно опасаясь свалиться в какой-нибудь подвал.

Когда я нашел первую ступеньку, он сказал мне:

— Подымайтесь на седьмой этаж.

Пошарив в кармане, я нашел коробок парафиновых спичек и осветил лестницу. Разносчик шел за мной, пыхтя под своей ношей и повторяя:

— Да, высоко, высоко!

Когда мы добрались до самого верха, он разыскал свой ключ, который болтался на веревочке, прикрепленной к подкладке пиджака, отпер дверь и впустил меня.

Это была комната с выбеленными стенами. Посредине стоял стол, а вдоль стен — полдюжины стульев и кухонный шкаф.

— Пойду разбужу жену,— сказал он.— А потом спущусь в погреб за вином, здесь мы его не держим.

Он подошел к одной из двух дверей, выходивших в кухню, и позвал:

— Василек, а Василек!

Василек не ответила. Он крикнул громче:

— Василек! Василек!

Потом, стуча кулаком в дверь, проворчал:

— Да проснешься ли ты, черт возьми!

Он подождал, потом прижался ухом к замочной скважине и продолжал уже спокойно:

— Ну, пускай ее спит, если хочет. Пойду за вином, подождите меня минутку.

Он вышел. Я сел, покорившись своей участи.

И зачем только я сюда пришел? Вдруг я вздрогнул. В комнате у жены говорили шепотом и тихонько, почти бесшумно, двигались.

Вот чертовщина! Уж не попал ли я в ловушку? Как это жена могла не проснуться от шума, поднятого мужем, от его стука в дверь? Не было ли это сигналом для соучастников: «Рыбка клюнула. Иду стеречь выход. Дело за вами». Так и есть: за дверью возились все слышнее и слышнее. Кто-то тронул замок, повернул ключ. Сердце у меня застучало. Я отодвинулся в глубину комнаты, сказав себе: «Что же, бу-

дем защищаться!» И, вцепившись обеими руками в спинку деревянного стула, я приготовился к решительной схватке.

Дверь открылась. Показалась рука, которая ее придерживала полуотворенной, затем в дверь просунулась голова, голова мужчины в круглой фетровой шляпе, и я увидел устремленные на меня глаза. Но, прежде чем я успел принять оборонительное положение, этот человек, этот предполагаемый преступник, высокий малый, босой, одетый наспех, без галстука, с ботинками в руках, красивый малый, честное слово, и почти что господин, бросился к выходу и исчез в темноте.

Я снова сел. Приключение становилось забавным. Я ждал мужа, который замешкался с вином. Наконец я услышал, как он поднимается по лестнице, и шум его шагов заставил меня расхохотаться. Я хохотал в припадке неудержимого смеха, как иногда хохочешь, когда остаешься один.

Муж вошел с двумя бутылками в руках и спросил:

— А жена все еще спит? Вы не слышали, она не шевелилась?

Я догадался, что ее ухо прижато к двери, и ответил:

— Нет, не слышал.

Он снова позвал:

— Полина!

Она не ответила, не шелохнулась, и он обратился ко мне, объясняя:

— Она, знаете, не любит, когда я прихожу ночью с приятелем пропустить стаканчик...

— Так вы думаете, она не спит?

— Конечно, не спит.

Вид у него был мрачный.

— Ну, давайте выпьем!— сказал он и собрался тут же распить обе бутылки, одну за другой. Но на этот раз я был решительнее. Выпив один стакан, я встал. Он и не думал больше провожать меня, и, глядя на дверь спальни со злобным видом, с видом рассерженного простолюдина, который еле сдерживает ярость, проворчал:

— А все-таки придется ей открыть, когда вы уйдете.

Я смотрел на него, на этого труса, рассвирепевшего неведомо почему,— может быть, это было смутное предчувствие или инстинктивная догадка обманутого самца, который не выносит закрытых дверей. Он говорил мне о ней с нежностью. Теперь же, наверное, прибьет ее. Он крикнул еще раз, тряся дверью:

— Полина!

Голос за стеною ответил как бы спросонья:

— Чего?

— Ты не слыхала, что ли, как я вернулся?

— Нет, я спала... отстань от меня...

— Открой дверь!

— Когда ты будешь один. Терпеть не могу, когда ты ночью приводишь с собой пьяниц.

Я ушел, торопливо спустившись по лестнице, как тот, соучастником которого я невольно сделался, скрыв его появление. Приближаясь к Парижу, я думал о том, что сейчас, в той конуре, видел сцену извечной драмы, разыгрываемой ежедневно, на все лады, во всех слоях общества.

У СМЕРТНОГО ОДРА

Он медленно угасал, как угасают чахоточные. Я видел его ежедневно, когда он около двух часов дня выходил посидеть у спокойного моря на скамье возле гостиницы. Некоторое время он сидел неподвижно под жгучим солнцем, устремив печальный взгляд на лазурные воды. Иногда он обращал взор к высокой горе с туманными вершинами, которая замыкает собою Ментону, потом медленным движением скрещивал длинные, костлявые ноги, вокруг которых болтались суконные брюки, и раскрывал книгу, всегда одну и ту же.

И больше уж он не шевелился: он читал, читал глазами и мыслью; казалось, читает все его умирающее тело; как будто вся душа его погружалась в эту книгу, тонула, исчезала в ней, пока посвежевший воздух не вызывал у него легкого кашля. Тогда он вставал и уходил домой.

Это был высокий немец с белокурой бородой; он завтракал и обедал у себя в номере и ни с кем не разговаривал.

Меня влекло к нему смутное любопытство. Однажды я сел рядом, взяв для видимости томик стихотворений Мюссе.

Я стал просматривать *Роллу*.

Вдруг сосед обратился ко мне на хорошем французском языке:

— Вы знаете немецкий, сударь?

— Совсем, сударь, не знаю.

— Очень жаль. Раз уж случай свел нас, я показал бы вам нечто несравненное: познакомил бы вас вот с этой книгой, которая у меня в руках.

— А что это такое?

— Это сочинение моего учителя Шопенгауэра, с его собственноручными пометками. Все поля, как видите, испещрены его почерком.

Я благоговейно взял книгу и стал разглядывать непонятные мне слова, в которых запечатлелась бессмертная мысль величайшего в мире разрушителя человеческих грез.

И в голове у меня зазвучали стихи Мюссе:

> Ты счастлив ли, Вольтер? Язвительной улыбкой
> Кривятся ли в гробу иссохшие уста?

И я невольно сравнил невинный сарказм, благонамеренный сарказм Вольтера с несокрушимой иронией немецкого философа, влияние которого отныне неизгладимо.

Пусть возражают и негодуют, пусть возмущаются или приходят в восторг,— Шопенгауэр навеки заклеймил человечество печатью своего презрения и разочарования.

Разуверившись в радостях жизни, он ниспровергнул верования, чаяния, поэзию, мечты, подорвал стремления, разрушил наивную доверчивость, убил любовь, низринул идеальный культ женщины, развеял сладостные заблуждения сердца — осуществил величайшую, небывалую разоблачительную работу. Во все проник он своей насмешкой и все опустошил. И теперь даже те, кто ненавидит его, носят в себе, помимо воли, частицы его мысли.

— Значит, вы близко знали Шопенгауэра? — спросил я.

Он грустно улыбнулся:

— Я был с ним до последнего его часа, сударь.

И он стал рассказывать о своем учителе и о том почти сверхъестественном впечатлении, которое производил на всех окружающих этот необыкновенный человек.

Он вспомнил встречу старого разрушителя с одним французским политическим деятелем, доктринером-

республиканцем, который пожелал повидаться с ним и нашел его в шумной пивной. Шопенгауэр, сухой и сморщенный, сидел среди учеников и смеялся своим незабываемым смехом, вгрызаясь в идеи и верования и одним своим словом разрывая их в клочья, подобно тому, как собака, играя тряпками, вмиг разрывает их зубами.

Больной привел мне слова француза, который, расставшись с философом, в смятении и ужасе сказал: «Мне кажется, что я провел час с самим дьяволом».

Мой собеседник добавил:

— И правда, сударь, у него была страшная улыбка; она напугала нас даже после его смерти. Это почти никому не известная история; могу вам ее рассказать, если хотите.

И он начал усталым голосом, который прерывали время от времени жестокие приступы кашля:

— Шопенгауэр только что скончался, было решено дежурить около него, сменяясь по двое, до самого утра.

Он лежал в большой, пустой, очень скромной и темноватой комнате. На ночном столике горели две свечи.

Я с товарищем начал дежурство в полночь. Двое других, которых мы сменили, вышли из комнаты, и мы сели у смертного одра.

Лицо его не изменилось. Оно смеялось. Столь знакомая нам складка бороздила уголки рта, и у нас было такое чувство, что вот-вот он откроет глаза, зашевелится, заговорит. Его мысль, или, вернее, его мысли, казалось, окутывали нас: мы ощущали себя более чем когда-либо в атмосфере его гения, чувствовали себя плененными, захваченными им. Теперь, когда он умер, его власть казалась нам еще более могущественной. К величию этого несравненного ума ныне примешивалась тайна.

Плоть таких людей исчезает, но сами они продолжают жить, и в первую ночь после кончины, уверяю вас, они бывают страшны.

Мы вполголоса говорили о нем, вспоминали его сло-

ва, его изречения, эти поразительные максимы, которые подобны лучам, брошенным во мрак Неведомого.

— Мне кажется, он сейчас заговорит,— сказал мой товарищ.

И мы тревожно, чуть ли не со страхом, всматривались в неподвижное и смеющееся лицо.

Чем дальше, тем все более становилось нам не по себе: мы чувствовали стеснение в груди, дурноту.

Я прошептал:

— Не знаю, что со мною, но, право, мне нехорошо.

Мы заметили, что от трупа исходит запах.

Тогда товарищ предложил перейти в соседнюю комнату, а дверь оставить открытой; я согласился.

Я взял с ночного столика одну из свечей, оставив вторую на месте; мы ушли в самую глубь соседней комнаты и сели так, чтобы видеть освещенную кровать и покойника.

Но он по-прежнему тяготел над нами: его невещественная сущность, отделившаяся, свободная, всемогущая и властная, словно реяла вокруг нас. А временами к нам доносился смутный отвратительный запах разлагающегося тела; он проникал всюду и вызывал тошноту.

Вдруг по спине у нас пробежала дрожь: какой-то шорох, легкий шорох долетел из комнаты покойника. Наши взоры тотчас же обратились к нему, и мы увидели — да, сударь, оба явственно увидели,— как что-то белое скользнуло по постели, упало на ковер и исчезло под креслом.

Мы вскочили, не успев опомниться, обезумев от непонятного ужаса, готовые бежать. Потом взглянули друг на друга. Мы были страшно бледны. Сердца наши бились так сильно, что, казалось, приподнимали одежду. Я заговорил первым:

— Видел?

— Видел.

— Так он не умер?

— Но ведь он разлагается!

— Что же делать?

Товарищ нерешительно произнес:

— Надо пойти посмотреть.

Я взял свечу и вошел первым, шаря глазами по тем-

ным углам громадной комнаты. Стояла полная тишина; я подошел к кровати и оцепенел от изумления и ужаса: Шопенгауэр уже не смеялся! На его лице была ужасная гримаса: рот был сжат, щеки глубоко ввалились. Я прошептал:

— Он жив!

Но ужасный запах бил мне в лицо, душил меня. Я замер, впившись глазами в покойника, растерявшись, как будто увидел призрак.

Тогда товарищ мой взял другую свечу и нагнулся. Потом, не говоря ни слова, он дотронулся до моей руки. Я последовал за его взглядом. На полу, под креслом возле постели, на темном ковре белым пятном выделялась разинутая, как для укуса, искусственная челюсть Шопенгауэра.

От разложения связки ослабли, и челюсть выпала изо рта.

В ту ночь, сударь, я испытал подлинный ужас.

Солнце опускалось к сверкающему морю; чахоточный немец встал, раскланялся со мною и направился к гостинице.

ОРАНЖЕРЕЯ

Супруги Леребур были ровесники. Но муж казался моложе, хотя и был слабее жены. Они жили под Мантом, в небольшой усадьбе, приобретенной на доходы от торговли ситцем.

Дом был окружен прекрасным садом с птичьим двором, китайскими беседками и маленькой оранжереей в самом конце усадьбы. Г-н Леребур был кругленький, веселый коротышка, в жизнерадостности которого сказывался разбогатевший лавочник. Его жене — тощей, строптивой и вечно недовольной — так и не удалось сломить добродушия мужа. Она красила волосы и изредка почитывала романы, которые навевали на нее мечтательность, хоть она и притворялась, что презирает их. Ее почему-то считали страстной, хоть она никогда не подавала повода для такого мнения. Но ее муж со столь многозначительным видом говаривал иногда: «Моя жена — молодчина»,— что это наводило на некоторые предположения.

Однако вот уже несколько лет она проявляла к г-ну Леребуру подчеркнутую враждебность, была раздражительна и резка, словно ее точила тайная досада, которою она не могла поделиться. Это вызывало разлад между супругами. Они еле разговаривали друг с другом, и жена без всякой видимой причины вечно осыпала мужа обидными словами, оскорбительными намеками и колкостями.

Он покорялся, сетуя, но не теряя жизнерадостности, ибо был наделен таким неистощимым запасом

добродушия, что мирился с этими супружескими дрязгами. Но он все же задавал себе вопрос: что за неведомая причина изо дня в день так раздражает его подругу? Ибо он прекрасно чувствовал, что сердится она неспроста, что к этому есть какой-то скрытый повод, однако столько непостижимый, что оставалось лишь теряться в догадках.

Он нередко спрашивал:

— Скажи мне, дорогая, чем я тебе не угодил? Я чувствую, что ты от меня что-то скрываешь.

Она неизменно отвечала:

— Ничего, решительно ничего, но если бы у меня и была какая-нибудь причина для недовольства, тебе следовало бы самому о ней догадаться. Терпеть не могу мужчин, которые ничего не понимают, которые так размякли, что уже ни на что не годны и нуждаются в посторонней помощи, чтобы уразуметь самую пустячную вещь.

Он отвечал уныло:

— Я отлично понимаю, что ты не хочешь признаться.

И отходил, ломая голову над этой тайной.

Особенно тяжело ему бывало по ночам, потому что они по-прежнему делили общее ложе, как принято в добропорядочных простых семьях. Не было такой обиды, которой она не причиняла бы ему тогда. Она выжидала минуту, когда они улягутся рядышком, и начинала осыпать его язвительнейшими насмешками. Особенно упрекала она его в том, что он жиреет.

— Ты так растолстел, что занимаешь всю кровать. Ты потеешь, словно подогретый кусок сала; у меня вся спина от тебя мокнет. Думаешь, это очень приятно?

Она придумывала всякие предлоги, чтобы заставить его встать, посылала вниз за забытой газетой или за флаконом туалетной воды, которую он не находил, потому что она нарочно ее прятала. И потом негодующе и зло восклицала:

— А тебе, толстому балбесу, не мешало бы знать, где что лежит!

Когда же, побродив битый час по уснувшему дому, он возвращался наверх с пустыми руками, она говорила ему в виде благодарности:

— Ну, ложись, авось от прогулки малость похудеешь, а то разбух, точно губка.

Она поминутно будила его, уверяя, будто у нее схватки, и требовала, чтобы он растирал ей живот фланелевой тряпочкой, смоченной одеколоном. Он жалел ее, изо всех сил старался помочь и предлагал разбудить служанку Селесту. Тогда она окончательно выходила из себя и вопила:

— До чего глуп этот индюк! Довольно. Прошло. Больше не болит, спи, толстый рохля!

Он спрашивал:

— А правда ли, что тебе лучше?

Она резко бросала ему в лицо:

— Да замолчи уж, дай заснуть! Не приставай! Ни на что неспособен, не можешь женщину даже растереть.

Он сокрушался:

— Но... дорогая моя...

Она приходила в ярость:

— Никаких «но»! Довольно, отвяжись! Оставь меня теперь в покое!

И отворачивалась к стенке.

Но вот как-то ночью она так встряхнула его, что он с перепугу подскочил и сел на постели с несвойственным ему проворством.

— Что такое? Что случилось?— лепетал он.

Она держала его за руку и так щипала, что он готов был закричать.

— Мне послышался шорох в доме,— шепнула она ему на ухо.

Привыкнув к частым тревогам жены, он не особенно-то взволновался и спокойно спросил:

— Какой там шорох, мой друг?

Она ответила, дрожа, как безумная:

— Шум... шум... шум шагов. Кто-то ходит.

Он все еще не верил:

— Кто-то ходит? Тебе кажется? Да нет, ты, верно, ошибаешься. Кто станет ходить?

Она вся тряслась:

— Кто, кто? Воры, дурак!

Г-н Леребур потихоньку снова закутался:

— Да полно, дорогая, никого нет. Тебе просто почудилось.

Тогда она откинула одеяло, спрыгнула с кровати и вне себя от ярости крикнула:

— Ты не только ни на что не годен, а вдобавок еще и трус! Но я, во всяком случае, не дам себя зарезать из-за твоего малодушия!

И, схватив каминные щипцы, она стала в боевую позу у запертой двери.

Муж, растроганный, а может быть, и пристыженный таким примером самоотверженности, тоже поднялся, ворча и не снимая ночного колпака; он вооружился совком и стал против своей любезной половины.

Они прождали минут двадцать в полном молчании. Ни единый звук не нарушил тишины. Тогда разъяренная жена опять легла, заявив:

— А все-таки я уверена, что кто-то ходит.

На другой день муж во избежание ссоры ни словом не обмолвился о ночной тревоге.

Но следующей ночью г-жа Леребур разбудила его еще порывистей и, задыхаясь, пролепетала:

— Гюстав, Гюстав, в саду кто-то открыл калитку.

Он был поражен такой настойчивостью и подумал, уж не лунатик ли она. Он собрался было разогнать этот опасный бред, как вдруг ему показалось, что в самом деле под стеной дома слышится легкий шорох.

Он встал, подбежал к окну и увидел... да, увидел белую тень, быстро скользящую по аллее.

Он прошептал, почти лишаясь сил:

— Кто-то есть.

Потом собрался с духом, взял себя в руки и, внезапно подбодренный негодованием на грабителей, проговорил:

— Погодите, погодите, вы у меня узнаете!

Он бросился к комоду, отпер его, вынул револьвер и сбежал по лестнице.

Обезумевшая от страха жена неслась вслед за ним, крича:

— Гюстав, Гюстав, не бросай меня, не оставляй меня одну! Гюстав! Гюстав!

Но он не слушал; он был уже у калитки.

Тогда она поспешила наверх и забаррикадировалась в спальне.

Она прождала пять, десять минут, четверть часа. Ею овладел безумный ужас. Сомнений нет: его убили, схватили, связали, задушили. Она предпочла бы услышать все шесть револьверных выстрелов, знать, что он борется, что он защищается. Но безмолвная тишина, страшная деревенская тишина приводила ее в отчаяние.

Она позвонила Селесте. Селеста не пришла, не отозвалась. Она позвонила еще раз, обмирая от страха, теряя сознание. Весь дом по-прежнему безмолвствовал.

Прислонившись пылающим лбом к холодному окну, она старалась проникнуть взглядом в темноту ночи, но различала лишь черные тени деревьев вдоль серых очертаний дорожек.

Пробило половину двенадцатого. Прошло уже три четверти часа, как ушел ее муж. Она его больше не увидит! Да, конечно, больше не увидит! И она, рыдая, упала на колени.

Два легких удара в дверь заставили ее мигом вскочить. Г-н Леребур звал ее:

— Открой, Пальмира, это я.

Она бросилась к двери, отперла ее и, стоя перед ним, проговорила, сжав кулаки, со слезами на глазах:

— Где ты был, поганая скотина? Оставил меня одну умирать со страху. Тебе, видно, все равно, жива я или нет!

Он запер дверь и принялся хохотать, хохотать, как сумасшедший, плача от смеха, разинув рот до ушей и ухватившись руками за живот.

Г-жа Леребур в недоумении умолкла.

Он захлебывался.

— Это... это... Селеста... ходила на свидание... в оранжерею. Если бы ты знала, что... что... что я там видел!

Она побледнела, задыхаясь от негодования:

— Что? Что такое? Селеста... у меня, в моем... моем доме, в моей... моей оранжерее? И ты не застрелил подлеца, ее сообщника? У тебя был револьвер, и ты его не застрелил? У меня в доме... у меня...

Она в изнеможении опустилась на стул.

Он подпрыгнул, щелкнул пальцами, причмокнул и, все еще смеясь, воскликнул:

— Если бы ты видела!.. Если бы ты видела!..

Вдруг он ее обнял.

Она отстранилась и сказала, задыхаясь от злости:

— Чтоб сегодня же этой девки не было у меня в доме! Слышишь? Сегодня же, сейчас же... как только она вернется, выгнать ее вон!

Г-н Леребур схватил жену за талию и стал осыпать ее шею частыми звучными поцелуями, как в былые времена. Она снова умолкла, онемев от удивления. А он, держа жену в объятиях, тихонько подталкивал ее к постели...

В десятом часу утра Селеста, удивленная тем, что хозяева, обычно встающие спозаранку, все еще не выходят, слегка постучала к ним в дверь.

Они лежали рядышком, весело болтая. Селеста замерла от изумления, потом спросила:

— Сударыня, кофей подавать?

Г-жа Леребур ответила нежным голоском:

— Подай его сюда, душечка, мы немного устали, мы плохо спали ночь.

Как только служанка вышла, г-н Леребур опять захохотал, щекоча жену и приговаривая:

— Если б ты видела! Ох, если бы ты только видела!

Но она взяла его за руки и сказала:

— Ну, довольно, успокойся, дружочек: тебе вредно так много смеяться.

И нежно поцеловала его в глаза.

Г-жа Леребур больше не дуется. Иногда, в светлые ночи, супруги торопливым шагом направляются вдоль клумб и деревьев к маленькой оранжерее в конце сада. И, стоя рядышком, прильнув к стеклам, они наблюдают нечто необыкновенное и крайне привлекательное.

Селесте прибавили жалованья.

Г-н Леребур похудел.

ДУЭЛЬ

Война кончилась; вся Франция была занята немцами; страна содрогалась, как побежденный борец, прижатый коленом победителя.

Из обезумевшего, изголодавшегося, отчаявшегося Парижа отходили к новым границам и медленно тащились мимо сел и деревень первые поезда. Первые пассажиры смотрели из окон на изрытые равнины и сожженные селения. Возле уцелевших домов немецкие солдаты в черных касках с медным острием покуривали трубки, сидя верхом на стульях. Другие работали или беседовали с хозяевами, словно члены семьи. В городах, встречавшихся по пути, можно было видеть немецкие полки, маршировавшие по площадям, и, несмотря на грохот колес, до слуха временами долетал хриплый голос командира.

Г-н Дюбюи, прослуживший в парижской национальной гвардии в течение всей осады, ехал теперь в Швейцарию к жене и дочери, которых он еще до нашествия неприятеля из предосторожности отправил за границу.

Голод и усталость не отразились на его толстом животе, животе богатого и миролюбивого торговца. Г-н Дюбюи пережил страшные события с унылой покорностью и горьким сетованием на людскую жестокость. Хотя он и честно выполнял свой долг на городских укреплениях и не одну холодную ночь простоял в карауле, все же, направляясь теперь, по окончании войны, к границе, он видел пруссаков впервые.

Со злобой и ужасом смотрел он на этих вооруженных бородатых людей, расположившихся на французской земле, как у себя дома; в его душе загорался какой-то бессильный патриотический пыл, а вместе с ним росло смутное чувство, новый инстинкт осторожности, не покидающий нас с тех пор.

Вместе с ним в купе сидели два англичанина, приехавшие из любопытства и смотревшие на все спокойным наблюдающим взором. Оба они тоже были толстяки; они разговаривали на своем родном языке, изредка заглядывая в путеводитель, который читали вслух, стараясь распознать упоминаемые в нем местности.

Когда поезд остановился в каком-то маленьком городке, в купе вдруг вошел немецкий офицер, громыхнув саблей по подножкам вагона. Он был высок ростом и сильно затянут в мундир. Рыжая борода доходила ему до самых глаз и словно пылала, а длинные усы, более светлого оттенка, разбегались в стороны, разделяя лицо надвое.

Англичане тотчас же принялись его рассматривать, улыбаясь с чувством удовлетворенного любопытства. А г-н Дюбюи сделал вид, что читает газету. Он съежился в уголке, как вор в присутствии жандарма.

Поезд тронулся. Англичане продолжали разговаривать и выискивать места сражений, как вдруг, в тот момент, когда один из них протянул руку, указывая село на горизонте, немецкий офицер проговорил по-французски, вытягивая ноги и откидываясь назад:

— В этот село я упил тфенадцать француз. Я прал польше сто пленник.

Англичане, крайне заинтересованные, поспешно спросили:

— О! Как насифайс это сэл?

Пруссак ответил:

— Фарсбург.

И добавил:

— Я фсял эти шалюн-француз за уши.

И он с горделивой усмешкой взглянул на г-на Дюбюи.

А поезд все катил мимо занятых неприятелем дере-

вушек. Немецкие солдаты попадались на дорогах, на полях, у заборов или возле трактиров, где они мирно беседовали. Земля кишела ими, как саранчой.

Офицер повел рукою:

— Если пы я пил командир, я пы фсял и фсе пы сжег и фсех пы упил! Штоп Франция капут!

Англичане из вежливости ответили кратким:

— Aoh, yes! [1]

Он продолжал:

— Шерес тфатцать лет фся Европ, фся, пудет наш. Пруссия самий сильний.

Встревоженные англичане перестали отвечать. Их лица, окаймленные длинными баками, сделались бесстрастными и точно восковыми. Тут прусский офицер захохотал и, по-прежнему развалясь, начал издеваться. Он глумился над разгромленной Францией, оскорблял поверженного врага, глумился над побежденной недавно Австрией, глумился над ожесточенным, но бессильным сопротивлением отдельных провинций, глумился над новобранцами, над бесполезной артиллерией. Он объявил, что Бисмарк собирается построить целый город из металла захваченных пушек. И вдруг он поставил сапог на ногу г-на Дюбюи; тот скосил глаза и покраснел до ушей.

Англичане, казалось, сделались ко всему безразличны; они словно сразу уединились на свой остров, отрешившись от мирской суеты.

Офицер вынул из кармана трубку и, смотря на француза в упор, спросил:

— Есть у фас табак?

— Нет, сударь.

Немец продолжал:

— Я прошу фас пежать купить, когда поезд пудет остановиться.

И опять расхохотался.

— Я вам дам на тшай.

Поезд загудел, замедляя ход, и, миновав обгоревшие станционные здания, остановился.

Немец отворил дверцу и, взяв господина Дюбюи за руку, сказал:

---

[1] О, да! *(англ.)*.

— Исполняйт мое порушенье, шифо, шифо!

Станция была занята немецким отрядом. Солдаты стояли вдоль деревянных заборов и смотрели по сторонам. Локомотив засвистел, трогаясь в путь. В этот момент г-н Дюбюи стремительно выскочил на перрон и, не обращая внимания на протестующие жесты начальника станции, бросился в соседнее купе.

Он один! У него так билось сердце, что он расстегнул жилетку и, отдуваясь, отер себе лоб.

Вскоре поезд остановился на следующей станции. Вдруг в окошке появился офицер. Он влез в купе, а за ним последовали и оба англичанина: их подстрекало любопытство.

Немец сел против француза и, продолжая хохотать, спросил:

— Ви не хотель исполнить мое порушенье?

Г-н Дюбюи ответил:

— Нет, сударь.

Поезд тронулся.

Офицер сказал:

— Тогда я опрешу ваш ус и напью им свой трупка.

И он потянулся рукою к лицу соседа.

Англичане, по-прежнему невозмутимые, смотрели, не мигая.

Немец уже взялся за кончик уса и потянул его, но г-н Дюбюи ударом снизу оттолкнул его руку и, схватив немца за ворот, швырнул на лавку. Потом, обезумев от злобы, со взбухшими на висках жилами, с налитыми кровью глазами, он одной рукой вцепился ему в горло, а другой стал исступленно бить его кулаком по лицу. Пруссак защищался, пробовал вытащить саблю, пытался обхватить навалившегося на него противника. Но г-н Дюбюи давил его своим грузным животом и бил, бил без устали, без передышки, сам не зная, куда сыплются удары. Потекла кровь; немец хрипел, задыхался, выплевывал зубы и тщетно старался отбросить разъяренного толстяка, который яростно колотил его.

Англичане поднялись с мест и приблизились, чтобы лучше видеть. Они стояли довольные, сгорая от любопытства, и, видно, готовы были держать пари за любого из сражающихся.

Но вдруг г-н Дюбюи, обессилев от напряжения, приподнялся и молча сел.

Пруссак не бросился на него — до такой степени он растерялся, так ошалел от недоумения и боли. Отдышавшись, он проговорил:

— Если ви не татите мне удофлетворенье через пистолет, я вас упью.

Г-н Дюбюи ответил:

— Я к вашим услугам. С великой охотой.

Немец добавил:

— Вот Штрасбург; я пуду прать тва секундант из официр, я успел, пока поезт не итет.

Г-н Дюбюи, пыхтевший, как паровоз, обратился к англичанам:

— Не согласитесь ли быть моими секундантами?

Оба ответили зараз:

— Aoh, yes!

Поезд остановился.

Пруссак мигом отыскал двух приятелей, которые принесли с собою пистолеты; все отправились за городской вал.

Англичане беспрестанно вынимали часы, ускоряли шаг, торопили приготовления: они боялись опоздать на поезд.

Г-ну Дюбюи никогда еще не приходилось держать в руках пистолет. Его поставили в двадцати шагах от противника, потом спросили:

— Вы готовы?

Отвечая: «Да, сударь»,— он заметил, что один из англичан раскрыл зонтик, чтобы защититься от солнца.

Чей-то голос скомандовал:

— Раз, два, три!

Г-н Дюбюи, не выжидая, выстрелил наугад и с удивлением увидел, что стоявший перед ним пруссак пошатнулся, всплеснул руками и ничком повалился на землю; он был убит.

Один из англичан вскричал: «Aoh!» — и в этом звуке слышались и радость, и удовлетворенное любопытство, и нетерпение. Другой, все еще с часами в руках, схватил г-на Дюбюи под руку и побежал с ним к станции.

Первый англичанин, сжав кулаки и прижав локти к туловищу, отсчитывал на ходу:

— Раз, два, раз, два!

И все трое, несмотря на толстые животы, бежали в ряд, как три чудака из юмористического журнала.

Поезд отходил. Они вскочили в свой вагон. Сняв дорожные шапочки, англичане подняли их вверх и, помахивая ими, трижды прокричали:

— Гип, гип, гип, ура!

Потом они один за другим торжественно протянули г-ну Дюбюи руку и снова уселись рядышком в своем углу.

НОВОСЕЛЬЕ

Мэтр Саваль, вернонский нотариус, страстно любил музыку. Еще молодой, но уже плешивый, всегда тщательно выбритый, в меру полный, в золотом пенсне вместо старомодных очков, деятельный, любезный и веселый, он слыл в Верноне музыкантом. Он играл на рояле и на скрипке, устраивал музыкальные вечера, на которых исполнялись новые оперы.

У него даже был, как говорится, намек на голос, всего лишь намек — крошечный намек; но он владел им с таким вкусом, что слова: «Браво! Упоительно! Потрясающе! Чудесно!» — срывались со всех уст, как только он ронял последнюю ноту.

Он состоял абонентом одного парижского музыкального издательства, которое доставляло ему все новинки, и время от времени рассылал высшему обществу городка пригласительные билеты такого содержания:

«Мэтр Саваль, нотариус, покорнейше просит Вас пожаловать к нему в понедельник вечером на первое исполнение в Верноне оперы *Саис*».

Несколько офицеров с хорошими голосами составляли хор. Пели также две — три местных дамы. Нотариус исполнял обязанности дирижера с такой уверенностью, что капельмейстер 190-го пехотного полка отозвался о нем как-то в Европейском кафе:

— О, господин Саваль — это мастер! Как жаль, что он не избрал музыкального поприща!

Когда имя его упоминалось в гостиных, всегда кто-нибудь замечал:

— Это не любитель, это артист, настоящий артист!

И двое — трое вторили ему с глубоким убеждением:

— Да, да, настоящий артист! — особенно подчеркивая слово «настоящий».

Всякий раз, как на парижской большой сцене давалась новая опера, г-н Саваль отправлялся туда.

Так и в прошлом году он, по обыкновению, собрался послушать *Генриха VIII*. Он выехал с экспрессом, прибывающим в Париж в 4.30 дня, и предполагал вернуться с поездом 12.35, чтобы не ночевать в гостинице. Дома он облачился в парадное платье — черный фрак с белым галстуком, а поверх надел пальто с поднятым воротником.

Как только г-н Саваль ступил на Амстердамскую улицу, ему стало необыкновенно весело.

«Парижский воздух, — подумал он, — положительно не похож ни на какой другой. В нем есть что-то бодрящее, живительное, хмельное, что-то внушающее странное желание подурачиться и выкинуть какую-нибудь шутку. Стоит только выйти из вагона, как мне начинает казаться, что я выпил бутылку шампанского. Какою жизнью можно было бы зажить здесь, вращаясь среди людей искусства! Как счастливы те избранники, те великие таланты, которые прославились в таком городе! Вот жизнь так жизнь!»

И он стал строить планы: хорошо бы завести несколько знакомых среди знаменитостей, чтобы потом рассказывать о них в Верноне и изредка проводить с ними вечерок во время поездок в Париж.

Вдруг его осенила мысль. Он слышал рассказы о маленьких кафе на внешних бульварах, где собираются прославленные художники, литераторы, даже музыканты, и он не спеша стал подниматься к Монмартру.

У него было свободных два часа. Ему захотелось взглянуть на все это. Он прошел мимо пивных — пристанищ низкопробной богемы, всматривался в лица завсегдатаев, стараясь узнать среди них людей искусства. Наконец, прельстившись названием, он зашел в *Дохлую Крысу*.

Пять — шесть женщин, облокотясь на мраморные столики, шептались о своих любовных делах, о ссоре Люси с Гортензией, о подлости Октава. Это были женщины уже немолодые: одни слишком жирные, другие слишком худые, изможденные, истасканные. Можно было бы поручиться, что они почти облысели. Они пили пиво, как мужчины.

Г-н Саваль сел поодаль и стал ждать, ибо приближался час предобеденной рюмочки абсента.

Вскоре вошел высокий молодой человек и сел рядом с ним. Хозяйка назвала его господином Романтеном. Нотариус вздрогнул. Не тот ли это Романтен, что получил первую медаль в последнем Салоне?

Молодой человек жестом подозвал официанта:

— Подай мне обед, а потом снеси в мою новую мастерскую на бульвар Клиши, дом пятнадцать, три дюжины пива и окорок, который я заказал утром. Сегодня мы празднуем новоселье.

Г-н Саваль сразу же потребовал себе обед. Потом снял пальто, довольный, что все увидят его фрак и белый галстук.

Сосед, казалось, не замечал его. Он взял газету и стал читать. Г-н Саваль посмотрел на него искоса, сгорая желанием завязать разговор.

Двое молодых людей в красных бархатных куртках, с острыми бородками à la Генрих III, вошли и сели против Романтена.

Первый из них спросил:

— Значит, сегодня вечером?

Романтен пожал ему руку:

— Разумеется, старина! И все обещали быть: Бонна, Гийеме, Жервекс, Беро, Эбер, Дюэз, Клерен, Жан-Поль Лоранс. Закатим сногсшибательный кутеж. И какие женщины будут! Вот увидишь. Решительно все актрисы, разумеется, не занятые в спектакле.

Подошел хозяин заведения:

— Часто вы устраиваете такие новоселья?

Художник ответил:

— Еще бы! Каждые три месяца, — как только наступает срок квартирной платы.

Г-н Саваль не выдержал и робким голосом проговорил:

— Простите за беспокойство, сударь, но я слышал ваше имя и очень хотел бы узнать: не тот ли вы г-н Романтен, произведениями которого я так любовался в последнем Салоне?

Художник ответил:

— Он самый, собственной персоной, сударь.

Тут нотариус ловко ввернул комплимент, дав тем самым понять, что и он не чужд искусству.

Польщенный живописец ответил любезностью. Завязался разговор.

Романтен снова вернулся к новоселью и стал расписывать великолепие предстоящего пиршества.

Г-н Саваль расспросил обо всех приглашенных, добавив:

— Какое было бы необыкновенное счастье для постороннего человека встретить сразу столько знаменитостей у такого выдающегося художника, как вы!

Романтен, окончательно покоренный, ответил:

— Если это доставит вам удовольствие, приходите!

Г-н Саваль с восторгом принял приглашение, подумав: «Послушать *Генриха VIII* я еще успею!»

Они кончили обедать. Нотариус поспешил уплатить за двоих, желая ответить любезностью на любезность соседа.

Уплатил он и по счету молодых людей в красном бархате, после чего вышел вместе с художником.

Они остановились у невысокого, но очень длинного дома, первый этаж которого напоминал бесконечную оранжерею. Шесть мастерских тянулись одна за другой вдоль фасада, выходящего на бульвар.

Романтен вошел первый, взбежал по ступенькам, отпер дверь, зажег спичку, потом — свечу.

Они оказались в непомерно большой комнате, всю обстановку которой составляли три стула, два мольберта и несколько эскизов, разложенных на полу вдоль стен. Ошеломленный г-н Саваль замер в дверях.

Художник произнес:

— Вот, помещение есть, но еще ничего не готово!

Затем, обведя взглядом высокую пустую комнату и терявшийся во мраке потолок, он добавил:

— В этой мастерской можно бы недурно устроиться!

Он обошел помещение, разглядывая его с величайшим вниманием, потом сказал:

— У меня есть любовница, которая, конечно, могла бы нам помочь. Женщины — незаменимые драпировщицы. Но я спровадил ее в деревню, чтобы избавиться от нее на сегодняшний вечер. Не то чтоб она мне надоела, но уж очень она невоспитанна — неловко перед гостями.

Он подумал несколько мгновений и добавил:

— Она девушка славная, но уж очень непокладиста. Знай она, что у меня гости, она бы мне глаза выцарапала.

Г-н Саваль не шелохнулся: он ничего не понимал.

Художник подошел к нему:

— Раз уж я вас пригласил, извольте мне кое в чем помочь.

Нотариус заявил:

— Располагайте мною, как хотите. Я весь к вашим услугам.

Романтен снял куртку.

— Так за работу, гражданин! Прежде всего подметем пол.

Он зашел за мольберт, на котором стоял холст, изображающий кота, и вытащил оттуда сильно поистертую щетку.

— Вот, метите. А я пока займусь освещением.

Г-н Саваль взял щетку, посмотрел на нее и принялся неловко мести пол, вздымая тучу пыли.

Романтен возмущенно остановил его.

— Да вы совсем подметать не умеете, черт возьми! Вот смотрите.

И он погнал перед собою целую груду серого мусора, словно только этим и занимался всю жизнь; потом он вернул щетку нотариусу, и тот стал подметать, как ему показали.

Минут через пять в мастерской пыль повисла такою мглою, что Романтен спросил:

— Где вы? Вас и не видно.

Г-н Саваль, откашливаясь, подошел к нему.

Художник спросил:

— Как, по-вашему, соорудить люстру?

Тот, недоумевая, спросил:

— Какую люстру?

— Ну, люстру для освещения. Для свечей.

Нотариус не понимал. Он промычал:

— Не знаю...

Вдруг художник принялся скакать по комнате и щелкать пальцами, как кастаньетами.

— А я, сударь мой, придумал!

Потом спросил спокойнее:

— Найдется у вас пять франков?

Г-н Саваль ответил:

— Разумеется.

Художник продолжал:

— Так вот, сбегайте купить на пять франков свечей, а я тем временем слетаю к бондарю.

И он вытолкал нотариуса в одном фраке на улицу. Минут через пять они вернулись — один со свечами, другой с обручем от бочки. Потом Романтен полез в шкаф и извлек оттуда десятка два пустых бутылок, которые и привязал вокруг обруча в виде венка. Затем он побежал к привратнице за лесенкой, объяснив предварительно, что заслужил благоволение старушки тем, что написал портрет ее кота, тот самый, что стоит на мольберте.

Вернувшись со стремянкой, он спросил у г-на Саваля:

— Вы ловкий?

Тот, не понимая, ответил:

— Да... конечно!

— Ну, так полезайте на лестницу и повесьте люстру на крюк. Затем во все бутылки вставьте свечи и зажгите их. Говорю вам: по части освещения я гениален. Да снимите же фрак, ну его к чертям! У вас какой-то лакейский вид.

Вдруг дверь с шумом распахнулась, и на пороге появилась и замерла женщина со сверкающим взглядом. Романтен взирал на нее с ужасом.

Она выждала несколько мгновений, скрестив руки на груди, потом закричала резким, дрожащим, отчаянным голосом:

— Ах ты, скотина подлая, так ты меня обманывать вздумал?!

Романтен не отвечал. Она продолжала:

— Вот негодяй! А ведь как прикидывался, когда спроваживал меня в деревню. Увидишь, какую я тебе взбучку задам. Вот я теперь сама твоих приятелей встречу...

Она все больше расходилась:

— Я им этими самыми бутылками да свечками морды расквашу!..

Романтен ласково проговорил:

— Матильда...

Она не слушала, она вопила:

— Вот погоди, голубчик, погоди!

Романтен подошел к ней, пытаясь взять ее за руку:

— Матильда...

Но она не унималась; она без удержу выкладывала весь свой запас бранных слов и упреков. Они текли из ее рта, как поток нечистот. Слова будто расталкивали друг друга, стремясь поскорее выскочить. Она заикалась, захлебывалась, голос ее срывался, но она вновь овладевала им, чтобы бросить ругательство или оскорбление.

Он взял ее за руки, но она не заметила этого и, казалось, даже не видела его самого: так захватили ее слова, облегчавшие ее сердце. И вдруг она разрыдалась. Слезы хлынули, но и они не остановили потока ее жалоб. Только упреки ее приобрели теперь визгливые, резкие интонации, и в них послышались плаксивые нотки, прерываемые всхлипываниями. Два—три раза она начинала сызнова, но рыдания душили ее, и, наконец, она умолкла, заливаясь слезами.

Тогда он обнял ее, растрогавшись, и стал целовать ей волосы.

— Матильда, крошка моя, Матильда, послушай! Будь умницей. Ты знаешь, что если я устраиваю вечер, так только затем, чтобы отблагодарить кое-кого за медаль в Салоне. Женщин я пригласить не могу. Ты должна бы сама понимать это. С художниками надо обращаться умеючи, не так, как со всеми.

Она пролепетала сквозь слезы:

— Почему же ты не сказал мне об этом?

Он ответил:

— Чтобы не сердить тебя и не огорчать. Слушай, я

провожу тебя до дому. Ты будешь умницей, будешь паинькой и подождешь меня спокойно в постельке, а я приду, как только кончится.

Она прошептала:

— Хорошо, но больше ты так поступать не будешь?

— Нет, клянусь тебе!

Он обернулся к г-ну Савалю, который только что примостил наконец люстру:

— Друг мой, я вернусь минут через пять. Если кто-нибудь придет без меня, примите его, будьте хозяином, хорошо?

И он увлек Матильду, которая вытирала слезы и усиленно сморкалась.

Оставшись один, г-н Саваль занялся окончательным приведением комнаты в порядок. Потом он зажег свечи и стал ждать.

Он ждал четверть часа, полчаса, час... Романтен не возвращался. Вдруг на лестнице послышался страшный шум: хор человек в двадцать вопил песню; раздавался мерный шаг, подобный шагу прусского полка. Топот сотрясал весь дом. Дверь распахнулась, появилась целая ватага. Мужчины и женщины шли попарно, взявшись под руку и стуча в такт ногами; их шествие напоминало ползущую змею. Они горланили:

Сюда, ко мне в трактир,
Солдатики, служанки...

Растерявшийся г-н Саваль, во фраке, торжественно стоял под люстрой. Гости заметили его, все завопили: «Лакей! Лакей!» — и принялись носиться вокруг него, как бы замкнув его в кольцо завываний. Потом все взялись за руки и пустились в безумный хоровод.

Он попробовал объясниться:

— Господа... господа.. сударыни...

Но его не слушали. Всё кружилось, прыгало, орало.

Наконец пляска прекратилась.

Г-н Саваль проговорил:

— Господа!..

Высокий молодой блондин, заросший бородой до самого носа, перебил его:

— Как вас зовут, приятель?

Опешивший нотариус ответил:

— Мэтр Саваль.

Другой голос закричал:

— То есть — Батист.

Одна из женщин перебила его:

— Оставьте парня в покое, он в конце концов обидится. Он нанят для услуг, а не для того, чтобы над ним потешались.

Тут г-н Саваль заметил, что каждый приглашенный явился с собственной провизией. Один держал в руках бутылку, другой — пирог, тот — хлеб, этот — окорок.

Высокий блондин сунул ему в руки неимоверной величины колбасу и приказал:

— На, держи; да устрой-ка буфет вон в том углу. Бутылки сложи налево, закуску — направо.

Саваль, потеряв голову, закричал:

— Но, господа, я же нотариус!

На миг воцарилась тишина, потом грянул взрыв дикого хохота. Какой-то недоверчивый господин спросил:

— А как вы сюда попали?

Он объяснился, рассказал о своем намерении пойти в Оперу, об отъезде из Вернона, о прибытии в Париж, о том, как провел весь вечер.

Все уселись вокруг него, чтобы послушать; его подзадоривали, называли Шехерезадой.

Романтен все не возвращался. Появлялись другие приглашенные. Их знакомили с г-ном Савалем, чтобы он для них повторил свой рассказ. Он отнекивался, но его заставляли рассказывать. Его даже привязали к одному из трех стульев, между двумя дамами, которые беспрестанно подливали ему вина. Он пил, хохотал, болтал, даже начинал петь. В конце концов он попробовал было танцевать вместе со стулом, но свалился.

Начиная с этого момента, он ничего больше не помнил. Ему, однако, казалось, что его раздевают, укладывают и что его тошнит.

Было уже совсем светло, когда он проснулся на незнакомой постели, в алькове.

Пожилая женщина со щеткой в руках смотрела на него с яростью. Наконец она сказала:

— Вот ведь пакостник, ну и пакостник же! Можно ли этак напиваться!

Он сел в постели; его мутило. Он спросил:

— Где я?

— Где вы, пакостник этакий? Вы пьяны. Убирайтесь-ка отсюда, да поживее!

Он хотел было встать, но был совсем голый. Его платье исчезло. Он проговорил:

— Сударыня, я...

Потом он припомнил все... Что теперь делать? Он спросил:

— Господин Романтен не вернулся?

Привратница завопила:

— Да уберетесь ли вы, чтоб он не застал вас здесь, по крайней мере!

Мэтр Саваль в смущении возразил:

— Но мне не во что одеться... У меня все утащили...

Ему пришлось ждать, объяснять случившееся, уведомить знакомых, занять денег на покупку платья. Уехал он лишь к вечеру.

И когда теперь у него в Верноне, в его нарядной гостиной, заходит разговор о музыке, он авторитетно заявляет, что живопись — искусство далеко не столь возвышенное.

МСТИТЕЛЬ

Когда Лигуан Лейе женился на Матильде, вдове г-на Сури, он был влюблен в нее уже лет десять.

Г-н Сури был его другом, его давнишним школьным товарищем. Лейе очень любил его, но считал недалеким. Он частенько говаривал:

— Бедняга Сури пороху не выдумает.

Когда Сури женился на м-ль Матильде Дюваль, Лейе был удивлен и несколько задет, так как сам был к ней слегка неравнодушен. Она была дочерью их соседки, бывшей галантерейщицы, скопившей крошечное состояние и удалившейся от дел. Матильда была красива, изящна и умна. За Сури она вышла по расчету.

Тогда у Лейе родились надежды иного порядка. Он стал ухаживать за женой своего друга. Он был недурен собой, неглуп, богат. Казалось, ему нечего было сомневаться в успехе, но он просчитался. Тогда он окончательно влюбился, однако дружба с мужем делала его поклонником скромным, робким, застенчивым. Г-жа Сури решила, что он отказался от своих намерений, и чистосердечно подружилась с ним.

Так прошло девять лет.

Но вот однажды утром рассыльный принес Лейе от несчастной женщины отчаянную записку. Сури скоропостижно умер от аневризма.

Это явилось для Лейе тяжелым ударом, так как они были ровесники; но почти тотчас же всю душу его, все существо охватило чувство облегчения, глубокой радости, бесконечной отрады. Г-жа Сури была свободна.

Он сумел, однако, принять соответствующий обстоятельствам удрученный вид и, соблюдая все приличия, выждал положенное время. По прошествии года с небольшим он женился на вдове.

Все сочли этот поступок вполне естественным и даже благородным. В этом сказался настоящий друг и порядочный человек. Он был, наконец, счастлив, счастлив вполне.

Они жили в самой задушевной близости, сразу же поняв и оценив друг друга. У них не было никаких секретов: они делились самыми затаенными мыслями. Лейе любил жену спокойной и доверчивой любовью. Он любил ее, как нежную и преданную спутницу, как товарища и друга. Но в душе его жила странная, непонятная злоба к покойному Сури, который раньше его обладал этой женщиной, первым сорвал цвет ее юности, ее души и даже до некоторой степени лишил ее поэтичности. Воспоминание об умершем муже отравляло счастье мужа живого, и ревность к покойному теперь днем и ночью снедала сердце Лейе.

В конце концов он стал беспрестанно говорить о Сури, выведывал о нем всякие интимные, сокровенные подробности, старался разузнать обо всем, что касалось его личности и привычек. И он преследовал его, мертвого, насмешками, с удовольствием припоминал его чудаковатость, отмечал его смешные стороны, подчеркивал недостатки.

Он то и дело звал жену с другого конца дома:

— Матильда!

— Что, мой друг?

— Поди-ка на минутку.

Она всегда являлась с улыбкой, заранее зная, что разговор будет о Сури, и поощряла эту безобидную склонность своего нового супруга.

— Скажи-ка, ты помнишь, как однажды Сури пытался доказать мне, что мужчин-коротышек любят больше, чем рослых?

И он пускался в рассуждения, обидные для покойника, который был приземист, и сдержанно лестные для себя, так как сам он был высокого роста.

А г-жа Лейе давала ему понять, что он прав, безусловно прав, и смеялась от всей души, подшучивая над прежним мужем в угоду новому, который в заключение неизменно приговаривал:

— Ну и колпак же этот Сури!

Они были счастливы, вполне счастливы, и Лейе не переставал доказывать жене всеми полагающимися способами свою неутихающую страсть.

И вот однажды ночью, когда они, возбужденные приливом второй молодости, не могли заснуть, Лейе, крепко обняв жену и целуя ее в губы, вдруг спросил:

— Скажи, дружок...

— А?

— Сури... то, о чем мне хочется спросить... очень трудно выразить. Сури был очень... очень влюблен?

Она ответила ему звучным поцелуем и прошептала:

— Не так, как ты, котик.

Его мужское самолюбие было польщено, и он добавил:

— Он, вероятно, был... порядочный колпак... а?

Она не ответила. Она только лукаво хихикнула и уткнулась лицом в шею мужа.

Он спросил:

— Должно быть, он был в высшей степени колпак и не очень-то... не очень... как бы это сказать... не особенно искусен?

Она сделала головой легкое движение, означавшее:

— Нет... совсем даже не искусен.

Он продолжал:

— Должно быть, ты немало досадовала на него по ночам, а?

На этот раз она ответила в искреннем порыве:

— О да!

За это он снова ее поцеловал и прошептал:

— Вот скотина! Так ты с ним не была счастлива?

Она ответила:

— Нет. Не очень-то это было весело... каждый день одно и то же.

Лейе был в восторге: он мысленно сравнивал преж-

нее положение жены с теперешним и делал вывод в свою пользу.

Некоторое время он лежал молча, потом в порыве веселости спросил:

— А скажи-ка...

— Что?

— Будешь со мной откровенна, совсем откровенна?

— Конечно, дружок...

— Так вот, по правде, было у тебя когда-нибудь... искушение... изменить этому болвану Сури?

Г-жа Лейе испустила легкое стыдливое «о!» и еще теснее прижалась к мужниной груди. Но он заметил, что она сдерживает смех.

Он стал настаивать:

— Ну, по совести, признайся. Ведь этой скотине так подходили рога! Вот была бы потеха, вот потеха! Миляга Сури! Ну же, ну, милочка, скажи мне... мне-то уж, во всяком случае, можно признаться.

Он особенно напирал на это «мне», предполагая, что если б у нее и был соблазн изменить Сури, то она сделала бы это именно с ним, с Лейе; и он трепетал от удовольствия, предвкушая признание, в полной уверенности, что, не будь она такой добродетельной, она отдалась бы ему.

Но она не отвечала, а все хихикала, словно вспоминая что-то очень смешное.

Лейе тоже начал смеяться, представляя себе, что мог бы наставить Сури рога. Вот была бы забавная проделка! Вот была бы потеха! Вот умора!

Он бормотал, трясясь от смеха:

— Бедняга Сури, ох, бедняга Сури, подходящая у него для этого была голова! Право же, подходящая, самая что ни на есть подходящая.

Г-жа Лейе под одеялом корчилась от смеха, хохотала до слез, почти до крика.

А Лейе твердил:

— Признайся же, ну, признайся! Будь откровенна. Ты же понимаешь, что меня-то все это не может огорчить.

Тогда она прошептала, задыхаясь:

— Да, да.

Муж настаивал:

— Что —«да»? Ну, рассказывай все!

Она стала смеяться сдержанней и, приблизившись к уху Лейе, который ожидал приятного признания, прошептала:

— Да... я ему изменила.

Он почувствовал ледяной холодок, который пробежал по нему, проникая до самых костей, и растерянно пролепетал:

— Ты... ты ему... изменила... по-настоящему?

Она все еще воображала, что это ему кажется страшно забавным, и ответила:

— Ну да, конечно... по-настоящему.

Он был так взволнован, что должен был сесть; ему спирало дыхание, он был ошеломлен, словно узнал, что сам рогат.

Он помолчал, потом сказал просто:

— Вот как?

Она тоже перестала смеяться, слишком поздно поняв свою оплошность.

Наконец Лейе спросил:

— С кем же?

Она запнулась, подыскивая объяснение.

Он повторил:

— С кем?

Она, наконец, сказала:

— С одним молодым человеком.

Он резко повернулся к ней и сухо возразил:

— Разумеется, не с кухаркой. Я тебя спрашиваю: с каким молодым человеком, понимаешь?

Она не отвечала. Он схватил одеяло, которым она укрылась с головой, и, отбросив его на середину постели, повторил:

— Я желаю знать, с каким молодым человеком, слышишь?

Тогда она с трудом произнесла:

— Я пошутила.

Но он дрожал от гнева:

— Как? Что такое? Пошутила? Ты что же, смеешься надо мной? Но я этого не потерплю, слышишь? Я спрашиваю тебя: кто был этот молодой человек?

Она ничего не ответила; она лежала на спине не шевелясь.

Он взял ее за руку и крепко стиснул.

— Слышишь ты наконец? Я требую, чтобы ты отвечала, когда я к тебе обращаюсь!

Тогда она испуганно проговорила:

— Ты, кажется, с ума сходишь. Оставь меня в покое!

Он дрожал от бешенства и в отчаянии, не зная, что еще сказать, изо всей силы тряс ее, повторяя:

— Слышишь, что я говорю? Слышишь, что я говорю?

Она сделала движение, чтобы вырваться, и пальцем задела мужа за нос. Он пришел в бешенство, вообразив, что она ударила его нарочно, и ринулся на нее.

Он подмял ее под себя и стал бить изо всех сил по лицу, крича:

— Вот тебе, вот тебе, вот, вот, гадина, шлюха, шлюха!

Потом, задохнувшись, обессилев, встал и направился к комоду, чтобы выпить стакан апельсиновой воды с сахаром, ибо почувствовал такое изнеможение, что готов был лишиться чувств.

А она плакала, уткнувшись в подушку; она рыдала, поняв, что счастью ее настал конец — и по ее же собственной вине!

Потом она пролепетала сквозь слезы:

— Послушай, Антуан, поди сюда. Я тебе солгала; ты сейчас поймешь, выслушай.

И, уже готовая к защите, вооруженная уловками и доводами, она приподняла взъерошенную голову со съехавшим чепцом.

Он повернулся и подошел к ней; ему было стыдно, что он ее побил, но в глубине своего супружеского сердца он чувствовал неиссякаемую ненависть к этой женщине, изменившей тому — Сури.

ОЖИДАНИЕ

Мужчины после обеда беседовали в курительной комнате. Разговор зашел о неожиданных наследствах, о необычных завещаниях. Г-н Ле Брюман, которого называли то знаменитым мэтром, то знаменитым адвокатом, облокотился на камин и взял слово.

— В настоящее время,— сказал он,— мне поручено разыскать наследника, исчезнувшего при исключительно тяжелых обстоятельствах. Это одна из простых и жестоких драм повседневности, один из тех случаев, которые могут произойти каждый день, а между тем я не знаю ничего ужаснее. Вот послушайте.

С полгода тому назад меня пригласили к умирающей. Она мне сказала:

— Сударь, я хочу поручить вам самое щепетильное, трудное и затяжное дело, какое только может быть. Ознакомьтесь, пожалуйста, с моим завещанием; оно здесь, на столе. Я назначаю вам пять тысяч франков гонорара, если вам не удастся добиться успеха, и сто тысяч, если вы добьетесь его. После того, как я умру, нужно разыскать моего сына.

Она попросила меня помочь ей приподняться на постели, чтобы ей легче было говорить, а то она задыхалась, и голос ее прерывался и хрипел.

Я находился в очень богатом доме. Роскошная, но простая комната была обита плотным штофом, таким мягким на вид, что он, казалось, ласкал ваш взор, и настолько заглушавшим звуки, что слова как бы проникали в него и, растворяясь там, исчезали.

Умирающая продолжала:

— Вы первый человек, которому я поведаю свою страшную историю. Я постараюсь набраться сил, чтобы рассказать все до конца. Вам, которого я знаю как сердечного и в то же время светского человека,— вам я все открою, чтобы вы почувствовали искреннее желание помочь мне, насколько это будет в ваших силах.

Так слушайте.

До замужества я любила одного молодого человека, но предложение его было отклонено моей семьей, потому что он был недостаточно богат. Немного спустя я вышла замуж за человека очень богатого. Я вышла за него по глупости, ради послушания, из робости, по легкомыслию — как часто выходят девушки.

У меня родился от него ребенок, сын. Несколько лет спустя муж мой умер.

Тот, кого я любила, тоже женился. Когда он узнал, что я овдовела, он стал страшно мучиться тем, что сам уже не свободен. Он пришел ко мне и так плакал и рыдал, что сердце мое готово было разорваться. Мы стали друзьями. Может быть, мне не следовало его принимать. Но что поделаешь? Я была одинока, так одинока, в такой печали, в таком отчаянии. И я по-прежнему любила его. Как страдаешь подчас!

Он один и был у меня на свете: родители мои тоже умерли. Он приходил часто и проводил подле меня целые вечера. Мне не надо было бы позволять ему посещать меня так часто, раз он был женат. Но у меня не было сил запретить ему это.

Что же еще сказать вам? Он стал моим любовником. Как это произошло? Не знаю. Как это случается вообще? Да и вообще можно ли на это дать ответ? Может ли, по-вашему, быть иначе, когда два человеческих существа влечет друг к другу неодолимая сила взаимной любви? Можно ли, по-вашему, сударь, вечно противиться, вечно бороться, вечно отказывать в том, о чем просит, умоляет на коленях, в слезах, с безумными словами, в порывах страсти человек, которого обожаешь, которого всегда хотелось бы видеть счастливым, хотелось бы одарить всеми возможными радостями и которого доводишь до отчаяния, повинуясь светским приличиям? Какая для этого нужна сила, какое отречение от счастья, какое самопожертвование!

И какого эгоизма должна быть исполнена такая честность, не правда ли?

Словом, сударь, я стала его любовницей. И я была счастлива. Двенадцать лет я была счастлива. Я сделалась — и в этом главная моя ошибка и наибольшая низость — подругою его жены.

Мы с ним вместе растили моего сына, мы воспитывали из него мужчину, настоящего мужчину, умного, рассудительного, с сильной волей, с благородными и широкими взглядами. Мальчику исполнилось семнадцать лет.

Он, сын, любил моего... моего друга почти так же, как я сама, потому что я и мой возлюбленный одинаково любили мальчика и окружали его заботами. Он звал моего любовника «добрым другом», бесконечно уважал его и, всегда получая от него только разумные советы и примеры прямоты, благородства и порядочности, считал его старинным, безупречным и преданным другом матери, как бы духовным отцом, наставником, покровителем.

У мальчика, наверно, никогда и не возникало никаких вопросов, так как он с младенческих лет привык видеть этого человека в нашем доме, рядом со мной, возле себя, видеть его беспрестанно занятым нами.

Однажды вечером мы должны были обедать втроем (это бывало для меня самым большим праздником), и я поджидала их, загадывая, который из них придет первым. Дверь отворилась; вошел мой старый друг. Я пошла ему навстречу, протянув руки; он поцеловал меня в губы долгим, счастливым поцелуем.

Вдруг какой-то шум, шорох, нечто почти неуловимое, таинственное ощущение постороннего присутствия заставило нас вздрогнуть и порывисто обернуться. Жан, мой сын, стоял позади весь бледный и смотрел на нас.

Это было мгновение сверхчеловеческого ужаса. Я отступила назад, простирая руки к ребенку как бы с мольбой. Но я уже не видела его. Он скрылся.

Мы стояли друг против друга, сраженные, онемевшие. Я опустилась в кресло; у меня было странное и властное желание бежать, уйти куда глаза глядят,

сгинуть навсегда. Потом судорожные рыдания подступили к горлу, и я разрыдалась; спазмы сотрясали меня, душа разрывалась, все нервы были напряжены от сознания страшного, непоправимого несчастья и от невыносимого стыда, который охватывает материнское сердце в подобные минуты.

Он... стоял передо мною растерянный, не решаясь ни подойти, ни заговорить, ни коснуться меня из страха, что мальчик опять войдет. Наконец он проговорил:

— Я пойду за ним... скажу ему... я ему объясню... Словом, мне надо его увидеть... чтобы он знал...

И он вышел.

Я ждала... я ждала вне себя; я вздрагивала от малейшего шороха, охваченная страхом; при каждом потрескивании дров в камине мною овладевало какое-то невыносимое, непередаваемое волнение.

Я ждала час, ждала два и чувствовала, как в сердце моем растет неведомый безумный ужас, такое отчаяние, что я не пожелала бы и самому тяжкому преступнику пережить десять таких минут. Где мой ребенок? Что он делает?

Около полуночи рассыльный принес записку от моего любовника. Я до сих пор помню ее наизусть:

«Вернулся ли ваш сын? Я его не нашел. Я жду внизу. Не хочу входить так поздно».

Я написала карандашом на том же листке:

«Жан не возвращался. Разыщите его».

И я просидела в кресле всю ночь, дожидаясь.

Я сходила с ума. Мне хотелось выть, бегать, кататься по полу. Но я не двигалась, все еще ожидая. Что же будет дальше? Я хотела предугадать, представить себе это. Но, несмотря на все усилия, несмотря на все душевные муки, я ничего не могла разглядеть в будущем.

Теперь я боялась, как бы они не встретились. Как поступят они? Как поступит сын? Страшная тревога, ужасные предположения терзали меня.

Вам ведь понятно это, не правда ли, сударь?

Горничная, ни о чем не осведомленная и ничего не понимавшая, беспрестанно входила ко мне, считая, вероятно, что я лишилась рассудка. Я отсылала ее сло-

вом или жестом. Доктор, которого она привела, застал меня в нервном припадке.

Меня уложили. У меня началось воспаление мозга.

Придя в себя после долгой болезни, я увидела у своей постели моего... любовника... одного. Я закричала: «А сын? Где мой сын?» Он не отвечал. Я прошептала:

— Умер?.. умер?.. Покончил с собою?

Он ответил:

— Нет, нет, клянусь вам! Но нам не удалось его разыскать, несмотря на все мои усилия...

Тогда у меня вырвалось в порыве отчаяния, пожалуй, даже возмущения — ведь бывают такие непостижимые и безрассудные припадки злобы:

— Запрещаю вам приходить, запрещаю видеться со мной, пока вы его не разыщете. Уйдите!

Он вышел.

Я никогда больше не видела их, сударь,— ни того, ни другого, и я живу так уже двадцать лет.

Представляете ли вы себе это? Понимаете ли вы эту чудовищную муку, эту терзающую, беспрестанную боль материнского сердца, сердца женщины, это мучительное ожидание — без конца... без конца!..

Нет! Ему подходит конец: я умираю, не увидавшись с ними... ни с тем, ни с другим!

Мой друг писал мне ежедневно в течение всех двадцати лет; но я всегда отказывалась принять его, хотя бы на мгновение, потому что мне казалось, что если бы он пришел сюда — именно в эту минуту я снова увидела бы сына. Сын! Сын! Умер ли он? Жив ли? Где он скрывается? Быть может, там, за необъятными морями, в такой далекой стране, что даже имя ее мне неведомо? Думает ли он обо мне? О, если б он знал! Как жестоки бывают дети! Понял ли он, на какую чудовищную муку обрек он меня, какому отчаянию, какой пытке до конца моих дней подверг он меня заживо, еще молодую,— меня, свою мать, которая любила его со всей страстностью материнской любви? Как это жестоко, не правда ли?

Скажите ему все это, сударь. Передайте ему мои последние слова:

— Дитя мое, милое, милое дитя, не будь так жесток

к бедным человеческим существам. Жизнь и без того груба и беспощадна. Милое дитя, подумай о том, во что превратилось существование твоей матери, бедной твоей матери с того дня, как ты ее покинул. Милое дитя мое, прости ей и люби ее теперь, когда она умерла, ибо она претерпела самую страшную кару.

Она задыхалась, дрожа, словно говорила со своим сыном, стоящим перед нею. Погодя она добавила:

— Скажите ему еще, сударь, что я никогда больше не виделась... с тем.

Она опять умолкла, потом проговорила разбитым голосом:

— Оставьте меня теперь, пожалуйста. Я хотела бы умереть одна, раз их нет возле меня.

Мэтр Ле Брюман добавил:

— И я вышел, господа, плача, как дурак, так что мой кучер оборачивался, чтобы взглянуть на меня.

И подумать только, что вокруг нас ежедневно разыгрываются тысячи подобных драм!

— Я не нашел его... Не нашел этого... как хотите, а я скажу: этого... преступного сына.

СОВЕТЫ БАБУШКИ

Замок старинной архитектуры стоит на холме, поросшем лесом. Высокие деревья окружают его темной тенью, аллеи беспредельного парка уходят — одни в лесную чащу, другие — в соседние поля. Перед фасадом замка, в нескольких шагах от него, расположен каменный бассейн, в котором купаются мраморные дамы; дальше такие же водоемы спускаются уступами до самого подножия холма, а заключенный в русло источник бежит от одного бассейна к другому, образуя каскады. И самый дом, жеманный, как престарелая кокетка, и эти отделанные раковинами гроты, где дремлют амуры минувшего века,— все в этом старинном поместье сохранило облик далекой старины, все напоминает о стародавних обычаях, былых нравах, забытых любовных приключениях и легкомысленном щегольстве, в котором изощрялись наши прабабушки.

В небольшой гостиной в стиле Людовика XV, где на стенах изображены кокетливые пастушки, беседующие с пастушками, прекрасные дамы в фижмах и любезные завитые кавалеры, полулежит в большом кресле дряхлая старушка, свесив по сторонам высохшие, как у мумии, руки; когда она неподвижна, она кажется покойницей. Ее затуманенный взор обращен вдаль, к полям, и будто следит за мелькающими в парке видениями юности.

Дуновения легкого ветерка, проникая в открытое окно, доносят запахи трав и благоухание цветов; они шевелят седые волосы над ее морщинистым лбом и старые воспоминания в ее сердце.

Возле старушки, на бархатной скамеечке, сидит девушка; ее длинные белокурые волосы заплетены в косы. Она вышивает напрестольное покрывало.

По ее задумчивому взору видно, что в то время, как ее проворные пальцы работают, она предается мечтам.

Но вот бабушка повернула голову.

— Берта,— сказала она,— почитай мне что-нибудь из газет, чтобы я все-таки знала, что творится на свете.

Девушка взяла газету и пробежала ее глазами.

— Много политики, бабушка. Пропустить?

— Конечно, конечно, милочка. Нет ли любовных историй? Видно, теперь во Франции совсем не увлекаются, потому что никогда не слышно ни о похищениях, ни о дуэлях из-за дам, ни о любовных проказах, как в былые времена.

Девушка долго искала.

— Вот,— сказала она.— Озаглавлено: «Любовная драма».

На сморщенном лице старушки появилась улыбка.

— Прочти-ка мне это,— попросила она.

И Берта начала читать.

Это была история, в которой участвовал купорос. Некая дама, чтобы отомстить любовнице мужа, выжгла ей глаза. Суд оправдал ее, признав невиновной; ее поздравляли, толпа приветствовала ее.

Бабушка металась в кресле и твердила:

— Какой ужас! Нет, какой это ужас! Найди мне что-нибудь другое, милочка.

Берта просмотрела газету, потом стала снова читать из той же судебной хроники.

— «Жуткая драма». Перезрелая добродетельная дева неожиданно решила броситься в объятия молодого человека, потом, чтобы отомстить любовнику, у которого оказалось легкомысленное сердце и недостаточная рента, в упор выпустила в него четыре пули. Две из них застряли в груди, одна — в ключице и еще одна — в бедре. Человек на всю жизнь останется калекой. Девица была оправдана под рукоплескания присутствующих, и газета яростно обрушивалась на этого соблазнителя сговорчивых девственниц.

Тут старенькая бабушка окончательно возмутилась:

— Да вы, видно, теперь все с ума сошли, совсем

сошли с ума! — воскликнула она дрожащим голосом.— Господь дал вам любовь, единственную отраду жизни; человек добавил к ней флирт, единственное наше развлечение, а вы примешиваете сюда купорос и пистолет, ведь это все равно, что подлить помоев в бутылку старой мадеры.

Негодование бабушки было, видимо, непонятно Берте.

— Но, бабушка, ведь эта женщина отомстила за себя. Подумай только: она была замужем, а муж ей изменял.

Бабушка так и подскочила.

— И чего вам только, нынешним девушкам, не внушают!

Берта робко возразила:

— Но ведь брак — это нечто священное, бабушка.

Сердце старушки, сердце женщины, рожденной в великий галантный век, дрогнуло.

— Священна любовь,— ответила она.— Поверь мне, детка, поверь старухе, на глазах которой прошло три поколения; я хорошо, очень хорошо знаю и мужчин и женщин. Между браком и любовью нет ничего общего. Женятся для того, чтобы создать семью, а семья нужна для того, чтобы построить общество. Общество не может обойтись без брака. Если общество — это цепь, то каждая семья — звено в этой цепи. Чтобы спаять эти звенья, всегда подбирают однородные металлы. В браке надо сочетать сходное, надо сообразоваться с состоянием, с происхождением, надо заботиться об общем благе супругов, которое заключается в достатке и детях. Женятся, крошка, только один раз, да и то потому, что этого требует свет; а любить можно двадцать раз в жизни, потому что такими создала нас природа. Ведь брак — это закон, а любовь — инстинкт, который влечет нас от одного к другому. Люди придумали законы, которые подавляют наши инстинкты, и, видно, так нужно было. Но инстинкты всегда берут верх, и напрасно им противятся: ведь они от бога, законы же созданы людьми. Жизнь, крошка, надо подслащать любовью — и как можно больше,— подобно тому, как обсахаривают пилюли для детей, потому что такою, какая она есть, ее никто не примет.

Взволнованная Берта глядела на нее широко раскрытыми глазами.

— Ах, бабушка, бабушка! — прошептала она.— Любить можно только раз.

Старушка воздела к небесам дрожащие руки, словно взывая к почившему богу любовных утех, и воскликнула в негодовании:

— Всех вас можно назвать чернью, людьми заурядными. Революция лишила вас здравого смысла. Всюду только громкие слова, вы верите в равенство и в любовь до гроба. Стали писать стихи, где проповедуют, будто от любви умирают. В мое же время поэты учили нас любить как можно больше. Если нам нравился какой-нибудь дворянин, мы посылали к нему пажа. А когда нашим сердцем завладевал новый кумир, то прежнему возлюбленному давали отставку,— если только не сохраняли того и другого.

Девушка, вся побледнев, прошептала:

— Значит, тогда женщины были бесчестные?

Старушка возмутилась:

— Бесчестные? Только потому, что тогда любили, не боялись в этом признаваться и даже гордились этим? Но, дитя мое, если б одна из нас, одна из знатнейших дам Франции жила без любовника, весь двор поднял бы ее на смех. Неужели вы воображаете, что ваши мужья будут всю жизнь влюблены только в вас? Возможно ли это? Говорю тебе, что брак необходим для существования общества, но он противен нашей природе, понимаешь? В жизни только и есть хорошего, что любовь, а вас хотят лишить ее! Теперь вам твердят: надо любить лишь одного, но ведь это все равно, что заставить меня всю жизнь есть только индейку. А этот человек будет что ни месяц менять любовниц! Он будет следовать своему любовному инстинкту, который влечет его ко всем женщинам, как бабочку ко всем цветам, а я буду бродить по улицам со склянкой купороса и выжигать глаза бедным девушкам, которые послушались велений своего инстинкта! И я буду мстить не ему, а им! Я изуродую девушку. Я изуродую существо, созданное милосердным богом для того, чтобы оно нравилось, чтобы оно любило и было любимо. А ваше нынешнее общество, общество мужланов, мещан,

выскочек из лакеев, будет мне рукоплескать и оправдает меня! Это позор, что вы не понимаете любви; и я рада буду умереть, чтобы уйти из мира, где нет любовных увлечений, где женщины разучились любить.

Теперь вы все принимаете всерьез: месть негодяек, которые убивают своих возлюбленных, вызывает слезы сострадания у дюжины мещан, собравшихся, чтобы копаться в сердцах преступников. Вот в чем выражается ваша мудрость, ваша справедливость! Женщины стреляют в мужчин, а потом жалуются, что те перестали им поклоняться.

Девушка дрожащими руками взяла морщинистые руки бабушки:

— Перестань, бабушка, умоляю тебя.

И, опустившись на колени, со слезами на глазах, она молила небо ниспослать ей великую страсть, единственную, вечную любовь, какою рисуется она мечтам новейших романтических поэтов, а бабушка, еще вся во власти того пленительного и здорового разума, которым благодаря галантным философам проникнут был восемнадцатый век, поцеловала ее в лоб и прошептала:

— Берегись, бедняжка. Если ты станешь верить в такие бредни, ты будешь всю жизнь несчастна.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Длинная дорога Круазетт огибает голубой залив Направо, далеко в море, врезывается Эстерель. Он заграждает вид, замыкая горизонт красивыми южными склонами своих многочисленных, причудливо зазубренных вершин.

Налево острова Сент-Маргерит и Сент-Оноре выставляют из воды свои спины, поросшие соснами.

И во всю длину широкого залива, во всю длину высоких гор, раскинувшихся вокруг Канна, бесчисленные белые виллы словно дремлют на солнце. Они видны издалека, эти светлые домики, рассыпанные от вершин до подножия гор и вкрапленные белоснежными точками в темную зелень.

Ближайшие к воде обращены своими оградами к широкой дороге, которую омывают волны. Ясная, тихая погода; теплый зимний день, и лишь по временам чуть веет прохладой. Над оградами садов апельсинные и лимонные деревья, осыпанные золотыми плодами. По песку дороги гуляют дамы, сопровождая детей, катающих обруч, или беседуя с мужчинами.

На пороге маленького кокетливого домика, двери которого выходят на Круазетт, появляется молодая женщина. Она останавливается на миг, с улыбкой глядит на гуляющих, затем, медленно, с трудом добравшись до пустой скамейки у самого моря и уже устав от каких-нибудь двадцати шагов, она садится, зады-

хаясь. Ее лицо бледно, как у покойницы. Она кашляет и подносит к губам прозрачные пальцы, как бы затем, чтобы унять эти изнурительные приступы.

Она смотрит на залитое солнцем небо, где проносятся ласточки, на причудливые далекие очертания Эстереля и на море, такое голубое, спокойное, красивое и такое близкое.

Она улыбается еще раз и шепчет:

— О, как я счастлива!

А она ведь знает, что скоро умрет, что больше не увидит весны, что через год те же самые люди, что проходят мимо нее по этой дороге, явятся снова со своими подросшими детьми, и они будут вдыхать теплый воздух этой дивной страны, и сердца их будут попрежнему полны надежды, нежности, счастья, в то время как ее бедное тело, еще принадлежащее ей сегодня, будет гнить и разлагаться в дубовом гробу, и одни только кости останутся в лиловом платье, которое она выбрала для своего погребального наряда.

Ее не станет. Все на свете будет принадлежать другим. Для нее же все будет кончено, кончено навсегда.

Ее не станет... Она улыбается и вдыхает — глубоко, насколько позволяют ее больные легкие — ароматное дуновение садов.

И она отдается своим мыслям.

Она вспоминает. Ее обвенчали — с тех пор прошло уже четыре года — с одним нормандским дворянином. Это был крепкий, бородатый, краснощекий, широкоплечий малый, недалекого ума и веселого нрава.

Ее выдали замуж в расчете на богатство, которого она никогда не знала. Она охотно сказала бы «нет». Но дала знак согласия одним лишь движением головы, чтобы не перечить родителям. Она была парижанка, веселая и жизнерадостная.

Муж увез ее в свой нормандский замок. Это было огромное каменное здание, окруженное очень старыми деревьями. Высокие сосны подступали прямо к дому. Направо, из просеки, открывался вид на совершенно обнаженную равнину, которая расстилалась до отдаленных ферм. Мимо ограды тянулся проселок вы-

ходивший на большую дорогу в трех километрах оттуда.

Она вспоминает все: свой приезд, первый день в новом доме и медленно тянувшиеся годы уединенной жизни.

Выйдя из экипажа, она посмотрела на старинное здание и сказала, смеясь:

— Здесь невесело!

Муж ее тоже рассмеялся и ответил:

— Полно! Привыкнешь! Вот увидишь! Я здесь никогда не скучаю, нет!

Весь этот день они провели в поцелуях, и он не показался ей слишком долгим. На следующее утро поцелуи начались снова, и, по правде сказать, на ласки ушла целая неделя.

Потом она занялась устройством своего дома. Это затянулось на добрый месяц. День проходил за днем в мелких домашних заботах, поглощавших все время. Она поняла ценность и значение жизненных мелочей. Узнала, что можно интересоваться ценою на яйца, которые стоят то больше, то меньше на несколько сантимов, смотря по сезону.

Стояло лето. Она ездила в поле смотреть на жатву. И веселое солнце поддерживало в ее сердце радость.

Настала осень. Муж ее начал охотиться. Он уходил с утра с двумя собаками — Медором и Мирзой. Она оставалась в одиночестве, но разлука с Анри ее не огорчала. Она любила его и все же не страдала от его отсутствия. Когда он возвращался, всю ее нежность поглощали главным образом собаки. Она каждый вечер ухаживала за ними с материнской заботливостью, ласкала их без конца и давала им множество прелестных уменьшительных имен, которые вовсе не собиралась расточать мужу.

Он каждый раз рассказывал ей про свою охоту. Описывал места, где повстречал куропаток, удивлялся, что не нашел зайцев в клевере Жозефа Ледантю, или негодовал на поведение Лешапелье из Гавра, который постоянно шатался вдоль границы его земель, стреляя дичь, поднятую им, Анри де Парвилем.

Она отвечала: «Да, правда, это нехорошо»,— а сама думала о другом.

Пришла нормандская зима, холодная и дождливая. Бесконечные ливни обрушивались на шифер высокой остроконечной крыши, вонзавшейся в небо, точно клинок. Потоками грязи казались дороги и целыми равнинами грязи — поля; ничего не было слышно, кроме шума дождя; ничего не было видно, кроме суетливого полета ворон, которые собирались целыми тучами, опускались на поля и опять улетали.

Около четырех часов дня армия этих угрюмых птиц усаживалась с оглушительным криком на высокие буки, слева от замка. В течение целого часа они перелетали с верхушки одного дерева на верхушку другого, как будто дрались; они каркали и копошились черной массой в сероватых ветвях.

Каждый вечер она смотрела на них, и сердце ее сжималось, и ею овладевала мрачная меланхолия ночи, нисходившей на пустынные пашни.

Потом она звонила, чтобы принесли лампу, и придвигалась к огню. Она сжигала кучи дров, но ей не удавалось согреть огромные комнаты, где гнездилась сырость. Она зябла целыми днями, всюду — в гостиной, в столовой, в спальне. Холод, казалось, пронизывал ее до костей. Муж возвращался только к обеду: он без конца охотился или же был поглощен посевами, вспашкой и другими деревенскими делами.

Он приходил веселый, весь в грязи и объявлял, потирая руки:

— Какая омерзительная погода!

Или же:

— Недурно, когда есть огонек.

Или порою спрашивал:

— Что слышно сегодня? Мы всем довольны?

Он был счастлив и чувствовал себя отлично, так как у него не было иных желаний и он ни о чем не мечтал, кроме такой жизни — простой, здоровой, спокойной.

В конце декабря, когда выпал снег, она стала мучительно страдать от леденящего холода в замке, в старинном замке, который, казалось, остыл с веками, как смертные остывают с годами. И однажды вечером она попросила мужа:

— Знаешь, Анри, ты бы хорошо сделал, если бы

поставил здесь калорифер: это бы высушило стены. Уверяю тебя, я мерзну весь день.

Сперва он был изумлен этой сумасбродной идеей — поставить калорифер в его усадьбе. Ему показалось бы более естественным кормить своих собак из серебряной посуды. Потом он расхохотался во всю мощь своих легких, повторяя:

— Это здесь-то — калорифер! Здесь — калорифер! Ха-ха-ха, вот забавная выдумка!

Она настаивала:

— Уверяю тебя, друг мой, здесь очень холодно, ты этого не замечаешь, потому что постоянно в движении, но здесь холодно.

Он отвечал, продолжая смеяться:

— Полно тебе! Здесь хорошо, а кроме того, это и полезно. Ты только будешь лучше себя чувствовать. Мы не парижане, черт возьми, чтобы постоянно сидеть у печки. Да и весна уже на носу.

В начале января на нее обрушилось большое несчастье: отец и мать погибли при дорожной катастрофе. Она поехала на похороны в Париж. И это горе занимало ее мысли почти полгода.

Нега летних дней пробудила ее наконец, и она прожила до осени в грустном томлении.

Когда вернулись холода, она в первый раз стала всматриваться в темное будущее. Чем ей заняться? Нечем. Что может теперь произойти в ее жизни? Ничего. На что могла бы она надеяться, что может оживить ее сердце? Ничто. Врач, с которым она посоветовалась, сказал, что детей у нее никогда не будет.

Холод, еще более жестокий, более ощутимый, чем в прошлом году, заставлял ее беспрестанно страдать. Она протягивала зябнувшие руки к жаркому пламени. Пылающий огонь обжигал лицо, но ей казалось, что по спине скользит леденящее дуновение, проникая между тканью и телом. И она содрогалась с головы до ног. Сквозняки беспрестанно проносились по комнатам, словно живые существа, словно коварные, остервенелые враги. Она встречалась с ними каждый миг: своим

предательским ледяным дыханием они овевали ей то лицо, то руки, то шею.

И она снова заговорила о калорифере, но муж выслушал ее с таким видом, будто она требовала луну. Соорудить в Парвиле подобную вещь казалось ему таким же невозможным делом, как найти философский камень.

Побывав однажды по делам в Руане, он привез жене маленькую медную грелку, которую, смеясь, называл «портативным калорифером», и решил, что этого будет достаточно, чтобы раз навсегда отогнать от нее холод.

В конце декабря она поняла, что не сможет всегда так жить, и однажды вечером робко спросила:

— Скажи, друг мой, разве мы до весны не проведем недельку — другую в Париже?

Он изумился:

— В Париже? В Париже? Что там делать? Вот еще! Здесь так хорошо, у себя дома. Что за смешные фантазии приходят тебе в голову!

Она пробормотала:

— Это развлекло бы нас немножко.

Он не понимал:

— Что тебе нужно для развлечения? Театры, вечера, обеды в гостях? Но ведь, отправляясь сюда, ты прекрасно знала, что нечего ждать таких развлечений!

Ей послышался упрек в этих словах и в тоне, каким они были сказаны. Она замолчала. Робкая и мягкая, она не умела возмущаться и настаивать.

В январе нагрянули жестокие морозы. Потом землю покрыл снег.

Однажды вечером, глядя, как целая туча ворон кружилась над деревьями, она невольно расплакалась.

Вошедший муж с удивлением спросил:

— Что с тобой?

Он был счастлив, совершенно счастлив, так как никогда не мечтал о другой жизни, об иных удовольствиях. Он родился и вырос в этом печальном краю и здесь, у себя дома, чувствовал себя прекрасно, был здоров душой и телом.

Он не понимал, что можно желать каких-то событий, жаждать неизведанных радостей; он совершенно

не понимал, что некоторым кажется неестественным жить на одном и том же месте во все времена года; он, казалось, не знал, что весна, лето, осень, зима для большинства людей несут новые удовольствия, связанные с переменой мест.

Она ничего не нашлась ответить, быстро вытерла глаза и наконец пролепетала растерянно:

— Я... я... мне немножко грустно... Я немножко скучаю.

Но ужаснулась тому, что сказала, и торопливо добавила:

— И, кроме того, я... я... немножко зябну.

При этих словах он рассердился:

— Ну да!.. Все та же выдумка с калорифером! Но, черт побери, ведь с тех пор, как ты здесь, у тебя не было даже насморка.

Пришла ночь. Она поднялась к себе в спальню, так как добилась отдельной комнаты. Она легла. Но даже в постели ей было холодно. Она подумала:

— Так будет всегда, всегда, до самой смерти!

И она стала размышлять о муже. Как мог он ей это сказать: «С тех пор, как ты здесь, у тебя не было даже насморка».

Значит, нужно расхвораться, закашлять, чтобы он наконец понял, как она страдает.

И ее охватило негодование, безнадежное негодование слабого и робкого существа.

Надо, чтобы она кашляла. Тогда он, вероятно, сжалится над ней. Хорошо же! Она будет кашлять, он услышит ее кашель, придется позвать врача; он это увидит, ее супруг, он увидит!

Она встала, босая, и ребяческая фантазия заставила ее усмехнуться.

— Мне нужен калорифер, и он у меня будет! Я начну так кашлять, что муж согласится поставить его.

И она, полуголая, уселась на стул. Прождала час, другой. Дрожала, но насморк не начинался. Тогда она решилась наконец прибегнуть к крайнему средству.

Она бесшумно вышла из комнаты, спустилась по лестнице и растворила дверь в сад.

Земля, покрытая снегом, казалась мертвой. Она быстро протянула босую ногу и опустила ее в эту легкую ледяную пену. Ощущение холода, болезненное, словно рана, поднялось до самого сердца, но она шагнула другой ногой и медленно стала спускаться по ступенькам.

Потом пошла по газону, говоря себе:

— Дойду до сосен.

Она шла медленными шагами, задыхаясь каждый раз, когда ступала голой ногой по снегу.

Она дотронулась рукой до первой сосны, как бы затем, чтобы доказать себе, что довела свой план до конца, потом пошла обратно. Несколько раз ей казалось, что она вот-вот упадет: такой окоченелой и обессиленной почувствовала она себя. И все же, прежде чем вернуться, она уселась в эту замороженную пену, и даже набрала полную горсть снега, и растерла себе грудь.

Затем вернулась и улеглась. Через час она почувствовала, что в горле у нее — целый муравейник. Другие муравьи бегали по всему телу. И все же ей удалось заснуть.

На следующее утро она стала кашлять и не в силах была подняться.

У нее началось воспаление легких. Она бредила и в бреду просила калорифер. Врач потребовал, чтобы его поставили. Анри уступил, но злился и возмущался.

Она так и не поправилась. Глубоко задетые легкие внушали тревогу за ее жизнь.

— Если она останется здесь, то не дотянет до холодов,— сказал врач.

Ее отправили на юг.

Она приехала в Канн, узнала здешнее солнце, полюбила море, дышала воздухом, напоенным ароматом цветущих апельсиновых деревьев.

Весною она вернулась на север.

Но она жила там в вечном страхе поправиться, в страхе перед долгой нормандской зимой, и как только

ей становилось лучше, она ночью раскрывала окно, мечтая о ласковом побережье Средиземного моря.

Теперь она скоро умрет, она это знает. И она счастлива!

Она разворачивает газету, которую еще не раскрывала, и читает заголовок: «Первый снег в Париже».

Она вздрагивает, а затем улыбается. Смотрит на Эстерель, который розовеет под лучами заходящего солнца, смотрит на безбрежное небо, синее-синее, на безбрежное море, синее-синее, и наконец встает.

Затем она медленным шагом возвращается домой, останавливаясь лишь для того, чтобы откашляться: она слишком долго была на свежем воздухе и озябла, немножко озябла.

Дома она находит письмо от мужа. Распечатывает и, улыбаясь, читает:

«Дорогой друг! Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо и не особенно скучаешь вдали от наших прекрасных мест. У нас несколько дней стоял крепкий морозец, предвещающий снег. Я обожаю такую погоду и, само собой разумеется, никогда не топлю твой проклятый калорифер...»

Дальше она не читает, чувствуя себя счастливой при мысли, что все-таки добилась калорифера. Правая рука, сжимающая письмо, тихо опускается на колени, а левую она подносит к губам, как бы стараясь удержать упрямый кашель, раздирающий ей грудь.

КАВЕРЗА

(Из воспоминаний шутника)

В наш век каверзники стали похожи на гробовщиков и именуются политиками. У нас уж больше не выкидывают настоящих штук, крепких каверз, каверз веселых, здоровых и простых, какими развлекались наши отцы. А между тем что может быть забавнее и смешнее остроумной каверзы? Что может быть интереснее, чем разыграть легковерного, высмеять простака, одурачить хитреца, заманить пройдоху в безобидную, дурацкую ловушку? Что может быть восхитительнее остроумной насмешки над человеком, умения заставить его смеяться над собственной наивностью, способности отплатить ему какой-нибудь новой проделкой, если он вздумает сердиться?

О, я устроил немало, немало каверз на своем веку! Правда, и на мою долю их порядочно доставалось, черт возьми, и довольно крепких. Да, я выдумал их немало, и смешных и ужасных. Одна из моих жертв даже умерла от последствий. Это ни для кого не было потерей. Когда-нибудь я об этом расскажу, постараюсь только не напускать на себя скромности, так как моя каверза отнюдь не была приличной, совсем нет! Дело происходило в маленькой деревушке неподалеку от Парижа. Все очевидцы этой шутки по сей день смеются до слез при одном воспоминании, хотя сам одураченный и умер от нее. Мир праху его!

Сегодня же я хочу рассказать о двух каверзах: о са-

мой первой, придуманной мною, и о той, которую подстроили мне недавно.

Начнем с последней: она кажется мне менее забавной, поскольку я сам оказался ее жертвой.

Осенью я поехал в Пикардию, к друзьям, в их замок, чтобы поохотиться. Друзья мои были, само собой разумеется, шутники. Других людей я и знать не хочу.

Когда я прибыл, меня встретили с королевскими почестями, и это возбудило во мне недоверие. Палили из ружей, целовали меня, ласкали, словно ожидая какого-то большого удовольствия, и я сказал себе: «Берегись, старая лиса, что-то готовится!» За обедом веселье било ключом, оно показалось мне нарочитым. Я подумал: «Все что-то чересчур веселы, без всякой видимой причины. Наверное, задумана какая-нибудь крепкая шутка. И уж, конечно, она предназначается мне. Будем начеку!» Весь вечер неистово хохотали. Я чуял в воздухе каверзу, как собака чует дичь. Но откуда грозила опасность, я не знал. Я был обеспокоен и держался настороже; я не упускал ни единого слова, ни одного движения, ни одного жеста. Все казалось мне подозрительным, даже физиономии слуг.

Наступило время ложиться спать, и, чтобы проводить меня в мою комнату, устроили целое шествие. Зачем? Мне прокричали «покойной ночи». Я вошел, запер дверь и остановился со свечой в руке.

Слышно было, как смеялись и шушукались в коридоре. Несомненно, за мной подсматривали. И я внимательно оглядывал стены, мебель, потолок, занавески, паркет, но не замечал ничего подозрительного. Вдруг я услыхал за дверью шаги. Я был уверен, что кто-то подошел и заглядывает в замочную скважину.

Я подумал: «А что, если погаснет свеча и я останусь в темноте?» И я зажег все свечи на камине. Затем снова осмотрелся кругом, но так ничего и не заметил.

Я обошел на цыпочках всю комнату. Ничего. Оглядел одну за другой все вещи. Ничего. Подобрался к окну. Грубые ставни из цельных досок были открыты. Я осторожно закрыл их, задернул широкие бархатные занавеси и приставил к ним стул, чтобы оградить себя от нападения снаружи.

Затем я осторожно сел. Кресло было вполне крепкое. Лечь спать я не осмеливался. А время шло. В конце концов я решил, что это просто глупо. Если бы за мной подглядывали, как я думал, то в ожидании успеха подготовленной каверзы они должны были бы хохотать до упаду над моим страхом.

И я решил наконец улечься. Но кровать казалась мне особенно подозрительной. Я потянул полог. Он держался прочно. И все же там таилась опасность. Что, если меня обдаст холодным душем из-под балдахина или же я вдруг провалюсь под пол вместе со своим ложем? Я перебирал в памяти все былые проделки. Мне вовсе не хотелось попасть впросак. Нет уж, нет! Ну, нет!

Я решил принять меры предосторожности, и моя выдумка показалась мне замечательной. Осторожно ухватившись за край матраца, я легонько потянул его к себе. Он сдвинулся вместе с одеялом и простынями. Я вытащил все это на середину комнаты, напротив входной двери, как можно лучше приготовил себе там постель, подальше от подозрительной кровати и пугавшего меня алькова. Затем я потушил все свечи и ощупью забрался под одеяло.

Мне не спалось еще по крайней мере с час, и я вздрагивал при малейшем шуме. Казалось, в замке все было спокойно. Я задремал.

Должно быть, спал я долго и крепко. Но внезапно проснулся и подскочил: на меня свалилось какое-то тяжелое тело, а на лицо, на шею и на грудь хлынула обжигающая жидкость. Я завопил от боли. Невероятный грохот, как будто рухнул целый буфет, битком набитый посудой, оглушил меня.

Придавленный неподвижной грудой, я задыхался. Стараясь узнать, что это такое, я протянул руки и наткнулся на лицо, нос, бакенбарды. Тогда я изо всей силы треснул кулаком по этой физиономии. Но на меня посыпался целый град затрещин, и, выскочив одним прыжком из-под мокрого одеяла, в одной рубашке я выбежал в коридор: дверь оказалась открытой.

О, боже! Было уже совсем светло. Все сбежались и увидели распростертого на моей постели слугу. Он не мог прийти в себя. Он нес мне утренний чай, но по до-

роге, наткнувшись на мое импровизированное ложе, брякнулся прямо на меня, опрокинув весь завтрак — без всякого с его стороны злого умысла — прямо мне на лицо.

Принятые мною меры предосторожности — то, что я плотно закрыл ставни и улегся посередине комнаты,— и были единственной причиной каверзы, которой я так опасался.

Уж и посмеялись же мы в тот день!

Другая проделка, о которой я хочу рассказать, относится к ранней поре моей юности.

Мне было пятнадцать лет, и я проводил каникулы у моих родителей, опять-таки живших в замке, опять-таки в Пикардии.

У нас часто гостила одна престарелая дама из Амьена, невыносимая особа, сварливая, говорливая, ворчливая, мстительная и зловредная. Она возненавидела меня неизвестно за что и то и дело наговаривала на меня, толкуя в дурную сторону малейшее мое слово, малейший поступок. Этакая старая грымза!

Ее звали г-жой Дюфур. Она носила черный как смоль парик, хотя ей уже стукнуло добрых шестьдесят, а поверх него надевала уморительные крохотные чепчики с розовыми лентами. Ее уважали, так как она была богата. Я же ненавидел ее всей душой и решил хорошенько проучить.

Я только что окончил второй класс, и в курсе химии меня особенно поражали свойства вещества, которое называется фосфористым кальцием: брошенное в воду, оно воспламеняется, взрывается и выделяет облака белого вонючего газа. Чтобы позабавиться во время каникул, я стащил несколько щепоток этого вещества, с виду похожего на то, что обычно называется кристаллами.

У меня был двоюродный брат, мой ровесник. Я посвятил его в свой план. Моя дерзость его напугала.

И вот однажды вечером, когда вся семья еще сидела в гостиной, я тайком пробрался в комнату г-жи Дюфур и завладел (извините, сударыня!) тем круглым сосудом, который обычно хранят в ночном столике.

Я удостоверился, что он совершенно сухой, и насыпал на дно щепотку, основательную щепотку фосфористого кальция.

Затем я спрятался на чердаке и стал выжидать. Скоро звуки голосов и шаги возвестили мне, что все расходятся по своим комнатам; наступила тишина. Тогда я спустился босиком, задерживая дыхание, и прильнул к замочной скважине.

Г-жа Дюфур тщательно готовилась ко сну. Одну за другой сняла она свои тряпки и накинула на себя широкий белый капот, который, казалось, так и прилип к ее костям. Потом взяла стакан, налила воды и, засунув пальцы в рот, вытащила какую-то бело-розовую штуку, которую опустила в воду. Я испугался, как будто присутствовал при постыдном и страшном таинстве. То были всего-навсего ее вставные зубы.

Затем она сняла свой темный парик, и во всей красе предстала ее маленькая головка с реденькими белыми волосками; это было так комично, что я чуть не прыснул от смеха, стоя за дверью. Затем она помолилась, встала и приблизилась к моему орудию мести; она поставила его на пол посреди комнаты и, усевшись, совершенно прикрыла его своим капотом.

Я ждал с замиранием сердца. Она сидела спокойная, довольная, счастливая. Я ждал... и тоже был счастлив, как всякий, кто предвкушает месть.

Сперва я услышал легкий шум, журчание, и сразу вслед за этим целый залп глухих взрывов, напоминающих отдаленную стрельбу.

В одну секунду лицо г-жи Дюфур исказилось диким ужасом. Она широко раскрыла глаза, потом закрыла, потом опять раскрыла и вдруг вскочила с таким проворством, какого никак нельзя было от нее ожидать. И она смотрела, смотрела!..

Белый сосуд потрескивал, взрывался, полный беглого, летучего пламени, похожего на греческий огонь древности. Поднимаясь к потолку, валил густой дым, таинственный, ужасающий, словно в кухне ведьмы.

Что могла она подумать при этом, бедняга? Что это козни дьявола? Или какая-нибудь ужасная болезнь? Может быть, ей пришло в голову, что вырвавшееся из нее пламя должно было пожрать ее внутренности, что

оно изверглось, как из кратера вулкана, и могло взорвать ее, как пушку, в которую забили двойной заряд?

Она стояла, обезумев от ужаса, взгляд ее был прикован к этому феномену, и вдруг она испустила крик, какого я еще никогда не слыхал, и упала навзничь.

Я бросился бежать и зарылся в постель, крепко зажмурив глаза, как бы желая доказать самому себе, что я тут ни при чем, что я ничего не видел и даже не выходил из своей комнаты.

Я говорил себе: «Она умерла! Я ее убил!» — и тревожно прислушивался к звукам в доме.

Ходили взад и вперед, разговаривали, потом я услышал смех, а затем на меня посыпался град шлепков. Я узнал отцовскую руку. На другой день г-жа Дюфур была очень бледна. Она то и дело пила воду, быть может, пытаясь вопреки уверениям врача потушить пожар, который, как она думала, сжигал ее внутренности...

С тех пор, когда при ней заговаривали о болезнях, она глубоко вздыхала и бормотала:

— Ах, сударыня, если бы только вы знали! На свете бывают такие страшные болезни!

Но больше она ничего не добавляла.

ПИСЬМО, НАЙДЕННОЕ НА УТОПЛЕННИКЕ

Вы спрашиваете, сударыня, не издеваюсь ли я над вами. Вы не верите, чтоб человек никогда не был сражен любовью. Так вот, я никогда не любил, никогда!

Отчего так? Не знаю. Никогда я не испытывал того особого сердечного опьянения, которое зовется любовью. Никогда не предавался я тем восторгам, тем грезам, тому безрассудству, в какие повергает нас образ женщины. Меня никогда не преследовало, не захватывало, не воспламеняло, не приводило в экстаз предвкушение или самое обладание существом, которое внезапно стало бы для меня желаннее всех радостей, прекраснее всех созданий, дороже всей вселенной.

Я никогда не плакал, никогда не страдал из-за женщины.

Я не проводил бессонных ночей в мечтах о любимой.

Мне незнакомы пробуждения, озаренные мыслью или воспоминанием о ней. Мне неведом безумный восторг надежды перед ее появлением и божественная печаль сожалений после того, как она исчезла, оставив в комнате легкий запах фиалок и своего тела.

Я никогда не любил.

Я не раз спрашивал себя, почему это так. И, право, сам не знаю. Впрочем, я нашел причины, но в них есть нечто от метафизики, и вы их, пожалуй, не поймете.

Я, кажется, слишком сурово отношусь к женщинам, чтобы поддаваться их очарованию. Прошу прощения за эти слова. Я объясню их. Во всяком существе есть начало духовное и начало физическое. Чтобы полюбить,

мне нужно было бы встретить такую гармонию этих двух начал, какой я не находил никогда. Постоянно одно из них преобладает над другим: либо духовное, либо физическое.

Ум, которого мы вправе требовать от женщины, чтобы любить ее, не имеет ничего общего с мужским умом. Это и нечто большее и нечто меньшее. Надо, чтобы женщина обладала умом открытым, нежным, чувствительным, тонким, впечатлительным. Ей не нужна ни мощь, ни смелость мысли, но необходимо, чтобы она обладала добротой, изяществом, ласковостью, кокетством и тем даром приспособления, благодаря которому женщина в короткий срок уподобляется тому, с кем делит жизнь. Величайшим ее достоинством должен быть такт, то тонкое чутье, которое для ума есть то же, что осязание для тела. Оно открывает ей тысячу мелочей, извилины, выступы и формы в мире интеллекта.

У красивых женщин ум обычно не соответствует их внешности. Меня же малейшее нарушение гармонии сразу ранит и оскорбляет. Для дружбы оно не существенно. Дружба — это взаимное обязательство, учитывающее и недостатки и достоинства. Можно судить о друге или приятельнице, дорожить тем, что в них есть хорошего, пренебрегать дурным и точно определять их качества, всецело отдаваясь при этом чувству задушевной, глубокой и чарующей симпатии.

Чтобы любить, надо быть слепым, отдаваться полностью, ничего не видеть, ни о чем не рассуждать, ничего не понимать. Надо преклоняться перед недостатками так же, как и перед красотой, надо отрешиться от всякого суждения, от всякой проницательности, от всяких соображений.

Я неспособен на такое ослепление и восстаю против очарования, несогласного с разумом.

Это еще не все. У меня такое возвышенное и утонченное представление о гармонии, что никто никогда не воплотит мой идеал. Вы, пожалуй, сочтете меня сумасшедшим! Но выслушайте меня! По-моему, женщина может обладать восхитительной душой и пленительным телом, которые, однако, не будут вполне соответствовать друг другу. Я хочу сказать, что люди с

носом определенной формы должны и мыслить определенным образом. Толстые не имеют права употреблять те же слова и те же фразы, что худые. Вам, сударыня, с вашими голубыми глазами не пристало относиться к жизни, судить о вещах и событиях так, словно глаза у вас черные. Оттенок ваших глаз должен неминуемо совпадать с оттенками вашей мысли. На этот счет у меня нюх ищейки. Смейтесь, если хотите. Это так.

И все же в течение часа, в течение одного дня мне верилось, будто я люблю. Я, как дурак, подвергся влиянию окружающей обстановки. Я поддался обольщению призрака зари. Хотите, я расскажу вам эту маленькую историю?

Как-то вечером я встретился с молодой хорошенькой восторженной особой, которая пожелала из поэтической прихоти провести со мною ночь на реке, в лодке. Я предпочел бы комнату и постель, однако согласился и на реку с лодкой.

Дело было в июне. Моя приятельница выбрала ночь лунную, чтобы сильнее вскружить себе голову.

Мы пообедали на постоялом дворе, у реки, и часов в десять сели в лодку. Я находил все приключение весьма нелепым, но спутница мне нравилась, и поэтому я не особенно злился. Я сел на скамейку, взялся за весла, и мы отплыли. Я не мог отрицать, что зрелище было очаровательное. Мы плыли вдоль острова, поросшего лесом, где было полно соловьев; течение быстро уносило нас по реке, подернутой серебристой рябью. Жабы издавали однообразные звонкие крики, лягушки надрывались в прибрежной траве, а движение струящейся воды окружало нас каким-то неясным шорохом, почти неуловимым, волнующим, и внушало смутное чувство таинственного страха.

Нежное обаяние теплой ночи и сверкающей под луною реки захватило нас. Хорошо было жить, и так вот плыть, и мечтать, и чувствовать возле себя молодую женщину, растроганную и красивую.

Я был немного взволнован, немного смущен, немного опьянен прозрачной ясностью вечера и мыслью о соседке.

— Сядьте подле меня, — сказала она.

Я повиновался. Она продолжала:

— Прочтите мне какие-нибудь стихи.

Я нашел, что это уж слишком. Я отказался. Она настаивала. Решительно, ей хотелось большой игры, всего оркестра чувств: от Луны до Рифмы. Я наконец уступил и на смех прочел ей прелестное стихотворение Луи Буйле, которое начинается так:

Терпеть я не могу поэта с томным взором!
Взирая на звезду, о милой мямлит он,
Безжизнен для него весь мир с его простором,
Коль рядом не идет Лизета иль Нинон.

Он должен, этот бард, украсить блузкой белой
Все живописные, привольные места.
Он хочет, чтобы шаль на дереве висела,
Иначе для него вселенная пуста.

И не внимает он природы дивным сагам,
Хоть их кругом поет так много голосов...
Он в одиночестве не бродит по оврагам,
Смех женский предпочтет он шепоту лесов [1].

Я ожидал упреков. Ни единого. Она прошептала:

— Как это верно!

Я был ошеломлен. Да поняла ли она?

Нашу лодку незаметно принесло к берегу, под иву, которая ее и задержала. Я обнял свою спутницу за талию и осторожно коснулся губами ее шеи. Но она резко, с возмущением оттолкнула меня:

— Перестаньте! Какой вы грубый!

Я попробовал привлечь ее к себе. Она стала отбиваться, схватилась за ветви и чуть было не перевернула лодку. Я счел благоразумным прекратить эти попытки. Она сказала:

— Скорей я сброшу вас в воду! Мне так приятно! Я мечтаю. Это так хорошо!

И добавила не без язвительности:

— Вы, видно, уже забыли стихи, которые только что читали?

Она была права. Я промолчал.

Она продолжала:

— Ну, гребите же!

---

[1] Перевод Валентина Дмитриева.

И я вновь взялся за весла.

Ночь начинала казаться мне длинноватой, а мое положение нелепым. Спутница спросила:

— Дадите мне обещание?

— Дам. Какое?

— Что будете вести себя тихо, прилично и скромно, если я вам позволю...

— Что? Говорите.

— Вот что. Мне хочется лечь на дно лодки, на спину, рядом с вами, и любоваться звездами.

Я воскликнул:

— Готов с радостью!

Она возразила:

— Вы меня не поняли. Мы ляжем рядом, но я запрещаю вам трогать меня, целовать... ну, словом... ласкать...

Я обещал. Она заявила:

— Если вы хоть шелохнетесь, я опрокину лодку.

И вот мы лежим рядышком, вперив глаза в небо, отдавшись на волю течения. Слабые покачивания лодки баюкали нас. Легкие ночные звуки теперь явственно доходили к нам, на дно лодки, порою заставляя нас вздрагивать. И я чувствовал, как во мне растет странное, захватывающее волнение, безграничное умиление, нечто вроде потребности развести руки для объятия и распахнуть сердце для любви, отдать себя, отдать свои мысли, тело, жизнь, отдать кому-нибудь все свое существо.

Моя спутница прошептала, словно сквозь сон:

— Где мы? Куда мы плывем? Мне кажется, я уношусь от земли. Как приятно! Ах, если бы вы любили меня... чуточку!!!

Сердце мое забилось. Я не мог говорить: мне показалось, что я люблю ее. У меня уже не было грубого желания. Мне хорошо было вот так, рядом с нею, и этого мне было достаточно.

И мы долго-долго лежали, не шевелясь. Мы взялись за руки; восхитительная сила заворожила нас, сила неведомая, высшая,—целомудренное, глубокое, полное слияние наших существ, близких, принадлежащих друг другу без прикосновений! Что это было? Не знаю. Любовь, быть может?

Понемногу занимался день. Было три часа утра. Торжествующий свет медленно заливал все небо. Лодка на что-то натолкнулась. Я вскочил. Мы пристали к островку.

И я замер в восторге. Перед нами вся ширь неба светилась красным, розовым, лиловым и была усеяна пылающими облачками, похожими на клубы золотистого дыма. Река была пурпурной, а три домика на берегу, казалось, горели.

Я склонился к спутнице. Я хотел ей сказать: «Посмотрите». Но я умолк от изумления и не видел уже ничего, кроме нее. Она тоже была розовой, совсем розовой, словно слегка окрасилась цветом небес. Волосы ее были розовые, глаза розовые, зубы розовые, платье, кружева, улыбка — все было розовое. И мне действительно поверилось — так я обезумел, — что предо мною сама заря.

Она тихонько приподнялась, протягивая мне губы, а я приближался к ним, трепеща, теряя сознание, ясно чувствуя, что сейчас поцелую небеса, поцелую счастье, поцелую мечту, ставшую женщиной, поцелую воплотившийся идеал.

Но она сказала:

— У вас в волосах гусеница!

Вот чему она улыбалась!

Меня будто ударили обухом по голове. И мне сразу стало так грустно, словно я навеки утратил всякую надежду.

Вот и все, сударыня. Это ребячество, глупость, нелепость. Но с того дня мне кажется, что я уже никогда не полюблю. Впрочем, как знать?..

Молодой человек, на котором нашли это письмо, был вчера извлечен из Сены, между Буживалем и Марли. Услужливый лодочник, обыскавший его с целью установления личности, доставил эту записку.

УЖАС

Медленно опускалась теплая ночь.

Женщины остались в гостиной виллы. Мужчины курили перед дверью, развалясь или сидя верхом на садовых стульях возле круглого стола, уставленного чашками и рюмками.

Во тьме, сгущавшейся с каждой минутой, сверкали огоньки сигар. Только что кончили рассказывать о страшном событии, случившемся накануне: двое мужчин и три женщины утонули напротив в реке на глазах гостей.

Генерал де Ж. произнес:

— Да, такие вещи волнуют, но они еще не ужасны. Ужас — старое слово, и выражает оно нечто гораздо большее, чем просто страшное. Жуткий случай вроде упомянутого расстраивает, волнует, ошеломляет. Но с ума он не сводит. Чтобы испытать чувство ужаса, нужно нечто большее, чем простое душевное волнение, и большее, чем зрелище страшной смерти: необходимо или веяние тайны, или страх перед чем-то ненормальным, сверхъестественным. Человек, умирающий в самой драматической обстановке, еще не вызывает чувства ужаса; поле битвы само по себе не ужасает; кровь не приводит в ужас; преступления, даже самые гнусные, редко бывают ужасными.

Вот вам два случая из моей личной жизни, которые показали мне, что именно следует понимать под словом «ужас».

Это произошло во время войны 1870 года. Пройдя через Руан, мы отступали к Пон-Одемеру. Армия приблизительно в двадцать тысяч человек, сбитых с толку, потерявших строй, деморализованных, истощенных, шла на пополнение в Гавр.

Земля была покрыта снегом. Спускалась ночь. Со вчерашнего дня мы ничего не ели. Отступали поспешно: пруссаки были неподалеку.

Серые поля Нормандии, усеянные тенями деревьев, окружавших фермы, простирались под темным, тяжелым, зловещим небом.

В тусклых сумерках ничего не было слышно, кроме невнятного, гулкого и в то же время беспорядочного шума бредущей толпы — бесконечного топота, смешанного со звяканием котелков и сабель. Люди, сгорбленные, понурые, грязные, часто в лохмотьях, еле тащились по снегу медленным, усталым шагом.

Руки прилипали к стали прикладов: в эту ночь стоял лютый мороз. Не раз замечал я, что какой-нибудь солдатик стаскивал башмаки и шел босиком — так страдал он в своей обуви,— и каждый шаг его оставлял кровавый след. Потом, спустя некоторое время, он садился на землю, чтобы несколько минут передохнуть, и больше не вставал. Каждый, кто садился, был человеком конченым.

Уже немало оставили мы за собой таких выбившихся из сил солдат, которые надеялись отправиться дальше, как только отойдут закоченелые ноги. Едва лишь они переставали двигаться, разгонять в своем озябшем теле застывавшую кровь, как непобедимое оцепенение сейчас же сковывало их, пригвождало к земле, смыкало им глаза и в одну секунду парализовало надорванный человеческий механизм. И они понемногу оседали, уткнувшись лбом в колени, они не падали, так как поясница и конечности становились неподвижными, деревенели, но их уже невозможно было ни выпрямить, ни согнуть.

Мы же, кто был посильнее, повыносливее, все шли и шли, промерзнув до костей, двигаясь по инерции среди этого мрака, среди этого снега, по этой холодной и гибельной равнине, подавленные горем, пораже-

лием, безнадежностью, скованные отвратительным чувством общей заброшенности, конца, смерти, небытия.

Вдруг я увидел двух жандармов, державших за руки маленького, странного на вид человечка, старого, безбородого, наружности поистине удивительной.

Они искали кого-нибудь из офицеров, полагая, что захватили шпиона.

Слово «шпион» сейчас же облетело отряд тяжело шагавших солдат; вокруг пленника образовалась толпа. Чей-то голос крикнул: «Расстрелять его!» И всех этих людей, падавших от усталости, державшихся на ногах только благодаря ружьям, на которые они опирались, внезапно охватила звериная, яростная дрожь, которая толкает толпу на убийство.

Я пытался заговорить; я был тогда командиром батальона; но командиров уже не признавали, легко могли расстрелять и меня.

Один из жандармов сказал мне:

— Вот уже три дня, как он следует за нами. Все хочет получить сведения об артиллерии.

Я сделал попытку допросить этого человека.

— Чем вы занимаетесь? Что вам нужно? Зачем вы идете за войсками?

Он пробормотал несколько слов на непонятном наречии.

Этот узкоплечий, угрюмо глядевший субъект был в самом деле странен. Он стоял передо мной в таком замешательстве, что я уже не сомневался, что это действительно шпион. Он казался очень старым, слабым и смотрел на меня исподлобья; у него был какой-то приниженный, глупый и хитрый вид.

Люди вокруг нас кричали:

— К стене его! К стене!

Я сказал жандармам:

— Вы отвечаете за пленника...

Но я не успел договорить: ужасный толчок опрокинул меня, и в тот же миг я увидел, как разъяренные солдаты схватили этого человека, повалили, избили, подтащили к краю дороги и швырнули под дерево. Он упал в снег полумертвый.

И его тут же пристрелили. Солдаты палили в него, вновь заряжали ружья и опять палили с каким-то скотским остервенением. Дрались между собой из-за очереди, проходили перед трупом и снова стреляли в него, как проходят перед гробом, чтобы окропить его святой водой.

Но вдруг раздался крик:

— Пруссаки! Пруссаки!

И я услышал со всех сторон многоголосый гул бегущей, растерянной армии.

Паника, порожденная выстрелами в бродягу, охватила безумием самих стрелявших. Не понимая, что они сами вызвали испуг, они бросились спасаться и исчезли во тьме.

Я остался возле трупа с двумя жандармами, которых удерживало подле меня чувство долга.

Они приподняли это мясо, избитое, искромсанное, кровоточащее.

— Обыщите его, — приказал я.

Я протянул им коробок восковых спичек, который был у меня в кармане. Один из солдат светил другому. Я стоял между ними.

Жандарм, ощупывавший мертвое тело, заявил:

— Одет в синюю блузу, белую сорочку, панталоны и ботинки.

Первая спичка погасла, зажгли вторую. Солдат продолжал, выворачивая карманы:

— Роговой нож, клетчатый платок, табакерка, моток бечевки, кусок хлеба.

Погасла вторая спичка. Чиркнули третью. Жандарм, не спеша ощупав труп, добавил:

— Все.

Я приказал:

— Разденьте его! Может статься, мы что-нибудь найдем у него на теле.

И, чтобы солдаты могли действовать вдвоем, я начал светить им сам. При беглой вспышке зажженной спички я видел, как они снимали одну за другой одежду; наконец этот кровавый мешок еще теплого, но уже мертвого мяса остался совершенно обнаженным.

И вдруг один из них громко прошептал:

— Силы небесные! Майор, да ведь это женщина!

Не могу описать вам, какое странное и мучительно-тоскливое чувство сжало мне сердце. Я не поверил и опустился на колени в снег перед этой бесформенной грудой. Да, это была женщина!

Оба жандарма, растерянные и ошеломленные, ждали моего решения. А я не знал, что подумать, что предположить.

Бригадир медленно произнес:

— Может, она искала своего сына-артиллериста, о котором долго не было вестей.

Другой ответил:

— Очень возможно, что так оно и было.

А я, видевший на своем веку немало страшных зрелищ, я зарыдал. В ту морозную ночь посреди мрачной равнины, перед лицом этой смерти, перед этой тайной, перед этой убитой незнакомкой, я почувствовал, что значит слово «ужас».

И вот то же самое чувство я испытал в прошлом году, расспрашивая алжирского стрелка — одного из уцелевших из миссии Флаттера.

Вам известны подробности этой жестокой драмы. Но об одной из них вы, вероятно, ничего не слыхали.

Полковник ехал в Судан через пустыню и пересекал обширную страну туарегов, которые в этом океане песка, раскинувшемся от Атлантики до Египта и от Судана до Алжира, представляют собою нечто вроде пиратов, опустошавших некогда моря.

Проводники французской колонны принадлежали к племени шамбаа из Уарглы.

Как-то однажды отряд Флаттера остановился лагерем среди пустыни; арабы заявили, что источник еще довольно далеко и они отправятся за водой, забрав всех верблюдов.

Один человек предупредил полковника об измене. Флаттер этому не поверил. С караваном отправились инженеры, врачи и почти все офицеры.

Возле источника все они были перебиты, а верблюды захвачены.

Капитан из бюро по арабским делам в Уаргле, оставшийся в лагере, принял командование над уцелевшими спаги и стрелками, и они начали отступление, побросав багаж и припасы, так как им не хватало вьючных верблюдов.

И все же они пустились в путь по бесконечной пустыне, где не было ни малейшей тени, где пожирающее солнце палило с утра до вечера.

Одно из племен явилось выразить покорность и принесло с собою финики. Они оказались отравленными. Почти все французы перемерли, и в их числе последний офицер.

Уцелели несколько спаги во главе с вахмистром Побегеном и туземные стрелки из племени шамбаа. Оставались еще два верблюда, но однажды ночью они исчезли вместе с двумя арабами.

После того, как обнаружилось это бегство, оставшиеся поняли, что им придется пожирать друг друга, и они разлучились; под пронизывающим пламенем неба они один за другим углубились в сыпучие пески, держась друг от друга дальше, чем на ружейный выстрел.

Так шли они целый день, и, когда добирались до источника, каждый подходил пить лишь после того, как ближайший сосед отдалялся на положенное расстояние. Так шли они целый день, поднимая то здесь, то там в сожженном и ровном просторе столбики пыли, которые издалека указывают пешехода в пустыне.

Но однажды утром один из путников внезапно отклонился от своего пути и стал приближаться к соседу. Все остановились поглядеть, что будет.

Человек, к которому направлялся оголодавший солдат, не обратился в бегство, но припал к земле и взял подходившего на прицел. Подпустив его на выгодную дистанцию, он выстрелил, но промахнулся, а тот, продолжая подходить, в свою очередь, прицелился и уложил наповал товарища.

Тогда со всех сторон сбежались другие, чтоб завладеть своей долей. Убийца, разрубив мертвого на куски, разделил их между всеми.

И они снова разошлись, эти непримиримые союз-

ники, впредь до следующего убийства, которое их опять сблизит.

Два дня питались они поделенным на части человеческим мясом. Потом, когда голод вернулся, тот, что убил первого, прикончил еще одного. И опять, как мясник, он разрезал труп на части и предложил их товарищам, оставив себе лишь свою долю.

Долго тянулось это отступление людоедов.

Последний француз, Побеген, был убит возле колодца, накануне того дня, когда наконец прибыла помощь.

Теперь вы понимаете, что именно я разумею под словом «ужас».

Вот о чем рассказал нам в тот вечер генерал де Ж...

ТИК

Обитатели гостиницы тихо вошли в большой обеденный зал и заняли свои места. Слуги подавали не спеша, чтобы не уносить блюда, пока не подойдут запоздавшие; и старые купальщики, завсегдатаи вод, заканчивающие сезон, ожидая увидеть новое лицо, с любопытством поглядывали на дверь каждый раз, как она отворялась.

В этом — главное развлечение таких курортных городков. Нетерпеливо ждут обеда, чтобы понаблюдать за вновь прибывшими, стараясь догадаться, кто они такие, чем занимаются, о чем думают. У нас в душе всегда живет желание приятных встреч, милых знакомств, быть может, даже любви. В толкотне жизни соседи, незнакомые люди приобретают особое значение. Любопытство настороже, симпатия готова пробудиться, общительность ждет случая.

Первоначальная неприязнь уступает место дружбе. Люди по-иному смотрят друг на друга, как бы через специальные очки курортных знакомств. В течение часовой беседы вечерком, после обеда, под деревьями парка, где кипит целебный источник, в людях внезапно открывают и величайший ум и выдающиеся достоинства, чтобы через месяц совершенно забыть этих новоиспеченных друзей, таких обворожительных в первые дни.

Там возникают также длительные, серьезные связи — и гораздо скорее, чем в других местах. Все видятся друг с другом ежедневно, знакомства завязываются очень быстро, а нарождающемуся взаиморасположе-

нию свойственна мягкость и непринужденность старинной привязанности. Позднее остается нежное и доброе воспоминание о первых часах дружбы, память о первых беседах, в которых раскрываются души, о первых взглядах, вопрошающих или отвечающих на самые затаенные, еще не высказанные мысли и вопросы, воспоминание о первом сердечном доверии, о наслаждении, какое испытываешь, открывая свое сердце тому, кто тоже, как веришь, открывает тебе свое.

Скука, царящая на водах, монотонность одинаковых дней способствуют с часу на час расцвету этой новой привязанности.

Итак, в тот вечер, как обычно, мы ожидали прибытия новых лиц.

Приехали только два человека, но оба очень странные — мужчина и женщина, отец и дочь. Они сразу произвели на меня впечатление персонажей Эдгара По. В них таилось очарование, очарование несчастья, и я представлял их себе жертвами рока. Мужчина был очень высокий, худой, слегка сгорбленный и совершенно седой, чересчур седой для его моложавого лица; в его манере, во всей строгой осанке было нечто напоминавшее сурового протестанта. Дочь, вероятно лет двадцати четырех или двадцати пяти, была невысокого роста, тоже очень худая, очень бледная и выглядела усталой, изможденной, подавленной. Нередко встречаются люди, которые кажутся нам слишком слабыми для повседневных дел и забот, слишком слабыми, чтобы двигаться, ходить, делать все то, что мы ежедневно делаем. Она была довольно красива, эта девушка, красива, как призрачное видение, ела она крайне медлительно, словно у нее не хватало сил шевелить руками.

По-видимому, лечиться водами приехала именно она.

За столом они сидели напротив меня, и я сразу заметил, что отец страдает очень странным нервным тиком.

Каждый раз, как он хотел до чего-нибудь дотронуться, рука его описывала быструю завитушку, вроде

безумного зигзага. Это движение крайне утомило меня уже через несколько минут, и я отвернулся, чтобы больше его не замечать.

Я также обратил внимание на то, что девушка не снимала перчатку с левой руки даже за едой.

После обеда я решил пройтись по парку водолечебницы. Дело было на маленьком овернском курорте Шатель-Гюйон; он приютился в ущелье у подножия высокой горы, откуда вытекает много горячих источников, которые берут свое начало из глубокого очага древних вулканов. Над нами простирались купола потухших кратеров, возвышаясь своими усеченными главами над длинной цепью гор. Шатель-Гюйон расположен в самом начале этого края горных куполов. Дальше виднелись остроконечные вершины и отвесные скалы.

Пюи-де-Дом — величайший из таких куполов, вершина Санси — величайшая из вершин, утес Канталь — величайший из утесов.

Вечер был душный. Я прохаживался взад и вперед по тенистой аллее, слушая с холма, возвышавшегося над парком, первые звуки оркестра, которые доносились из казино.

И я заметил, что ко мне медленным шагом направляются отец с дочерью. Я поклонился им, как кланяются на курортах соседям по гостинице. Отец, тотчас же остановившись, спросил меня:

— Не можете ли вы, сударь, указать нам место прогулки — короткой, легкой и по возможности красивой; извините меня за навязчивость.

Я предложил проводить их в долину, где течет узкая речка. Эта глубокая долина представляет собою тесное ущелье между двумя крутыми скалистыми склонами, поросшими лесом. Они выразили согласие. И мы, естественно, заговорили о полезных свойствах вод.

— У моей дочери, — сказал он, — странная болезнь, которую никто не может определить. Дочь страдает непонятными нервными припадками. У нее находят болезнь сердца, печени, спинного мозга. Болезнь ее — настоящий Протей; она принимает множество форм и поражает различные органы; ныне ее приписывают желудку, этому великому котлу и регулятору тела. Вот

почему мы здесь. По-моему же, причина всего — нервы. Во всяком случае, все это очень грустно.

Я тотчас вспомнил об ужасном тике его руки и спросил:

— А нет ли тут наследственности? Вполне ли здоровы ваши собственные нервы?

Он спокойно ответил:

— Мои?.. Вполне!.. Нервы у меня всегда были в порядке...

Потом, помолчав, неожиданно добавил:

— А вы намекаете на спазму руки, которая случается каждый раз, когда мне хочется что-нибудь взять? Я обязан ею ужасному потрясению, какое мне однажды пришлось пережить. Представьте себе, моя дочь была заживо погребена!

От изумления и волнения у меня только вырвалось «Ах!».

Он продолжал:

— Вот как было дело. Некоторое время Жюльетта страдала тяжелыми сердечными припадками. Мы были уверены, что у нее опасная болезнь сердца, и приготовились ко всему.

Как-то ее принесли холодной, бездыханной, мертвой. Она упала в саду. Врач констатировал смерть. Я бодрствовал подле нее день и две ночи. Я сам положил ее в гроб и проводил до кладбища, где гроб опустили в наш фамильный склеп. Это случилось в деревне, в Лотарингии.

Мне захотелось похоронить ее со всеми драгоценностями — браслетами, ожерельями, кольцами, — со всеми моими подарками и в ее первом бальном платье.

Можете представить, в каком душевном состоянии я возвратился домой. У меня была на свете только одна она: жена моя умерла уже давно. Я вернулся в свою комнату осиротевший, полубезумный. В полном изнеможении я упал в кресло, и у меня не было ни мысли в голове, ни силы пошевельнуться. Я был только жалким, дрожащим автоматом, человеком с ободранной кожей; моя душа напоминала кровоточащую рану.

Мой старый слуга Проспер, помогавший мне положить Жюльетту в гроб и обрядить для вечного сна, тихонько вошел и спросил:

— Не хотите ли, сударь, покушать?

Не отвечая, я отрицательно покачал головой.

Он продолжал:

— Напрасно, сударь! Этак вы совсем расхвораетесь! Не прикажете ли уложить вас в постель?

Я произнес:

— Нет, оставь меня в покое.

Он вышел.

Не знаю, сколько прошло времени. О, какая это была ночь, какая ночь! Было холодно; огонь в большом камине погас, и ветер, зимний ветер, сильный ледяной ветер, посвистывавший над застывшей равниной, бился в окна с размеренным зловещим шумом.

Сколько прошло времени? Спать я не мог и сидел усталый, подавленный, не закрывая глаз, вытянув ноги; мое измученное тело было обессилено, а сознание притупилось от отчаяния. И вдруг позвонили в большой звонок входной двери.

Я так вздрогнул, что подо мной затрещало кресло. Тяжелый продолжительный звон разносился по всему замку, как по пустому погребу. Я обернулся взглянуть, который час. Было ровно два часа ночи. Кто бы мог явиться в такой час?

И снова дважды резко раздался звонок. Слуги, по-видимому, не решались встать. Взяв свечу, я спустился вниз и спросил:

— Кто там?

Но, устыдясь собственной трусости, я медленно отодвинул тяжелые засовы. Сердце мое сильно билось, мне было страшно. Я резко распахнул дверь и увидел в темноте белую фигуру, похожую на привидение.

Я отступил в ужасе:

— Кто... кто... кто вы?

Голос ответил:

— Это я, отец!

То была моя дочь...

Конечно, я подумал, что схожу с ума; я отступал и пятился перед этим входившим призраком; я шел,

отстраняя его рукой именно тем жестом, на который вы обратили внимание; этот жест так у меня и остался.

Привидение продолжало:

— Не бойся, папа, я вовсе не умерла. Кто-то хотел украсть мои кольца и отрезал мне палец; потекла кровь, и это привело меня в чувство.

И я заметил, что она в самом деле вся окровавлена.

Я упал на колени, задыхаясь, рыдая, хрипя.

Потом я наконец немного пришел в себя, однако был еще настолько растерян, что не мог постичь, какое ужасное счастье меня посетило; я помог ей подняться в спальню и усадил в кресло; затем несколько раз позвонил Просперу, чтобы он снова зажег огонь, приготовил питье и отправился за доктором.

Проспер, наконец, вошел; он взглянул на мою дочь, испуг и ужас исказили его лицо, и он грохнулся навзничь мертвый.

Это именно он открыл склеп, искалечил и затем бросил мою дочь. Ему не удалось уничтожить следы грабежа; он даже не позаботился поставить гроб на место, так как был убежден, что я не заподозрю его: он всегда пользовался полным моим доверием.

Видите, сударь, какие мы несчастные люди.

Он умолк.

Ночь спустилась, окутав маленькую долину, безлюдную и печальную, и меня охватил какой-то мистический страх от присутствия этих необыкновенных существ — ожившей покойницы и отца с его наводящим страх жестом.

Я не находил слов и только пробормотал:

— Какой ужас!

Затем, помолчав, я добавил:

— Не вернуться ли нам? Становится свежо.

И мы возвратились в гостиницу.

КОНЧЕНО!

Граф де Лормерен оделся. Он бросил последний взгляд в большое зеркало, занимавшее целый простенок гардеробной, и улыбнулся.

В самом деле, он был еще достаточно красив, хотя и совсем поседел. Высокий, стройный, элегантный, без признаков брюшка, с худощавым лицом и острыми усиками того неопределенного цвета, который мог сойти и за белокурый, он выделялся своими манерами, благородством, воспитанностью, шиком, словом, чем-то таким, что больше отличает одного человека от другого, нежели обладание миллионами.

Он пробормотал:

— Живем еще, Лормерен!

И вошел в гостиную, где его ожидала корреспонденция.

На столе, где каждый предмет занимал отведенное ему место, на этом рабочем столе никогда не работающего светского человека, рядом с тремя газетами разного направления лежало около десятка писем. Одним движением руки он раскинул конверты веером, как игрок, предлагающий выбрать карту, и взглянул на почерк, как делал это каждое утро, прежде чем вскрыть письма.

Это была приятная минута ожидания, догадок и смутной тревоги. Что принесли эти загадочные листки, скрытые пока в конвертах? Что сулили они: удовольствие, счастье или огорчение? Он окидывал их быстрым взглядом, узнавая почерк, и делил письма на

две — три группы, смотря по тому, чего ожидал от них. Вот эти — от друзей, те — от людей, безразличных для него, а эти — от незнакомых. Письма от незнакомых всегда его немного волновали. Что им надо? Чья рука начертала эти причудливые буквы, полные мыслей, обещаний или угроз?

В этот день одно письмо привлекло его внимание. Оно было простенькое, ничем не отличалось от остальных, но граф разглядывал его с беспокойством, с какой-то дрожью в сердце. Он подумал: «От кого бы это? Почерк я, несомненно, видел, но где, не помню».

Не решаясь вскрыть письмо, он поднес его к глазам, осторожно держа двумя пальцами, и попытался прочесть сквозь конверт.

Затем он понюхал его и взял со стола маленькую лупу, чтобы рассмотреть все особенности почерка. Он нервничал. «От кого это? Почерк мне знаком, хорошо знаком. Я часто получал письма, написанные этим почерком, да, очень часто. Но, должно быть, это было давным-давно. От кого же, черт возьми, это может быть? Да что там! Наверное, какая-нибудь просьба о деньгах».

Он разорвал конверт и прочел:

«Дорогой друг, вы, без сомнения, забыли меня, так как мы не виделись уже двадцать пять лет. Я была молода, теперь я старуха. Мы расстались, потому что я покинула Париж, переехав в провинцию со своим мужем, старым мужем, которого вы прозвали «моей больницей». Помните ли вы это? Он умер пять лет назад, и теперь я вернулась в Париж, чтобы выдать замуж дочь — ведь у меня есть дочь, красивая восемнадцатилетняя девушка; вы ее еще никогда не видели. Я известила вас о ее появлении на свет, но вы, конечно, не обратили внимания на столь незначительное событие.

А вы, говорят, все тот же красавец Лормерен... Если вы еще помните маленькую Лизу — вы называли ее Лизон,— то приезжайте сегодня пообедать с нею, со старой баронессой де Ванс, по-прежнему верным вашим другом. С волнением и радостью протягивает она

вам свою руку, которую надо только пожать, а не поцеловать, бедный мой Жакле...

Лиза де Ванс».

Сердце Лормерена забилось. С остановившимся взглядом он сидел в кресле, охваченный столь мучительным волнением, что на его глаза навернулись слезы; прочитанное письмо лежало на коленях.

Если он когда-нибудь в жизни любил, то лишь ее, маленькую Лизу, Лизу де Ванс, которую он прозвал «Пепельным цветком» за необычайный цвет волос и светло-серые глаза. О, каким изящным, хорошеньким, прелестным созданием была эта хрупкая баронесса, жена подагрического, угреватого старика-барона, который внезапно увез ее в провинцию и заточил там, точно узницу, приревновав к красавцу Лормерену.

Да, граф любил ее и был любим, как ему казалось. Она запросто звала его Жакле и так мило произносила это имя...

Тысячи забытых воспоминаний возникали в его голове, далекие, сладостные, а теперь такие грустные. Однажды вечером она была у него после бала, и они поехали в Булонский лес: она — декольтированная, он — в простой домашней куртке. Стояла весна, было тепло. Нежный запах ее корсажа, ее кожи наполнял воздух благоуханием. Какой дивный вечер! Когда они подошли к озеру, освещенному льющимся сквозь ветви лунным светом, она заплакала. Немного удивленный, он спросил, о чем она плачет.

— Не знаю,— ответила она,— луна и озеро меня умилили. Когда я вижу что-нибудь очень поэтичное, сердце у меня сжимается, и я плачу.

Он улыбнулся, тоже растроганный, находя и глупым и очаровательным это наивное волнение женщины, милой маленькой женщины, принимающей так близко к сердцу все свои переживания.

И он страстно поцеловал ее, прошептав:

— Малютка Лиза, ты прелесть!

Как чудесна была эта любовь, нежная и короткая, и как быстро она кончилась, оборванная в самом раз-

гаре этой скотиной, старым бароном, который увез жену и с тех пор никому ее не показывал.

Он, Лормерен, черт возьми, забыл ее через две — три недели. У холостяка в Париже женщины так быстро сменяют одна другую! Но все-таки уголок его сердца всегда принадлежал ей, ибо, кроме нее, он не любил никого. Теперь граф отдавал себе в этом ясный отчет.

Он встал и громко сказал: «Конечно, я поеду к ней обедать!» И инстинктивно повернулся к зеркалу, чтобы окинуть себя взглядом с ног до головы. Он подумал: «Она, наверное, сильно постарела, больше, чем я...» И в глубине души он был доволен, что она увидит его все еще красивым, крепким, будет удивлена, может быть, тронута и пожалеет об этих миновавших, далеких, таких далеких днях!

Он просмотрел остальные письма. В них не было ничего особенного.

Весь день он думал об этой тени прошлого. Какой же стала теперь Лиза? Забавно встретиться через двадцать пять лет! Да узнает ли он ее?

Граф оделся с чисто женским кокетством, выбрал белый жилет, который шел ему больше, чем черный, позвал парикмахера завить волосы,— они у него хорошо сохранились,— и выехал из дому очень рано, чтобы его поспешность была оценена.

Первое, что он увидел, войдя в изящную, заново обставленную гостиную, был его собственный портрет, старая выцветшая фотография времен его успехов, висевшая на стене в красивой рамке, обтянутой старинным шелком.

Лормерен сел и стал ждать. Наконец за его спиной отворилась дверь; он порывисто встал, обернулся и увидел старую, седую даму, протягивавшую ему обе руки.

Он схватил их и долго целовал одну за другой; затем, подняв голову, взглянул на свою бывшую подругу.

Да, это была старая дама, старая незнакомая дама; ей хотелось плакать, но она улыбалась.

Не удержавшись, он пробормотал:

— Вы ли это, Лиза?

Она ответила:

— Да, это я, это я... Вы бы не узнали меня, не правда ли? Я перенесла столько горя, столько горя... Оно сократило мою жизнь... Вот какая я теперь... Смотрите... или лучше не надо... не смотрите... Но как вы еще красивы... и молоды... Если бы я встретила вас случайно на улице, то сразу же закричала бы: Жакле!

Теперь сядем, поговорим. Потом я позову мою дочку, мою уже большую дочь. Увидите, как она похожа на меня... или, вернее, как я была похожа на нее... нет, опять не то! Она совсем такая, какою я была когда-то, вот увидите! Но мне хотелось сначала побыть с вами вдвоем. Я боялась, что буду волноваться в первые минуты. Это уже прошло... Садитесь же, мой друг!

Лормерен сел возле нее, держа ее за руку, но не знал, что сказать. Эта дама была ему незнакома; казалось, он никогда ее не видел. Зачем он приехал в этот дом? О чем он мог говорить? О прошлом? Но что общего между ними? Он ничего не мог вспомнить, глядя на лицо этой старухи. Исчезли все воспоминания, и сладкие, и милые, и трогательные, и мучительные, еще недавно нахлынувшие на него с такой силой, когда он думал о другой, о малютке Лизе, о нежном «Пепельном цветке»... Что сталось с тою? С прежней, любимой? С его далекой грезой, со светловолосой молодой сероглазой женщиной, которая так мило звала его Жакле?

Они неподвижно сидели рядом, смущенные, испытывая неловкость, охваченные тяжелым чувством.

И так как они обменивались лишь банальными, отрывочными и медлительными фразами, она поднялась и дернула шнурок звонка.

— Я позову Ренэ,— сказала она.

Послышался звук отворяющейся двери, затем шелест платья, и молодой голос воскликнул:

— Вот и я, мамочка!

Лормерен растерялся, будто увидел привидение. Он пробормотал:

— Здравствуйте, мадмуазель...

И повернулся к матери:

— О, это вы!..

В самом деле, это была она, прежняя Лиза, исчезнувшая и теперь вернувшаяся! Он снова видел ее точь-в-точь такою, какою ее отняли у него двадцать пять лет

назад. Только эта была еще моложе, свежее, еще больше походила на ребенка.

Его охватило безумное желание снова сжать ее в объятиях и прошептать на ушко:

— Здравствуй, Лизон!

Слуга доложил:

— Кушать подано!

И они перешли в столовую.

Как прошел этот обед? Что ему говорили, что он отвечал? Он был словно в каком-то странном сне, близком к безумию. Он смотрел на обеих женщин, и в его мозгу вертелась одна и та же мысль, назойливая, как мысль душевнобольного:

«Которая же из них настоящая?»

Мать улыбалась, беспрестанно повторяя:

— Вы помните, вы помните?

Но воспоминания воскресали, лишь когда Лормерен глядел в ясные глаза девушки. И много раз он открывал рот, чтобы спросить: «А помнишь, Лизон?»,— забывая об этой седой даме, растроганно глядевшей на него.

Между тем иногда он чувствовал себя сбитым с толку и терялся, замечая, что нынешняя Лизон не совсем похожа на прежнюю. В голосе, взгляде, во всем существе той, прежней, было что-то такое, чего он уже не находил. Он делал неимоверные усилия, стараясь вспомнить свою подругу и уловить то, что ускользало от него, чего не было у этой воскресшей Лизы.

Баронесса сказала:

— Вы утратили веселость, мой бедный друг!

Граф пробормотал:

— Я утратил и многое другое!

Но он чувствовал, что в его взволнованном сердце возродилась былая любовь, точно его больно укусил проснувшийся зверек.

Молодая девушка болтала, и порой знакомые интонации, перенятые ею любимые слова матери, манера говорить, образ мыслей, это внешнее и внутреннее сходство, приобретаемое благодаря совместной жизни, приводило Лормерена в трепет. Все это вторгалось в его душу и растравляло раскрывшуюся рану его страсти.

Он поспешил распрощаться и прошелся по бульварам. Но образ девушки не покидал его, преследовал,

ускорял биение его сердца, воспламенял его кровь. Вдали от обеих женщин он видел теперь только одну, молодую, прежнюю, вернувшуюся, и любил ее, как любил когда-то. Лормерен любил ее даже сильнее после этой двадцатипятилетней разлуки.

Он вернулся домой, размышляя об этом странном и роковом случае, спрашивая себя, что теперь делать.

Когда со свечой в руке он проходил мимо зеркала, мимо большого зеркала, в которое смотрелся перед отъездом, любуясь собою,— он увидел в нем пожилого мужчину с седыми волосами. И вдруг он вспомнил, каким был некогда, в дни юности Лизы: молодым, очаровательным, таким она его любила! Граф поднес свечу ближе и стал рассматривать себя, как разглядывают в лупу что-нибудь странное. И он увидел свои морщины, обнаружил разрушительные перемены, которых прежде не замечал...

Подавленный, он опустился в кресло перед зеркалом и, глядя на себя, на свое жалкое отражение, пробормотал:

— Кончено, Лормерен!

МОИ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ДНЕЙ

Я устраивался в отведенном мне номере гостиницы, узкой клетке с тонкими, как бумага, стенками, сквозь которые слышно все, что делается у соседей. Убирая платье и белье в зеркальный шкаф, я выдвинул средний ящик и увидел свернутую в трубку тетрадь. Расправив ее, я прочел:

МОИ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ДНЕЙ

Это был дневник, забытый при отъезде последним обитателем комнатки, лечившимся ваннами.

Заметки эти представляют, быть может, известный интерес для здоровых и благоразумных людей, которые никогда и никуда не ездят. Для них-то я и привожу здесь этот дневник, решительно ничего в нем не меняя.

Шатель-Гюйон, 15 июля

На первый взгляд это не очень-то веселое место. А ведь мне придется провести тут двадцать пять дней, чтобы полечить печень, желудок и немного похудеть. Двадцать пять дней на водах напоминают двадцать восемь дней резервиста; они утомительны, очень утомительны. Сегодня я еще ни к чему не приступал, а только осматривался, знакомился с местностью и с врачом. Главное в Шатель-Гюйоне — ручей с желтоватой водой: он течет между небольшими холмами, на которых высятся дома, курзал и каменные кресты.

На берегу ручья, в глубине долины, виднеется четырехугольное здание с небольшим садом. Это ванное заведение. Вокруг здания бродят унылые люди: это больные. В тенистых аллеях царит полная тишина: ведь здесь не место развлечений, сюда приезжают поправлять здоровье; здесь лечатся с твердой верой в успех и, возможно, выздоравливают.

Сведущие люди утверждают даже, что здешние минеральные источники творят чудеса. Однако у конторки кассира не висит никаких ex voto [1].

Время от времени к киоску с шиферной крышей подходит господин или дама; поблизости стоит женщина с приятным улыбающимся лицом; в цементном бассейне бурлит источник. Больной и хранительница целебной воды не обмениваются ни единым словом. Она протягивает подошедшему стаканчик, где в прозрачной влаге шипят пузырьки газа. Больной пьет и затем неторопливо удаляется, продолжая прерванную прогулку под деревьями.

Как тихо в этом маленьком парке! Не слышно ни шелеста ветерка в листве, ни человеческого голоса. Стоило бы написать у входа: «Здесь не смеются, здесь только лечатся».

Разговаривающие так боятся, чтобы у них не вырвалось громкое слово, что похожи на немых, которые только безмолвно открывают рты.

В гостинице та же тишина. Это большой отель, где за обедом сохраняют важность, подобающую благовоспитанным людям, которым не о чем говорить друг с другом. У всех светские манеры, а лица выражают уверенность в собственном превосходстве, хотя кое-кому доказать его было бы, пожалуй, трудновато.

В два часа я поднялся к казино — деревянному домику, расположенному на вершине небольшой горы, куда карабкаются по козьим тропам. Но вид оттуда изумительный.

Шатель-Гюйон лежит в очень узкой долине, как раз между равниной и горами. Слева я увидел первые высокие уступы овернских гор, покрытых лесом; местами бросаются в глаза большие серые пятна: это твердый

[1] По обету *(лат.)* — предмет, который верующие вешают в католической церкви в знак полученной свыше милости.

лавовый костяк — ведь мы у подножия потухших вулканов. Справа, через узкую расщелину долины, я вижу беспредельную, как море, равнину; она тонет в голубоватой дымке, сквозь которую еле проступают очертания сел, городов, желтеющие поля спелого хлеба и зеленые прямоугольники лугов, осененных тенью яблонь. Это Лиманъ, необъятная и ровная, всегда окутанная легким покровом тумана.

Наступил вечер. Поужинав в одиночестве, я пишу эти строки у открытого окна. Слышно, как напротив меня играет небольшой оркестр казино, словно птица-глупыш, которая может петь даже одна, даже в пустыне.

Время от времени лает собака. Глубокая тишина действует благотворно. Спокойной ночи!

16 июля. Ничего нового. Принял ванну, затем душ. Выпил три стакана воды; между первыми двумя с четверть часа гулял по аллеям парка, а после третьего — полчаса. Этим начались мои двадцатипятидневные труды.

17 июля. Видел двух загадочных хорошеньких дам, которые принимают ванны и обедают отдельно, после всех.

18 июля. Ничего нового.

19 июля. Снова видел хорошеньких дам. В них есть шик и еще нечто неуловимое; они мне очень нравятся.

20 июля. Продолжительная прогулка в прелестную лесистую долину до домика Сан-Суси. Это очаровательная местность, несколько грустная, но тихая, мирная и очень зеленая. На горных дорогах попадаются навстречу узкие повозки с сеном, их медленно тащит, едва сдерживая на спусках, пара быков в одном ярме. Мужчина в большой черной шляпе погоняет их тонкой палочкой; он прикасается ею то к бокам, то ко лбу животных и часто простым жестом, спокойным, но энергичным, внезапно останавливает их, когда, спускаясь по крутой дороге, они под тяжестью поклажи начинают ускорять шаг.

Легко дышится в этих долинах! Когда очень жарко, пыль слегка пахнет ванилью и хлевом: столько коров проходит по этим дорогам, что от них всюду остаются следы. И этот запах — словно благоухание, то-

гда как после других животных он был бы просто вонью.

21 июля. Экскурсия в долину Анваль. Это узкое ущелье между величественными утесами у самого подножия гор. Посреди нагромождения скал струится ручей.

Забравшись в глубь этого ущелья, я услыхал женские голоса и вскоре заметил незнакомок из нашего отеля, болтавших, сидя на камне.

Случай показался мне удобным, и я, не долго думая, представился. Моя попытка завязать разговор была принята без всякого смущения. Обратно мы шли вместе и вспоминали Париж. Оказывается, у нас много общих знакомых. Кто же такие эти дамы?

Завтра я снова увижусь с ними. Нет ничего увлекательнее таких встреч!

22 июля. Почти весь день провел с дамами. Они, право, очень красивы, одна — блондинка, другая — брюнетка. По их словам, они вдовы. Гм?..

Предложил им съездить завтра в Ройя, они согласились.

Шатель-Гюйон не так скучен, как мне показалось по приезде.

23 июля. День провели в Ройя. Это группа отелей, разбросанных в глубине долины, недалеко от Клермон-Феррана. Множество народу, большой оживленный парк. Прекрасный вид на Пюи-де-Дом, возвышающийся вдалеке, за долинами.

Мои спутницы обращали на себя всеобщее внимание, что льстило моему самолюбию. Мужчина, сопровождающий хорошенькую женщину, всегда чувствует себя словно окруженным ореолом, а тем более, если он в обществе двух красивых женщин. Что может быть приятнее обеда в многолюдном ресторане со спутницей, которая становится центром общего внимания! Ничто так не возвышает мужчину во мнении соседей.

Кататься в Булонском лесу на кляче или выйти на бульвар в обществе дурнушки — вот два наибольших унижения, глубоко задевающих чувствительное сердце, неравнодушное к тому, что думают другие. Из всех видов роскоши женщина — самый редкостный, самый

изысканный, самый дорогой и самый для нас желанный; мы любим выставлять его напоказ перед завистливыми взорами публики.

Когда появляешься на людях под руку с красивой женщиной, сразу же возбуждаешь всеобщую зависть и как бы говоришь: «Смотрите, я богат, раз обладаю таким редким и дорогим созданием, у меня есть вкус, раз я сумел найти такую жемчужину; быть может, я даже любим, если только она меня не обманывает, но и это доказывало бы лишь, что она прелестна и во мнении других».

Но какой позор — гулять по городу с некрасивой женщиной!

И сколько насмешек!

Как правило, ее принимают за вашу жену, ибо мыслимо ли допустить, что у вас уродливая любовница. Жена может быть дурна собой, но в таком случае ее невзрачность вызывает целый ряд обидных для вас мыслей. Прежде всего вас принимают за нотариуса или судью, ибо за лицами этих профессий признана монополия на безобразных, но богатых жен. Разве это не унизительно для мужчины? Кроме того, вы как бы сами публично признаетесь, что у вас хватает незавидной смелости ласкать такое непривлекательное лицо и неуклюжее тело, что это даже является вашей обязанностью и у вас достанет бесстыдства сделать матерью подобное существо, вряд ли способное вызывать желание. Разве это не верх смешного?

24 июля. Я больше не расстаюсь с обеими вдовушками, с которыми уже подружился. Здешние места чудесны, отель отличный. Прекрасная погода. Лечение мне очень помогает.

25 июля. Поездка в ландо к озеру Тазенà. Чудесная и неожиданная прогулка; мы сговорились о ней, сидя за завтраком. Выйдя из-за стола, мы сразу же укатили. После длинного подъема в горы мы увидели на месте бывшего кратера восхитительное маленькое озеро, круглое, синее, прозрачное, как стекло. Один край этой огромной чаши — голый, другой порос лесом. Между деревьями — домик: там живет один любезный и умный человек, философ, проводящий свои дни в этом вергилиевском уголке. Он приглашает нас к себе,

но мне приходит в голову блестящая идея. Я предлагаю:

— Не выкупаться ли нам?

— Но...— отвечают мне,— а костюмы?

— Ба! Мы одни!

И мы купаемся!..

Будь я поэтом, как описал бы я это незабываемое зрелище — молодые обнаженные тела в прозрачной воде! Неподвижное озеро, круглое и блестящее, точно серебряная монета, лежит между крутыми, высокими берегами; солнце щедро льет яркие лучи. Вода настолько прозрачна, что белые тела, скользя вдоль утесов, кажутся парящими в воздухе. Даже видны их движущиеся тени на песчаном дне.

26 июля. Кое-кто, видимо, шокирован и недоволен моим близким знакомством со вдовушками.

Есть люди, воображающие, что цель жизни — томиться скукой; любое развлечение они немедленно сочтут погрешностью против хорошего тона и нравственности. Правила долга в их пониманни нерушимы и смертельно скучны.

Я позволю себе заметить, что представление о долге у мормонов, арабов, зулусов, турок, англичан и французов различно, но, тем не менее, среди всех этих народов встречаются вполне порядочные люди.

Приведу лишь один пример. Что касается женщин, то у англичанки понятие о долге должно сложиться уже к десяти годам, а у француженки — только к пятнадцати. Ну, а я лично заимствую правила долга понемножку у всех народов и объединяю их в нечто единое, подобное морали царя Соломона.

27 июля. Хорошие новости. Похудел на шестьсот двадцать граммов. Эта шатель-гюйонская вода просто замечательна! Возил вдовушек обедать в Риом. Грустный городок, анаграмма которого образует слово, малоподходящее для целебных источников: Riom — Mori [1].

28 июля. Вот те на! За вдовушками приехало двое мужчин. Два вдовца, должно быть... Дамы уезжают сегодня вечером и прислали мне записочку.

29 июля. Я один! Долгая прогулка пешком к подножию кратера Нашер. Великолепный вид.

[1] Mori — умереть *(лат.)*

30 июля. Ничего нового. Лечусь.

31 июля. То же. То же. То же.

В этих красивых местах масса зловонных канав. Указал нерадивому городскому управлению на отвратительную клоаку прямо напротив большого отеля, которая отравляет воздух. Туда сваливают все отбросы из кухни. Настоящий очаг холеры.

1 августа. Ничего нового. Лечусь.

2 августа. Чудесная прогулка в Шатонеф, курорт для ревматиков, где все хромают. Презабавно: чуть ли не все население на костылях!

3 августа. Ничего нового. Лечусь.

4 августа. То же. То же.

5 августа. То же. То же.

6 августа. Я в отчаянии!.. Только что взвешивался. Прибавил в весе триста десять граммов. Что же это такое!

7 августа. Шестьдесят шесть километров в экипаже по горам. Не скажу куда, из уважения к тамошним женщинам.

Мне посоветовали сделать эту прогулку, так как эти места красивы и их редко посещают. После четырех часов езды я попал в довольно живописную деревню, расположенную на берегу речки, посреди чудесной ореховой рощи. Такой большой я еще не видал в Оверни.

Роща эта представляет собою богатство здешних мест, так как посажена на общинной земле. Когда-то эта земля была просто склоном холма, поросшим кустами. Местные власти безуспешно пытались ее возделывать, и она еле могла прокормить нескольких овец.

Теперь это роскошный лес, и все благодаря женщинам. Он носит странное название: «Лес грешниц».

Надо сказать, что женщины гор известны свободными нравами, более свободными, чем у женщин равнины. Парень, повстречавшийся им, должен их по меньшей мере поцеловать, и если он ограничивается только этим, он просто дурак.

Строго говоря, такой взгляд на вещи единственно логичен и разумен. Поскольку естественное призвание женщины в городе и в деревне — пленять мужчину, то мужчина должен все время доказывать ей, что она ему

нравится. Если же он воздерживается и ничем не проявляет своего влечения, значит, он считает ее безобразной, а это оскорбительно. Будь я женщиной, я не принял бы вторично мужчину, проявившего слишком большую почтительность при первой встрече; мне больше понравилось бы, если он, пораженный моей красотой, моим обаянием, моими женскими чарами, забыл бы проявить почтительность.

Так вот, парни из деревни Х. частенько доказывали своим землячкам, что те вполне в их вкусе, и местный кюре, бессильный помешать этим любезным и вполне естественным знакам внимания, решил использовать их для общего блага. Он накладывал на каждую грешницу епитимью: ей надлежало посадить одно ореховое дерево на общинной земле. И вот по ночам на холме, точно блуждающие огоньки, двигались фонари, ибо согрешившим вовсе не хотелось приносить покаяние среди бела дня.

Через два года на участке, принадлежащем общине, не осталось уже ни одного свободного местечка. И сейчас вокруг колокольни, звон которой раздается в роще, насчитывается свыше трех тысяч великолепных деревьев.

Если во Франции изыскивают способы вновь насадить леса, отчего бы лесному ведомству не войти в соглашение с духовенством, чтобы применить простое средство, придуманное этим скромным кюре?

8 августа. Лечусь.

9 августа. Уложил вещи и прощаюсь с этим прелестным, тихим, молчаливым уголком, с его зелеными горами и мирными долинами, с пустующим казино, откуда видна обширная равнина Лимани, всегда окутанная легкой голубоватой дымкой.

Завтра утром я уезжаю.

На этом рукопись обрывалась. Не стану ничего добавлять, ибо мои впечатления от здешних мест не совсем совпадали с впечатлениями моего предшественника. Но ведь я не встретил здесь двух вдовушек!

ЛАТЫНЬ

Вопрос об изучении латыни, набивший нам оскомину за последнее время, напомнил мне один случай из моей юности.

Я учился тогда в частном учебном заведении одного из больших городов, в пансионе Робино, славившемся на всю провинцию отличным преподаванием латинского языка.

Целых десять лет ученики пансиона Робино побеждали на всех конкурсах городской императорский лицей и все коллежи субпрефектур. Своими постоянными успехами пансион был обязан, как говорили, простому классному наставнику г-ну Пикдану, или попросту дядюшке Пикдану.

Это был один из тех пожилых, седовласых людей, чей возраст не поддается определению, но чья история ясна с первого взгляда. Поступив двадцати лет в какое-то училище классным наставником, чтобы иметь возможность продолжать собственные занятия и стать лиценциатом, а затем доктором словесности, он до того втянулся в это унылое существование, что так и остался классным наставником на всю жизнь. Однако любовь к латыни не покидала его, сделавшись какой-то болезненной страстью. С настойчивостью, близкой к мании, он продолжал читать, переводить, толковать и комментировать поэтов, прозаиков, историков.

Однажды ему пришла в голову мысль заставить

всех учеников своего класса отвечать только по-латыни; и он упорно добивался своего, пока они не привыкли говорить на этом языке так же свободно, как на родном.

Он слушал их, как дирижер слушает репетирующих музыкантов, и беспрестанно стучал линейкой по пюпитру:

— Господин Лефрер, господин Лефрер, вы допустили солецизм! Разве вы забыли правило?

— Господин Плантель, построение вашей фразы чисто французское, а вовсе не латинское! Нужно вникать в дух языка. Вот слушайте меня...

И вышло так, что в конце года ученики пансиона Робино получили все награды за латинские сочинения, переводы и речи.

На следующий год директор пансиона, маленький человечек, хитрый, как обезьяна, которую он напоминал также смешным, гримасничающим лицом, велел напечатать во всех программах, рекламах и даже написать на вывеске училища:

«Специальное изучение латинского языка. Пять первых наград на состязании с пятью классами лицея. Два почетных отзыва на всеобщем конкурсе лицеев и коллежей Франции».

Пансион Робино одерживал подобные победы в течение десяти лет. Отец мой, прельщенный такими успехами, поместил меня приходящим учеником к этому Робино, которого мы звали «Робинетто» или «Робинеттино», и велел мне брать отдельные уроки у дядюшки Пикдана по пяти франков за час, из которых два получал классный наставник, а три — его хозяин. Мне было тогда восемнадцать лет, и я учился в философском классе.

Эти уроки происходили в небольшой комнате с окном на улицу. Но вышло так, что дядюшка Пикдан, вместо того, чтобы говорить со мною по-латыни, как во время занятий, поверял мне по-французски свои невзгоды. Не имея ни родных, ни друзей, бедняга привязался ко мне и изливал передо мной свое горе.

Ни разу за десять или пятнадцать лет он ни с кем не беседовал по душам.

— Я точно дуб в пустыне,— говорил он.— Sicut quercus in solitudine[1].

Другие учителя внушали ему отвращение, а в городе он никого не знал, так как у него не было свободного времени, чтобы заводить знакомства.

— Даже ночью я не свободен, дружок, и это для меня тяжелее всего. Как я мечтаю о собственной комнате, где мебель, книги, всякие мелкие вещицы принадлежали бы только мне и никто не смел бы их трогать! Но у меня нет ничего своего, ничего, кроме панталон и сюртука, нет даже матраца и подушки! У меня нет своего угла, мне негде запереться, за исключением тех случаев, когда я даю уроки в этой комнате. Понимаете ли вы? Человек, у которого всю жизнь нет ни права, ни времени побыть наедине с собою, хотя бы для того, чтобы подумать, поразмышлять, поработать, помечтать!.. Ах, дорогой мой! Ключ, простой ключ от двери, которую можно запереть,— вот счастье, вот единственное счастье на свете!

Весь день я в классе с этими озорниками, которые вечно возятся, а ночью — с теми же озорниками в дортуаре, где они храпят... Да и сплю-то я у всех на глазах, в конце двух рядов кроватей этих шалунов, за которыми должен смотреть. Я никогда не могу остаться один, никогда! Выйдешь на улицу — там кишит народ, а когда устанешь от ходьбы, то заходишь в кафе, где битком набито курильщиками и игроками на бильярде... Сущая каторга!

Я спросил:

— Почему же вы не займетесь чем-нибудь другим, господин Пикдан?

Он воскликнул:

— Но чем же, дружок, чем? Ведь я не сапожник, не столяр, не шапочник, не булочник, не парикмахер. Я знаю только латынь, но у меня нет диплома, который позволил бы мне дорого брать за уроки. Будь у меня докторская степень, я получал бы сто франков за то, за что сейчас получаю сто су, и, наверное, учил бы хуже, ибо одного звания было бы достаточно, чтоб поддержать свою репутацию.

---

[1] Точно дуб в пустыне *(лат.)*.

Иногда он говорил мне:

— Я отдыхаю только в те часы, когда бываю с вами, дружок. Не бойтесь, вы ничего не потеряете: в классе я наверстаю упущенное время и буду спрашивать вас вдвое больше, чем остальных.

Однажды я расхрабрился и предложил ему папиросу. Он с изумлением взглянул на меня, потом на дверь.

— А если войдут, мой милый?

— Ну что ж, покурим в окошко! — предложил я.

И мы облокотились на подоконник, пряча папироски в ладонях, сложенных горсткой.

Напротив нас находилась прачечная. Четыре женщины в белых кофтах водили по разостланному перед ними белью тяжелыми горячими утюгами, из-под которых поднимался пар.

Вдруг из прачечной вышла еще одна, с огромной корзиной, под тяжестью которой изогнулся ее стан. Она собралась отнести клиентам их рубашки, носовые платки и простыни. Прачка приостановилась в дверях, как будто уже устала, затем подняла глаза, улыбнулась, увидев, как мы курим, и свободной рукой насмешливо послала нам воздушный поцелуй. Затем она удалилась неторопливой, тяжелой походкой.

Это была девушка лет двадцати, небольшого роста, худощавая, бледная, довольно хорошенькая, со смеющимися глазами и растрепанными белокурыми волосами, похожая на уличного мальчишку.

Дядюшка Пикдан, растроганный, пробормотал:

— Какое ремесло для женщины! Это под силу разве только лошади!

И он расчувствовался по поводу бедности народа. У него было восторженное сердце сентиментального демократа, и он говорил об утомительном труде рабочих со слезами в голосе и в выражениях, заимствованных у Жан-Жака Руссо.

На другой день, когда мы опять стояли у окна, та же работница, увидев нас, показала нам обеими руками нос и весело крикнула:

— Здравствуйте, школяры!

Я кинул ей папироску, которую она тотчас же заку-

рила. Четыре гладильщицы тоже бросились к двери, протягивая руки за папиросами.

Так стали крепнуть с каждым днем приятельские отношения между труженицами из прачечной и бездельниками из пансиона. На дядюшку Пикдана смешно было глядеть. Он дрожал от страха, что его увидят, ибо рисковал потерять место, и делал робкие комические жесты, совсем как актер, представляющий влюбленного, на что женщины отвечали градом воздушных поцелуев.

В моей голове зародился вероломный замысел. Однажды, войдя в нашу комнату, я прошептал старому репетитору:

— Представьте себе, господин Пикдан, я встретил маленькую прачку! Знаете, ту, с корзиной... и говорил с ней.

Он спросил, несколько смущенный моим тоном:

— Что же она вам сказала?

— Она сказала... бог ты мой... она сказала... что вы ей очень понравились. В самом деле, я думаю... мне кажется... что она неравнодушна к вам.

Он побледнел и возразил:

— Она, вероятно, смеется надо мной. Я уже стар для этого.

Я серьезно заметил:

— Почему же? Вы прекрасно сохранились!

Заметив, что он клюнул на мою хитрость, я переменил тему разговора.

Но с тех пор я каждый день выдумывал, будто встретил работницу и говорил с ней о нем. В конце концов он мне поверил и стал посылать ей пылкие, убедительные поцелуи.

Но вот однажды утром по дороге в пансион я в самом деле встретил ее и, не колеблясь, подошел к ней, словно мы были знакомы уже лет десять.

— Здравствуйте, мадмуазель! Как поживаете?

— Очень хорошо, сударь, благодарю вас!

— Не хотите ли папироску?

— О, не на улице!

— Вы ее выкурите дома.

— Тогда давайте!

— Скажите, мадмуазель, вы не заметили...

— Чего, сударь?

— Старик-то... мой старый учитель...

— Дядюшка Пикдан?

— Да, дядюшка Пикдан. А вам известно, как его зовут?

— Еще бы! Ну так что же?

— Ну, так он в вас влюблен!

Она расхохоталась, как сумасшедшая, и воскликнула:

— Да вы шутите!

— Нет, не шучу. Он со мной только про вас и говорит весь урок. Бьюсь об заклад, что он хочет на вас жениться!

Она перестала смеяться. При мысли о замужестве все девушки становятся серьезными. Затем она недоверчиво повторила:

— Нет, вы шутите!

— Клянусь вам, что это правда!

Она подняла корзину, стоявшую у ее ног.

— Ну что ж, посмотрим! — сказала она и удалилась.

Придя в пансион, я тотчас же отозвал дядюшку Пикдана в сторону.

— Надо ей написать, она без ума от вас.

И он написал длинное нежное письмо, полное высокопарных фраз и перифраз, метафор и сравнений, философии и университетских галантностей, настоящий шедевр комичного изящества, который я и взялся передать девушке.

Она прочла его с полной серьезностью, волнуясь, и тихо сказала:

— Как он хорошо пишет! Сразу видать образованного человека! И он вправду хочет на мне жениться?

Я отважно заявил:

— Еще бы! Он совсем потерял голову из-за вас.

— Тогда пусть он пригласит меня в воскресенье обедать на Цветочный остров.

Я обещал, что она будет приглашена.

Дядюшка Пикдан был чрезвычайно тронут всем, что я рассказал о ней.

Я добавил:

— Она вас любит, господин Пикдан, и, по-моему, она честная девушка. Соблазнить ее, а потом бросить — нехорошо.

— Я порядочный человек, мой друг! — твердо сказал он.

У меня не было, признаться, никакого плана. Я хотел подшутить над ним, подшутить, как школьник, и больше ничего. Я видел наивность старого репетитора, его неопытность, его робость. Я забавлялся, не думая, чем все это кончится. Мне было восемнадцать лет, и я еще в лицее приобрел репутацию завзятого шутника.

Итак, было решено, что мы с дядюшкой Пикданом отправимся в фиакре до парома «Коровий хвост», встретим там Анжелу, и я посажу их в свою лодку (в те дни я занимался греблей). Я должен был отвезти их на Цветочный остров, где мы решили пообедать втроем. Я предложил сопровождать их, чтобы вдоволь насладиться своим триумфом, и старик, согласившись на мой план, только доказывал этим, что в самом деле потерял голову, так как мог лишиться места.

Когда мы подъехали к парому, где моя лодка была привязана с утра, я увидел на берегу, в высокой траве, вернее, над нею, огромный красный зонтик, похожий на мак чудовищных размеров. Под зонтиком нас ожидала маленькая прачка, разодетая по-праздничному. Я удивился: право же, она была очень мила, хотя чуточку бледна, и грациозна, несмотря на то, что ее манеры отдавали предместьем.

Дядюшка Пикдан снял шляпу и поклонился. Она протянула ему руку, и они молча обменялись взглядами. Затем мы сели в лодку, и я взялся за весла.

Они уселись рядышком на задней скамейке.

Старик заговорил первый:

— Прекрасная погода для катания в лодке!

Она пролепетала:

— О да!

Она спустила руку за борт, касаясь пальцами воды. Из-под них забурлила тонкая, прозрачная, как стеклянное лезвие, струйка, и за бортом лод-

ки послышался легкий плеск, слабое журчание воды.

Когда мы добрались до ресторана, к ней вернулся дар речи, она заказала обед: жареную рыбу, цыпленка и салат; затем повела нас прогуляться по острову, который прекрасно знала.

Она развеселилась, стала шаловливой и даже насмешливой.

До самого десерта о любви не было речи. Я предложил им шампанского, и дядюшка Пикдан опьянел. Она тоже была немного навеселе и называла его «господин Пикне» [1].

Вдруг он сказал:

— Мадмуазель, Рауль говорил вам о моих чувствах?

Она сделалась серьезной, как судья.

— Да, сударь!

— Что вы на это ответите?

— На такие вопросы никогда не отвечают!

Тяжело дыша от волнения, он продолжал:

— Все-таки могу ли я надеяться, что понравлюсь вам?

Она улыбнулась.

— Глупенький! Вы очень милы.

— Словом, мадмуазель, не думаете ли вы, что когда-нибудь... мы могли бы...

Секунду она колебалась, затем ответила дрожащим голосом:

— Вы хотите на мне жениться, да? Иначе никогда, понимаете, никогда!

— Да, мадмуазель!

— Ну, что ж, идет, господин Пикне!

Вот каким образом эта легкомысленная парочка, по вине мальчишки, решила вступить в брак. Но я не думал, что это серьезно; может быть, и они тоже. Ее охватила нерешительность:

— Но, знаете, у меня ведь ничего нет, ни одного су!

Пьяный, как Силен, он пробормотал:

— Зато у меня пять тысяч франков сбережений.

Она торжествующе вскричала:

---

[1] В оригинале непереводимая игра слов: piquedent — колет зубом; piquenez — клюет носом.

— Тогда можно будет начать какое-нибудь дело!

— Какое дело? — встревожился он.

— Почем я знаю? Там видно будет! С пятью тысячами можно многое сделать. Ведь вы же не хотите, чтобы я поселилась у вас в пансионе? Не правда ли?

Он не предвидел этого и в смущении замялся:

— Но какое же дело? Это неудобно! Я ничего не знаю, кроме латыни!

Она, в свою очередь, размышляла, перебирая все профессии, казавшиеся ей подходящими.

— Вы не могли бы сделаться доктором?

— Нет, у меня нет диплома.

— Или аптекарем?

— Тоже нет.

Она радостно взвизгнула. Она нашла!

— Тогда мы купим бакалейную лавку. Ах, как хорошо! Мы купим лавку! Небольшую, конечно! С пятью тысячами далеко не уедешь.

Он запротестовал:

— Нет, я не могу быть бакалейщиком! Я... я... слишком известен. Я знаю только... только... латынь!

Но она влила ему в рот полный бокал шампанского, после чего он замолчал.

Мы снова сели в лодку. Ночь была темная-претемная. Однако я заметил, что они сидели обнявшись и несколько раз поцеловались.

Потом последовала ужасная катастрофа. Наша проказа обнаружилась, и дядюшку Пикдана прогнали со службы. А мой отец, вознегодовав, отдал меня оканчивать изучение философии в пансион Риборде.

Шесть недель спустя я сдал экзамен на бакалавра. Потом я уехал в Париж изучать право и вернулся в родной город только два года спустя.

На углу улицы Серпан мой взгляд привлекла вывеска, где значилось: «Колониальные товары. Пикдан». А пониже, для невежд, стояло: «Бакалейная торговля».

Я воскликнул:

— Quantum mutatus ab illo![1]

Пикдан поднял голову и, бросив покупательницу, кинулся ко мне с протянутыми руками:

— Ах, мой юный друг, мой юный друг! Вы здесь! Как я рад, как я рад!

Красивая, полная женщина выбежала из-за прилавка и бросилась ко мне на шею. Я с трудом узнал ее, до того она растолстела.

Я спросил:

— Как идут дела?

Пикдан снова принялся отвешивать товар.

— О, превосходно, превосходно! В этом году я заработал три тысячи франков чистоганом!

— А латынь, господин Пикдан?

— О боже мой, латынь, латынь... Латынью, знаете ли, не прокормишься!

---

[1] Сколько с тех пор перемен! *(лат.)* — слова Энея из «Энеиды» Вергилия (II, 274).

ФЕРМЕР

Барон Рене де Трейль сказал мне:

— Не хотите ли начать охотничий сезон на моей ферме Маренвиль? Я был бы этому очень рад, мой дорогой. К тому же я буду один. Добраться до этих мест так трудно, и дом, где я останавливаюсь, так убог, что я могу приглашать лишь самых близких друзей.

Я согласился.

В субботу мы выехали поездом нормандской железной дороги. Сошли мы на станции Альвимар. Барон Рене показал мне на деревенский шарабан, запряженный пугливой лошадью, которую сдерживал высокий седой крестьянин, и промолвил:

— Вот и наш экипаж, друг мой!

Крестьянин протянул хозяину руку, и барон, крепко ее пожав, спросил:

— Ну, что, дядюшка Лебрюман, как живете?

— По-старому, господин барон.

Мы уселись в эту тряскую клетку для цыплят, подвешенную к двум огромным колесам. Лошадь, сделав большой скачок, пустилась галопом. Нас подбрасывало, как мячики, и каждый удар о деревянную скамейку причинял мне жестокую боль.

Крестьянин повторял спокойно и монотонно:

— Ну, ну, потише, Мутар, потише!

Но Мутар совсем его не слушался и прыгал, как козленок.

Обе наши собаки, лежа позади нас в пустом отделении клетки, насторожились и стали внюхиваться, чуя доносившиеся с равнины запахи дичи.

Барон невесело смотрел вдаль, на широкую, волнистую однообразную нормандскую равнину, похожую на огромный, необъятный английский парк. Разбросанные по ней фермы были окружены двумя или четырьмя рядами деревьев. Дворы, засаженные раскидистыми яблонями, заслонявшими дома, казались издали то купой высоких деревьев, то рощей или рощицей, живописный вид которых мог бы вдохновить искусных садовников, планирующих парки в богатых поместьях.

Рене де Трейль сказал:

— Я люблю эту землю. Отсюда я родом.

И в самом деле это был чистокровный нормандец, рослый, широкоплечий, тяжеловатый, потомок старинной расы искателей приключений, основателей королевств на побережьях всех океанов. Ему было около пятидесяти лет, на десять меньше, чем фермеру, нашему вознице. Этот крестьянин, худой, кожа да кости, был из тех, что доживают до ста лет.

После двухчасовой езды по каменистой дороге, которая вилась среди однообразной зеленой равнины, наш неудобный экипаж вкатился во двор, усаженный яблонями, и остановился перед старой, обветшалой постройкой; нас встретила пожилая служанка вместе с мальчуганом, принявшим лошадь.

Мы вошли в дом. Закоптелая кухня была высока и просторна. Медная и фаянсовая посуда сверкала, отражая пламя очага. На стуле спала кошка, собака дремала под столом. Пахло молоком, яблоками, дымом и запахом старых крестьянских домов — запахом земли, стен, утвари, пролитой похлебки, давнишней стирки, запахом всех прежних обитателей дома, людей и скота, скученных вместе, запахом всяких вещей и живых существ, запахом времени, запахом прошлого.

Я вышел осмотреть двор. Он был очень большой и полон старых-престарых, приземистых и кривых яблонь, плоды которых падали тут же на траву. Во дворе стоял крепкий яблочный запах, присущий Нормандии, подобно тому как аромат цветущих апельсиновых деревьев присущ побережью Средиземного моря. Усадьбу окружали четыре ряда буковых деревьев. Они были так высоки, что, казалось, задевали тучи. В наступаю-

щей темноте их вершины, колеблемые вечерним ветром, раскачивались и беспрерывно грустно шелестели.

Я вернулся. Барон грел ноги у очага и слушал фермера; тот рассказывал местные новости. Он говорил о свадьбах, рождениях, смертях, о понижении цен на зерно, о скоте. Велярка (корова, купленная в Веле) отелилась в середине июня. Сидр был в прошлом году неважный. Абрикосов становится в округе все меньше...

Потом мы пообедали. Это был обычный деревенский обед, простой и обильный, продолжительный и мирный. И когда мы сидели за столом, я заметил какую-то особенную дружескую простоту в отношениях барона и крестьянина, которая поразила меня еще раньше.

Буковые деревья во дворе по-прежнему стонали под порывами ночного ветра, и обе наши собаки, запертые в хлеву, скулили и как-то зловеще выли. Огонь в большом очаге погас. Служанка ушла спать. Немного погодя дядюшка Лебрюман сказал:

— Если позволите, господин барон, я тоже отправлюсь на боковую. Не привык я засиживаться так поздно.

Барон протянул ему руку и так сердечно сказал: «Ступайте, дружище!» — что я спросил после ухода фермера:

— Он очень вам предан, этот крестьянин?

— Больше чем предан, мой дорогой! Драма, старая драма, простая и очень печальная, связывает нас. Вот послушайте эту историю...

Мой отец, как вам известно, был кавалерийским полковником. Ординарцем у него служил этот самый старик, тогда еще молодой парень, сын фермера. Позже, выйдя в отставку, отец взял этого солдата, которому было около сорока лет, к себе в услужение. Мне было лет тридцать. Мы жили в ту пору в своем поместье Вальрен, возле Кодебек-ан-Ко.

У моей матери была в то время горничной одна из самых прелестных девушек, каких я встречал,— белокурая, стройная, бойкая, шустрая, настоящая субретка, субретка былых времен — нынче таких уж нет. Теперь такие создания сразу превращаются в проституток. Париж с помощью железных дорог привлекает, притягивает этих игривых девчонок, завладевает ими,

как только они расцветут, а раньше они оставались простыми служанками. Как некогда сержанты-вербовщики набирали рекрутов, так теперь первый встречный мужчина совращает и развращает этих девочек, и в горничные к нам идут только отбросы женского пола — тупые, противные, вульгарные, нескладные, слишком безобразные для любовной игры.

Итак, эта девушка была очаровательна, и я иногда целовал ее в темных уголках. Не больше, о, не больше, уверяю вас. Она была честная, а я уважал материнский дом, что не в обычае у нынешних повес.

И вот камердинер отца, бывший солдат, старый фермер, которого вы только что видели, безумно влюбился в эту девушку, влюбился необычайно. Все обратили внимание, что он стал забывчив, рассеян.

Отец беспрестанно спрашивал его:

«Да что с тобой, Жан? Болен ты, что ли?»

Он отвечал:

«Нет, нет, господин барон. Я здоров».

Он похудел; прислуживая за столом, бил стаканы, ронял тарелки. Думали, что он захворал какой-то нервной болезнью, и приглашенный врач нашел симптомы заболевания спинного мозга. Тогда отец, заботясь о своем слуге, решил поместить его в лечебницу. Узнав об этом, тот во всем ему признался.

Как-то утром, когда хозяин его брился, он робко сказал:

«Господин барон...»

«Что, мой милый?»

«Видите ли, мне нужно не лечиться, а...»

«А что же?»

«Жениться».

Отец, пораженный, обернулся.

«Как? Что? Что ты сказал?»

«Жениться».

«Жениться? Так ты... так ты влюблен, скотина?»

«Так точно, господин барон».

Отец расхохотался так неудержимо, что мать моя спросила из соседней комнаты:

«Что с тобой, Гонтран?»

Он ответил:

«Поди сюда, Катрин!»

И, когда мать вошла, он рассказал ей, вытирая слезы, выступившие на глазах от смеха, что дуралей-слуга болен просто-напросто любовью.

Но маму это не рассмешило, а тронуло.

«Кого же ты так полюбил, мой милый?»

Он ответил не колеблясь:

«Луизу, госпожа баронесса».

Мама сказала с некоторой торжественностью:

«Мы постараемся устроить все к лучшему».

Она позвала и расспросила Луизу. Та ответила, что хорошо знает о чувствах Жана, что Жан несколько раз признавался ей в любви, но она не хочет выходить за него замуж. Она отказалась объяснить, почему.

Целых два месяца папа и мама уговаривали девушку выйти за Жана. Она уверяла, что не любит никого другого, и не могла привести никакой серьезной причины своего отказа. В конце концов папа победил ее сопротивление крупным денежным подарком, и их поселили на этой самой ферме. Они покинули наш дом, и я не видел их в течение трех лет.

Через три года я узнал, что Луиза умерла от болезни легких. А потом умерли мои родители, и я еще года два не видал Жана.

Как-то осенью, в конце октября, мне пришла мысль поохотиться в этом имении, где он заботливо поддерживал порядок и где, по его словам, было много дичи.

Итак, в один дождливый вечер я приехал сюда. Меня поразило, что бывший ординарец моего отца совершенно поседел, хотя ему было не больше сорока шести лет.

Я усадил его с собой обедать за этот самый стол. Шел проливной дождь. Слышно было, как капли стучали по крыше, стенам и стеклам, как струились потоки во дворе и моя собака выла в хлеву, совсем как наши сейчас.

После того как служанка ушла спать, Жан вдруг сказал:

«Господин барон...»

«Что, дядюшка Жан?»

«Надо бы кое-что вам сказать...»

«Говори, старина».

«Это... это не дает мне покоя».

«Так говори же!»

«Помните Луизу, мою жену?»

«Конечно, помню»

«Так вот, она поручила мне сказать вам кое-что...»

«Что же?»

«Это... это... это как бы исповедь».

«А!.. Что же?»

«Мне... мне... не хотелось бы говорить вам это... Но все-таки... это нужно... Нужно... Ну вот... Она не от чахотки померла... это... это с горя... Вот как дело было.

С тех пор как мы приехали сюда, она стала худеть, изменилась вся... да так, что через полгода ее и узнать нельзя было, господин барон... Вроде как я до свадьбы, только причина-то была другая, совсем другая.

Привез я доктора, и он сказал, что у нее болезнь печени, апа... апатия, что ли. Накупил я тогда лекарств больше чем на триста франков. Но она не хотела их принимать, ни за что не хотела.

«Не стоит,— говорит,— бедный мой Жан. Ни к чему это!»

Но я видел, что у нее что-то болит... что внутри у нее неладно. И потом, один раз я застал ее в слезах... я уж не знал, что и делать. Я ей и чепчики покупал, и платья, и помаду для волос, и сережки. Ничего не помогало. И понял я, что она скоро умрет.

Как-то в конце ноября,— снег тогда валил, и она весь день не вставала с постели,— вечером она велит мне сходить за кюре. Я пошел.

Когда кюре явился, она сказала:

«Жан, я должна сделать тебе признание, так надо. Слушай, Жан. Я никогда, никогда тебя не обманывала!.. Ни до свадьбы, ни после. Господин кюре подтвердит это, он знает, что у меня на душе. Так вот, слушай, Жан: я умираю потому, что не могу утешиться, уехав из замка... потому что я слишком... слишком привязалась к господину барону Рене. Привязалась, пойми, только привязалась. Это меня и в могилу сводит. Когда я поняла, что больше не увижу его, я почувствовала, что умру. Если бы я хоть могла его видеть, я бы осталась жива... Только бы видеть, больше ничего. Я хочу, чтобы ты сказал ему это как-нибудь потом, когда меня уже не будет. Скажи ему это... Поклянись...

поклянись, Жан, перед господином кюре. Это для меня утешение — знать, что ему когда-нибудь скажут, отчего я умерла... вот... Поклянись же!»

Я обещал, господин барон... И вот сдержал слово, как честный человек».

Он умолк, глядя мне в глаза.

Боже мой! Вы не представляете себе, дружище, до чего взволновал меня рассказ этого бедняги, жену которого я убил, не подозревая того... Как я расстроился, слушая его здесь, в этой кухне, дождливой ночью...

Я бормотал:

«Бедный Жан! Бедный Жан!»

Он сказал:

«Вот и все, господин барон... Я ничего не мог сделать... Да и вы тоже... А ее уж нет...»

Я взял его за руки и заплакал.

Он спросил:

«Хотите взглянуть на ее могилку?»

Я кивнул головой, не в силах говорить.

Он поднялся, зажег фонарь, и мы пошли под дождем, косые струи которого, быстрые, как стрелы, мелькали на свету.

Жан открыл калитку, и я увидел деревянные почерневшие кресты.

Он остановился перед мраморной плитой, сказав: «Вот здесь» — и поставив на нее фонарь, чтобы я мог прочесть надпись:

ЛУИЗА-ГОРТЕНЗИЯ МАРИНЕ,
ЖЕНА ЖАНА-ФРАНСУА ЛЕБРЮМАНА, ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА.
ОНА БЫЛА ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ. УПОКОЙ, ГОСПОДИ, ЕЕ ДУШУ!

Мы оба стояли на коленях в грязи. При свете фонаря я видел, как струи дождя ударялись о белый мрамор, отскакивали, разбиваясь в водяную пыль, и стекали с краев камня, непроницаемого и холодного. И я думал о сердце умершей. О, бедное сердце!.. бедное сердце!..

. . . . . .

С тех пор я ежегодно приезжаю сюда. Не знаю, почему, но я чувствую себя неловко, точно я виноват перед этим человеком, а он всегда глядит на меня так, словно прощает меня.

КРИК ТРЕВОГИ

Я получил следующее письмо. Спешу опубликовать его, думая, что оно может послужить на пользу многим моим читателям.

Париж, 15 ноября 1886 г.

Милостивый государь!

В своих рассказах и фельетонах вы часто обсуждаете вопросы, касающиеся, так сказать, «текущей морали». Хочу поделиться с вами своими размышлениями, которые, на мой взгляд, могли бы послужить вам темой для статьи.

Я не женат, холост и, по-видимому, несколько наивен. Но я думаю, что многие мужчины, даже большинство мужчин,— простаки, вроде меня. Я всегда или почти всегда доверчив, не подозреваю природной хитрости ближних, иду напрямик, недостаточно вникая в суть вещей и не задумываясь над человеческими взаимоотношениями.

Почти все мы привыкли принимать видимость за реальность и считать окружающих теми, за кого они себя выдают. Лишь очень немногие обладают чутьем, которое позволяет им угадывать настоящие, скрытые свойства других людей. Нередко из-за такого узкого и условного понимания жизни мы в решающую минуту ведем себя, как слепые кроты, верим не в то, что есть, а всегда в то, что нам кажется, и спорим против очевидности даже тогда, когда перед нами приподнимается завеса, скрывающая факты. Все, что противно нашей

идеалистической морали, мы считаем исключением, не замечая, что в разряд исключений попадают почти все известные нам жизненные случаи. Отсюда следует, что доверчивых простаков, вроде меня, обманывают все, а главным образом женщины, которые намного хитрее нас.

Я начал издалека, чтобы подойти к интересующему меня частному случаю.

У меня есть любовница, замужняя женщина. Как и многие другие, я воображал, конечно, что напал на нечто особенное, на несчастливую в замужестве молоденькую женщину, впервые изменяющую своему мужу.

Как мне казалось, я долго ухаживал за ней. Я думал, что победил ее своим вниманием и любовью, что восторжествовал благодаря упорству. Я действительно прибегал ко всяким предосторожностям, хитростям и деликатной нерешительности, чтобы добиться успеха.

И вот что произошло на прошлой неделе.

Муж ее был уже несколько дней в отъезде. Она пожелала пообедать у меня по-холостяцки, и я должен был прислуживать ей за столом, чтобы обойтись без слуги. У нее была навязчивая мысль, которая преследовала ее уже четыре или пять месяцев: она мечтала напиться допьяна, напиться вволю, без опасения вернуться в таком виде домой, говорить с горничной, быть на глазах у людей. Ей частенько случалось бывать, как она выражалась, «навеселе», но не больше, и она находила это очаровательным. Так вот она решила разок напиться, хотя бы только один раз, но уже как следует. Она сказала дома, что уезжает на сутки к друзьям, недалеко от Парижа, и явилась в обеденный час ко мне.

Женщине позволительно быть пьяной, конечно, только от замороженного шампанского. Она выпила большой бокал еще прежде, чем мы сели за стол, и, когда дело дошло до устриц, язык у нее уже заплетался.

У нас был холодный обед, заранее приготовленный и стоявший на столе у меня за спиной. Мне стоило про-

тянуть руку, чтоб взять блюдо или тарелку, и я прислуживал, как умел, слушая ее болтовню.

Преследуемая навязчивым желанием, она пила бокал за бокалом и уже пустилась в бессвязные и бесконечные откровенности о своих девичьих переживаниях. Она болтала и болтала неудержимо, ее блестящие глаза блуждали, ее легкомысленные излияния тянулись нескончаемо, как те голубые бумажные телеграфные ленты, которые как будто сами беспрерывно разматываются с катушки под треск электрического аппарата, покрывающего их отрывочными словами.

Время от времени она спрашивала меня:

— Я не пьяна?

— Нет еще.

И она снова пила.

Скоро она опьянела окончательно, правда, не до потери сознания, а до желания выкладывать всю правду, как мне показалось.

За откровенностями по поводу девичьих переживаний последовали откровенности самого интимного свойства — по поводу мужа. Она не скрывала решительно ничего; мне даже неловко было ее слушать, хотя она и повторяла все время:

— Могу же я все тебе сказать... С кем и поговорить об этом, как не с тобой!

Я узнал, таким образом, все привычки, недостатки, все мании и самые тайные вкусы ее супруга. И она спрашивала меня, требуя одобрения:

— Ну, не олух ли он? Скажи, ну, разве не олух? Поверишь ли, до чего он мне надоел!.. И в первый же раз, как я тебя увидела, я сказала себе: «Вот кто мне нравится, вот этот... я возьму его себе в любовники...» С тех пор ты и стал за мной ухаживать.

Наверное, у меня была очень смешная физиономия. Она заметила это, несмотря на опьянение, и разразилась хохотом.

— Ах ты, мямля,— сказала она,— до чего ты церемонился!.. Уж если за нами ухаживают... дурень ты этакий... значит, мы этого хотим... и тогда надо действовать попроворней, не заставляя нас дожидаться... Надо быть олухом, чтоб не понять по одному нашему

взгляду, что мы согласны! А я сколько тебя ждала, разиня! Я уж и не знала, как мне сделать, чтобы ты догадался, что я устала ждать. Покорно благодарю — цветочки... стишки... комплименты... опять цветочки... и дальше ни с места... Я уж думала тебя отпустить, мой милый, так ты долго раскачивался, пока собрался с духом... А ведь добрая половина мужчин похожа на тебя, тогда как другая половина... Ха-ха-ха!..

От этого смеха мурашки пробежали у меня по спине. Я пробормотал:

— А другая половина?.. Что же другая половина?

А она все пила. Светлое вино уже затуманило ей глаза, но мысль была возбуждена потребностью говорить правду, той властной потребностью, которая подчас охватывает пьяных.

Она продолжала:

— Ах, другая половина! Те быстро идут на приступ... но у них, конечно, есть к тому основания. Бывают дни, когда это им и не удается, но бывают дни, когда им везет, несмотря ни на что. Милый мой... если бы ты знал, как это смешно... два рода мужчин... Видишь ли, робкие, как ты, никогда и представить себе не могут, каковы те, другие... и как они начинают себя вести... немедленно же... только очутятся с нами наедине... Те идут на все... иногда, правда, им достаются и пощечины... но это их не смущает! Они отлично знают, что мы никогда не станем болтать. Они-то нас давно изучили...

Я смотрел на нее, как инквизитор, с безумным желанием заставить ее говорить дальше, узнать все. Сколько раз я задавал себе вопрос: «Как ведут себя другие мужчины с женщинами, с нашими женами?»

Я отлично понимал,— стоило мне только увидеть, как в гостиной, в обществе, двое мужчин разговаривают с одною и тою же женщиной, что если эти мужчины окажутся наедине с этой женщиной,— их обращение с ней будет совершенно различно, хотя бы они и были одинаково знакомы с ней. С первого взгляда можно угадать, что некоторые люди, от природы более одаренные силой обольщения или просто более развяз-

ные и смелые, достигают за час беседы с нравящейся им женщиной такой степени близости, до которой нам и в год не дойти. Так что же эти мужчины, эти соблазнители, эти смельчаки, когда им представляется случай, пускают ли они в ход руки и губы, тогда как мы, робкие, считаем это ужасным оскорблением для женщины? Но женщины видят в этом, очевидно, только простительную вольность и смелость, вызванную восхищением их неотразимой прелестью.

Я спросил ее:

— Бывают, стало быть, очень непочтительные мужчины?

Она откинулась на спинку стула, чтобы вволю посмеяться, но это был смех нервный, болезненный, который мог перейти в истерический припадок. Немного успокоившись, она продолжала:

— Ха-ха, милый мой! Непочтительные?.. Да, эти осмеливаются на все... сейчас же... на все решительно... слышишь... и еще на многое другое...

Я возмутился, как будто она открыла мне нечто чудовищное.

— И вы им все позволяете?..

— Нет... не позволяем... мы закатываем им пощечину... но это нас все-таки забавляет... Они гораздо забавнее, чем такие, как ты! И с ними всегда страшно, никогда не чувствуешь себя спокойно... и это такое наслаждение... так вот бояться... бояться этого. Все время надо быть начеку... точно сражаешься на дуэли... Смотришь им в глаза, ловя их мысли, следишь за их руками. Они нахалы, если хочешь, но любят они лучше вашего!..

Смутное и неожиданное чувство охватило меня. Хотя я холостяк и решил остаться холостяком, но такая бесстыдная откровенность заставила меня почувствовать вдруг в себе душу женатого человека. Я стал другом, союзником, братом всех доверчивых мужей, которые если не обворованы, то, по меньшей мере, обмануты всеми этими наглыми охотниками за чужими женами.

Находясь до сих пор во власти этого странного душевного состояния, я пишу вам и умоляю вас поднять

вместо меня криком тревоги многочисленную армию безмятежных мужей.

И все-таки я еще колебался. Эта женщина была пьяна и, быть может, лгала.

Я продолжал:

— Как же это так, неужели вы, женщины, никогда никому не рассказываете о своих приключениях?

Она посмотрела на меня с глубоким и таким искренним сочувствием, что мне показалось, будто она отрезвела от удивления.

— Мы... До чего ты глуп, мой милый! Да разве когда-нибудь про это говорят?.. Ха-ха-ха... Разве твой слуга докладывает тебе о своих маленьких доходах, о тех су, которые он имеет с каждого франка, и обо всем прочем?.. Так вот, это — наше су с франка. Муж не может жаловаться, если мы не заходим дальше. Но до чего ты глуп!.. Говорить об этом — значит внушать тревогу всем простофилям! До чего ты глуп! Да и что тут дурного, раз мы не уступаем?

Я спросил еще, очень сконфуженный:

— Значит, тебя часто целовали?

Она ответила с величавым презрением к мужчине, осмелившемуся в этом усомниться:

— Черт возьми!.. Да всех женщин часто целуют... Попробуй, с кем хочешь, и убедишься. Ах ты, рохля!.. Поцелуй, например, госпожу Х... она совсем еще молоденькая и очень порядочная... Поцелуй, друг мой... поцелуй... и дотронься... и увидишь... увидишь... Ха-ха-ха!

. . . . . .

Неожиданно она запустила полным стаканом в люстру. Шампанское брызнуло фонтаном, погасило три свечи, испачкало обои, залило стол, а осколки разбитого хрусталя рассыпались по всей столовой. Потом она схватила было бутылку, собираясь проделать с ней то же самое, но я помешал ей. Тогда она принялась кричать пронзительным голосом, и начался нервный припадок, как я и предвидел.

. . . . . .

Несколько дней спустя, когда я уже позабыл об этих признаниях полупьяной женщины, мне случилось встретиться на одном вечере с той г-жой X..., которую моя любовница советовала мне поцеловать. Так как мы жили с ней на одной улице и она была в этот вечер одна, то я предложил проводить ее. Она согласилась.

Когда мы очутились в карете, я сказал себе: «Ну, надо попробовать»,— однако не решался. Я не знал, с чего начать атаку.

Но вдруг меня охватила отчаянная смелость труса.

— Как вы были хороши сегодня! — сказал я.

Она ответила, смеясь:

— Значит, сегодняшний вечер был исключением, если вы это заметили в первый раз.

И я уже не знал, что ответить. Перестрелка галантными словами решительно не по мне. Однако после краткого размышления я нашелся.

— Нет, но я никогда не смел вам этого сказать.

Она удивилась.

— Почему же?

— Потому что это... это довольно трудно.

— Трудно сказать женщине, что она красива? Откуда вы это взяли? Надо всегда это говорить, даже если вы не совсем так думаете, потому что подобные вещи нам всегда приятно слышать.

Я почувствовал вдруг прилив невероятной дерзости и, схватив ее за талию, стал искать ее губы своими губами.

Однако я, должно быть, дрожал и не показался ей слишком опасным. Кроме того, я, по-видимому, плохо рассчитал свое движение, так как она только отвернула голову, чтоб избежать моих поцелуев, и сказала:

— О нет... это уж слишком... это слишком... Вы слишком торопитесь... будьте осторожны с моей прической... Никогда нельзя целовать женщину, у которой такая прическа, как у меня!..

Я сел на свое место потрясенный, в отчаянии от этой неудачи. Но карета остановилась у ее дверей. Она вышла, протянула мне руку и самым любезным тоном сказала:

— Благодарю вас, сударь, что вы проводили меня домой... Но не забывайте моего совета.

Я встретился с ней через три дня. Она уже все забыла.

А я, сударь, я думаю постоянно о других мужчинах... о тех, что умеют справляться с прическами и не упускать благоприятного случая.

Предлагаю это письмо, ничего к нему не добавляя, на обсуждение моих читательниц и читателей, женатых и холостяков.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Жак де Рандаль пообедал дома один, отпустил слугу и сел за стол писать письма.

Размышляя в одиночестве над письмами, он провожал каждый уходивший год. Это был своего рода обзор всего случившегося за прошлый год, всего, что кончилось, всего, что умерло. И по мере того, как перед его глазами всплывали лица друзей, он писал им несколько строк — дружеский привет к Первому января.

Итак, он сел, открыл ящик письменного стола, вынул оттуда фотографию женщины, несколько секунд смотрел на нее и поцеловал. Потом, положив фотографию рядом с листом бумаги, он начал:

«Дорогая Ирен, вы, должно быть, уже получили маленький подарок, который я вам подношу; я же сегодня вечером заперся один, чтобы сказать...»

Перо остановилось. Жак поднялся и стал ходить взад и вперед по комнате.

Вот уже десять месяцев, как у него была любовница. Не такая, как другие, не искательница приключений, не женщина из театрального мира, не с улицы, но женщина, которую он любил и покорил. Он не был уже юнцом, хотя был еще молод годами, и относился к жизни серьезно, обладая умом положительным и практическим.

Итак, он стал подводить итог своей страсти, подобно тому, как ежегодно подводил учет своих дружеских отношений, порванных или недавно возникших, учет всех событий, вошедших в его жизнь.

Первый пыл его страсти успокоился, и он спрашивал себя с точностью расчетливого дельца, каково было состояние его сердца по отношению к ней на настоящий день, и старался угадать, каково оно станет в будущем.

Он нашел в своем сердце большое и глубокое чувство, состоящее из любви, благодарности и тысячи тонких нитей, то, из чего создаются прочные и долгие связи.

Он вздрогнул от звонка... Открыть или нет? Но тут же подумал, что в такую новогоднюю ночь следует всегда открывать дверь, открывать ее Неизвестному, идущему мимо и постучавшему, каково бы оно ни было.

Он взял свечку, прошел через переднюю, снял засов, повернул ключ, дернул к себе дверь. Перед ним стояла его возлюбленная, бледная, как смерть, опираясь руками о стену.

— Что с вами?— спросил он тревожно.

Она ответила:

— Ты один?

— Да.

— Слуг нет?

— Нет.

— Ты никуда не собираешься?

— Нет...

Она вошла, как женщина, которая была здесь не раз. Пройдя в гостиную, она опустилась на диван и, закрыв лицо руками, горько расплакалась.

Он встал перед ней на колени, силясь отвести ее руки от лица, увидеть ее глаза.

— Ирен, Ирен, что с вами?— повторял он.— Умоляю вас, скажите мне, что с вами?

Она прошептала сквозь слезы:

— Я не могу так дольше жить...

Он не понял.

— Жить так?.. Но как?

— Я не могу больше так жить... у себя... Ты не знаешь... я никогда тебе не говорила... Это ужасно... Я больше не могу, я так страдаю... Он ударил меня сегодня...

— Кто, твой муж?

— Да, мой муж.

— А!..

Это его удивило, он и не подозревал, что ее муж мог быть таким грубым. Это был великосветский человек, член клубов, любитель лошадей, кулис и фехтования, всюду принятый, признанный, известный, так как у него были весьма изысканные манеры, весьма ограниченный ум, отсутствие образования и природных способностей — словом, все, что необходимо, чтобы мыслить подобно всем благовоспитанным людям и питать уважение ко всем предрассудкам приличного общества.

Казалось, он относился к своей жене именно так, как подобает в среде людей состоятельных и благородного происхождения. Он в достаточной степени интересовался ее желаниями, здоровьем, туалетами и предоставлял ей, в сущности, полную свободу.

Рандаль, сделавшись другом Ирен, получил право на дружеское рукопожатие, которым всякий благоразумный муж удостаивает приятелей жены. Но когда Жак, побыв некоторое время другом, сделался любовником, его отошения с супругом стали, как это водится, еще более короткими.

Никогда Рандаль не видел и не предполагал возможности бурь в этом доме, и он растерялся перед таким неожиданным открытием.

Он спросил:

— Как это случилось?

Тогда она рассказала длинную историю, историю всей своей жизни с первого дня брака. Первая размолвка из-за пустяка, потом расхождения по любому поводу, возраставшие с каждым днем из-за несходства характеров.

Затем пошли ссоры, и наконец наступил разрыв, внешне незаметный, но бесповоротный; муж стал придирчив, мрачен, груб. А теперь он превратился в ревнивца! Он ревновал ее к Жаку и сегодня, во время ссоры, ударил ее.

Она прибавила твердо:

— Я больше не вернусь к нему. Делай со мной, что хочешь!

Жак сел против нее, их колени соприкасались. Он взял ее руки:

— Мой дорогой друг, вы собираетесь сделать большую, непоправимую глупость. Если вы хотите бросить

мужа, устройте так, чтоб виновною стороною был он, чтоб не пострадала ваша репутация безупречной светской женщины.

Она спросила, бросив на него беспокойный взгляд:

— Что же ты мне посоветуешь?

— Вернуться домой и терпеть эту жизнь до тех пор, пока вы не сможете расстаться или получить развод, сохранив свое доброе имя.

— Разве это немножко не подло, то, что вы мне советуете?

— Нет, это разумно и осмотрительно. У вас высокое положение в свете, имя, которое вы должны оберегать, друзья, которых надо сохранить, и родные, с которыми надо считаться. Нельзя забывать об этом и сгоряча порывать со всем.

Она встала, раздраженная:

— Ну, так нет же, я больше не могу, кончено, кончено, все кончено!

Потом, положив руки на плечи любовника и глядя ему в глаза, сказала:

— Ты меня любишь?

— Да!

— Правда?

— Да...

— Так оставь меня у себя...

Он воскликнул:

— Оставить тебя у меня? Здесь? Да ты с ума сошла! Это значит потерять тебя навек! Потерять безвозвратно! Ты сумасшедшая!

Она продолжала медленно и с достоинством, как женщина, сознающая все значение своих слов:

— Слушайте, Жак. Он запретил мне видеться с вами, а я не желаю больше тайных свиданий. Вам придется или потерять меня, или взять к себе.

— Моя дорогая Ирен, в таком случае добейтесь развода, и я женюсь на вас.

— Да, вы женитесь на мне... года через два, а то и позже. Ваша любовь довольно терпелива.

— Подумайте хорошенько. Если вы останетесь здесь, он завтра же вернет вас обратно, так как он ваш муж и на его стороне закон и право.

— Я не просила вас, Жак, оставить меня обяза-

тельно здесь, я думала, что вы меня куда-нибудь увезете. Я верила, что ваша любовь достаточно сильна, чтобы сделать это. Я ошиблась. Прощайте.

Она повернулась и пошла к двери так быстро, что он успел удержать ее только, когда она уже выходила из гостиной.

— Послушайте, Ирен!

Она отбивалась, не хотела ничего больше слушать; глаза ее были полны слез, и она шептала:

— Оставьте меня!.. Оставьте меня!.. Оставьте меня!..

Он силой усадил ее и снова опустился перед ней на колени. Он приводил различные доводы и давал советы, стараясь доказать, как безумно и опасно ее намерение. Он не забыл ничего, что надо сказать, чтобы уговорить ее, и даже обращался к своему собственному чувству, стараясь найти убедительные мотивы. И так как она холодно молчала, он просил, умолял выслушать его, поверить ему и внять его совету.

Когда он кончил, она сказала:

— Вы намерены отпустить меня теперь? Оставьте меня, я хочу уйти!

— Полно, Ирен!

— Пустите меня!

— Ирен, ваше решение непоколебимо?

— Не держите меня!

— Скажите мне только: ваше решение, безумное решение, о котором вы будете горько сожалеть, оно бесповоротно?

— Да! Пустите меня!

— В таком случае останься. Ты хорошо знаешь, что здесь ты дома. Завтра утром мы уедем.

Она встала, несмотря на его слова, и сурово ответила:

— Нет. Слишком поздно. Я не хочу жертв, мне не нужны подвиги самоотречения.

— Останься, я сделал то, что должен был сделать, и сказал, что должен был сказать. На мне больше не лежит ответственность за тебя. Совесть моя спокойна. Скажи, чего ты хочешь, я повинуюсь.

Она опять села и, посмотрев на него долгим взглядом, спокойно сказала:

— Тогда объяснись.

— Как? Что я должен тебе объяснить?

— Все... Все, о чем ты подумал, почему твое решение так изменилось, и я увижу тогда, что мне делать.

— Но я вовсе ни о чем не думал. Я должен был предупредить тебя, что ты собираешься совершить безрассудство. Ты настаиваешь,— тогда я прошу своей доли участия в этом безрассудстве, даже требую ее.

— Неестественно так быстро менять свое мнение...

— Слушай, дорогая, здесь дело не в жертве и не в самоотверженности. В день, когда я понял, что полюбил тебя, я сказал себе то, что должны говорить все влюбленные в подобном случае: мужчина, который любит женщину, который стремится ее завоевать, добивается ее, который берет ее, тем самым вступает с ней в священное соглашение. Это относится, конечно, к такой женщине, как вы, а не к женщине, сердце которой доступно всем. Брак, имеющий большой общественный смысл, большое правовое значение, представляет в моих глазах весьма ничтожную моральную ценность, если принять во внимание условия, при которых он обычно заключается.

Итак, если женщина, связанная этими законными узами, не любит своего мужа и не может его любить, то сердце ее свободно, и если она встречает мужчину, который ей нравится, и отдается ему, и если мужчина свободен и берет эту женщину — я говорю, что они вступают в союз друг с другом путем свободного соглашения, в союз более прочный, чем тот, что скреплен словами согласия, которые бормочут в присутствии мэра, украшенного трехцветной перевязью.

Я хочу сказать, что если оба они люди честные, то их связь должна быть глубже, сильнее, естественнее, чем если бы она была освящена всеми таинствами.

Такая женщина рискует всем. И именно потому, что она это знает, именно потому, что она отдает все: свое сердце, тело, душу, честь, жизнь,— именно потому, что заранее она готова ко всем возможным несчастьям, опасностям, катастрофам, именно потому, что она отважилась на смелый, бесстрашный поступок, решившись идти наперекор всем — и своему мужу, который может ее убить, и обществу, которое может отвергнуть ее,—

именно потому она и достойна уважения в своей супружеской неверности, и поэтому ее любовник тоже должен все предвидеть и предпочесть ее всему, что бы после ни случилось. Я тебе все сказал. Сначала я поступил, как человек благоразумный, который должен был предупредить тебя. Теперь во мне остался только тот, кто тебя любит. Приказывай!

Сияя от счастья, она закрыла ему рот поцелуем и прошептала:

— Я солгала, дорогой, ничего не случилось. Мой муж ничего не подозревает. Но я хотела видеть, я хотела знать, как бы ты поступил... Я хотела... получить новогодний подарок... твое сердце, кроме другого новогоднего подарка — сегодняшнего ожерелья. И ты подарил мне его!.. Благодарю... благодарю тебя!.. Боже, как я счастлива!

ПОСЛЕДСТВИЯ

— Дорогие мои,— сказала графиня,— пора вам идти спать.

Трое детей, две девочки и мальчик, встали и поцеловали бабушку.

Потом они подошли попрощаться с г-ном кюре, который по четвергам обыкновенно обедал в замке.

Аббат Модюи посадил двоих ребят к себе на колени, длинными руками в черных рукавах обнял их и, притянув к себе детские головки отеческим жестом, поцеловал в лоб долгим нежным поцелуем.

Потом он спустил их на пол, и малыши удалились; мальчик впереди, девочки — за ним.

— Вы любите детей, господин кюре? — сказала графиня.

— Очень, сударыня.

Старая дама подняла на священника свои ясные глаза.

— И... ваше одиночество никогда не было вам в тягость?

— Иногда бывало.

Он помолчал, потом нерешительно продолжал:

— Но я не был рожден для обыкновенной жизни.

— Почему вы так думаете?

— О, я отлично знаю! Я родился, чтобы быть священником, и последовал своему призванию.

Графиня продолжала смотреть на него.

— Ну, господин кюре, расскажите же мне, расскажите, как вы решились отказаться от всего, что застав-

ляет нас любить жизнь, от всего, что нас поддерживает и утешает. Кто повлиял на вас, убедив свернуть с обычного пути жизни, с пути брака и семьи? Вы не фанатик, не экзальтированный, не мрачный и не унылый человек. Быть может, какое-нибудь событие или горе побудило вас дать обет вечного отречения?

Аббат Модюи встал и подошел к камину. Потом сел опять и протянул к огню ноги в грубых башмаках, какие носят деревенские священники. Он все еще, казалось, не решался ответить.

Это был высокий седой старик. Уже двадцать лет обслуживал он общину Сент-Антуан-дю-Роше. Крестьяне говорили про него: «Вот хороший человек!»

Он был действительно хороший человек, приветливый, обходительный, кроткий, а главное — великодушный; подобно святому Мартину, он был готов ради ближнего разорвать пополам свой плащ. Он любил посмеяться, но мог вдруг заплакать, как женщина, что несколько вредило ему во мнении суровых крестьян.

Старая графиня де Савиль, которая после смерти сына и последовавшей вскоре смерти невестки уединилась в свой замок дю Роше, чтобы воспитывать внучат, очень любила своего кюре и говорила о нем: «Золотое сердце».

Он приходил каждый четверг обедать в замок, и у них завязалась теплая, искренняя стариковская дружба. Они понимали друг друга почти с полуслова, так как оба были добры, как бывают добры простые и кроткие люди.

— Ну, господин кюре,— настаивала она,— исповедуйтесь, ваша очередь.

Он повторил:

— Я не был рожден для обычной жизни. К счастью, я вовремя в этом убедился и очень часто имел доказательства того, что я не ошибся.

Мои родители, торговцы галантереей в Вердье и довольно богатые люди, возлагали на меня большие надежды. С малолетства меня отдали в пансион. Трудно себе представить, как страдает ребенок в закрытом заведении от одной только разлуки с близкими и от оди-

ночества. Эта однообразная жизнь без ласки полезна одним, но невыносима для других. У малышей часто сердце более чувствительно, чем это думают, и, запирая их таким образом слишком рано вдали от тех, кого они любят, можно до крайности развить в них чувствительность, которая становится болезненной и опасной.

Я никогда не играл. У меня не было товарищей, и я проводил время в тоске по родному дому. Лежа в постели, я плакал по ночам. Я напрягал свою мысль, стараясь вызвать воспоминания о моей жизни дома, самые незначительные воспоминания о самых ничтожных вещах и мелких событиях. Я постоянно думал обо всем, что оставил там. Мало-помалу я превратился в болезненно чувствительного ребенка, для которого малейшая неудача становилась жестоким горем.

Притом я был необщителен, недоверчив. Мой возбужденный мозг работал скрытно и настойчиво. Детские нервы легко расшатываются; следовало бы заботиться, чтобы дети жили в совершенном спокойствии вплоть до их полного развития. Но кто думает о том, что для некоторых школьников несправедливо заданный в наказание урок является причиной столь же большого огорчения, какое впоследствии приносит смерть друга? И кто отдает себе отчет в том, что некоторые молодые души способны терпеть из-за пустяка столь ужасные волнения, что в короткое время становятся неизлечимо больными?

Так было и со мной. Это свойство страдать развилось во мне в такой степени, что существование стало для меня мукой.

Я не говорил об этом, не говорил ничего, но скоро стал столь чувствительным, вернее, впечатлительным, что душа моя была словно открытая рана. Всякое прикосновение вызывало в ней болезненное содрогание, мучительный трепет, доходящий до настоящего душевного потрясения. Счастливы люди, которых природа наделила броней равнодушия и вооружила стоицизмом!

Мне исполнилось шестнадцать лет.

У меня развилась крайняя робость, порожденная чрезмерной впечатлительностью. Чувствуя себя беззащитным против всех случайных ударов и превратностей

судьбы, я боялся всякого соприкосновения с людьми, всякого сближения с ними, всяких событий. Я жил настороже, как бы под постоянной угрозой неизвестного, всегда возможного несчастья.

Я не осмеливался ни говорить на людях, ни действовать. Мне казалось, что жизнь — это сражение, ужасная борьба, в которой получают страшные удары, болезненные, смертельные раны. Вместо того, чтобы, подобно всем людям, питать счастливую надежду на будущее, я испытывал лишь неясный страх, желание спрятаться, избегнуть этой борьбы, в которой я буду побежден или убит.

Когда я кончил курс, мне дали шестимесячный отпуск, чтоб я мог избрать себе карьеру. И вдруг одно очень простое событие позволило мне многое понять в самом себе, обнаружило болезненное состояние моего духа, открыло грозящую мне опасность и убедило бежать от нее.

Вердье — маленький городок среди полей и лесов. Дом моих родителей находился на центральной улице. Я проводил теперь свои дни вне дома, о котором недавно так тосковал, куда так стремился. Во мне пробудились мечты, и я бродил в одиночестве по полям, свободно предаваясь своим мыслям.

Отец и мать, всецело занятые торговлей и озабоченные моим будущим, говорили со мной только о своих делах или о возможных для меня планах. Люди практического ума, положительные, они любили меня больше рассудком, чем сердцем. Я жил, глубоко уйдя в свои мысли и трепеща от вечного душевного беспокойства.

И вот однажды вечером, возвращаясь скорым шагом домой с длинной прогулки, торопясь, чтоб не опоздать, я увидел собаку, бегущую мне навстречу. Она была из породы спаньелей, рыжая, тощая, с длинными ушами.

В десяти шагах от меня она остановилась, я тоже. Тогда она завиляла хвостом и подошла ко мне мелкими шажками, робко, извиваясь всем телом, приседая на лапах и потихоньку вертя головой, словно желая меня умилостивить. Я подозвал ее. Она поползла ко мне

с таким смиренным, грустным, умоляющим видом, что у меня навернулись слезы.

Я приблизился, собака отбежала, потом вернулась. Я опустился на одно колено, говоря ласковые слова, чтобы приманить ее. Наконец она очутилась рядом со мной, и я стал тихонько и с величайшей осторожностью ее гладить.

Мало-помалу она осмелела, поднялась, положила лапы мне на плечи и принялась лизать мне лицо. Она проводила меня до самого дома.

Это было поистине первое существо, которое я страстно полюбил, так как оно отвечало мне тем же. Моя привязанность к этому животному была, бесспорно, преувеличенной и смешной.

Мне казалось подчас, что мы два брата, затерявшиеся на этой земле, равно одинокие и беззащитные. Собака меня не покидала, спала в ногах кровати, ела из моих рук, несмотря на недовольство родителей, и сопровождала меня в моих одиноких прогулках.

Часто я останавливался на краю обрыва и садился на траву. Сейчас же прибегал Сам, ложился рядом или ко мне на колени и приподнимал мордой мою руку, чтобы я его погладил.

Однажды в конце июня, когда мы шли по дороге в Сен-Пьер-де-Шавроль, я увидел приближающийся дилижанс из Раверо. Он мчался, запряженный четверкой скачущих галопом лошадей; еще издали видны были его желтый ящик и черный кожаный верх над империалом. Кучер щелкал бичом, облако пыли поднималось из-под колес тяжелой кареты и неслось за нею, как туча.

И вдруг, когда дилижанс уже приближался, Сам, быть может, испуганный шумом, бросился ко мне через дорогу. Удар лошадиной ноги опрокинул его; я видел, как он упал, перевернулся, вскочил и снова свалился. Карета два раза подпрыгнула, и я увидел, что за нею на дороге что-то копошилось в пыли. Сам был почти разрезан надвое. Все его внутренности вывалились, и кровь била ключом. Он пытался встать, идти, но двигаться могли только его передние лапы, и он царапал ими землю, как бы роя яму, а обе задние уже омертвели. Он ужасно выл, обезумев от боли.

Спустя несколько минут он издох. Не могу выразить, что я пережил и как я страдал. Целый месяц я не выходил из комнаты.

Однажды вечером отец, взбешенный тем, что я пришел в такое состояние из-за пустяка, воскликнул:

— Что же будет, если тебя постигнет настоящее горе, если ты потеряешь жену или детей? Нельзя же быть до такой степени дураком!

С тех пор у меня не выходили из памяти, меня неотступно преследовали эти слова: «Что же будет, если тебя постигнет настоящее горе, если ты потеряешь жену или детей?»

И я начал яснее разбираться в себе. Я понял, почему все мелкие повседневные невзгоды принимают в моих глазах размеры катастрофы. Я увидел, что был создан, чтоб жестоко страдать из-за всего, чтобы воспринимать все мучительные впечатления окружающего, обостренные моей болезненной чувствительностью, и ужас перед жизнью охватил меня. У меня не было увлечений, я не был честолюбив. И я решил пожертвовать возможным счастьем, чтоб избежать неминуемых горестей. Жизнь коротка, говорил я себе, так уж лучше я проживу ее, служа другим, облегчая им страдания, радуясь их счастью. Если я сам не буду испытывать непосредственно ни того, ни другого, то на мою долю придутся лишь более слабые душевные волнения.

Но если б все же вы знали, как меня мучают и удручают чужие беды! Но то, что было бы для меня невыносимым страданием, обратилось теперь в сочувствие и жалость.

Я не вынес бы страданий, с которыми поминутно сталкиваюсь, если бы они ударяли по моему собственному сердцу. Я не мог бы видеть смерти своего ребенка — я сам бы умер. И я сохранил, несмотря на все, такой суеверный, такой глубокий страх перед возможностью несчастья, что один вид входящего в мой дом почтальона ежедневно вызывает во мне дрожь, хотя теперь мне уже нечего больше бояться.

Аббат Модюи умолк. Он смотрел на огонь в большом камине, как бы желая увидеть в нем таинственные видения, все те неизвестные судьбы, которые он мог бы

пережить, если бы с большей стойкостью переносил страдание. И он прибавил, понизив голос:

— Я прав. Я не был создан для этого мира.

Графиня не возражала; наконец, после долгого молчания, она произнесла:

— Если бы у меня не было внучат, мне не хватило бы мужества жить.

Священник молча встал.

Слуги уже дремали на кухне, и графиня проводила его до двери, выходящей в сад. Она смотрела, как терялась в ночи его большая медлительная тень, освещенная отблеском лампы.

Потом она вернулась, села у камина и задумалась о многом, о чем мы вовсе не думаем, когда молоды.

МИСТИ

МИСТИ

Воспоминания холостяка

. . . . . .

Любовницей у меня была тогда презабавная женщина. Разумеется, замужняя: проститутки внушают мне спасительный страх. В самом деле, что за удовольствие обладать женщиной, которая принадлежала всем, в то же время не принадлежит никому! Это создает двойное неудобство. Даже если оставить в стороне соображения морали, я не понимаю, как можно превращать любовь в средство заработка? Это мне просто претит. Впрочем, готов сознаться, что это мое слабое место.

У холостяка, имеющего связь с замужней женщиной, появляется свой домашний уголок, уютный, привлекательный, где все за ним ухаживают, все его балуют, начиная с мужа и кончая слугами. Там находишь все блага жизни: любовь, дружбу, даже отеческую заботу, сон, пищу — словом, все, в чем заключается счастье; добавьте сюда и то неоценимое преимущество, что можно время от времени менять свою семью, находя приют то в одной, то в другой среде: летом — в деревне, у простолюдина, сдающего комнату в своем домике, зимой — у буржуа, а если ты честолюбив,— то и у аристократа.

У меня есть еще одна слабость — я привязываюсь к мужьям моих любовниц. Должен даже признаться,

что женщина, как бы она ни была прелестна, перестает меня привлекать, если ее муж слишком вульгарен или груб. Если же он умен, обаятелен, то я непременно влюбляюсь в его жену до безумия. И, даже порывая с нею, я стараюсь сохранять отношения с ее мужем. Вот каким образом я приобрел лучших своих друзей,— неоднократно убеждаясь в неоспоримом превосходстве мужского пола над женским. Женщина доставляет всевозможные неприятности, устраивает сцены, осыпает упреками; мужчина же, имея не меньше оснований быть на вас в претензии, обращается с вами, наоборот, так, как если бы вы были добрым гением его домашнего очага.

Итак, моей любовницей была презабавная женщина, черноволосая, взбалмошная, капризная, легкомысленная, набожная, суеверная, как монах, и вместе с тем очаровательная. У нее была особенная манера целоваться, какой я ни у кого больше не встречал... хотя одного этого мало, чтобы удержать мужчину. А как нежна была ее кожа! Я испытывал невыразимое удовольствие от одного прикосновения к ее рукам. А ее глаза! Ее взгляд скользил по мне, словно медленная, сладостная, нескончаемая ласка. Часто я клал голову ей на колени, и мы сидели неподвижно: она склонялась ко мне с загадочной и волнующей, чисто женской улыбкой, я же глядел на нее, встречая взгляд ее сияющих голубых глаз; сияющих оттого, что их переполняла любовь, голубых, как седьмое небо, сулящее наслаждения. Этот взгляд лился мне в самое сердце, незаметно и сладко опьяняя.

Ее муж, инспектор большого страхового общества, редко бывал дома, и мы пользовались по вечерам полной свободой. Иногда я проводил вечер у нее, растянувшись на диване, прильнув лбом к ее ноге, тогда как на другой дремал большой черный кот по имени Мисти, которого она обожала. Наши пальцы встречались на гибкой спине животного и ласкали друг друга в его шелковистой шерсти. Моя щека касалась его теплого бока, дрожавшего от непрестанного мурлыканья, и порою вытянутая лапка дотрагивалась до моего рта или век пятью выпущенными когтями, которые слегка впивались в мою кожу и сейчас же вновь прятались.

Иногда мы уходили из дому, чтобы «пошалить», как она выражалась. Эти шалости, впрочем, были самого невинного свойства. Они заключались в том, что мы ужинали в пригородной харчевне, либо, пообедав у нее или у меня, шли в дешевенькое кафе, точно студенты навеселе.

Мы заходили в кабачки, излюбленные простонародьем, и усаживались в глубине прокуренной комнаты на хромоногих стульях, за старым деревянным столом. Облако едкого дыма заволакивало залу; пахло жареной рыбой; мужчины в блузах горланили и выпивали; удивленный гарсон ставил перед нами две рюмки вишневки.

Дрожа от страха и восторга, она приподнимала двойную черную вуалетку, но не выше, чем до кончика носа, и потягивала настойку с таким наслаждением, словно совершала неотразимо влекущее преступление. Съедая каждую новую вишню, она чувствовала себя впавшей в новый грех; каждый глоток обжигающей жидкости доставлял ей упоение, утонченное и запретное.

Потом она вполголоса говорила: «Идем!» И мы уходили. Опустив голову, она быстро, мелкими шажками проходила между пьяницами, провожавшими ее недовольными взглядами, а очутившись на улице, облегченно вздыхала, как будто мы только что избежали смертельной опасности.

Иногда она спрашивала меня, трепеща: «Если бы меня оскорбили в таком притоне, что бы ты сделал?» Я хвастливо отвечал: «Стал бы защищать тебя, черт побери!» И она сжимала мне руку, счастливая, чувствуя, быть может, смутное желание, чтобы ее оскорбили и защитили, желание увидеть, как из-за нее дерутся мужчины, хотя бы даже такие!

Однажды вечером, когда мы сидели за столиком в одном третьеразрядном монмартрском кабачке, вошла какая-то старуха в лохмотьях, держа в руке колоду засаленных карт. Заметив даму, она тотчас же подошла к нам, предлагая моей спутнице погадать. Эмма, верившая всему и во все, затрепетала от желания и волнения и усадила старуху рядом с собою.

Гадалка, морщинистая, дряхлая, беззубая, с мешочками под глазами, разложила на столе грязные карты. Она делила их на кучки, собирала и снова раскладывала, бормоча что-то неразборчивое. Побледневшая Эмма слушала ее, затаив дыхание, полная тревоги и любопытства.

Ведьма начала говорить. Ее предсказания были неопределенны: счастье, дети, молодой блондин, путешествие, деньги, суд, брюнет, чье-то возвращение, удача, смерть. Весть об этой смерти особенно поразила молодую женщину. Чья смерть? Когда? От чего?

Старуха ответила:

— Тут уж одни карты ничего не скажут. Приходите ко мне завтра. Я погадаю вам на кофейной гуще, она никогда не обманывает.

Встревоженная, Эмма обернулась ко мне:

— Пойдем завтра к ней? Пожалуйста, сделай это для меня. Иначе... ты представить себе не можешь, как я буду волноваться!

Я рассмеялся.

— Пойдем, милочка, раз тебе так хочется.

И старуха дала нам свой адрес.

Она жила на седьмом этаже, в ужасном доме, за Бютт-Шомон. На другой день мы отправились к ней.

Ее комната на чердаке, с двумя стульями и кроватью, была полна необычных вещей: пучков травы, висевших на гвоздиках, высушенных насекомых, склянок и пузырьков с разноцветными жидкостями. Со стола смотрело на нас стеклянными глазами чучело черного кота. Он казался злым духом этой мрачной лачуги.

Эмма, слабея от волнения, опустилась на стул.

— О милый, взгляни на этого кота, как он похож на Мисти!

И она объяснила старухе, что у нее есть такой же кот, точь-в-точь такой же.

Ведьма пресерьезно заметила:

— Если вы любите кого-нибудь, то не держите у себя этого кота.

Эмма испуганно спросила:

— Почему же?

Старуха села рядом с ней и фамильярно взяла ее за руку.

— Это принесло мне несчастье,— сказала она.

Моей подруге захотелось узнать, в чем дело. Она приставала к старухе, выпытывала у нее, расспрашивала. Суеверие роднило их. Наконец старуха начала:

— Кота этого я любила, как родного брата. Я была тогда молода, одинока и работала швеей на дому. У меня не было никого на свете, кроме него, Мутона. Мне подарил его один жилец. Кот был умный, словно ребенок, ласковый и прямо-таки обожал меня, сударыня; я была для него каким-то кумиром. Весь день он мурлыкал у меня на коленях, а ночью — на моей подушке. Было слышно, как бьется его сердце.

И вот случилось мне познакомиться с одним славным парнем, служившим в бельевом магазине. Целых три месяца я ничего ему не позволяла. Но, знаете, в конце концов уступаешь, это со всеми случается. К тому же я его полюбила. Он был такой милый и добрый. Он хотел, чтобы мы поселились вместе, это было бы экономнее. Наконец как-то вечерком я позволила ему прийти ко мне. Я еще ни на что не решилась, о нет! Мне просто приятно было провести с ним часок вдвоем.

Сначала он вел себя сдержанно. Говорил нежные слова, так что сердце у меня таяло. Потом он меня поцеловал, сударыня, поцеловал, как целуют, когда любят. Я закрыла глаза и замерла от счастья... Но вдруг он рванулся и закричал; я никогда не забуду этого крика... Открыв глаза, я увидела, что Мутон вцепился моему гостю в лицо и рвал его когтями, как тряпку. Кровь, сударыня, лилась ручьем.

Я хотела оторвать кота, но он не давался и продолжал царапать; он и меня укусил — до того обезумел. Наконец я схватила его и вышвырнула в открытое окно — дело было летом.

Когда я стала обмывать лицо моего бедного друга, я увидела, что у него выцарапаны глаза... да, оба глаза!..

Пришлось поместить его в больницу. Я хотела, чтобы он жил у меня, хотела его кормить, но он не согласился. Он прямо возненавидел меня после этого. Через год он умер с горя.

Ну, а Мутон переломил себе позвоночник при падении. Привратница подняла его. Я заказала из него чучело, потому что все-таки была к нему привязана. Если он так сделал, значит, любил меня, не правда ли?

Старуха умолкла, гладя безжизненное чучело, подрагивавшее на проволочном каркасе.

У Эммы щемило сердце, и она забыла о предсказанной смерти. Во всяком случае, она не стала об этом говорить, и мы ушли, дав старухе пять франков.

Так как на другой день должен был вернуться муж Эммы, я несколько дней не был у нее.

Когда я пришел, меня удивило, что не видно Мисти. Я спросил, где он.

Она ответила, покраснев:

— Я его отдала, так как очень беспокоилась.

Я изумился.

— Беспокоилась? Беспокоилась? Отчего же?

Она крепко поцеловала меня и прошептала:

— Мне было страшно за твои глаза, дорогой!

ПРОСТАЯ ДРАМА

Вся прелесть путешествий — во встречах. Кто не знает, как радостно повстречаться в пятистах лье от родного города с парижанином, с товарищем по училищу, с деревенским соседом? Кто не проводил бессонной ночи в громыхающем дилижансе, обычном для глухой провинции, где еще не знают паровоза, рядом с молоденькой незнакомкой, которую лишь мельком удалось увидеть при свете фонаря, когда она садилась в дилижанс у белого домика в каком-то городишке?

А на рассвете, когда вы доведены до полного отупения непрерывным звяканьем бубенчиков и дребезжанием стекол, до чего приятно смотреть, как хорошенькая растрепанная соседка открывает глаза, озирается, приглаживает пальчиками непокорные завитки, поправляет прическу, привычным движением проверяет, не съехал ли набок корсет, не покосился ли лиф, не слишком ли измята юбка!

Она украдкой взглядывает на вас, холодно, но все-таки с любопытством. Затем забивается в уголок, и как будто ничто уже, кроме вида местности, ее не интересует.

Невольно посматриваешь на нее, невольно думаешь о ней. Кто она? Откуда едет? Куда? Невольно придумываешь целый маленький роман. Она мила, она просто прелестна! Счастливец тот, кто... Разве не блаженство жить подле нее! Кто знает? Быть может, это та самая женщина, по которой томится ваше сердце? Не о ней ли вы мечтали, грезили?

Немного досадно, но все-таки приятно смотреть, как она выходит из дилижанса перед воротами деревенского дома. Ее ждет мужчина в сопровождении двух детей и двух нянек. Он заключает ее в объятия, целует и ставит на землю. Она нагибается, берет малюток, протягивающих к ней ручонки, нежно ласкает их, и все они уходят по аллее, пока служанки получают багаж, сброшенный кучером с империала.

Прощай, незнакомка! Все кончено! Больше вы не увидите ее никогда! Прощай, молодая женщина, проведшая ночь рядом с вами! Она вам чужая, вы даже не разговаривали с ней; но все равно вам немножко грустно, что она уже сошла. Прощай!

У меня немало таких путевых воспоминаний, и веселых и грустных.

Как-то я был в Оверни и бродил пешком по этим чарующим французским горам, не очень высоким, не очень крутым, таким родным и близким. Я взобрался на Санси и вошел в маленькую харчевню, неподалеку от излюбленной паломниками часовни Нотр-Дам-де-Вассиньер. Там я увидел странную и смешную старуху, завтракавшую в одиночестве за столом.

Ей было по меньшей мере лет семьдесят. Высокая, сухая, угловатая, с седыми буклями на висках по старинной моде, она была одета на манер путешествующих англичанок, неумело и смешно, как женщина, не обращающая никакого внимания на свой туалет. Она ела яичницу, запивая ее водой.

Выглядела она как-то особенно: беспокойные глаза, лицо человека, измученного жизнью.

Я невольно поглядывал на нее, спрашивая себя: «Кто она такая? Что пережила? Почему скитается в одиночестве по этим горам?» Старуха расплатилась и поднялась, собираясь уходить, оправляя на плечах какую-то диковинную шаль, концы которой свисали с плеч. Затем она взяла стоявший в углу высокий дорожный посох, испещренный выжженными надписями, и, выпрямившись, пошла большими шагами, точно пустившийся в путь почтальон.

У двери ее ожидал проводник. Они удалились. Я видел, как они спускались в долину по дороге, отме-

ченной рядом высоких деревянных крестов. Она была выше своего спутника и шла быстрее.

Несколько часов спустя я пробирался по краю глубокой котловины, великолепной огромной зеленой воронки, заросшей деревьями, кустарниками и цветами; в ней среди скал лежит озеро Павен, круглое, как будто очерченное циркулем, прозрачное и голубое, словно кусочек небесной лазури, и такое красивое, что хочется поселиться здесь в хижине, на поросшем лесном склоне, над этим кратером, где дремлет спокойная холодная вода.

Там, неподвижно созерцая прозрачную водную гладь на дне потухшего вулкана, стояла старуха. Она словно пыталась проникнуть взглядом в неведомую глубину, где, говорят, водились чудовищных размеров форели, пожиравшие всю остальную рыбу. Когда я проходил мимо, мне показалось, что на глазах старухи блестели слезы. И она удалилась быстрыми шагами, возвращаясь к проводнику, который остался в трактире у начала подъема, ведущего к озеру.

В этот день я ее больше не видал.

На другой день к вечеру я добрался до замка Мюроль. На отвесной скале среди обширной долины, в месте скрещения трех ложбин, на фоне неба высится старинная крепость — исполинская башня, вся в трещинах. Она потемнела, покосилась, но сохранила круглую форму, от широкого основания до полуобвалившихся башенок на вершине.

Эти развалины более чем какие-либо другие поражают грандиозностью, простотой, величием; они дышат древностью, грозною и суровой. Одинокая крепость возносится, как гора; мертвая царица, она все же господствует над долинами, простершимися у ее ног. Туда поднимаешься по поросшему елями склону, проникаешь внутрь сквозь узкие ворота и останавливаешься у подножия стен, которые опоясывают первый двор и возвышаются над всей местностью.

Внутри — залы с обрушившимися потолками, обвалившиеся лестницы, какие-то ямы, подземелья, каменные мешки, стены с зияющими отверстиями, непонятно, на чем висящие своды, лабиринт камней, расщелины, где растет трава и шныряют ящерицы.

Я в одиночестве бродил по этим руинам.

И вдруг за обломком стены я заметил какое-то существо, нечто вроде привидения, духа этого древнего разрушенного замка.

Я вздрогнул от удивления, чуть не от испуга. Потом узнал старуху, с которой уже дважды повстречался.

Она плакала, горько плакала, держа в руке носовой платок.

Я отвернулся и хотел уйти. Она заговорила сама, стыдясь, что ее застали в слезах.

— Да, сударь, я плачу... Это бывает со мной не так уж часто.

В замешательстве, не зная, что сказать, я пробормотал:

— Извините, сударыня, что помешал вам. У вас, очевидно, какое-нибудь горе?

Она тихо ответила:

— И да и нет. Я — точно бездомная собака.

И, приложив платок к глазам, она зарыдала.

Я взял ее за руки, пытаясь успокоить, растроганный этими искренними слезами. И совершенно неожиданно она рассказала мне историю своей жизни, как будто для того, чтобы разделить с кем-нибудь бремя своей скорби.

— О сударь!.. Если бы вы знали... как безотрадна моя жизнь... как безотрадна...

Я была счастлива... У меня есть дом... там, далеко... свой дом. Но я не могу вернуться туда; я не вернусь, мне слишком тяжело.

У меня есть сын... Это из-за него, из-за него... Дети не понимают... Жизнь так коротка... Если б я сейчас увидела его, я, может быть, его даже не узнала бы... Как я его любила! Еще до рождения, когда чувствовала, что он шевелится во мне. А потом! Как я его обнимала, ласкала, баловала! Если б вы знали, сколько ночей я провела, глядя, как он спит, или думая о нем! Я в нем души не чаяла. Но когда мальчику исполнилось восемь лет, отец отдал его в пансион. Кончено! У меня отняли моего ребенка... Боже мой! Он стал ходить домой только по воскресеньям.

Потом он уехал учиться в Париж... Он приезжал оттуда лишь четыре раза в год, и каждый раз я пора-

жалась, как он изменился, как вырос... увы, не на моих глазах. У меня украли его детство, его доверие и любовь, отдалили от меня, лишили радости следить, как он растет, становится мужчиной.

Я виделась с ним всего четыре раза в год. Подумайте только! С каждым приездом он все больше менялся. Его тело, взгляд, движения, голос, смех становились иными, чуждыми мне. Ребенок растет так быстро! И грустно, когда это происходит не на ваших глазах; вы уже не узнаете себя в нем...

И вот однажды он приехал с пушком на верхней губе... Он, мой сын! Я была поражена... и опечалена,— поверите ли? Я едва решилась его обнять. Он ли это? Неужели этот высокий темноволосый юноша, который не умеет меня приласкать, любит меня как будто по обязанности, зовет мамой лишь потому, что так принято, и целует меня в лоб, когда мне хочется сжать его в объятиях,— неужели это он, мой кудрявый и белокурый малютка, мой дорогой, любимый сынишка, лежавший когда-то в пеленках у меня на коленях, сосавший жадными губками мою грудь?

Мой муж умер. За ним последовали мои родители, потом я потеряла обеих сестер... Можно подумать, что смерть, входя в дом, торопится забрать как можно больше людей, чтобы потом дольше не возвращаться. Она оставляет в живых лишь одного или двух, чтобы было кому оплакивать умерших.

Я осталась одна. Мой сын учился тогда на юридическом факультете, и я надеялась провести конец своей жизни с ним.

Я приехала к нему, решив поселиться вместе. Но он привык к холостяцкой жизни и дал мне понять, что я его стесняю. Мне пришлось уехать. Я была неправа, но слишком страдала от сознания, что я, его мать, мешаю ему. Я вернулась к себе.

С тех пор мы почти не виделись.

Он женился. Какая радость! Я мечтала, что теперь, наконец, мы заживем вместе. У меня будут внучата! Но он женился на англичанке, которая меня возненавидела. Почему? Быть может, она почувствовала, что я слишком люблю его?

Я была вынуждена снова уехать и осталась одна. Да, сударь.

Потом он отправился в Англию. Он живет у родителей жены. У них! Понимаете? Он с ними, мой сын принадлежит им! Они украли его у меня! Он пишет мне раз в месяц. Первое время он еще иногда приезжал меня навестить. Теперь он больше не бывает.

Уже четыре года, как я не видалась с ним. Его лицо в морщинах, волосы поседели. Возможно ли? Этот пожилой мужчина — мой сын? Это он — тот ребенок с розовыми щечками? Больше, наверное, я никогда его не увижу.

И я путешествую круглый год. Езжу то туда, то сюда, в полном одиночестве, как видите.

Я — словно бездомная собака. Прощайте, сударь, не оставайтесь со мной, мне больно от того, что я все это вам рассказала.

Спускаясь с холма, я обернулся и увидел старуху, стоявшую на треснувшей стене. Она смотрела на горы, обширную долину и на озеро Шамбон, видневшееся вдали.

Ветер развевал, как знамя, край ее платья и диковинную шаль на плечах.

ГОСПОДИН ИОКАСТА

Помните, сударыня, о нашем жарком споре однажды вечером, в маленькой японской гостиной, по поводу отца, виновного в кровосмешении? Помните, как вы негодовали, с какой резкостью высказывались в порыве гнева? Помните, что я говорил в защиту этого человека? Вы осудили его. Я апеллирую.

Никто на свете, утверждали вы, никто не найдет оправдания той мерзости, которую я защищал. Теперь я хочу всем рассказать об этой драме.

Быть может, найдется хоть один человек, который, не оправдывая этого безнравственного поступка, свойственного только животным, все-таки поймет, что иногда невозможно бороться с роковыми случайностями, похожими на уродливые капризы всемогущей природы.

Ее выдали замуж шестнадцати лет за пожилого и черствого человека, дельца, позарившегося на ее приданое.

Это было хрупкое белокурое создание; веселая и в то же время мечтательная, она всей душой стремилась к счастью, идеализируя жизнь. Разочарование было внезапным и разбило ей сердце. Она увидела всю неприглядность жизни, безнадежность будущего, гибель своих грез, и в ее душе осталось лишь одно желание: иметь ребенка, чтобы было кого любить. Но и это желание не исполнялось.

Прошло два года. Она полюбила. То был молодой человек лет двадцати трех, боготворивший ее, готовый

ради нее на любое безумство. Его звали Пьер Мартель. Все же она долго и упорно сопротивлялась.

Однажды зимним вечером они остались наедине, у нее дома. Он пришел на чашку чая. Потом они уселись у камина на низкой кушетке. Они почти не разговаривали, объятые желанием. Их уста томила жгучая жажда, та, что притягивает одни губы к другим; их руки трепетали в предчувствии объятий.

Лампа, прикрытая кружевным абажуром, мягко озаряла тихую гостиную.

Смущенные, они лишь изредка обменивались несколькими словами, но когда их взгляды встречались, сердца начинали учащенно биться.

Могут ли привитые воспитанием чувства бороться с непреодолимой силой инстинкта? Может ли такой предрассудок, как стыдливость, противостоять непреклонной воле природы?

Их пальцы нечаянно встретились. Этого было достаточно. Могучая сила страсти бросила их друг к другу. Объятия сомкнулись, и она отдалась.

Она забеременела. От любовника или от мужа? Откуда ей было знать? Наверное, от любовника.

Ее стал мучить страх; она была уверена, что умрет от родов, и без конца заставляла любовника клясться, что он будет всю жизнь заботиться о ребенке, ни в чем ему не откажет, станет для него всем и, если понадобится, пойдет даже на преступление ради его счастья.

Ее навязчивая мысль граничила с безумием; но она все больше и больше проникалась ею, по мере того как приближался час родов.

Она родила девочку и умерла.

Это было страшным ударом для молодого человека; он впал в столь глубокое отчаяние, что не мог его скрыть. Быть может, и муж начал кое-что подозревать; возможно, ему даже было известно, что не он отец ребенка. Он перестал принимать того, кто считал себя настоящим отцом, и воспитал дочь, скрыв ее местопребывание.

Прошло много лет.

Пьер Мартель забыл о случившемся, как забывают обо всем

Он разбогател, но никого больше не полюбил и не женился. Он жил, как многие, счастливо и спокойно, и к нему не доходило никаких вестей ни о муже, когда-то им обманутом, ни о девушке, которую он считал своей дочерью.

Однажды Мартель получил письмо от одного постороннего человека, где ему, между прочим, сообщали о смерти бывшего соперника, и он почувствовал смутную тревогу, нечто вроде угрызений совести. Что сталось с этой девочкой, с его дочкой? Не нужно ли что-нибудь для нее сделать? Он навел справки. Ее приютила тетка, жили они обе в бедности, почти что в нужде.

Он захотел увидеть дочь, помочь ей. Ему удалось познакомиться с единственной родственницей сироты.

Его имя не пробудило никаких воспоминаний. Ему было лет сорок, но выглядел он моложе. При знакомстве он не решился сказать, что знавал мать девушки, чтобы не вызвать каких-либо подозрений.

Лишь только она вошла в маленькую гостиную, где он лихорадочно ждал ее прихода, он затрепетал от удивления, граничившего с ужасом. Это была его умершая любовница!

Тот же возраст, те же глаза, те же волосы, тот же гибкий стан, та же улыбка, тот же голос! Законченная полнота этой иллюзии сводила его с ума; он ничего не соображал, он потерял голову; бурная любовь былых дней вновь закипела в его сердце. Вдобавок она была такая же веселая и простая. С первого рукопожатия они стали друзьями.

Вернувшись домой, он понял, что старая рана раскрылась, и отчаянно разрыдался, обхватив голову руками; он оплакивал ту, другую, томимый воспоминаниями, перебирал в памяти ее любимые словечки, вновь и вновь предавался безысходному горю.

Он стал часто бывать у молодой девушки. Он не мог обходиться без нее, без ее веселой болтовни, без шелеста ее платья, без звуков ее голоса. В его мыслях, в его сердце умершая и живая сливались воедино; он забывал о расстоянии, о миновавших годах, о смерти; в одной он любил другую, любил одну в память другой, не пытаясь больше понять, осмыслить, что творит-

ся в его сердце, не спрашивая себя, дочь она ему или нет.

Но подчас его ужасно мучило, что девушка, любимая им этой двойной страстью, неясной и непонятной для него самого, живет в такой нужде.

Что он мог сделать? Предложить денег? Под каким предлогом? По какому праву? Играть роль опекуна? Но он казался лишь немногим старше ее, и его принимали бы за любовника. Выдать ее замуж? Эта внезапная мысль испугала его. Потом он успокоился. Кто захочет жениться на этой девушке? Ведь у нее нет ничего, ровно ничего.

Тетка не мешала его посещениям, видя, что он любит это дитя. А он ждал. Чего? Он и сам не знал.

Однажды вечером они остались одни. Сидя рядом на диване в гостиной, они тихо беседовали. Отеческим движением он взял ее руку и гладил, взволнованный до глубины души; он не решался расстаться с этой ручкой, протянутой так охотно, и чувствовал, что потеряет самообладание, если не выпустит ее. И вдруг девушка упала в его объятия. Она полюбила его так же горячо, как некогда ее мать, словно унаследовав от нее роковую страсть.

Растерявшись, он прикоснулся губами к ее белокурым волосам, и, когда она подняла голову, готовясь убежать, их губы встретились.

Бывают минуты, когда люди теряют рассудок. Так было и с ними.

Очутившись на улице, он побрел, сам не зная, куда, не представляя себе, что теперь делать.

Вспоминаю, сударыня, как вы негодующе воскликнули:

— Ему оставалось лишь покончить с собой!

Я ответил:

— А она? Неужели он должен был убить и ее?

Она любила его исступленно, безумно; наследственная фатальная страсть заставила эту невинную девушку самозабвенно броситься к нему на грудь. Она сделала это в неудержимом порыве; не помня себя, она отдалась, по воле бурного инстинкта, который кинул ее в объятия любимого, как всегда кидает самку к самцу.

Если бы он покончил с собой, что сталось бы с нею? Она умерла бы... Умерла бы обесчещенная, в отчаянии, невыразимо страдая.

Что делать?

Оставить ее, обеспечить приданым, выдать замуж? Она все равно умерла бы, умерла бы с горя, не приняв его денег, не желая другого мужа, потому что целиком отдала себя ему. Он разбил бы ее жизнь, лишил бы возможности быть счастливой, обрек бы на вечное горе, на вечное отчаяние, на вечные муки совести, на вечное одиночество или на смерть.

Но ведь он тоже ее любил! Теперь он любил ее и с ужасом и с восторгом. Пусть она была его дочь. Случайность, слепой закон размножения, минута страсти сделали его дочерью эту девушку, с которой он не был связан никакими законными узами, которую он обожал, как обожал ее мать, и даже сильнее, словно две любви слились в одну.

Да и дочь ли она ему? Впрочем, кому до этого дело? Кто узнает об этом?

И в его памяти всплыли клятвы, данные им умирающей. Он обещал, что посвятит всю жизнь этому ребенку, что пойдет, если понадобится, на преступление ради его счастья...

И Мартель любил ее, поглощенный мыслью о своем грехе, ужасном и сладостном, терзаемый болью и желанием.

Кто узнает? Ведь ее официальный отец уже умер!

«Будь что будет! — решил он.— Этот тайный позор, может быть, разобьет мне сердце. Но она никогда ничего не узнает, всю тяжесть я приму на себя».

Он попросил ее руки и женился на ней.

Не знаю, был ли он счастлив, но я, сударыня, поступил бы так же, как он.

ГОСПОЖА ЭРМЕ

Сумасшедшие привлекают меня. Эти люди живут в таинственной стране причудливых сновидений, в непроницаемом мраке безумия, где все, что они видели на земле, все, что они любили и делали, возобновляется в их сознании и становится воображаемой жизнью, не подчиненной законам, которые управляют миром и мыслями людей.

Для них невозможное не существует, невероятное исчезает, фантастическое становится правдоподобным, а сверхъестественное — привычным. Старая преграда логики, глухая стена разума, здравый смысл, ограничивающий порывы нашей мысли,— все это рушится, падает, валится перед силой их воображения, которое вырвалось на волю, попало в необъятный мир фантазии и мчится гигантскими скачками, не зная удержу. Для них все возможно, все сбывается, им не надо прилагать никаких усилий, чтобы господствовать над событиями, подчинять себе обстоятельства, преодолевать препятствия. Достаточно каприза их воли, впавшей в самообман, чтобы они стали принцами, императорами или богами, обладателями всех сокровищ мира, всех его благ, чтобы они могли насладиться всеми радостями жизни, быть вечно юными, красивыми, любимыми, сильными! Только они одни могут быть счастливы на земле, ибо Реальность не существует для них. Я люблю заглядывать в их блуждающий ум, как заглядывают в бездну, где бурлит на самом дне неведомый поток, бегущий неизвестно откуда и неизвестно куда.

Однако не к чему заглядывать в эту пропасть, ибо никогда не узнаешь, где начинается этот поток и куда он убегает. В конце концов это только вода, подобная той, что течет по равнине, и мы не много узнаем, глядя на нее.

Не к чему также заглядывать и в души сумасшедших; ведь самые причудливые их мысли в конце концов знакомы нам и кажутся странными лишь потому, что не скованы цепями Разума. Капризное течение их мыслей поражает нас, ибо мы не видим, откуда оно берет начало. Довольно камешка, брошенного в него, чтобы вызвать водоворот. И все-таки сумасшедшие привлекают меня, и я постоянно возвращаюсь к ним: вечная тайна безумия притягивает меня помимо воли.

Однажды, во время посещения мною психиатрической больницы, сопровождавший меня врач сказал:

— Я покажу вам интересный случай.

И он велел отпереть комнату, где в большом кресле сидела женщина лет сорока, еще красивая, и пристально рассматривала свое лицо в маленьком ручном зеркальце.

Увидав нас, она вскочила, убежала в глубь комнаты, схватила валявшуюся на стуле вуаль и тщательно закутала лицо; затем вернулась и ответила кивком на наши поклоны.

— Ну, что,— спросил доктор,— как вы себя чувствуете сегодня?

Она глубоко вздохнула.

— Плохо, очень плохо, сударь. С каждым днем все больше и больше оспинок.

Он возразил убеждающим тоном:

— Да нет же, уверяю вас, вы ошибаетесь.

Она подошла ближе и шепнула:

— Нет, нет, я уверена в этом. Сегодня утром я насчитала еще десять оспинок: три на правой щеке, четыре — на левой и три — на лбу. Это ужасно, ужасно! Я больше никому не решусь показаться, даже сыну, даже ему! Я погибла, я навсегда обезображена!

Она упала в кресло и зарыдала.

Доктор взял стул, уселся против нее и мягко, успокаивающе сказал:

— Ну-ка, покажитесь! Уверяю вас, что это пустяки! Маленькое прижигание, и все исчезнет.

Она отрицательно покачала головой, не говоря ни слова. Он хотел было снять вуаль, но она так крепко вцепилась в нее обеими руками, что пальцы прорвали ткань.

Он стал уговаривать и успокаивать ее:

— Ведь вы хорошо знаете, что я всякий раз удаляю эти гадкие оспинки, что после моего лечения они совершенно незаметны. Если вы не покажете их мне, я не смогу вас вылечить.

Она прошептала:

— Вам бы я показала, но я не знаю господина, который сопровождает вас.

— Это тоже врач, и он вылечит вас еще лучше, чем я.

Тогда она решилась открыть лицо, но от страха, волнения и стыда так покраснела, что даже шея, видневшаяся в вырезе платья, стала багровой. Она опускала глаза, отворачивалась то вправо, то влево, чтобы избежать наших взглядов, и лепетала:

— Ах, я ужасно страдаю оттого, что вы видите меня такою! Это безобразно, не правда ли? Безобразно?

Я с изумлением смотрел на нее: на ее лице не было никаких следов оспы — ни рябинок, ни шрамов, ни рубцов.

Она обратилась ко мне, по-прежнему потупив взор:

— Этой ужасной болезнью, сударь, я заразилась, ухаживая за сыном. Мне удалось спасти его, но мое лицо стало уродливым. Я пожертвовала ради бедного ребенка своей красотой! Свой долг я исполнила, совесть моя спокойна. Но один лишь бог знает, как я страдаю!

Доктор вынул из кармана акварельную кисточку.

— Позвольте,— сказал он,— я их вам удалю.

Она подставила правую щеку, и он стал слегка дотрагиваться до нее кисточкой, как будто ставил краской точки. Затем он проделал то же самое с левой щекой, с подбородком, со лбом и наконец воскликнул:

— Взгляните-ка, больше нет ничего, решительно ничего!

Она взяла зеркальце и долго, с глубочайшим, пристальным вниманием рассматривала свое лицо, напрягая все силы, чтобы обнаружить что-нибудь, затем вздохнула:

— Да, теперь их больше не видно. Я бесконечно вам благодарна!

Доктор поднялся, поклонился ей и вышел вслед за мною. Когда дверь за нами закрылась, он начал:

— Вот ужасная история этой несчастной.

Ее зовут г-жой Эрме. Она была очень красива, кокетлива, любима и наслаждалась полным счастьем.

Это была одна из тех женщин, для которых красота и желание нравиться — единственное, что поддерживает их в жизни, утешает и управляет всеми их поступками. Забота о сохранении своей свежести, уход за лицом, руками, зубами, за всеми местами тела, которые можно выставлять напоказ, поглощали все ее время и внимание.

Она овдовела; у нее остался сын. Ребенка воспитали, как обычно воспитывают своих детей светские женщины, пользующиеся успехом. Все же мать его любила.

Сын рос, она старела. Замечала ли она приближение рокового кризиса? Не знаю. Разглядывала ли она каждое утро часами, как многие другие женщины, свою кожу, когда-то столь нежную, прозрачную и белую, на которой теперь мало-помалу появлялись складки и множество морщинок под глазами, еще неприметных, но с каждым днем, с каждым месяцем все более обозначавшихся? Наблюдала ли она, как непрерывно, медленно, но неуклонно растут морщины на лбу — эти тонкие змейки, которых ничем не остановить? Познала ли она пытку, ужасную пытку зеркалом, маленьким зеркалом с серебряной ручкой? Ему не дают покоя, его с бешенством отбрасывают и снова сейчас же схватывают, чтобы посмотреть как можно ближе на ненавистную разрушительную работу приближающейся старости. Запиралась ли она по десять—двадцать раз в день в спальне, беспричинно покидая гостиную, где болтали ее подруги, и спеша под защитой замков и задвижек еще раз заглянуть на процесс разрушения своего зрелого, но уже начавшего увядать тела и с отчаянием убедиться, что этот процесс продвинулся еще чуточку даль-

ше? Хотя никто этого еще не видит, но она-то хорошо знает, знает, откуда ждать самых жестоких ударов, самых ядовитых укусов времени. И зеркальце, маленькое круглое зеркало в чеканной серебряной оправе, рассказывает ей ужасные вещи; ведь оно умеет говорить, оно как будто смеется, издевается и предвещает все, что будет с нею, все грядущее убожество ее тела, все те чудовищные муки, какие ей суждено испытывать до самого дня смерти, дня освобождения...

Не рыдала ли она исступленно на коленях, прижавшись лбом к полу; не молилась ли тому, кто медленно убивает живые существа, кто дарит им молодость лишь затем, чтобы сделать еще безотрадней их старость, кто наделяет их красотой с целью снова ее отнять? Не просила ли, не умоляла ли она сделать для нее то, чего он ни для кого никогда не делал — оставить ей до конца жизни красоту, свежесть, привлекательность? И потом, поняв, что бесполезно умолять непреклонное Неизвестное, которое уносит годы один за другим,— не каталась ли она, ломая руки, по ковру, не билась ли головой о мебель, сдерживая в груди ужасный вопль отчаяния?

Без сомнения, она испытала все эти муки. Ибо вот что случилось.

Однажды — ей было тогда тридцать пять лет — заболел ее пятнадцатилетний сын.

Он слег еще до того, как выяснили, чем он болен и в чем причина болезни.

Аббат, его наставник, ухаживал за ним и не покидал его ни на минуту, а г-жа Эрме утром и вечером заходила узнать, как здоровье сына.

По утрам она появлялась в ночном пеньюаре, улыбающаяся, уже надушенная, и спрашивала, стоя в дверях:

— Ну, что, Жорж, не лучше тебе?

Подросток, красный от жара, с опухшим лицом, в лихорадке, отвечал:

— Да, мамочка, немного лучше.

Она оставалась в комнате еще несколько минут, с брезгливой гримаской разглядывая склянки с лекар-

ствами, затем вскрикивала: «Ах, я забыла об очень важном деле!» — и убегала, оставив тонкий аромат духов.

Вечером мать появлялась в декольтированном платье, торопясь еще больше, ибо вечно куда-то спешила; у нее едва хватало времени спросить:

— Ну, что говорит доктор?

Аббат отвечал:

— Он еще не сказал ничего определенного.

Но однажды вечером аббат сказал:

— Сударыня, у вашего сына оспа.

Она вскрикнула от испуга и убежала.

Горничная, войдя на другое утро в ее спальню, почувствовала сильный запах жженого сахара и увидела, что ее госпожа, бледная от бессонницы, с широко раскрытыми глазами, дрожит от страха, сидя на постели.

Лишь только отворили ставни, г-жа Эрме спросила:

— Как здоровье Жоржа?

— Сегодня совсем плохо, сударыня.

Она встала только в полдень, съела лишь пару яиц и выпила чашку чая, как будто сама была больна. Затем отправилась в аптеку, узнать, какие имеются средства от заражения оспой.

Она вернулась лишь к обеду, с массой всяких флаконов, и тотчас заперлась в спальне, чтобы обрызгать всю себя дезинфицирующими жидкостями.

В столовой ее ожидал аббат.

Увидев его, г-жа Эрме воскликнула прерывающимся от волнения голосом:

— Ну что?

— Ему не лучше. Доктор крайне встревожен.

Она заплакала и ничего не могла есть, до того была расстроена.

На другой день, едва рассвело, она послала узнать, что нового. Известия были неутешительны, и г-жа Эрме провела весь день у себя в спальне, где дымились маленькие жаровни, распространяя острый запах. Прислуга утверждала, что весь вечер слышала ее стоны.

Так она провела целую неделю, выходя лишь на час — другой после обеда подышать воздухом.

Она то и дело посылала спросить о здоровье сына и рыдала, узнавая, что ему все хуже и хуже.

На одиннадцатый день утром аббат попросил принять его. Бледный и серьезный, аббат вошел, отказался от предложенного ему стула и сказал:

— Сударыня, вашему сыну очень плохо, и он хочет вас видеть.

Она бросилась на колени, восклицая:

— О боже мой, боже мой! Я никогда не решусь! Господи, господи, спаси меня!

Священник продолжал:

— Доктор говорит, что надежды мало, сударыня, и Жорж вас ждет.

Затем он вышел.

Прошло два часа. Умиравший мальчик вновь выразил желание увидеть мать, и аббат снова пошел к ней; она все еще стояла на коленях, все еще плакала и повторяла:

— Не хочу, не хочу! Боюсь!.. Не хочу!

Он попытался уговорить ее, вдохнуть в нее смелость, наконец, повести насильно; но добился только того, что с ней сделался продолжительный нервный припадок, закончившийся истерическим плачем.

Вечером пришел врач; ему сообщили о страхе матери, и он объявил, что сам приведет ее, добровольно или силой. Но когда, истощив все доводы, он обхватил ее за талию, чтобы отнести к сыну, она уцепилась за дверь с такой силой, что невозможно было разжать ее руки. Когда доктор отпустил г-жу Эрме, она упала к его ногам, умоляя простить ее, каясь в своем презренном малодушии. Она кричала:

— Нет, он не умрет! Прошу вас, скажите ему, что я его люблю, обожаю!

Мальчик был в агонии. Чувствуя близкий конец, он молил, чтобы уговорили мать прийти проститься с ним. С прозорливостью, иногда свойственной умирающим, он все понял, обо всем догадался и сказал:

— Если мама боится, попросите ее хотя бы только пройти по балкону до моего окна, чтобы я мог увидеть ее и проститься с нею хоть взглядом, раз уж нельзя ее поцеловать.

Врач и аббат снова отправились к матери.

— Вы ничем не рискуете,— уверяли они ее,— ведь между вами и им будет стекло!

Наконец она согласилась. Закутав голову, взяв флакончик с солями, сделала по балкону несколько шагов... Но внезапно, закрыв лицо руками, простонала:

— Нет, нет, я никогда не решусь его увидеть... Никогда... Мне стыдно... я боюсь... нет, не могу!

Ее хотели потащить насильно, но она уцепилась обеими руками за решетку и испускала такие жалобные вопли, что прохожие на улице поднимали головы.

А умирающий ждал, не отрывая глаз от окна, когда же перед ним предстанет любимое и нежное лицо, дорогое лицо матери; он ждал его в последний раз, чтобы умереть спокойно.

Он долго ждал, и, наконец, наступила ночь. Тогда он повернулся лицом к стене и больше не произнес ни слова.

На рассвете больной умер. На другой день г-жа Эрме сошла с ума.

БЕЛОЕ И СИНЕЕ

Моя лодочка, моя славная лодочка, вся белая, с синей каемкой вдоль борта, тихо-тихо плыла по спокойно дремлющему морю, глубокому и синему. Жидкая синева была прозрачна, и свет, такой же синий, пронизывал ее до самых скал на дне.

Красивые белоснежные виллы смотрели раскрытыми окнами на Средиземное море, ласково омывавшее стены их садов, роскошных садов, полных пальм, алоэ, вечнозеленых деревьев и вечно цветущих растений.

Матрос греб не спеша. Я велел ему остановиться перед домом моего друга Поля и закричал во всю мочь:

— Поль, Поль, Поль!

Он показался на балконе, испуганный, словно внезапно разбуженный человек.

Яркое полуденное солнце ослепляло его, и он прикрывал глаза рукой.

Я крикнул:

— Не хотите ли покататься по морю?

Поль ответил:

— Иду!

Через пять минут он уселся в лодку.

Я велел матросу грести.

Поль взял с собою газету, которую не успел прочесть утром, и, улегшись на дне суденышка, стал ее просматривать.

Я глядел на берег. По мере того, как мы удалялись,

становился виден весь город, живописный белый город, раскинувшийся амфитеатром у синих волн. Над ним виднелись невысокие горы, вернее, предгорье, густой еловый лес со множеством вилл, белых вилл, разбросанных там и сям, словно огромные яйца исполинских птиц. Чем ближе к вершине, тем их было меньше, и на самом гребне видна была только одна, очень большая, четырехугольная — вероятно, гостиница — и такая белая, точно ее выкрасили лишь сегодня утром.

Мой матрос, спокойный южанин, лениво греб; солнце, пылавшее в синеве небес, резало глаза, и я стал смотреть на воду, в синюю глубину, покой которой нарушали весла.

Поль сказал:

— А в Париже все время идет снег. По ночам шесть градусов мороза.

Я вдохнул полной грудью теплый воздух, голубой воздух, неподвижно застывший над морем, и поднял глаза.

За зелеными горами, высоко над ними, я увидал вдали огромные белые горы. Они появились лишь сейчас, раньше их не было видно. Теперь постепенно вырастала величественная снеговая стена, высокая и сверкающая; весь длинный берег, ласковый, теплый берег, где растут пальмы, где цветут анемоны, был опоясан легкой цепью белоснежных ледяных вершин, то острых, как пирамиды, то округленных, как спина.

Я сказал Полю: «Вот он, снег, взгляните!»— и показал ему на Альпы.

С каждым ударом весел, рассекавших синюю воду, громадная белая цепь поднималась в небо все выше, простираясь насколько хватал взор. Снега казались столь близкими и глубокими, столь ощутимыми и грозными, что мне стало страшно, стало холодно.

Пониже мы увидели черную, совершенно прямую линию, как бы перерезавшую горы надвое. Ее начертало палящее солнце, словно сказав снегам и льдам: «Дальше вы не пойдете».

Поль, все еще с газетой в руках, заметил:

— Какие ужасные известия из Пьемонта! Лавинами разрушено восемнадцать деревень. Слушайте!

И он прочел:

«Сообщения из Аостской долины ужасны. Обезумевшее население не знает ни минуты покоя. Лавины засыпают одну деревню за другой. В Люцернской долине также большие опустошения.

В Локане семеро убитых; в Спароне—пятнадцать; в Ромборгоньо — восемь; в Ронко, Вальпрато, Кампилье насчитали тридцать два трупа, погребенных под снегом.

Так же много жертв в Пирроне, Сен-Дамьене, Мюстернале, Демонте, Масселло, Кьябрано. Деревня Бальцелья совершенно исчезла под лавиной. Старожилы не запомнят подобного бедствия.

Отовсюду сообщают ужасающие подробности. Вот один из множества таких случаев.

В Гроскавалло жила семья: муж, жена и двое детей. Жена давно уже болела.

В воскресенье, когда произошла катастрофа, муж ухаживал за больною; ему помогала дочь, а сын был у соседей.

Внезапно гигантская лавина обрушилась на хижину и раздавила ее.

Большая балка, падая, перешибла мужа почти пополам, и он умер на месте. Но эта же балка, упершись в стену, спасла от гибели жену, хотя одна ее рука была придавлена и раздроблена. Другой рукой она могла дотянуться до дочери, также заваленной грудой обломков. Бедная малютка звала на помощь почти тридцать часов подряд. Время от времени она повторяла:

— Мама, подложи мне под голову подушку, мне так больно!

Осталась в живых только мать».

Мы смотрели на горы, огромные белоснежные горы. Они все росли, и зеленые холмы казались карликами у их подножия.

Город скрылся вдали.

Вокруг нас — одно лишь синее море, за нами — белые Альпы, исполинские Альпы под тяжелым снеговым покровом.

Над нами же — безоблачное небо, синее небо, пронизанное золотом лучей.

О, какой чудный день!

Поль сказал:

— Как это ужасно — погибнуть под тяжелыми глыбами льда!

Мы тихо скользили по волнам, убаюкиваемые ударами весел, далеко от земли: нам был виден лишь белоснежный горный хребет. И я думал о ничтожном, жалком человечестве, об этой пыли бытия, об этой беспокойной мелюзге, что копошится на песчинке, затерянной в прахе миров, об этом несчастном людском стаде, которое истребляют болезни, давят лавины, встряхивают и приводят в ужас землетрясения, об этих жалких, маленьких созданиях, не видных за километр, но столь безумных, тщеславных, драчливых, что они убивают друг друга, хотя век их так недолог. Я сравнил мошек, живущих всего несколько часов, со зверьками, живущими одно лето, с людьми, живущими годы, с мирами, живущими века. К чему все это?

Поль сказал:

— Я знаю интересный рассказ про снег.

— Расскажите, — попросил я.

Он начал:

— Помните высокого Радье, Жюля Радье, красавца Жюля?

— Конечно.

— Вы знаете, как он гордился своим лицом, волосами, торсом, силой, усами? Он воображал, что у него все лучше, чем у других. Это был неотразимый сердцеед, один из тех красивых, но сомнительных франтов, которые, неизвестно почему, пользуются большим успехом.

Они не отличаются ни умом, ни утонченностью, ни тактом и смахивают на любезных приказчиков из мясной лавки. Но этого достаточно.

Прошлой зимой, когда Париж был весь в снегу, я отправился на бал к одной даме полусвета, красавице Сильвии Ремон, вы ее знаете?

— Разумеется.

— Жюль Радье был там; его привел один приятель, и я видел, что он очень понравился хозяйке дома. Я подумал: «Вот уж кому не придется пробираться домой ночью, по снегу».

Затем я и сам попытался найти что-либо привлекательное в обществе этих доступных красоток.

Это мне не удалось. Не всем же быть Жюлями Радье! И я ушел один, около часу ночи.

Перед дверями десяток фиакров уныло дожидался последних гостей. Казалось, им хотелось закрыть свои желтые глаза, глядевшие на белые тротуары.

Живя неподалеку, я решил пройтись пешком; и, повернув за угол, вдруг увидел странную картину.

Большая черная тень металась взад и вперед. Какой-то высокий мужчина топтался по снегу, взрывал его, разбрасывал вокруг, вздымая снежную пыль. Сумасшедший, что ли? Я с опаской приблизился. Это был красавец Жюль.

В одной руке он держал свои лакированные туфли, в другой — носки. Его панталоны были засучены выше колен, и он кружился, как лошадь на манеже, погружая босые ноги в снежную пелену, отыскивая места, где она была еще нетронута, глубока и бела. Он метался и бегал, двигаясь, как полотер, натирающий паркет.

Я остолбенел.

— С ума ты, что ли, сошел? — воскликнул я.

Он ответил, не останавливаясь:

— Нисколько! Мне просто надо вымыть ноги. Представь себе, я очаровал красавицу Сильвию! Вот удача! И я надеюсь, что буду осчастливлен сегодня же ночью. Куй железо, пока горячо! Но только я этого не предвидел, а то бы помылся.

— Как видите, порою снег бывает полезен,— закончил Поль.

Наш матрос утомился и давно уже перестал грести. Лодка неподвижно застыла на глади моря.

Я сказал гребцу:

— Теперь обратно!

И он снова взялся за весла.

По мере того как мы приближались к берегу, высокие белые горы все опускались, прячась за другие, зеленые.

Вновь показался город, похожий на пену, на белую пену у берега синего моря. Между деревьями вновь забелели виллы. Выше можно было различить лишь снеговую линию и над нею — изогнутую цепь вершин, исчезавших направо, в сторону Ниццы.

Затем остался виден только высокий гребень, но и он мало-помалу исчезал, заслоняясь ближайшими холмами.

И вскоре не было уже ничего, кроме берега и города, белого города и синего моря, по которому скользила моя лодочка, моя славная лодочка, под легкий плеск весел.

УСЫПИТЕЛЬНИЦА

Сена расстилалась перед моим домом, без малейшей ряби, блестя под утренним солнцем. Это был красивый, широкий, медленный, бесконечный поток расплавленного серебра, кое-где подернутый багрянцем; на другом берегу реки выстроились в ряд большие деревья, образуя высокую зеленую стену.

Жизнь, возрождающаяся каждый день, бодрая, веселая, страстная, шелестела в листве, трепетала в воздухе, отражалась в воде.

Мне принесли газеты, только что доставленные почтальоном, и я, не торопясь, пошел почитать их на берегу.

На первой же развернутой мною странице я заметил слова: «Статистика самоубийств» — и узнал, что в этом году покончили с собою свыше восьми с половиной тысяч человек.

И тотчас же они предстали перед моими глазами. Я увидел это ужасное самоистребление отчаявшихся, уставших от жизни людей. Я увидел их, истекающих кровью, с разбитой челюстью, с раздробленным черепом, с простреленной грудью; они одиноко, медленно умирали в комнатках гостиниц и думали не о своей ране, а только о своем несчастье.

Я увидел других, с перерезанным горлом или распоротым животом, еще сжимавших в руке кухонный нож или бритву.

Я увидел и тех, кто сидел перед стаканом, в котором мокли спички, или перед склянкой с красной эти-

кеткой. Пристально, не шевелясь, смотрели они на яд, потом выпивали залпом и ждали; и вот судорога пробегала по щекам, искажала губы, взгляд начинал блуждать от ужаса: ведь они не знали, что придется так страдать, прежде чем умереть.

Они вставали, еле держась на ногах, и падали, прижав руки к животу, чувствуя, как огненная жидкость разъедает, сжигает их внутренности, между тем как разум еще не померк.

Я увидел и тех, кто повесился на вбитом в стену гвозде, на оконной задвижке, на ввинченном в потолок крюке, на чердачной балке или на суку дерева под ночным дождем. И я представлял себе все, что им пришлось проделать, прежде чем они повисли, неподвижно вытянувшись и высунув язык. Я представил себе их смертную печаль, последние колебания, их движения, когда они прилаживали петлю, проверяли, выдержит ли она, надевали ее на шею и прыгали вниз.

Я увидел и тех, кто лежал на жалких постелях: матерей с маленькими детьми, стариков, умиравших с голоду, девушек, измученных любовной тоскою,— задохшихся от угара, окоченевших возле жаровни с углями, еще дымящейся посреди комнаты.

Я увидел и тех, кто бродил ночью по пустынным мостам. Это были самые несчастные. Река струилась под арками с тихим журчанием. Они не видели ее... и лишь угадывали, вдыхая ее прохладу и запах. Они и рвались к ней и боялись ее. У них не хватало смелости! Но *так* было нужно. Вдалеке на колокольне били часы, и внезапно в глубоком безмолвии ночи раздавался шум от падения тела в реку; он быстро замирал... Несколько вскриков... звук ударов руками по воде... А иногда все ограничивалось лишь всплеском от падения, если они связывали себе руки или привязывали камень к ногам.

О несчастные, несчастные, несчастные люди! Я переживал все их муки, умирал их смертью... Я испытал все их страдания, в течение какого-нибудь часа перенес все их пытки. Я знал все несчастья, которые довели их до такого конца, мне известна вся гнусная обманчивость жизни, и никто не перечувствовал этого сильнее меня.

Как хорошо я понимал их! Ослабевшие, преследуемые неудачами, потеряв любимых, очнувшись от грезы о будущем воздаянии, о другой жизни, где бог, до сих пор столь жестокий, станет наконец справедлив, и разочаровавшись в призрачном счастье, они считали, что с них довольно, и хотели поскорее окончить затянувшуюся драму или постыдную комедию.

Самоубийство! Это сила тех, у кого нет больше сил; это надежда тех, кто больше не верит; это высшее мужество побежденных! Да, у жизни есть по крайней мере дверь, и мы всегда можем отворить ее и выйти на волю! Природа на мгновение возымела к нам жалость: она не заточила нас в тюрьму. Спасибо ей от имени всех отчаявшихся!

Что касается просто разочарованных — пусть они идут вперед со спокойным сердцем, со свободной душой. Им нечего бояться, ведь они всегда могут уйти: перед ними есть дверь, которую не в силах закрыть даже воображаемый бог.

Я подумал об этой толпе добровольно умерших: свыше восьми с половиной тысяч за один год! И мне показалось, что они собрались вместе, чтобы обратиться к миру с просьбой, чтобы потребовать чего-то, выкрикнуть желание, которое осуществится впоследствии, когда их поймут. Мне показалось, что все эти мученики, которые отравились, повесились, зарезались, задохнулись от угара, утонули, пришли страшной толпой, пришли как граждане на голосование, чтобы сказать обществу:

«Дайте нам по крайней мере легкую смерть! Помогите нам умереть, если уж вы не помогли нам жить! Смотрите: нас множество, мы имеем право голоса в эти дни свободы, независимости философской мысли и всеобщего избирательного права. Подайте тем, кто отказывается жить, милостыню в виде смерти, которая не была бы отталкивающей и ужасной!»

Я размечтался, и мои мысли начали блуждать в мире причудливых, таинственных сновидений.

Я очутился в красивом городе. Это был Париж,— но какой эпохи? Я шел по улицам, глядя на дома, теат-

ры, учреждения, и вдруг на одной площади перед моими глазами предстало большое здание, роскошное, красивое и изящное.

Недоумевая, я прочел на фронтоне надпись золотыми буквами: «Общество добровольной смерти».

О, как странны грезы, когда душа улетает в мир нереального, но возможного! Ничто в нем не удивляет, ничто не поражает, и фантазия, не знающая границ, уже не отличает смешного от зловещего.

Я подошел к зданию. Слуги в коротких штанах сидели в вестибюле, перед гардеробной, как в передней какого-нибудь клуба.

Я решил взглянуть поближе на этот дом. Один из слуг, поднявшись, спросил меня:

— Что вам угодно, сударь?

— Мне хотелось бы знать, что это за учреждение.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

— Тогда, если позволите, вас проводят к секретарю общества.

Я спросил нерешительно:

— А я не помешаю ему?

— О нет, сударь. Он здесь как раз для того, чтобы принимать лиц, желающих получить справки.

— Тогда идемте.

Он провел меня по коридорам, где беседовали несколько пожилых людей; затем меня ввели в роскошный, хотя и немного мрачный кабинет, обставленный мебелью черного дерева. Тучный молодой человек с порядочным брюшком писал письмо, куря сигару, аромат которой свидетельствовал о ее высоком качестве.

Он поднялся, мы раскланялись, и, когда слуга вышел, он спросил:

— Чем могу служить?

— Извините за нескромность, сударь,— ответил я,— но мне никогда не случалось видеть подобного учреждения. Надпись на фасаде меня поразила, и мне хотелось бы знать, что здесь происходит.

Прежде чем ответить, он улыбнулся. Затем сказал вполголоса, с довольным видом:

— Здесь, милостивый государь, убивают людей,

желающих умереть; они находят здесь безболезненную, спокойную, смею даже сказать, приятную смерть.

Я не почувствовал никакого волнения; это показалось мне вполне естественным и справедливым.

Меня удивило лишь то, что на этой планете с ее пошлыми, утилитарными, гуманитарными, эгоистическими, принудительными для всех идеями, далекими от всякой истинной свободы, отважились на такое предприятие, достойное раскрепощенного человечества.

Я спросил:

— Как вы додумались до этого?

Он ответил:

— Количество самоубийств за пять лет, после Всемирной выставки 1889 года, настолько возросло, что пришлось принять неотложные меры. Люди убивали себя на улицах, на празднествах, в ресторанах, в театрах, в поездах, на приемах у президента Республики — повсюду. Это было не только отталкивающее зрелище для тех, кто, подобно мне, любит жить, но и дурной пример для детей. И тогда пришлось централизовать самоубийства.

— Отчего же так возросло их количество?

— Не знаю. Мир, в сущности, просто стареет. Люди усваивают ясный взгляд на вещи и не хотят покоряться своей участи. Ведь теперь судьба — все равно, что правительство; люди знают, что это за штука, убеждаются, что кругом обмануты, и уходят из жизни. Поняв, что Провидение лжет, плутует, крадет, обманывает смертных, как простой депутат своих избирателей, люди сердятся; а поскольку нет возможности каждые три месяца назначать новое Провидение, как выбирают членов правления концессии, то люди отказываются от своего места в мире, устроенном так плохо.

— Вы правы!

— О, я лично не жалуюсь!

— Расскажите, пожалуйста, как функционирует ваше общество.

— С удовольствием. Вы можете вступить в него, если хотите. Ведь это клуб.

— Клуб???

— Да, сударь, клуб, основанный самыми известны-

ми людьми страны, самыми светлыми головами, самыми выдающимися умами.

Он добавил, смеясь от всего сердца:

— И, уверяю вас, здесь проводят время с удовольствием.

— Здесь?

— Да, здесь.

— Вы меня удивляете!

— Боже мой! Члены нашего клуба очень охотно посещают его, потому что не боятся смерти, отравляющей все утехи жизни.

— Но зачем же они становятся членами подобного клуба, если не кончают с собой?

— Можно стать его членом, и не принимая обязательства убить себя.

— Но в таком случае?..

— Сейчас я вам объясню. Количество самоубийств так безмерно возросло, картины, являвшиеся взорам, были столь ужасны, что было создано чисто благотворительное общество, которое оказывает покровительство отчаявшимся и ставит себе целью дать им возможность умирать, если не неожиданно, то легко и безболезненно.

— Кто же мог разрешить такое общество?

— Генерал Буланже во время своего короткого пребывания у власти. Он не умел ни в чем отказывать. В сущности, это было единственное хорошее, что он сделал. И вот людьми проницательными, скептиками, свободными от иллюзий, было учреждено это общество; они решили воздвигнуть в Париже нечто вроде храма презрения к смерти. Вначале этот дом был местом, наводившим страх: к нему не решались и приблизиться. Тогда основатели устроили в честь его открытия торжественный вечер с участием Сары Бернар, Жюдик, Тео, Гранье и других актрис, а также с участием господ де Решке, Коклена, Муне-Сюлли, Полюса и других; затем стали устраивать концерты, ставить комедии Дюма, Мельяка, Галеви, Сарду. Мы потерпели лишь неудачу с пьесой Бека, которая сначала показалась унылой, но впоследствии имела шумный успех во Французской Комедии. Словом, стал собираться весь Париж, и дело наладилось.

— Благодаря увеселениям? Что за мрачная шутка!

— Нисколько! Не нужно, чтобы смерть была печальна; надо, чтобы она стала безразлична. Ее спутником мы сделали веселье, украсили ее цветами, умастили благовониями, добились того, что она стала легкой. Показывая это на практике, мы хотим помочь людям; можно прийти поглядеть, это ничего не стоит.

— Я понимаю, что стали приходить на увеселения; но приходили ли... для... Нее?

— Не сразу; сначала к нам относились недоверчиво.

— А потом?

— Стали приходить.

— И многие?

— Массами. У нас больше сорока самоубийств в день. В Сене почти уже не находят утопленников.

— Кто же был первым?

— Член клуба.

— Преданный этой идее?

— Не думаю. У него были неприятности, он проигрался, ему страшно не везло в баккара целых три месяца подряд.

— В самом деле?

— Вторым был эксцентричный англичанин. Затем мы придумали привлекательные способы смерти, поместили рекламные объявления в газетах, рассказали о применяемых нами методах. Но все же наибольший размах дело получило благодаря беднякам.

— Какие же методы вы применяете?

— Не хотите ли осмотреть все по порядку? Я буду одновременно давать объяснения.

— Пожалуйста.

Он взял шляпу, открыл дверь, пропустил меня вперед. Мы очутились в игорном зале, где мужчины играли, как в любом казино. Затем мы прошли через несколько салонов; там непринужденно и беззаботно болтали. Мне редко случалось бывать в столь интересном, веселом клубе.

Видя мое удивление, секретарь объяснил:

— О, наше общество пользуется небывалым успехом. Светские люди всего мира состоят его членами, чтобы показать свое презрение к смерти. Придя сюда,

они считают своей обязанностью быть жизнерадостными, чтобы не казаться испуганными. Они шутят, смеются, хвастают, блистают умом или учатся этому. В настоящее время наш клуб, безусловно, самое посещаемое, самое занятное место в Париже. Женщины даже хлопочут о том, чтобы для них открыли специальное отделение.

— И все-таки в этом доме происходит много самоубийств?

— Как я вам уже сказал, от сорока до пятидесяти в день. Светских людей почти не встретишь, но бедняков чрезвычайно много. Немало и представителей средних классов.

— Как же это у вас... делается?

— Удушением... Совершенно нечувствительно.

— Каким способом?

— Газом нашего изобретения. У нас есть на него патент. С другой стороны здания имеются двери для посетителей, три небольшие двери, выходящие в переулки. Когда мужчина или женщина являются к нам, их опрашивают, затем предлагают помощь, пособие, поддержку. Если клиент согласен, производят обследование. Нередко таким образом мы спасаем людей.

— Где же вы берете деньги?

— Денег у нас много. Членские взносы очень высоки, кроме того, считается хорошим тоном делать пожертвования в пользу общества. Имена жертвователей публикуются в *Фигаро*. Наконец, богатые платят за самоубийство тысячу франков. И они умирают, позируя. Для бедных же самоубийства бесплатны.

— А как вы узнаете, что человек беден?

— О сударь, это легко угадать. И затем они должны представить свидетельство о бедности от полицейского комиссара. Если б вы знали, какое мрачное впечатление производит их приход! Я побывал лишь раз в той приемной и больше туда ни за что не пойду. Помещение, впрочем, там не хуже, чем здесь, почти так же богато и комфортабельно, но они!.. Они!!! Если бы вы видели, как они приходят умирать, эти старики в лохмотьях, эти люди, месяцами страдавшие от нищеты, искавшие пищу на помойках, как бродячие собаки! Женщины в рубище, изможденные, больные, парализо-

ванные, неспособные к жизни... И, рассказав о себе, они говорят: «Видите сами, дальше так жить нельзя, ведь я больше не могу ничего делать, ничего заработать».

Я видел одну старуху восьмидесяти семи лет, пережившую всех своих детей и внучат; в течение шести недель она спала под открытым небом. Я так расстроился, что чуть не заболел. Вообще у нас есть что послушать; впрочем, бывают и такие люди, которые ничего о себе не рассказывают, а только спрашивают: «Где это?» Их впускают, и сразу все кончено.

Я спросил, и сердце у меня сжалось:

— А... где же это?

— Здесь.

Он открыл дверь, добавив:

— Войдите, это помещение, предназначенное только для членов клуба. Им пользуются реже, чем другими. У нас было здесь только одиннадцать *уничтожений.*

— Вот как! Вы называете это... уничтожением?

— Да, сударь. Войдите же!

После некоторого колебания я вошел. Это была красивая галерея, нечто вроде теплицы с расписными стеклами бледно-голубого, нежно-розового и светло-зеленого цвета, с гобеленами, на которых были вытканы поэтичные пейзажи. В салоне стояли диваны, роскошные пальмы, благоухали цветы — особенно много было роз. На столах лежали *Ревю де Дё Монд,* сигары в коробках с бандеролями и таблетки Виши в бонбоньерках, что меня особенно поразило.

— О, сюда часто приходят поболтать,— сказал мой провожатый, видя, что я удивлен.

Он продолжал:

— Общие залы такие же, только обставлены попроще.

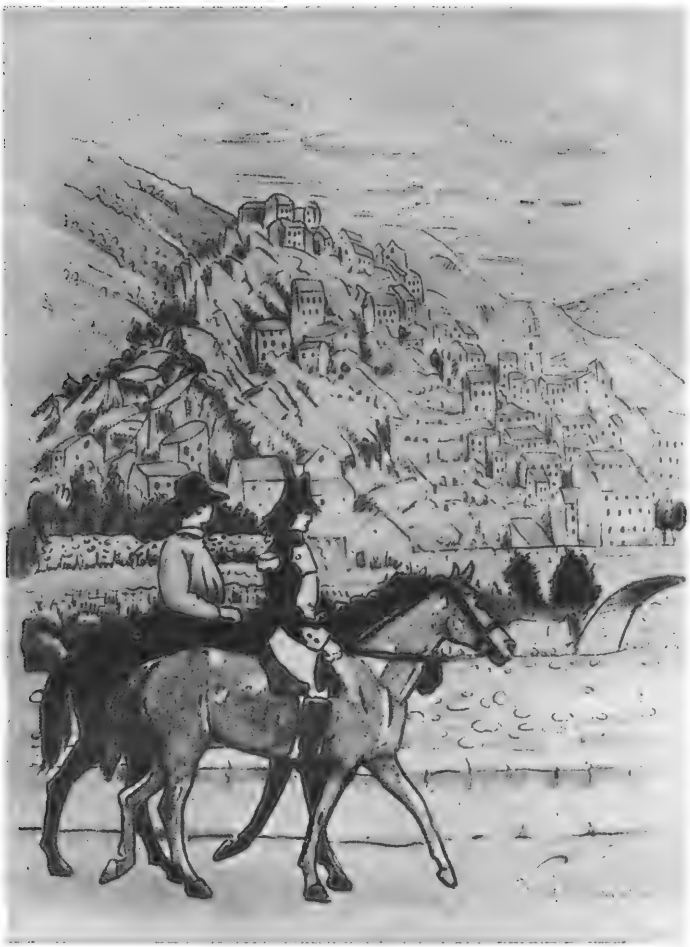
Я спросил:

— Как же вы это делаете?

Он показал на кушетку, обитую крепдешином кремового цвета с белыми узорами, под большим кустом неизвестного мне растения, у подножия которого стояла полукруглая жардиньерка с резедой.

Понизив голос, секретарь добавил:

— Цветы и аромат можно по желанию менять, так



Худ. Верже-Сарра [1935]. «НЕИЗДАННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ».

Худ. Рикардо Флорес. «РУКА ТРУПА».

как наш газ, действующий совершенно нечувствительно, способен придавать смерти запах вашего любимого цветка. Для этого к нему примешивают эссенции. Если хотите, я могу дать вам подышать им.

— Благодарю вас,— возразил я с живостью,— не теперь еще...

Он рассмеялся.

— О сударь, это совершенно безопасно. Я убедился в этом несколько раз на самом себе.

Мне не хотелось, чтобы меня сочли трусом, и я сказал:

— Ну, хорошо.

— Лягте на *Усыпительницу.*

С некоторым беспокойством я сел на кушетку, обитую крепдешином, затем растянулся на ней и почти тотчас же почувствовал приятный запах резеды. Я раскрыл рот, чтобы вдохнуть его глубже, ибо моя душа, уже скованная первым приступом удушья, погрузилась в забытье и наслаждалась упоительным хмелем, который пьянил чарующе и молниеносно.

Меня потрясли за плечо.

— Ну, ну, сударь,— смеясь, проговорил секретарь,— вы, кажется, увлеклись?

И вдруг другой голос, прозвучавший наяву, а не во сне, приветствовал меня с крестьянским акцентом:

— Здравствуйте, сударь! Как живете?

Мои грезы рассеялись. Я увидал Сену, сверкавшую на солнце, и полевого сторожа, подходившего по тропинке; он козырнул мне, дотронувшись правой рукой до черного кепи с серебряным галуном. Я ответил:

— Здравствуйте, Маринель! Куда идете?

— Составлять протокол об утопленнике, которого выловили у Морийона. Еще одному захотелось хлебнуть водицы. Даже снял штаны и связал себе ими ноги.

ЖЕНИТЬБА ЛЕЙТЕНАНТА ЛАРЕ

В самом начале кампании лейтенант Ларе отбил у пруссаков две пушки. Вручая ему почетный крест, генерал сказал: «Спасибо, лейтенант!»

Так как он был не только храбр, но и осторожен, проницателен, находчив, а также неистощим на хитрости и выдумки, то ему доверили командование сотней солдат, и лейтенант организовал отряд разведчиков, несколько раз спасавший в дни отступления всю армию.

Но, хлынув через всю границу, нашествие заливало страну, точно море, вышедшее из берегов. Огромные волны солдат следовали одна за другою, разбрасывая кругом, словно пену, шайки мародеров. Бригада генерала Карреля, отстав от своей дивизии, беспрерывно отступала, ежедневно сражаясь, и если сохранилась почти в целости, то благодаря бдительности и быстроте действий лейтенанта Ларе, который, казалось, был вездесущ, разгадывал козни неприятеля, нарушал все его расчеты, вводил в заблуждение его уланов, уничтожал передовые отряды.

Однажды утром его вызвал генерал.

— Лейтенант,— сказал он,— вот депеша от генерала де Ласера. Он погибнет, если до рассвета мы не придем на помощь. Он находится в Бленвиле, в восьми лье отсюда. Отправляйтесь с наступлением ночи, возьмите три сотни солдат и расставьте их вдоль дороги. Я последую за вами через два часа. Внимательно следите за дорогой: боюсь, что мы встретим неприятеля.

Уже с неделю стоял сильный мороз. С двух часов пошел снег; к вечеру земля стала белой; густые хлопья снега покрыли все ближайшие предметы.

В шесть часов отряд выступил в путь.

Двое разведчиков шагали в трехстах метрах впереди. За ними следовал взвод из десяти человек под командой самого лейтенанта. Остальные шли следом, двумя длинными колоннами. С обоих флангов в трехстах метрах справа и слева от дороги маленький отряд прикрывало несколько солдат, шедших попарно.

Снег продолжал идти и облеплял их в сумраке. Он не таял на одежде, так что в темноте ночи солдаты почти не выделялись на однообразной белизне равнины.

Время от времени они останавливались. Тогда больше не слышно было шелеста падавшего снега, зловещего тихого шороха — скорее ощущения, чем звука. Вполголоса отдавался приказ, и, когда отряд трогался дальше, на дороге оставался белый призрак, заносимый снегом, мало-помалу делавшийся незаметным и наконец вовсе пропадавший из глаз. Это были живые вехи, которые должны были указывать путь армии.

Разведчики замедлили шаг. Что-то темнело перед ними.

— Возьмите вправо,— сказал лейтенант,— это лес Ронфи; замок находится левее.

Вскоре послышался приказ: «Стой!» Отряд остановился, ожидая лейтенанта, который в сопровождении всего десяти человек отправился к замку на рекогносцировку.

Они подвигались вперед ползком под деревьями. Вдруг все замерли. Жуткая тишина нависла над ними. Затем где-то совсем близко тонкий голосок, мелодичный и юный, нарушил лесное безмолвие.

— Отец, мы заблудимся в снегу! Нам не дойти до Бленвиля!

Более грубый голос ответил:

— Не бойся, девочка, я знаю местность, как свои пять пальцев.

Лейтенант сказал несколько слов, и четыре солдата бесшумно удалились, как тени.

Вдруг пронзительный женский крик прорезал тишину ночи, и солдаты привели двух пленников: старика и девушку. Лейтенант допросил их вполголоса.

— Ваше имя?

— Пьер Бернар.

— Кто вы такой?

— Дворецкий графа Ронфи.

— Это ваша дочь?

— Да.

— Чем она занимается?

— Белошвейка в замке.

— Куда вы идете?

— Спасаемся бегством.

— От кого?

— Сегодня вечером в замок прибыли двенадцать уланов. Они расстреляли трех сторожей и повесили садовника. Я испугался за дочь.

— Куда вы идете?

— В Блеивиль.

— Почему?

— Там французская армия.

— Вы знаете дорогу?

— Знаю.

— Очень хорошо. Следуйте за нами

Они вернулись к колонне, и отряд снова двинулся по полям. Старик молча шел рядом с лейтенантом. Дочь брела за ним. Вдруг девушка остановилась.

— Отец, я так устала, я не могу идти дальше,— сказала она.

И она опустилась на снег, дрожа от холода, полумертвая от изнеможения. Отец попытался ее нести. Но он был слишком стар и слаб.

— Лейтенант,— сказал он со слезами,— мы вас задерживаем. Франция — прежде всего. Бросьте нас!

Офицер отдал приказание. Несколько человек отделились. Вскоре они вернулись со срезанными ветвями. В одну минуту были сооружены носилки. Вокруг них собрался весь отряд.

— Женщина умирает от холода,— сказал лейтенант.— Кто даст шинель, чтобы укрыть ее?

Двести шинелей были сброшены разом.

— Ну, а кто хочет ее нести?

Протянулись все руки. Молодая девушка была закутана в теплые солдатские шинели, бережно уложена на носилки, четыре сильных плеча подняли их. Так двинулась она вперед, словно несомая рабами царица Востока, в середине отряда, который теперь зашагал гораздо бодрее, веселее, смелее, оживившись от присутствия женщины, вдохновительницы и владычицы, по воле которой те, в ком текла старая французская кровь, совершили столько великих дел.

Через час отряд вновь остановился, и все зарылись в снег. Вдали, по равнине, двигалась большая черная тень. Словно фантастическое чудовище, она вытягивалась по-змеиному, затем вдруг собиралась в комок, срывалась с места головокружительным скачком, останавливалась и вновь приходила в движение. Отданные вполголоса приказы передавались друг другу; по временам слышалось сухое металлическое щелканье. Движущаяся тень быстро приближалась, и вскоре можно было различить двенадцать уланов, скачущих галопом друг за другом, заблудившихся в ночном мраке. При вспышках выстрелов они внезапно увидели двести человек, залегших перед ними. Короткий звук залпа замер в снежном безмолвии, и все двенадцать упали вместе с лошадьми.

Выжидали долго. Затем снова пустились в путь. Старик служил проводником.

Наконец голос вдали крикнул:

— Кто идет?

Другой, более близкий голос сказал пароль.

Пришлось снова ждать, так как завязались переговоры. Снег перестал идти. Холодный ветер гнал тучи, и над ними, высоко вверху, сверкали бесчисленные звезды. Потом они померкли, и небо на востоке заалело.

Штабной офицер явился принять отряд. Когда он спросил, кого несут на носилках, на них что-то зашевелилось, две маленькие ручки раздвинули грубые синие шинели, и появилось нежное лицо, розовое, как заря. Глаза блестели ярче только что погасших звезд, улыбка была лучезарней зародившегося дня. Звонкий голосок произнес:

— Это я, сударь.

Солдаты, вне себя от радости, захлопали в ладоши

и торжественно отнесли молодую девушку в самую середину лагеря, где разбирали ружья. Вскоре появился генерал Каррель. В девять часов пруссаки атаковали. К полудню им пришлось отступить.

Вечером, когда лейтенант Ларе, разбитый усталостью, дремал на вязанке соломы, за ним прислали от генерала. Лейтенант нашел его в палатке: генерал разговаривал с тем самым стариком, которого они встретили ночью. Лишь только лейтенант вошел, генерал взял его за руку и сказал, обращаясь к своему собеседнику:

— Дорогой граф, вот молодой человек, о котором вы мне только что говорили; это один из лучших моих офицеров.

Он улыбнулся и, понизив голос, добавил:

— Самый лучший.

Затем, обернувшись к ошеломленному лейтенанту, генерал представил ему графа де Ронфи-Кедиссака.

Старик взял его за обе руки.

— Дорогой лейтенант,— сказал он,— вы спасли жизнь моей дочери, и у меня только одно средство отблагодарить вас... Приезжайте к нам через несколько месяцев... если она вам понравилась...

Ровно через год, день в день, в церкви св. Фомы Аквинского капитан Ларе обвенчался с мадмуазель Луизой-Гортензией-Женевьевой де Ронфи-Кедиссак.

Она принесла ему шестьсот тысяч франков приданого и была, говорят, самой красивой из всех невест, венчавшихся в том году.

НЕИЗДАННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Всем известна знаменитая фраза Паскаля о песчинке, которая изменила судьбы вселенной, положив конец успехам Кромвеля. Подобно этому, в великом водовороте случайностей, управляющих людьми и миром, ничтожное происшествие, судорожный жест женщины решили судьбу Европы, спасли жизнь молодому Наполеону Бонапарту, тому, кто стал потом великим Наполеоном. Эта неизвестная до сих пор страница истории (а все, что относится к жизни этого необыкновенного человека, принадлежит истории) — настоящая корсиканская драма, и она чуть не стала роковой для молодого офицера, находившегося тогда в отпуске на родине.

Нижеследующий рассказ правдив от начала до конца. Я написал его почти под диктовку, ничего не изменив, не пропустив, не пытаясь сделать его литературнее или драматичнее, ограничиваясь голыми фактами, сохранив имена всех действующих лиц и в точности передав их слова и действия.

Быть может, приукрашенный рассказ понравился бы читателям больше, но это — история, а историю нельзя прикрашивать.

Все эти сведения я получил от единственного человека, который знал их из первоисточника и показания которого помогли в 1853 году произвести необходимые розыски для выполнения добавочных пунктов завещания, составленного императором незадолго до его смерти на острове св. Елены.

В самом деле, за три дня до смерти Наполеон сделал к своему завещанию приписку, содержавшую следующие распоряжения:

«Завещаю 20 000 франков,— писал он,— тому жителю Бокоиьяно, который спас меня от врагов, собиравшихся меня убить.

10 000 франков — г-ну Виццавона, единственному члену этой семьи, бывшему на моей стороне.

100 000 франков — г-ну Жерому Леви.

100 000 франков — г-ну Коста из Бастелики.

20 000 франков — аббату Рекко».

Должно быть, в его памяти в последние дни ожили воспоминания юности. Спустя столько лет, после стольких необычайных происшествий, впечатление, оставленное одним из первых бурных событий его жизни, было еще настолько сильно, что не покидало его даже в часы агонии! Вот какова была картина далекого прошлого, стоявшая перед его взором, когда он решил сделать подарок друзьям, оказавшим ему поддержку в тяжелые минуты, и тому из своих приверженцев, чье имя теперь ускользнуло из его ослабевшей памяти.

Это было вскоре после смерти Людовика XVI. Корсикой управлял генерал Паоли, человек энергичный и жестокий, убежденный роялист, ненавидевший революцию, между тем как Наполеон Бонапарт, молодой артиллерийский офицер, проводивший свой отпуск в Аяччо, старался использовать все свое влияние, а также влияние членов своей семьи для торжества новых идей.

В этих местах, до сих пор диких, не было кофеен, и приверженцы Наполеона собирались по вечерам в его комнате, беседовали, обдумывали свои замыслы, обсуждали необходимые меры и старались предугадать будущее, попивая вино и закусывая смоквами.

Молодой Бонапарт и генерал Паоли уже враждовали между собой, и вот с чего все началось. Паоли, получив приказ захватить остров Магдалины, возложил исполнение приказа на полковника Чезари, но, по слухам, велел ему действовать так, чтобы эта попытка потерпела неудачу. Наполеон, назначенный подполковником национальной гвардии в полк, которым командовал полковник Квеуза, принимал участие в экспедиции

и по окончании ее горячо критиковал весь ход военных действий, открыто обвиняя командиров в том, что они преднамеренно провалили всю операцию.

Это произошло вскоре после прибытия в Бастию комиссаров Республики, среди которых был Саличети. Наполеон, узнав об их приезде, захотел повидаться с ними и, чтобы съездить в Бастию, вызвал из Боконьяно человека, которому можно было довериться, одного из самых верных своих сторонников, Санто-Бонелли, по прозвищу Санто-Риччо, чтобы тот его проводил.

Они выехали верхом, направляясь в Корте, где находился генерал Паоли, с которым Бонапарт хотел проездом повидаться: не зная об участии своего начальника в заговоре против Франции, он даже защищал его, когда слышал высказываемые втихомолку подозрения. Хотя их вражда уже возникла, но они еще не дошли до открытого разрыва.

Во дворе дома, где жил Паоли, Наполеон сошел с лошади и, поручив ее Санто-Риччо, собирался тотчас же пройти к генералу. Но, подымаясь по лестнице, он от кого-то узнал, что в это самое время происходит нечто вроде совещания всех главных корсиканских вождей, враждебных Республике. Встревоженный Наполеон хотел выяснить подробности, и в эту минуту из комнаты вышел один из заговорщиков.

Подойдя к нему, Бонапарт спросил: «Ну что?». Тот, думая, что имеет дело с сообщником, ответил:

— Решено! Мы провозгласим независимость и отделимся от Франции: Англия нам поможет.

Возмущенный Наполеон вспылил и, топнув ногой, вскричал: «Это измена! Это подлость!»

На шум вышло несколько человек; они оказались его дальними родственниками. Понимая, какая опасность грозит молодому офицеру — ибо Паоли был способен немедленно и навсегда отделаться от него,— они окружили Наполеона, силой увели вниз и посадили на лошадь.

Он тотчас же выехал обратно в Аяччо, по-прежнему в сопровождении Санто-Риччо. К ночи они прибыли в деревушку Арка-де-Виварио и остановились на ночлег у родственника Наполеона, священника Арриги. Наполеон посвятил его в ход событий и просил совета, ибо

священник был известен как прямодушный, рассудительный человек и пользовался уважением всей Корсики.

Вновь отправившись в путь на заре, они скакали весь день и к вечеру добрались до деревни Боконьяно. Там Наполеон расстался со своим провожатым, приказав ему на следующее утро ждать с лошадьми на перекрестке двух дорог, а сам направился в селение Паджола, чтобы воспользоваться гостеприимством Феликса Тузоли, своего сторонника и родственника, дом которого стоял несколько поодаль от селения.

Между тем генерал Паоли, узнав о посещении молодого Бонапарта и о гневных словах, вырвавшихся у него, когда он обнаружил заговор, послал Марио Перальди в погоню, приказав во что бы то ни стало помешать Наполеону добраться до Аяччо или Бастии.

Марио Перальди прискакал в Боконьяно на несколько часов раньше Бонапарта и отправился к Морелли. Это была семья, стоявшая на стороне генерала и пользовавшаяся большим влиянием. Вскоре стало известно, что молодой офицер прибыл в деревню и проведет ночь в доме Тузоли. Узнав о распоряжении Паоли, глава семьи Морелли, человек энергичный и наводивший на всех страх, обещал посланному, что Наполеон от них не ускользнет.

С рассветом он повсюду расставил своих людей, занявших все дороги и выходы. Бонапарт вышел в сопровождении хозяина дома и направился к месту, где его должен был ждать Санто-Риччо. Тузоли почти тотчас же вернулся обратно, так как ему нездоровилось; его голова была обвязана платком.

Как только молодой офицер остался один, какой-то человек подошел и сообщил, что в соседнем трактире находятся собравшиеся ехать в Корте приверженцы генерала Паоли. Наполеон пошел туда и, найдя всех в сборе, обратился к ним со словами:

— Поезжайте, поезжайте к вашему вождю! Нечего сказать, благородное и великое дело затеяли вы!

В это мгновение все Морелли, вбежав в дом, бросились на Наполеона, схватили его и увели.

Санто-Риччо, ждавший его на перекрестке, сейчас же узнал об этом и поспешил к одному из сторонников

Бонапарта, по имени Виццавона, на чье содействие он мог рассчитывать и чей дом находился рядом с домом Морелли, где взаперти держали Наполеона.

Санто-Риччо хорошо понимал, как серьезно было положение.

— Если нам не удастся сейчас же спасти его, он погиб,— сказал он.— Возможно, не пройдет и двух часов, как его убьют.

Тогда Виццавона отправился к Морелли, чтобы осторожно выведать их намерения; они скрывали свои планы, но ему с помощью хитрости и красноречия удалось добиться согласия, чтобы молодой офицер пришел разделить с ним трапезу, а Морелли в это время будут стеречь дом.

Они согласились, без сомнения, для того, чтобы лучше скрыть свои цели. Их глава, единственный, кому была известна воля генерала, поручил им наблюдать за окрестностью, а сам вернулся домой, чтобы приготовиться к отъезду. И только благодаря его отсутствию жизнь пленника несколькими минутами позже была спасена.

Тем временем Санто-Риччо, со свойственными корсиканцам самоотверженностью, поразительным хладнокровием и неустрашимым мужеством, подготовлял освобождение своего спутника. Он заручился помощью двух молодых людей, таких же храбрых и верных, как он сам. Проведя их тайком в сад, смежный с домом Виццавоны, и спрятав за стеной, он преспокойно отправился к Морелли и попросил позволения проститься с Наполеоном, которого собирались увезти. Ему разрешили. Очутившись наедине с Бонапартом и Виццавоной, Санто-Риччо тотчас же изложил им свой план, торопя с бегством, так как малейшее промедление могло оказаться роковым. Все трое пробрались в конюшню, и Виццавона, со слезами на глазах обняв своего гостя, сказал:

— Да спасет вас господь! Лишь он один может это сделать!

Наполеон и Санто-Риччо ползком добрались до молодых людей, находившихся в засаде за стеною; затем вскочив на ноги, все четверо стремглав кинулись к соседнему колодцу, скрытому за деревьями. Но им при-

шлось пробежать некоторое расстояние на глазах у Морелли, и те, завидя их, с громкими криками бросились в погоню.

Их глава, старший Морелли, только что вернувшийся домой, услыхал крики и, поняв, что случилось, кинулся вон. Выражение его лица было столь свирепо, что его жена, свояченица того Тузоли, у которого ночевал Бонапарт, бросилась к ногам мужа, униженно моля пощадить жизнь молодого человека.

Морелли с яростью оттолкнул жену и хотел было выбежать из дому, но она, все еще на коленях, схватила его за ноги и судорожно обвила их руками. Несмотря на побои, она по-прежнему не разжимала рук, и, упав на пол, потянула за собой мужа, и он растянулся рядом с нею.

Если бы не сила и мужество этой женщины, с Наполеоном было бы покончено.

Изменился бы весь ход современной истории! В памяти человечества не сохранились бы блистательные победы! Миллионы людей не были бы сражены пушечными ядрами! Карта Европы была бы иною... И кто знает, при каком политическом режиме жили бы мы теперь?

Между тем Морелли настигали беглецов.

Бесстрашный Санто-Риччо, прислонясь спиной к стволу каштана, приготовился к обороне и закричал своим спутникам, чтобы они увели Бонапарта. Но тот отказался покинуть проводника, который кричал, целясь во врагов:

— Унесите же его! Возьмите, свяжите по рукам и ногам!

Их настигли, окружили, схватили, и один из Морелли, по имени Онорато, приставив дуло ружья к виску Наполеона, крикнул: «Смерть изменнику родины!» Но в этот самый момент появился в сопровождении вооруженных родственников Феликс Тузоли, оказавший накануне Бонапарту гостеприимство и предупрежденный посланцем Санто-Риччо. Видя опасность и узнав своего шурина в том, кто угрожал жизни его гостя, он крикнул, целясь в него:

— Онорато, Онорато, тебе придется иметь дело со мной!

Тот, застигнутый врасплох, не решился стрелять, а Санто-Риччо, воспользовавшись замешательством и предоставив обеим сторонам драться или вступить в переговоры, схватил в охапку Наполеона, все еще сопротивлявшегося, и с помощью обоих молодых людей потащил его в глубь зарослей.

Минуту спустя глава семьи Морелли, высвободившись из рук жены и кипя от ярости, подоспел наконец к своим сторонникам.

Тем временем беглецы пробирались по горам, лощинам, чащам. Когда они очутились в безопасности, Санто-Риччо отослал молодых людей, велев им на другой день ждать с лошадьми у моста Уччани.

Когда они расставались, Наполеон сказал:

— Я возвращаюсь во Францию. Не хотите ли ехать со мной? Вы разделите мою судьбу, какова бы она ни была.

Они отвечали:

— Наша жизнь принадлежит вам; здесь вы можете делать с нами, что хотите, но родную деревню мы не покинем.

Эти простые, самоотверженные парни вернулись за лошадьми в Бокоиьяно, а Бонапарт и Санто-Риччо продолжали путь невзирая на препятствия, которые так затрудняют путешествие в дикой горной местности. По дороге они остановились в доме Манчини, чтобы съесть по куску хлеба, и к вечеру добрались до Уччани, где жили Поццоли, сторонники Бонапарта.

Проснувшись на другое утро, Наполеон увидел, что дом окружен вооруженными людьми. Это были родные и друзья хозяев, готовые идти с ним и умереть за него.

Лошади ждали у моста, и маленький отряд пустился в дорогу, провожая беглецов до окрестностей Аяччо. С наступлением ночи Наполеон пробрался в город и нашел убежище у мэра, Жана-Жерома Леви, который спрятал его в шкафу. Предосторожность была не лишней, ибо на следующий день явилась полиция. Она обыскала весь дом, ничего не нашла и удалилась восвояси, искусно наведенная на ложный след мэром, который поспешил предложить свои услуги, чтобы поймать молодого бунтовщика.

В тот же вечер Наполеон был в лодке перевезен на

другой берег залива, в дом семьи Коста из Бастелики, и некоторое время скрывался в зарослях.

История осады, которую он будто бы выдержал в башне Капителло,— этот трогательный рассказ, приводимый авторами всех путеводителей,— чистейшая драматическая выдумка, в которой не больше правды, чем в других сведениях, сообщаемых этими торговцами ложью.

Через несколько дней была провозглашена независимость Корсики; дом Бонапарта сожгли; три сестры беглеца нашли приют у аббата Рекко.

Вскоре французский фрегат, посланный за последними сторонниками Франции, взял Наполеона на борт и вернул нашей родине-матери ее преследуемого, травимого приверженца — того, кому предстояло сделаться императором, гениальным полководцем и потрясти весь мир своими завоеваниями.

РУКА ТРУПА

Однажды вечером, месяцев восемь тому назад, у одного из моих друзей, Луи Р., собралось несколько школьных друзей. Мы пили пунш, курили, болтали о литературе и живописи, то и дело обмениваясь шутками, как водится в компании молодых людей. Вдруг распахнулась дверь, и, как ураган, влетел один из друзей моего детства.

— Угадайте, откуда я! — воскликнул он.

— Пари держу, из Мабиля! — ответил один.

— Нет, ты слишком весел, ты, верно, занял где-то деньжонок, или похоронил дядюшку, или удачно заложил часы,— заметил другой.

— Ты нализался,— сказал третий,— и, почуяв, что у Луи пунш, явился еще раз промочить горло.

— Вы не угадали, я приехал из П... в Нормандии, где провел целую неделю, и привез оттуда своего друга, известного преступника; разрешите представить его вам!

С этими словами он вытащил из кармана кисть человеческой руки, кисть, с которой была содрана кожа. Рука была ужасна: черная, высохшая, очень длинная, как бы скрюченная. На необычайно развитых мускулах оставались сверху и снизу полоски кожи, похожей на пергамент, на концах пальцев торчали желтоватые острые ногти. От всего этого на целую милю пахло преступлением.

— Представьте себе,— рассказал мой друг,— недавно распродавали пожитки одного старого колдуна, известного во всей округе: он каждую субботу, оседлав

помело, отправлялся на шабаш, занимался белой и черной магией, напускал порчу на коров, отчего у них молоко становилось синим, а хвосты закручивались винтом, как у компаньона святого Антония. Старый негодяй питал большую привязанность к этой руке, которая, по его словам, принадлежала одному знаменитому преступнику, казненному в 1736 году за то, что он спихнул вниз головой в колодец свою законную жену (в чем я лично вины не нахожу), а обвенчавшего их священника повесил на колокольне. После этого двойного подвига он пустился во все тяжкие и в течение своей столь же короткой, сколь и богатой событиями жизни, ограбил с дюжину путешественников, задушил дымом в монастыре десятка два монахов, а в женской обители устроил гарем.

— Но что ты собираешься делать с этой гадостью? — спросили мы.

— Черт побери, сделаю ее ручкой для звонка, чтобы пугать кредиторов!

— Мой друг,— сказал Генри Смит, высокий и весьма флегматичный англичанин,— по-моему, эта рука — просто-напросто мясо, консервированное по новому способу; советую тебе сварить из нее бульон.

— Не шутите, господа! — с величайшим хладнокровием возразил студент-медик, наполовину уже пьяный,— а ты, Пьер, послушайся моего доброго совета и по-христиански похорони эту часть трупа, иначе владелец еще явится к тебе за нею; к тому же у него могут быть скверные привычки; ведь ты знаешь пословицу: «Кто убил — вновь убьет».

— А кто пил — снова пьет! — подхватил хозяин и налил студенту огромный стакан пунша; тот одним духом осушил его и свалился под стол, мертвецки пьяный, что было встречено оглушительным хохотом. Пьер произнес, подняв свой стакан и кланяясь руке:

— Пью за предстоящий визит твоего владельца!

Затем мы заговорили о другом и вскоре разошлись по домам.

На следующий день около двух часов я проходил мимо дома, где жил Пьер, и зашел к нему. Он читал, покуривая.

— Ну, как поживаешь? — спросил я.

— Отлично! — ответил он.

— А где же рука?

— Рука? Разве ты не видел ее на шнурке звонка, к которому я ее вчера вечером прицепил, вернувшись домой? Кстати, представь себе, какой-то идиот в полночь принялся трезвонить у моей двери, наверное, просто из озорства, я спросил, кто там, но мне ничего не ответили; я снова улегся и заснул.

В это время позвонили. То был домовладелец, грубый и неприятный субъект. Войдя, он даже не поздоровался.

— Милостивый государь,— сказал он моему другу,— извольте немедленно убрать эту падаль, которую вы повесили на шнурок звонка, иначе я буду вынужден отказать вам от квартиры.

— Милостивый государь,— ответствовал Пьер с чрезвычайной серьезностью,— вы оскорбляете руку, которая этого не заслужила; знайте, что она принадлежала благовоспитанному человеку.

Хозяин повернулся и вышел, не простившись. Пьер последовал за ним, отвязал руку и прицепил ее к шнурку звонка над своей постелью.

— Так будет еще лучше,— заметил он,— эта рука, подобно словам траппистов: «Брат, придется умереть!» — будет наводить меня на серьезные мысли каждый вечер, перед сном.

Через час я ушел от него и вернулся домой. Ночью я спал плохо, был взволнован, нервничал и несколько раз внезапно просыпался; одно время мне даже казалось, что ко мне кто-то забрался, и я вставал, чтобы заглянуть под кровать и в шкафы. Наконец к шести часам утра я задремал, но тут же соскочил с постели, разбуженный яростным стуком в дверь. Это был слуга моего друга, полуодетый, бледный и дрожащий.

— О сударь,— воскликнул он, рыдая,— моего бедного хозяина убили!

Я наскоро оделся и побежал к Пьеру. Дом был полон народу, все бегали взад и вперед, взволнованно спорили, обсуждая и объясняя происшествие на все лады. С большим трудом я добрался до спальни; дверь была заперта, но я назвал себя, и меня впустили. Четверо агентов полиции стояли посреди комнаты с запис-

ными книжками в руках, тщательно все исследуя; по временам они тихо переговаривались и что-то записывали; два врача беседовали возле постели, на которой без сознания лежал Пьер. Он был еще жив, но ужасен на вид. Глаза вышли из орбит, расширенные зрачки, казалось, неотрывно, с невыразимым ужасом глядели на что-то чудовищное, неведомое; пальцы были скрючены. Тело было до подбородка укрыто простыней. Приподняв ее, я увидел на шее следы пяти глубоко вонзившихся в тело пальцев; несколько капель крови алело на рубашке. В этот момент меня поразило одно: случайно взглянув на шнурок звонка над постелью, я увидел, что на нем уже не было руки с содранной кожей. По-видимому, доктора сняли ее, чтобы не пугать людей, входящих в комнату раненого, ибо рука была поистине ужасна. Я не стал осведомляться, куда она девалась.

Приведу теперь помещенное на следующий день в газете описание этого преступления, со всеми подробностями, какие полиции удалось установить.

Вот что я там прочитал:

«Молодой Пьер Б., студент-юрист, принадлежавший к одной из известнейших нормандских фамилий, стал вчера жертвой ужасного нападения. Юноша вернулся домой около десяти часов вечера и отпустил своего слугу Бонвена, сказав ему, что устал и ляжет спать. Около полуночи слуга был разбужен звонком хозяина, трезвонившим изо всей силы. Испугавшись, он зажег свечу и стал ждать. С минуту звонок молчал, а затем зазвонил опять, и так отчаянно, что слуга, сам не свой от испуга, бросился будить привратника; последний побежал за полицией, и через четверть часа полицейские уже взламывали дверь.

Страшное зрелище представилось их глазам: мебель была опрокинута, все указывало на то, что между преступником и его жертвой происходила ожесточенная борьба. Посреди комнаты неподвижно лежал на спине молодой Пьер Б.

Тело его было сведено судорогой, лицо смертельно бледно, зрачки страшно расширены; на шее виднелись глубокие отпечатки пальцев. По мнению доктора Бурдо, вызванного немедленно, напавший, очевидно, обладал невероятной силой; руки его, по-видимому, были не-

обыкновенно худы и жилисты, ибо пальцы, следы которых походили на пять отверстий от пуль, почти сомкнулись сквозь шею. Нет никаких указаний ни на личность убийцы, ни на причину преступления».

На другой день в той же газете сообщалось:

«Г-н Пьер Б., жертва ужасного злодеяния, о котором мы вчера сообщали, пришел в себя после двух часов настойчивых усилий доктора Бурдо. Его жизнь вне опасности, однако рассудок внушает серьезную тревогу; ни малейших следов убийцы по-прежнему не обнаружено».

Действительно, мой бедный друг сошел с ума; целых семь месяцев я ежедневно навещал его в больнице, но рассудок к нему уже не вернулся. В бреду у него вырывались странные слова и, как всех сумасшедших, его мучила навязчивая мысль: ему все время казалось, что его преследует призрак. Однажды за мной прибежали, сообщив, что Пьеру стало хуже; я поспешил прийти и нашел его уже в агонии. В течение двух часов он был совершенно спокоен; затем вдруг, соскочив с кровати, хотя мы пытались удержать его, он закричал, размахивая руками, в припадке непреодолимого ужаса: «Убери ее! Убери ее! Она меня душит! Помогите! Помогите!»

Пьер с воплями дважды обежал комнату и упал ничком мертвый.

Так как он был сиротой, то мне поручили отвезти его тело в нормандскую деревушку П., где хоронили всех членов его семьи. Это была та самая деревня, откуда Пьер приехал в тот вечер, когда мы пили пунш у Луи Р., и показал нам руку с содранной кожей. Тело его положили в свинцовый гроб, и четыре дня спустя я печально прогуливался со старым кюре, его первым учителем, по маленькому кладбищу, где рыли могилу. Погода была чудесная, солнце сияло в голубом небе, птицы распевали в терновых кустах, на откосе, где мы детьми столько раз собирали ежевику. Мне вспомнилось, как мы пробирались вдоль изгороди и пролезали в хорошо известную нам дыру, вон там, в самом конце участка, где хоронят бедняков. Потом мы возвращались домой с почерневшими от ягод губами и щеками. Я взглянул на кусты: на них было множество ягод. Машинально я сорвал одну и поднес ко рту. Кюре открыл

требник и бормотал свои Oremus [1], а в конце аллеи слышались удары заступов: могильщики рыли яму. Вдруг они позвали нас, кюре закрыл молитвенник, и мы отправились узнать, что им нужно. Оказалось, что они нашли гроб. От удара заступа крышка слетела, и мы увидели скелет огромного роста, который лежал на спине и как будто угрожающе смотрел на нас пустыми глазницами. Мне стало не по себе; не знаю почему, меня охватил страх.

— Вот те на! — воскликнул один из могильщиков.— Поглядите-ка, у этого молодца отрезана кисть! — И, подняв лежавшую рядом со скелетом большую иссохшую руку без кисти, он протянул ее нам.

— Он как будто смотрит на тебя,— заметил другой, смеясь,— и вот-вот вцепится в горло, чтобы ты отдал ему руку!

— Друзья мои,— сказал кюре,— оставьте мертвеца почивать с миром и закройте гроб; могилу для нашего бедного Пьера мы выроем в другом месте.

Назавтра все было кончено, и я уехал в Париж, оставив старому кюре пятьдесят франков на панихиду за упокой души того, чей прах нам пришлось случайно потревожить.

---

[1] Помолимся *(лат.)* — католическая молитва.

«КОКО, КОКО, ХОЛОДНЫЙ КОКО!»

Я слышал рассказ о смерти моего дяди Оливье.

Он спокойно и тихо умирал в полумраке большой комнаты, ставни которой были закрыты из-за палящего июльского солнца. Вдруг в душном безмолвии жаркого летнего дня на улице послышался серебристый звон колокольчика. Затем в отяжелевшем от зноя воздухе раздался громкий голос: «Коко, холодный! Освежайтесь, сударыни! Коко, коко, кому угодно коко?» Дядя пошевелился, слабая улыбка тронула его губы, и последняя веселая искорка блеснула в его взоре, тотчас навсегда угасшем.

Я присутствовал при вскрытии завещания. Мой кузен Жак, разумеется, унаследовал имения дяди; отцу моему было завещано на память кое-что из обстановки. Последний пункт касался меня. Вот он: «Моему племяннику Пьеру оставляю небольшую рукопись, находящуюся в левом ящике письменного стола, а кроме того, пятьсот франков на покупку охотничьего ружья и сто франков для передачи их от моего имени первому попавшемуся продавцу коко».

Все были поражены. Но полученная мною рукопись объяснила причину странного распоряжения. Привожу ее дословно:

«Человек всегда жил под гнетом суеверий. Когда-то верили, что как только родится ребенок, зажигает-

ся новая звезда, которая будет отмечать все превратности его жизни, будет ярче гореть в счастливые дни и слабее — в дни неудач. И сейчас еще иные верят во влияние комет, високосного года, пятницы, числа тринадцать. Они верят в дурной глаз, в порчу и говорят: «Встреча с таким-то всегда приносит мне несчастье». Все это так, и я в это верю. Объяснюсь точнее: я сомневаюсь в тайном влиянии предметов и живых существ, но убежден, что случайности не бессистемны. Несомненно, что немало крупных событий случайно совпало с високосными годами или с появлением на небе кометы, что некоторые несчастья произошли в пятницу или совпали с числом тринадцать, и это было замечено; что при встречах с определенными людьми повторяются какие-либо происшествия и т. д. Так возникают суеверия. Они плод неполных, поверхностных наблюдений; видят причину в совпадении — и на этом успокаиваются.

Так вот, моей звездой, моей кометой, моей пятницей, моим числом тринадцать, моим дурным глазом был, несомненно, продавец коко.

Когда я родился, один из таких продавцов, говорят, целый день выкрикивал под нашими окнами.

Лет восьми я однажды гулял с нянькой по Елисейским Полям. Когда мы переходили главную аллею, один из этих торговцев вдруг зазвонил за моей спиной. Нянька засмотрелась на проходивший полк, а я обернулся, чтобы поглазеть на продавца коко. Блестящая карета, запряженная парой лошадей, с быстротой молнии летела прямо на нас. Кучер кричал, но нянька не слышала, я тоже.

Меня сбили с ног, опрокинули, ушибли... и я очнулся, сам не знаю как, на руках продавца коко. Желая успокоить меня, он подставил к моим губам один из своих краников и дал мне напиться, что окончательно привело меня в чувство.

У няньки оказался сломанным нос. И если она и продолжала заглядываться на солдат, то солдаты уже на нее не заглядывались.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я купил себе первое ружье и накануне открытия охотничьего сезона отправился к стоянке дилижансов,

под руку с матерью, которая из-за ревматизма ходила очень медленно. Внезапно позади нас раздался крик: «Коко, свежий коко!» Голос приближался, сопровождал и преследовал нас. Мне казалось, что он обращается лично ко мне, что это издевательство, оскорбление. Я был уверен, что все на меня смотрели и смеялись; а человек продолжал выкрикивать: «Свежий коко!»,— как бы издеваясь над моим блестящим ружьем, над моим ягдташем и над моим *свеженьким* бархатным охотничьим костюмом коричневого цвета.

Сев в дилижанс, я долго еще слышал этот голос.

На другой день я не подстрелил никакой дичи, зато убил гончую, приняв ее за зайца, и цыпленка, которого счел за куропатку. Какая-то птичка уселась на забор; я выстрелил, она улетела, но ужаснейшее мычание пригвоздило меня к месту. Оно продолжалось до самого вечера... Увы! Моему отцу пришлось заплатить бедняге-фермеру за корову.

Когда мне было двадцать пять лет, я встретил как-то утром старого продавца коко, морщинистого, согбенного, который едва шел, опираясь на палку и словно изнемогая под тяжестью своего бочонка. Он показался мне каким-то божеством, патриархом, родоначальником, главой всех продавцов коко на свете. Я выпил стакан и дал ему двадцать су. Он пробасил низким голосом, исходившим, казалось, не из его груди, скорее из бочонка: «Это принесет вам счастье, молодой человек!»

В этот самый день я познакомился с моей будущей женой, которая действительно стала счастьем всей моей жизни.

Наконец, вот каким образом продавец коко помешал мне сделаться префектом.

Произошла революция. Я решил, что мне необходимо стать общественным деятелем. Я был богат, всеми уважаем и знаком с одним министром; я попросил у него аудиенцию, указав на цель своего визита. Он самым любезным образом изъявил согласие меня принять.

В назначенный день (дело было летом, жара стояла ужасная) я облачился в светлые панталоны, светлые перчатки, светлые парусиновые туфли с ла-

кированными носами. Улицы дышали зноем. Ноги вязли в размякшем асфальте тротуаров; по мостовой, политой из огромных бочек, струились потоки грязи. Кое-где эту теплую полужидкую грязь метлами сгоняли в канавы. Поглощенный мыслями о предстоящем мне деловом свидании, я шел быстро и, очутившись перед одним из таких грязных ручейков, собрался было его перепрыгнуть. Раз, два... и вдруг мой слух резанул пронзительный крик: «Коко, коко, кому угодно коко?» Застигнутый врасплох, я сделал неверное движение, поскользнулся... Произошло нечто ужасное, плачевное. Я сидел в грязной луже... мои панталоны были испачканы, белая рубашка забрызгана, шляпа плавала рядом со мной. Хриплый, надорванный от долгого крика голос по-прежнему орал: «Коко, коко!» А кругом человек двадцать, глядя на меня, покатывались со смеху и строили мне рожи.

Я бегом вернулся домой и переоделся. Но назначенный мне час был пропущен».

Рукопись заканчивалась так:

«Дружи с продавцами коко, мой милый Пьер! Что касается меня, то я покину этот мир довольный, если услышу их выкрики в свой смертный час».

На другой день я встретил на Елисейских Полях старого-престарого человека с бочонком, как видно, очень бедного. Я отдал ему дядины сто франков. Он вздрогнул, пораженный, затем сказал:

— Большое спасибо, молодой человек, это принесет вам счастье.

МОЯ ЖЕНА

Обед подходил к концу. Обедали одни мужчины, женатые, старые друзья, собиравшиеся иногда без жен, по-холостяцки, как в былые времена. Долго ели, много пили, говорили обо всем, перебирали старые, веселые воспоминания, те задушевные воспоминания, от которых губы невольно улыбаются, а сердца трепещут. То и дело слышалось:

— А помнишь, Жорж, нашу прогулку в Сен-Жермен в компании двух девчонок с Монмартра?

— Черт побери! Мне ли не помнить!

И на память приходили всякие подробности, тысячи мелочей, продолжавших забавлять до сих пор.

Заговорили о браке. «Ах, если бы можно было начать сначала!» — заявлял каждый самым искренним тоном. Жорж Дюпортен добавил:

— Прямо невероятно, как легко мы попадаем впросак. Твердо решишь никогда не жениться; но весной едешь в деревню; жарко, лето во всем блеске, кругом цветы; встречаешь у знакомых какую-нибудь девушку... хлоп! — и готово. Глядишь, вернулся уже женатым.

Пьер Летуаль воскликнул:

— Именно так и случилось со мной. Только моя история отличается некоторыми особенностями.

— Ну, тебе-то жаловаться нечего,— прервал его приятель.— У тебя самая прелестная на свете жена, красивая, обаятельная, само совершенство. Ты, конечно, самый счастливый из нас.

Тот возразил:

— Да, но я тут ни при чем.

— Как так?

— Правда, моя жена — совершенство, но женился-то я не по своей воле.

— Неужели?

— Да!.. Вот как это случилось. Мне было тридцать пять лет, и я столько же думал о женитьбе, сколько о том, чтобы повеситься. Девушки казались мне глупыми, и я любил удовольствия.

Однажды в мае я был приглашен на свадьбу моего кузена Симона д'Эрабеля, в Нормандию. Это была типичная нормандская свадьба. За стол сели в пять часов; в десять все еще ели. Случайно меня посадили рядом с мадмуазель Дюмулен, дочерью отставного полковника, молодой блондинкой, весьма бойкой, полненькой, развязной и болтливой. Она целиком завладела мною на весь день, потащила в парк, заставила танцевать и страшно мне надоела.

Я сказал себе: «На сегодня еще ничего, но завтра я удираю. Хватит».

К одиннадцати часам вечера женщины разошлись по комнатам; мужчины остались одни и, покуривая, пили или — если вам больше нравится,— попивая, курили.

В раскрытое окно можно было видеть сельский праздник. Крестьяне и крестьянки кружились в хороводе, горланя песню, которой чуть слышно аккомпанировали два скрипача и кларнетист, взгромоздившись на большой кухонный стол вместо эстрады. Громкая песня крестьян совершенно заглушала звуки инструментов, и жиденькая музыка, не слышная за нестройными голосами, казалось, падала с неба отдельными разрозненными нотами.

Из двух огромных бочек, окруженных пылающими факелами, наливали напитки. Двое мужчин полоскали в лохани стаканы и кружки и тотчас же подставляли их под краны, из которых текла красная струя вина и золотистая струя сидра. Томимые жаждой танцоры, спокойные старики, вспотевшие девушки толпились вокруг, протягивая руки, чтобы схватить, когда дойдет их черед, первый попавшийся стакан и, запрокинув голо-

ву, широкой струей влить в горло излюбленный напиток. На столе лежали хлеб, масло, сыры и колбасы. Время от времени каждый уплетал кусок — другой. Приятно было глядеть на этот простой, шумный праздник под открытым небом, усеянным звездами; хотелось самому пить из пузатых бочек, есть черствый хлеб с маслом и сырым луком.

Меня охватило непреодолимое желание принять участие в этих увеселениях, и я покинул своих собеседников.

Признаюсь, я был, возможно, чуточку пьян; но вскоре захмелел окончательно.

Подцепив здоровенную, пыхтевшую крестьянку, я заставил ее плясать что есть силы, пока у меня самого не захватило дыхание.

Затем, осушив стакан вина, я пустился в пляс с другою танцоркой. Чтобы освежиться, я опорожнил затем полную кружку сидра и вновь стал скакать, точно одержимый.

Я был ловок; парни восхищенно смотрели на меня и пытались подражать; все девушки хотели танцевать со мною и тяжеловесно прыгали с грацией коров.

Танец за танцем, кружка вина за кружкой сидра,— и к двум часам ночи я был до того пьян, что не стоял на ногах.

Все-таки сознания я не потерял и решил добраться до своей комнаты. Дом спал, молчаливый и угрюмый.

Спичек у меня не было, а все уже легли. Когда я вошел в переднюю, голова у меня закружилась, и я с большим трудом отыскал перила лестницы. Наконец я случайно нащупал их и уселся на первой ступеньке, чтобы собраться с мыслями.

К счастью, я помнил, что моя комната была на третьем этаже, третья дверь налево. Ободренный этим воспоминанием, я с трудом поднялся и начал восхождение со ступеньки на ступеньку, крепко цепляясь за железные перила, чтобы не упасть, и помышляя лишь об одном — как бы не наделать шума.

Три или четыре раза ноги мои не находили ступенек, и я падал на колени, но благодаря силе рук и напряжению воли не скатывался с лестницы.

Наконец я добрался до третьего этажа и пустился по коридору, ощупывая стену. Вот и дверь; я мысленно отметил: «Первая», но из-за внезапного головокружения мне пришлось оторваться от стены и сделать прихотливый скачок, отбросивший меня к другой стене. Я решил вернуться к прежнему маршруту. Путешествие было долгим и трудным. Наконец я достиг цели и вновь начал осторожно подвигаться вдоль стены, пока не нашел вторую дверь. Для полной уверенности я вслух произнес: «Вторая!» — и пустился дальше. В конце концов нашел я и третью. «Третья,— значит, моя!» — сказал я и нащупал ключ, торчавший в замочной скважине. Дверь открылась. Как ни был я пьян, но все же подумал: «Раз открывается, значит, я попал к себе» — и, тихонько закрыв дверь, стал пробираться впотьмах.

Я наткнулся на что-то мягкое, оказавшееся креслом, и сейчас же растянулся в нем.

Положение было такое, что мне нечего было упорствовать в поисках ночного столика, спичек и подсвечника. У меня ушло бы на это не меньше двух часов. И, пожалуй, столько же времени потребовалось бы, чтобы раздеться, причем, возможно, успеха я не достиг бы. И я отказался от этого.

Я только снял ботинки, расстегнул жилет, ставший ужасно тесным, распустил пряжку панталон и заснул как убитый.

Наверное, я спал очень долго. Меня внезапно разбудил громкий голос, произнесший рядом:

— Как, лентяйка, ты еще спишь? Да знаешь ли ты, что уже десять часов?

Женский голос ответил:

— Уже? Я вчера так устала!

Пораженный, я спрашивал себя, что означает этот диалог. Где я? Что наделал?

Мой ум был еще затуманен сном.

Первый голос сказал:

— Надо поднять занавески.

Послышались приближающиеся шаги. Растерявшись, я поднялся. Чья-то рука коснулась моей головы. Я сделал резкое движение. Голос сердито крикнул: «Кто тут?» Я молчал. Две сильных руки схватили меня.

В свою очередь, и я обхватил кого-то; началась яростная схватка. Мы покатились на пол, опрокидывая мебель, натыкаясь на стены.

Женский голос в ужасе закричал:

— На помощь! На помощь!

Сбежались слуги, соседи, перепуганные дамы. Открыли ставни, раздвинули занавеси. Я боролся с полковником Дюмуленом!

Я спал возле постели его дочери!

Когда нас разняли, я спасся бегством в свою комнату, совершенно обалдев от всего, что случилось. Запершись на ключ, я уселся, положив ноги на стул, так как мои ботинки остались в той комнате.

В доме слышался шум; двери то открывались, то закрывались; доносился шепот, раздавались быстрые шаги.

Через полчаса ко мне постучали. Я спросил: «Кто там?» Это был мой дядя, отец вчерашнего новобрачного. Я открыл ему.

Он был бледен, взбешен и свирепо на меня напустился:

— Ты вел себя в моем доме по-хамски! Слышишь?

Затем он добавил уже мягче:

— Каким же образом, идиот несчастный, тебя угораздило попасться в десять часов утра? Заснул в этой комнате, как полено! Надо было убраться сейчас же... сейчас же после...

— Но, дядя,— воскликнул я,— уверяю вас, ничего не было! Я просто ошибся дверью, потому что был пьян.

Он пожал плечами:

— Ну, не говори глупостей.

Я поднял руку:

— Клянусь честью!

Дядя возразил:

— Ладно, ладно. По-другому говорить ты и не должен.

В свою очередь, я рассердился и рассказал ему обо всех своих злоключениях. Он глядел на меня, вытаращив глаза, не зная, верить или нет.

Затем он вышел для переговоров с полковником.

Я узнал, что учредили целый трибунал из мамаш,

который рассмотрел создавшееся положение со всех сторон.

Через час дядя вернулся, уселся в позе судьи и начал:

— Что бы там ни было, я не вижу для тебя другого выхода, кроме женитьбы на мадмуазель Дюмулен.

Я подскочил от ужаса.

— Ну уж нет, извините!

Он сурово спросил:

— Что же ты думаешь делать?

Я наивно ответил:

— ...Да уехать, как только мне вернут ботинки.

— Не шути, пожалуйста,— возразил дядя.— Полковник решил пустить тебе пулю в лоб при первой же встрече. Можешь быть уверен, что он грозит не впустую. Я заговорил было о дуэли, но он ответил: «Нет, я просто-напросто застрелю его». Взглянем теперь на вопрос с другой точки зрения. Или ты соблазнил эту девушку, тогда тем хуже для тебя, мой мальчик, ибо с девушками так не поступают. Или ты в самом деле ошибся, будучи пьян, как ты говоришь. А это еще хуже. Нельзя же попадать в такое дурацкое положение! Так или иначе репутация бедной девушки погибла, потому что объяснениям пьяницы никто не поверит. Настоящей и единственной жертвой в этом деле оказалась она. Подумай об этом!

Он удалился, а я крикнул ему вслед:

— Толкуйте, что хотите, но я не женюсь!

Целый час затем я сидел один.

Появилась тетушка. Она плакала. Она приводила всякие доводы. Никто не верил в мою ошибку. Нельзя было допустить, чтобы девушка забыла запереться на ключ в доме, полном гостей. Полковник побил ее. Она рыдала с самого утра. Скандал был ужасный, непоправимый.

И добрая тетушка добавила:

— Попроси все-таки ее руки. Быть может, тебе удастся выпутаться, когда дело дойдет до обсуждения условий брачного договора.

Эта перспектива меня несколько успокоила, и я согласился письменно предложить свою руку и сердце. Через час я уехал в Париж.

На другой день меня уведомили о согласии.

И через три недели, прежде чем я успел придумать какую-нибудь хитрость или отговорку, было сделано оглашение, разосланы пригласительные билеты, подписан брачный договор, и в понедельник утром я очутился в ярко освещенной церкви рядом с плачущей девушкой, объявив перед этим мэру, что согласен взять ее в жены... до смерти одного из нас.

Она ни разу не взглянула на меня до самого вечера, не сказала мне ни слова.

С того дня я еще не видел ее и теперь посматривал на нее искоса с недоброжелательным удивлением. Она была совсем не дурна собой, вовсе нет! И я подумал: «Ну, ей предстоит не очень-то веселая жизнь».

Среди ночи я вошел в брачный покой, чтобы сообщить ей о своих намерениях, так как теперь хозяином положения был я. Она сидела в кресле, одетая, как днем, бледная, с красными глазами. Поднявшись, лишь только я вошел, она заявила с полной серьезностью:

— Сударь, я готова сделать все, что вы прикажете. Если желаете, я покончу с собою.

Она была очень мила в своей героической роли, эта дочь полковника! Я поцеловал ее, так как имел на это полное право.

Вскоре я обнаружил, что меня не обокрали.

Вот уже пять лет, как я женат. И ни капли об этом не жалею.

Пьер Летуаль умолк. Его собеседники смеялись. Один из них сказал:

— Брак — это лотерея: никогда не надо выбирать номера; самые лучшие — взятые случайно.

Другой добавил в заключение:

— Да, но не забудьте, что за Пьера выбирал бог пьяниц.

АЛЕКСАНДР

В этот день, к четырем часам, как всегда, Александр поставил перед дверями домика, занимаемого супругами Марамбаль, трехколесное кресло, в каком возят паралитиков. Ежедневно до шести часов, как велел врач, он катал в нем свою старую больную хозяйку.

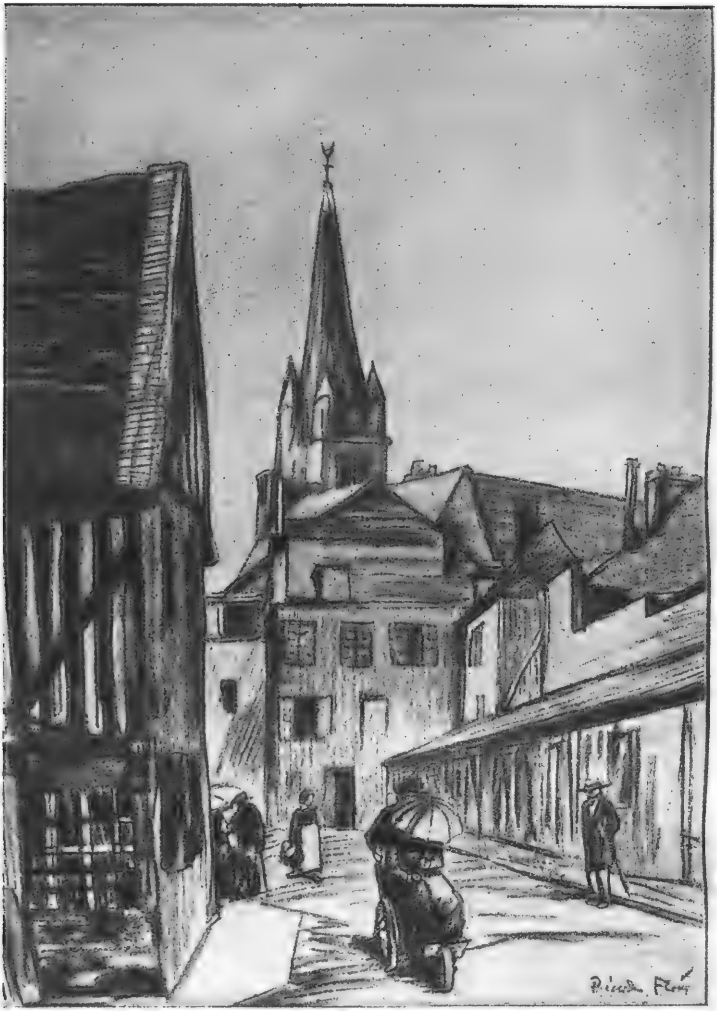
Оставив кресло перед самым подъездом, чтобы легче было усадить в него тучную даму, он вошел в дом, где вскоре послышался гневный голос, хриплый голос старого вояки, изрыгавший проклятия. То был голос хозяина, отставного пехотного капитана Жозефа Марамбаля.

Раздался стук захлопнутой с силой двери, шум передвигаемых стульев, звук быстрых шагов. Затем все стихло, и через несколько минут Александр показался на пороге, изо всех сил поддерживая г-жу Марамбаль, измученную спуском по лестнице. Когда она с трудом уселась, Александр стал сзади, взялся за поручень, служивший для толкания кресла, и покатил его к берегу реки.

Так они шéствовали ежедневно через весь городок, встречаемые почтительными поклонами, которые относились к слуге, быть может, не менее, чем к хозяйке, ибо если она была всеми любима и уважаема, то этот старый отставной солдат с белой бородой патриарха слыл образцовым слугой.

Июльское солнце нещадно палило, заливая низенькие домики такими яркими, жгучими лучами, что ста-

Худ. Рикардо Флорес. «КОКО, КОКО, ХОЛОДНЫЙ КОКО!»



Худ. Рикардо Флорес. «АЛЕКСАНДР»

новилось тоскливо. Собаки спали в тени стен на тротуарах, и Александр, немного запыхавшись, ускорял шаг, торопясь выйти на улицу, ведущую к реке.

Г-жа Марамбаль уже дремала под белым зонтиком, который иногда задевал бесстрастное лицо слуги.

Когда они добрались до липовой аллеи, она очнулась в тени деревьев и ласково промолвила:

— Везите потихоньку, мой милый, а то вам не поздоровится от такой жары.

Добрая дама не подумала в своем наивном эгоизме, что она пожелала ехать медленно лишь после того, как они уже укрылись от солнца в тени листвы.

Эта аллея из старых лип, подстриженных в виде свода, тянулась вдоль Наветты, бегущей по извилистому руслу между двумя рядами ив. Журчание ее струй, всплески у камней и на крутых поворотах сливались во время всей прогулки в тихую песенку воды. Сырой воздух обдавал свежестью.

Глубоко вдохнув влажную прохладу и наслаждаясь ею, г-жа Марамбаль проговорила:

— Теперь мне лучше... Муж сегодня встал с левой ноги.

Александр ответил:

— О да, сударыня.

Уже тридцать пять лет он служил у них, сперва как денщик офицера, затем как простой слуга, не желая покинуть хозяев, и лет шесть ежедневно после обеда возил хозяйку по узким уличкам города.

В результате этой долгой преданной службы, ежедневного пребывания вдвоем, между хозяйкой и слугой возникла некоторая фамильярность, не лишенная сердечности у нее, почтительности — у него.

Они говорили о домашних делах, как равные. Главной темой их разговоров и предметом беспокойства был скверный характер капитана, испортившийся за время долголетней службы, которая началась блестяще, но протекала без повышений и закончилась без всякой славы.

Г-жа Марамбаль возразила:

— Нет, муж в самом деле встал с левой ноги. Это

бывает с ним часто с тех пор, как он вышел в отставку.

Александр со вздохом дополнил мысль хозяйки:

— О сударыня, скажите лучше, что это бывает с ним ежедневно, да бывало и раньше, когда он еще служил в армии.

— Это правда. Но ведь ему не везло, бедняге. Он начал подвигом, за который уже в двадцать лет получил орден, а потом за целых три десятка лет не пошел дальше капитанского чина, тогда как вначале рассчитывал выйти в отставку по меньшей мере полковником.

— Добавьте, сударыня, что в конце концов он сам во всем виноват. Если б он не был всегда зол, как цепная собака, то начальство больше бы его любило, больше бы ему покровительствовало. Вся беда в том, что господин Марамбаль неуживчив. Чтобы быть на хорошем счету, надо уметь ладить с людьми. Если он так обращается с нами — мы сами виноваты, потому что нам нравится его общество. Но прочие смотрят на дело иначе.

Г-жа Марамбаль погрузилась в раздумье. Уже много лет ей ежедневно приходилось терпеть грубости мужа, за которого она вышла когда-то, давным-давно, потому что он был красивый офицер, уже награжденный, несмотря на молодость, и подавал, как говорили, большие надежды. Как ошибаешься в жизни!

Она сказала:

— Передохните чуточку, бедный мой Александр, вот ваша скамейка.

То была низкая полусгнившая деревянная скамья на повороте аллеи, предназначенная для гуляющих по воскресеньям. Добравшись до этого места, Александр каждый раз несколько минут отдыхал.

Сев на скамью, он привычным горделивым жестом захватил обеими руками свою красивую веерообразную седую бороду, сжал ее, затем пропустил между пальцами до самого кончика и прижал на мгновение к животу, как бы желая лишний раз удостовериться в ее длине.

Г-жа Марамбаль продолжала:

— Я его жена, и если мне приходится терпеть от

него обиды, то это в порядке вещей, это естественно; но вы?.. Никак не могу понять, что заставляет вас сносить их, мой славный Александр!

Слуга неопределенно повел плечами.

— Ну, я-то, сударыня...

Она добавила:

— В самом деле, я часто об этом думала. Когда я вышла за него замуж, вы были его денщиком, и тогда вам ничего не оставалось, как терпеть. Но почему вы после не ушли, если мы платим вам так мало, обращаемся с вами так плохо? Ведь вы могли жить, как все: устроиться, жениться, обзавестись детьми, семьей...

Александр повторил:

— Ну, я, сударыня,— дело другое...

Затем он смолк, дергая себя за бороду, как будто звоня в колокольчик, звучавший внутри, или как будто пытаясь ее оторвать, и глядел в сторону, явно смущенный.

Г-жа Марамбаль продолжала развивать свою мысль:

— Ведь вы не простой крестьянин. Вы получили образование...

Он с гордостью перебил:

— Я учился на землемера, сударыня.

— Ну так зачем же вы остались у нас, испортили себе жизнь?

Он пробормотал:

— Так уж вышло... Так уж вышло... Такой уж у меня нрав...

— При чем тут ваш нрав?

— Да уж если я привязываюсь, то привязываюсь, и конец!

Она рассмеялась:

— Ну, я не поверю, что вы привязались на всю жизнь к Марамбалю за его мягкое обращение и кротость.

Александр завозился на скамье, видимо, растерявшись, и буркнул в свои длинные усы:

— Да не к нему, а к вам!

Старая дама, кроткое лицо которой было увенчано прической из белоснежных волос, ежедневно тщатель-

но заворачиваемых в папильотки и блестящих, точно лебяжий пух, приподнялась в кресле и в крайнем изумлении взглянула на слугу.

— Ко мне, мой бедный Александр? Как это?

Он отвел взгляд в сторону, потом вверх, потом стал смотреть вдаль, отворачиваясь, как это делают робкие люди, вынужденные сознаться в какой-нибудь постыдной тайне. Затем объявил с мужеством солдата, которому приказывают кинуться в огонь:

— Да уж так. В первый же раз, когда я отнес барышне письмо лейтенанта и барышня, улыбнувшись, дала мне двадцать су, тут все и решилось.

Она настаивала, не понимая:

— Да объяснитесь же!

Тогда он выпалил с ужасом обреченного, который признается в преступлении и тем губит себя:

— Я был неравнодушен к вам, сударыня... Вот и все!

Г-жа Марамбаль не ответила, отвернулась, опустила голову и задумалась. Она была добра, прямодушна, умна, кротка и чувствительна.

И она сразу поняла всю безмерную преданность этого бедняги, который отказался от всего, лишь бы жить рядом с нею, не сказав ни разу ни слова. Ей захотелось плакать.

Затем, немного сурово, но нисколько не сердясь, она сказала:

— Вернемся.

Александр поднялся, встал за ее креслом и покатил его.

Приближаясь к городку, они на полдороге встретили капитана Марамбаля, который направлялся к ним.

Едва поравнявшись с женой, он спросил с явным намерением начать ссору:

— Что у нас на обед?

— Цыпленок с фасолью.

Муж вспылил:

— Цыпленок, опять цыпленок, вечно цыпленок, черт побери! Хватит с меня твоих цыплят! Или у тебя совсем пусто в голове, что ты заставляешь меня каждый день есть одно и то же?

Она кротко возразила:

— Но, дорогой, ты же знаешь, что так велел доктор. Ведь это лучше всего для твоего желудка. Если бы не твой больной желудок, ты мог бы есть множество вкусных вещей, но я не решаюсь давать их тебе.

Выйдя из себя, он обрушился на Александра:

— Если у меня больной желудок, то из-за этого скота! Вот уже тридцать пять лет, как он отравляет меня своей дрянной стряпней!

Г-жа Марамбаль внезапно обернулась и посмотрела на старого слугу. Глаза их встретились, и одним взглядом они сказали друг другу: «Спасибо!»

СТАРИК ИУДА

Местность эта поражала своим суровым характером: унылая, пустынная, она отличалась чисто библейской угрюмостью.

Окруженный голыми холмами, поросшими лишь терновником, над которым причудливо поднимались кое-где одинокие, искривленные ветром дубы, простирался большой заросший пруд с черной стоячей водой, где колыхались бесчисленные стебли тростника.

На берегу этого мрачного пруда стоял только один низенький домик, в котором жил старый лодочник, дедушка Жозеф, занимавшийся рыбной ловлей. Еженедельно он относил рыбу в соседние деревни и возвращался со скромными припасами, необходимыми для пропитания.

Мне хотелось повидать этого отшельника, да он и сам как-то предложил мне поехать с ним вытаскивать верши.

Я согласился.

Лодка у него была старая, неуклюжая, вся источенная червями. Худой, костлявый, он греб плавными, однообразными движениями. Покачивание лодки убаюкивало, пустынные дали навевали грусть.

Эти места дышали древностью; первобытным челноком управлял человек, как будто явившийся из другой эпохи, и мне казалось, что я перенесся в первозданный мир.

Старик вытащил сеть и стал бросать рыбу к своим ногам, напоминая движениями библейского рыбака. Потом ему вздумалось показать мне другой конец озе-

ра, и я увидел на берегу развалины — полуразрушенную хижину, на стене которой в последних лучах заходящего солнца виднелся огромный красный крест, словно начертанный кровью.

— Что это такое? — спросил я.

Старик поспешно перекрестился и ответил:

— Там умер Иуда.

Я не удивился, словно ждал этого странного ответа, но все же переспросил:

— Иуда? Какой Иуда?

Он ответил:

— Вечный Жид, сударь.

Я попросил рассказать мне легенду.

Но оказалось, что это не легенда, а событие из жизни, происшедшее не так давно, ибо дедушка Жозеф знавал этого человека.

Некогда в этой хижине жила высокая женщина, какая-то нищенка, кормившаяся подаяниями. От кого к ней перешла эта лачуга, дедушка Жозеф не помнил.

Однажды вечером седобородый старик, которому на вид было чуть не двести лет, едва державшийся на ногах, проходя мимо, попросил милостыню у нищей.

Она ответила:

— Присаживайтесь, отец! Все, что здесь есть, принадлежит всем, потому что пожертвовано всеми.

Он сел на камень у порога. Женщина разделила с ним и хлеб, и ложе из листьев, и лачугу.

С тех пор он остался у нее. Его странствия кончились.

Дедушка Жозеф добавил:

— Видно, пресвятая дева позволила сделать это; ведь когда-то одна женщина оказала гостеприимство Иуде. Ибо старый бродяга был, без сомнения, Вечный Жид.

Люди не сразу узнали его, но вскоре перестали сомневаться, так как он по старой привычке продолжал бродить по окрестностям. Их догадка подтверждалась еще одним обстоятельством. Женщину, у которой поселился незнакомец, считали еврейкой, так как ее никогда не видели в церкви.

Ее на десять лье вокруг звали не иначе, как «жидовкой».

Маленькие дети, увидав, что она пришла за подаянием, кричали:

— Мама, мама, вот жидовка!

Теперь она бродила по окрестностям вместе со стариком. Они протягивали руки у всех дверей, клянчили, идя следом за прохожими. Их можно было встретить в любое время дня: то они брели по глухим тропинкам между селами, то в жаркий полдень жевали хлеб в тени одинокого дерева.

И нищего прозвали в этих местах «стариком Иудой».

Однажды он принес в суме двух живых поросят, которых ему подарили на одной ферме за то, что он вылечил хозяина от какой-то болезни.

После этого он перестал нищенствовать и занялся выращиванием своих свиней. Он пас их на берегу пруда, под одинокими дубами, и в соседних лощинках. Женщина по-прежнему бродила, собирая подаяние, но к вечеру всегда возвращалась домой.

Старик тоже никогда не ходил в церковь, и никто не видел, чтобы он осенял себя крестом, проходя мимо распятия. Все это вызывало немало толков.

Как-то почью нищая, приютившая его, заболела лихорадкой: ее трясло, как лист на ветру. Он пошел в местечко за лекарствами, а потом затворился с нею, и его не видели целую неделю.

Кюре, услыхав, что «жидовка» при смерти, решил навестить умирающую, напутствовать и причастить ее. Была ли она в самом деле еврейкой? Никто точно не знал. Во всяком случае, он хотел попытаться спасти ее душу.

Но не успел кюре постучать в дверь, как старик Иуда появился на пороге. Он задыхался, глаза его горели, борода развевалась, похожая на струящийся поток. Осыпая священника бранными словами на каком-то неизвестном языке и расставив худые руки, он преградил ему вход.

Кюре пытался говорить, предлагая деньги и помощь,

но старик продолжал бормотать проклятия и делал вид, что собирается бросить в него камень.

Священник вынужден был уйти, преследуемый бранью нищего.

На другой день женщина умерла. Старик сам похоронил ее недалеко от хижины. Люди эти так мало значили, что никто не обратил внимания на ее смерть.

А он опять начал пасти своих свиней на берегу пруда и на склонах холмов. Частенько ему приходилось и просить милостыню, чтобы прокормиться. Но теперь ему почти ничего не подавали, так как о нем ходило уж очень много всяких слухов. И всем было известно, как грубо он обошелся с кюре.

Вдруг старик исчез. Это было на страстной неделе. Никого это не обеспокоило.

Но в понедельник на святой парни и девушки, прогуливаясь возле пруда, услыхали в хижине сильный шум. Дверь была заперта; ее выломали, и из дома выскочили две свиньи. Прыгая, как козлы, они убежали, и больше их никто не видел.

Войдя, люди обнаружили обрывки одежды, шапку нищего, кости, засохшую кровь и череп с остатками мяса во впадинах.

Старик был съеден свиньями...

Дедушка Жозеф добавил:

— И случилось это, сударь, в страстную пятницу, в три часа дня.

Я спросил:

— Откуда вы знаете?

Он ответил:

— Тут нечего и сомневаться.

Я не стал доказывать ему, насколько естественно было, что голодные животные съели хозяина, внезапно умершего в хижине.

Что касается креста на стене, то он появился однажды утром; и никто не знал, чья рука изобразила его красной краской такого странного цвета.

С тех пор все уверились в том, что Вечный Жид умер именно здесь.

Я и сам верил в это целый час.

МИЛЛИОН

Это была скромная чета. Муж, письмоводитель министерства, аккуратный и старательный чиновник, добросовестно выполнял свои обязанности. Его звали Леопольд Боннен. Молодой невзрачный человек, он думал обо всем так, как полагалось думать. Получив религиозное воспитание, он, однако, стал менее верующим после того, как Республика начала добиваться отделения церкви от государства. В коридорах министерства Боннен говорил во всеуслышание: «Я религиозен, даже очень религиозен, я верю в бога, но я не клерикал». Прежде всего он стремился прослыть честным человеком и, возглашая об этом, колотил себя в грудь. Действительно, он был честен в общепринятом смысле этого слова: вовремя приходил на службу, вовремя уходил, не слонялся по коридорам и старался быть аккуратным в денежных делах. Женился он на дочери небогатого сослуживца, сестра которого, вышедшая замуж по любви, владела миллионным состоянием и так как была бездетна — что весьма ее огорчало,— то свой капитал могла оставить только племяннице.

Это наследство заполняло все помыслы супругов. О нем говорили и дома и во всем министерстве; все знали, что «Боннены получат миллион».

У молодых супругов также не было детей, но они и не стремились их иметь, живя мирно и спокойно, как все порядочные, но ограниченные люди. У них была чистенькая, благоустроенная, тихая квартирка, они были

во всем умеренны и скромны; ребенок, казалось им, нарушил бы их жизненный уклад, их уют, их покой.

Боннены не прилагали особых стараний, чтобы остаться без потомства, но раз небо не посылало детей — тем лучше.

Тетка-миллионерша была весьма огорчена их бесплодием и давала советы, как добиться рождения ребенка. Сама она некогда безуспешно испробовала множество средств, рекомендованных друзьями или гадалками; с тех пор, как она вышла из возраста, когда можно иметь детей, ей указали немало других способов, считавшихся вполне надежными. Досадуя, что не может испробовать их на себе, она с тем бо́льшим рвением предлагала их племяннице и ее мужу и беспрестанно осведомлялась:

— Ну что, пытались вы сделать так, как я вам советовала?

Тетка умерла. В глубине души супруги почувствовали тайную радость, которую обычно прячут под трауром и от самих себя и от других. Люди облекаются в черное, но душа их трепещет от ликования.

Их уведомили, что завещание находится у нотариуса, и, выйдя из церкви, они поспешили в его контору.

Тетка, верная неотступной мысли, преследовавшей ее всю жизнь, оставила свой миллион их будущему первенцу, с тем чтобы родители пользовались доходами с капитала до самой своей смерти. Если же в течение трех лет у молодых супругов не будет ребенка, весь капитал пойдет в пользу бедных.

Боннены были поражены, убиты. Муж даже заболел и целую неделю не ходил на службу. Поправившись, он решил во что бы то ни стало сделаться отцом.

В течение шести месяцев он так усердно добивался этого, что превратился в тень. Он припоминал теперь все тетушкины средства и добросовестно пускал их в ход, но все было напрасно. Отчаяние вызывало искусственный подъем сил, который чуть не стал для него роковым.

У него развилось малокровие; начали опасаться чахотки. Доктор, с которым он посоветовался, напугал его и заставил вернуться к спокойному образу жизни,

даже более спокойному, чем раньше, назначив ему укрепляющий режим.

Веселые слухи поползли по министерству: все знали про неудачу с завещанием и во всех отделах острили насчет знаменитой «истории с миллионом». Одни давали Боннену шутливые советы, другие нагло предлагали помочь выполнению условия, которое приводило супругов в отчаяние. В особенности дразнил Боннена высокий холостяк, пользовавшийся репутацией заядлого прожигателя жизни и славившийся в канцелярии своими успехами у женщин; он приставал к Боннену с намеками, игривыми шутками и утверждал, что в какие-нибудь двадцать минут обеспечит ему получение наследства.

Наконец Леопольд Боннен рассердился и однажды, засунув перо за ухо, вскочил и выкрикнул ему прямо в лицо:

— Милостивый государь, вы подлец! Если бы я не уважал себя, то плюнул бы вам в физиономию!

Были выбраны секунданты, и это всполошило все министерство на целых три дня. Секундантов то и дело встречали в коридорах: они обменивались протоколами и сообщали друг другу свою точку зрения на дело. Наконец формулировка извинения была единогласно принята всеми четырьмя уполномоченными, а также обеими заинтересованными сторонами; последние с важностью обменялись поклонами и рукопожатием в присутствии начальника отдела, пробормотав несколько слов в знак извинения.

В течение следующего месяца они раскланивались друг с другом подчеркнуто вежливо и чересчур церемонно, как противники, очутившиеся лицом к лицу. Затем, когда они однажды столкнулись друг с другом на повороте коридора, Боннен осведомился с учтивостью, полной достоинства:

— Надеюсь, сударь, я вас не задел?

Тот ответил:

— Нисколько, сударь!

С этих пор они сочли уместным обмениваться при встречах несколькими словами. Затем мало-помалу перешли на дружескую ногу, привыкли быть вместе, прониклись взаимным уважением, как люди, понявшие,

что раньше каждый из них ошибался насчет другого, словом, стали неразлучны.

Но семейная жизнь Леопольда была теперь невыносима. Жена изводила его обидными намеками, мучила колкими замечаниями. А время шло; уже миновал год со дня смерти тетки. Казалось, о наследстве нечего было и думать.

Садясь за стол, г-жа Боннен говорила:

— Обед у нас неважный. Все было бы иначе, будь мы богаты.

Когда Леопольд уходил на службу, жена замечала, подавая ему палку:

— Если бы у нас было пятьдесят тысяч ливров ренты, тебе не пришлось бы корпеть над своими бумажонками.

Выходя из дому в дождливый день, г-жа Боннен ворчала:

— Будь у нас карета, мне не пришлось бы тащиться по грязи в такую погоду...

Словом, постоянно, по малейшему поводу она упрекала мужа в чем-то постыдном, сваливая на него одного всю ответственность за потерю наследства.

Наконец, рассердившись, он повел ее к известному врачу. Тот после долгой консультации высказался неопределенно, заявив, что не видит ничего особенного. Такие случаи, по его словам, встречаются довольно часто, тела могут быть столь же различны, как и души; и если многие супруги расходятся из-за несоответствия характеров, то не удивительно, что некоторые в браке не имеют потомства вследствие физического несоответствия. Это открытие обошлось им в сорок франков.

Между супругами началась война, непрерывная, ожесточенная война; они возненавидели друг друга. Г-жа Боннен беспрестанно повторяла:

— Какое несчастье — лишиться богатства из-за того, что вышла замуж за дурака!

Или:

— Подумать только, что если бы я вышла за другого, у меня было бы теперь пятьдесят тысяч ливров ренты!

Или же:

— Бывают люди, которые всем портят жизнь. Они всем в тягость.

Обеды и особенно ужины стали невыносимы. Не зная, что делать, Леопольд однажды вечером, опасаясь домашней сцены, привел с собой приятеля, Фредерика Мореля, того самого, с которым чуть не подрался на дуэли. Вскоре Морель стал другом дома; муж и жена внимательно выслушивали его советы.

Оставалось лишь полгода до истечения срока, после которого миллион должен был пойти в пользу бедных. Постепенно Леопольд стал иначе обращаться с женой, сам нападал на нее, часто делал туманные намеки и с таинственным видом заговаривал о том, как жены его сослуживцев помогали мужьям делать карьеру.

Время от времени он рассказывал какую-нибудь историю внезапного повышения в должности того или иного сослуживца.

— Маленький Равино,— говорил он,— целых пять лет был сверхштатным, а теперь назначен помощником начальника отдела.

Г-жа Боннен замечала:

— Конечно, ты бы не сумел так выдвинуться.

Леопольд пожимал плечами.

— Понятно, почему ему повезло больше, чем другим. У него умная жена, только и всего. Она сумела понравиться начальнику и добивается всего, чего хочет. Надо уметь устраивать свои дела, чтобы не стать жертвой обстоятельств.

Что в сущности он хотел сказать? Как она его поняла? Что произошло затем? Они отмечали, каждый в своем календаре, сколько дней осталось до рокового срока. По мере того как шли недели, супруги чувствовали, что ими овладевает бешенство, безумная ярость, неудержимая злоба, такое отчаяние, что они готовы были на преступление, если бы это понадобилось.

Но вот однажды утром г-жа Боннен, с сияющим лицом и блестящими глазами, положив обе руки на плечи мужа, тихо сказала, глядя на него пристально и радостно, взором, проникающим в самую глубь души:

— Я, кажется, беременна!

Сердце у него забилось так сильно, что он чуть не

упал; он порывисто заключил жену в объятия, страстно расцеловал ее, посадил к себе на колени, снова крепко обнял, словно любимого ребенка, и от волнения разрыдался.

Через два месяца не оставалось уже никаких сомнений. Тогда он повел жену к врачу, чтобы удостоверить беременность, и с полученным свидетельством явился к нотариусу, у которого хранилось завещание.

Представитель закона объявил, что он согласен отсрочить до конца беременности выполнение воли умершей, так как ребенок существует, хотя еще и не появился на свет.

Родился мальчик, которого они назвали Дьедонне, как было принято у королей.

Они стали богаты.

Однажды вечером, когда г-н Боннен вернулся домой и ждал своего приятеля, Фредерика Мореля, жена непринужденно сказала ему:

— Я просила твоего друга Фредерика больше не бывать у нас; он вел себя со мною не совсем почтительно.

Секунду Леопольд смотрел на нее с признательной улыбкой, затем раскрыл объятия; она прижалась к нему, и они долго-долго целовались, как парочка любящих, нежных, привязанных друг к другу добропорядочных супругов.

И стоит послушать, как г-жа Боннен говорит о женщинах, которые согрешили из-за любви или изменили мужьям в непреодолимом порыве страсти!

СТРАХ

Поезд мчался в темноте на всех парах.

В купе никого не было, кроме меня и старого господина, который сидел напротив и смотрел в окно. В этом вагоне поезда Париж — Лион — Марсель, прибывшем, вероятно, из Марселя, остро пахло карболкой.

Ночь стояла безлунная, душная, жаркая. Звезд не было видно, и мчащийся поезд обдавал нас горячим, влажным, тяжелым дыханием.

Уже три часа, как мы выехали из Парижа. Теперь мы проезжали по центральной части страны, ничего не видя кругом.

Вдруг перед нашими глазами мелькнули, точно фантастическое видение, два человека, стоявшие в лесу у большого костра.

Они вынырнули из темноты лишь на миг. Это были, как нам показалось, двое бродяг; костер бросал красноватый отблеск на их лохмотья. Они повернулись к нам бородатыми лицами. Вокруг, словно декорации в драме, высились деревья. Зелень была яркая и сочная, отчетливо выделялись стволы, освещенные пламенем; листва вся сквозила, пронизанная и как бы омытая светом.

Затем все снова погрузилось во мрак.

Поистине это была странная картина. Что делали в лесу эти бродяги? Зачем они развели костер в такую жаркую ночь?

Мой сосед поглядел на часы и сказал:

— Ровно полночь, сударь! Мы видели странное зрелище.

Я согласился, и мы разговорились, стараясь угадать, кто же были эти люди: преступники, уничтожавшие следы злодеяния, или знахари, готовившие волшебное зелье? Не зажигают же такой костер в лесу летом в полночь, чтобы сварить похлебку. Что же они делали?

Мой сосед оказался общительным. Это был старик, род занятий которого я никак не мог определить. Без сомнения, большой оригинал, человек очень образованный, но как будто со странностями.

Впрочем, разве скажешь, кто мудр, а кто безумен в этой жизни, где рассудок часто следовало бы назвать глупостью, а безумие — гениальностью?

Он заговорил:

— Я доволен, что увидел это. В течение нескольких минут я испытывал давно исчезнувшее ощущение.

Какой жуткой была, должно быть, земля в те времена, когда она хранила столько тайн!

По мере того как с неведомого срывают покровы, воображение людей истощается. Не находите ли вы, сударь, что ночь опустела и мрак стал довольно скучным с тех пор, как исчезли призраки?

Говорят: нет больше ничего фантастического, забыты суеверия, все необъяснимое стало объяснимым. Сверхъестественное иссыхает, как озеро, из которого отводят каналом воду; наука день за днем отодвигает границы чудесного.

Но я, милостивый государь, принадлежу к старому поколению, которому нравится верить. Я принадлежу к наивному старому поколению, к тому поколению, которое привыкло не понимать, не знать, не доискиваться причин; оно примирилось с тем, что его окружают тайны, и отвергает простые, ясные истины.

Да, сударь, наша фантазия оскудела с тех пор, как перестали верить в невидимое, теперь мир кажется нам покинутым, пустым и голым. Исчезли верования, делавшие его поэтичным.

Когда я выхожу ночью, мне так и хочется вздрогнуть от страха, от того жуткого страха, который заставляет старух, проходящих мимо кладбищенской ограды,

креститься, а суеверных людей — убегать от причудливых болотных туманов и капризных блуждающих огней! Как мне хотелось бы верить во что-нибудь таинственное, устрашающее, что как будто происходит во мраке...

Каким угрюмым, пугающим должен был казаться вечерний сумрак в те времена, когда его населяли выдуманные, неведомые существа, блуждающие, злобные, способные принять любой образ! Страх перед ними леденил сердце, их тайная власть выходила за пределы нашего разума, избежать их было невозможно.

Вместе со сверхъестественным с лица земли исчез и настоящий страх, ибо по-настоящему боишься лишь того, чего не понимаешь. Видимая опасность может взволновать, встревожить, испугать. Но что это по сравнению с той дрожью ужаса, которая охватывает вас при мысли о встрече с блуждающим призраком, об объятиях мертвеца, о появлении одного из чудовищ, порожденных напуганной фантазией людей? Мрак кажется мне уже не таким темным с тех пор, как он стал пуст.

Вот вам доказательство: если бы мы сейчас очутились одни в этом лесу, то нас больше тревожила бы мысль об этих странных людях, только что виденных нами у костра, чем страх перед какой-нибудь реальной опасностью.

Он повторил:

— По-настоящему боишься только того, чего не понимаешь.

И вдруг я вспомнил историю, которую как-то в воскресенье у Гюстава Флобера рассказал нам Тургенев.

Не знаю, записана ли она им или нет.

Никто лучше великого русского писателя не умел пробудить в душе трепет перед неведомым, показать в причудливом таинственном рассказе целый мир пугающих, непонятных образов.

Он умел внушить нам безотчетный страх перед незримым, боязнь неизвестного, которое притаилось за стеной, за дверью, за видимой жизнью. Он озарял на-

ше сознание внезапными проблесками света, отчего страх только возрастал.

Порою, слушая его, мы постигали смысл странных совпадений, неожиданных стечений обстоятельств, на вид случайных, но на самом деле руководимых какой-то скрытой, тайной волей. Общение с ним помогало найти незаметную нить, таинственным образом ведущую нас сквозь жизнь, как сквозь смутный сон, смысл которого все время ускользает от нас.

Он не вторгался смело в область сверхъестественного, как Эдгар По или Гофман, в его простых рассказах жуткое и непонятное сплетались в одно.

В тот день он тоже сказал: «Боишься по-настоящему лишь того, чего не понимаешь».

Он сидел или скорее лежал в глубоком кресле; руки его свисали, ноги были вытянуты; седые волосы и борода, струившаяся серебристым потоком, придавали ему вид бога-отца или овидиевского речного божества.

Он говорил медленно, несколько лениво,— что сообщало его речи особую прелесть,— чуть-чуть запинаясь, как будто с трудом подбирая слова, но это только подчеркивало точность и красочность его выражений. Светлые, широко раскрытые глаза отражали, словно глаза ребенка, все движения его мысли.

Вот что он нам рассказал.

Будучи еще молодым, он как-то охотился в русском лесу. Он бродил весь день и к вечеру вышел на берег тихой речки.

Она струилась под сенью деревьев, вся заросшая травой, глубокая, холодная, чистая.

Охотника охватило непреодолимое желание окунуться в эту прозрачную воду. Раздевшись, он бросился в нее.

Он был высокого роста, силен, крепок и хорошо плавал.

Он спокойно отдался на волю течения, которое тихо его уносило. Травы и корни задевали тело, и легкое прикосновение стеблей было приятно.

Вдруг чья-то рука дотронулась до его плеча.

Он быстро обернулся и увидел страшное существо, которое разглядывало его с жадным любопытством.

Оно было похоже не то на женщину, не то на обезьяну. У него было широкое морщинистое гримасничающее и смеющееся лицо. Что-то неописуемое — два каких-то мешка, очевидно, груди, болтались спереди; длинные спутанные волосы, порыжевшие от солнца, обрамляли лицо и развевались за спиной.

Тургенев почувствовал дикий страх, леденящий страх перед сверхъестественным.

Не раздумывая, не пытаясь понять, осмыслить, что это такое, он изо всех сил поплыл к берегу. Но чудовище плыло еще быстрее и с радостным визгом касалось его шеи, спины и ног. Наконец молодой человек, обезумевший от страха, добрался до берега и со всех ног пустился бежать по лесу, бросив одежду и ружье.

Страшное существо последовало за ним; оно бежало так же быстро и по-прежнему взвизгивало.

Обессиленный беглец — ноги у него подкашивались от ужаса — уже готов был свалиться, когда прибежал вооруженный кнутом мальчик, пасший стадо коз. Он стал хлестать отвратительного человекоподобного зверя, который пустился наутек, крича от боли. Вскоре это существо, похожее на самку гориллы, исчезло в зарослях.

Оказалось, что это была сумасшедшая, жившая в лесу уже свыше тридцати лет; ее кормили пастухи. Половину своей жизни она проводила, плавая в речке.

И великий русский писатель добавил:

— Никогда в жизни я так не пугался, потому что не мог понять, что это было за чудовище.

Мой спутник, которому я рассказал это приключение, согласился:

— Да, боишься только того, чего не понимаешь. Дикую судорогу души, называемую ужасом, испытываешь лишь тогда, когда к испугу примешивается суеверный страх, свойственный людям минувших столетий. Я ощутил этот ужас во всей его полноте, и притом из-за такого пустяка, из-за такой чепухи, что мне стыдно об этом и рассказывать.

Я путешествовал по Бретани, пешком, один. Я уже обошел Финистер, пустынные обнаженные ланды, где растет лишь терновник вокруг огромных камней, священных и часто посещаемых. Накануне я побывал на угрюмом мысе Раз, оконечности Старого света, о которую непрерывно разбиваются волны Атлантики и Ламанша, и мой ум был полон прочитанными или услышанными легендами и сказаниями об этой стране преданий и суеверий.

Я шел ночью из Пенмарша в Пон-л'Аббе. Знаете ли вы Пенмарш? Это плоский, отлогий берег, такой низкий, что кажется ниже уровня моря. Море видно отовсюду, седое, грозное; оно усеяно рифами, покрытыми пеной, как пасти разъяренных зверей.

Я поужинал в рыбацкой харчевне и шел теперь прямой дорогой, пролегавшей по ландам. Было очень темно.

Время от времени попадались высокие друидические камни, похожие на призраки, следившие за мною, и мало-помалу в мое сердце закрадывался смутный страх. Чего я боялся? Я не знал и сам. Бывают вечера, когда кажется, что тебя обступают духи, когда душа беспричинно трепещет, а сердце бьется сильнее от непонятного страха перед чем-то необъяснимым, об исчезновении которого из нашей жизни я сожалею.

Путь казался мне долгим, нескончаемо долгим. Дорога была пустынна.

Ни звука, только плеск волн за спиной. Иногда этот монотонный грозный шум казался близким, таким близким, как если бы волны, увенчанные пенистыми гребнями, преследовали меня по пятам, катясь по равнине; и я испытывал желание помчаться со всех ног, спасаясь от них.

Ветер дул порывами, свистя в терновых кустах. И хоть я шел очень быстро, мне было холодно, противный холодок страха пробегал по рукам и ногам.

О, как хотелось кого-нибудь встретить!

Стало так темно, что я с трудом различал дорогу.

Вдруг послышался далеко впереди стук колес. Я решил: «Ага, повозка!» Затем все смолкло.

Через минуту тот же звук раздался ясно и теперь уже ближе.

Правда, огней не было видно, но я подумал: «Они ездят без фонарей, и это не удивительно в таком захолустье».

Шум то затихал, то возобновлялся. Он был слишком слаб для телеги; к тому же я не слышал звука копыт; это меня удивило, так как ночь была очень тихая.

Я старался угадать: что бы это могло быть?

Звуки приближались быстро, очень быстро. Но слышался только стук колес: ни шагов, ни звяканья подков — ничего. Что же это такое?

Теперь шум был совсем близко. В порыве инстинктивного страха я бросился в канаву и увидел, как мимо прокатилась... тележка. Она двигалась сама собой... никто ее не толкал. Да, тележка... совершенно одна...

Сердце у меня забилось так сильно, что я опустился на траву и долго слушал стук колес, удалявшихся по направлению к морю. Я не решался ни подняться, ни идти, ни даже шевельнуться. Если бы она вернулась и стала преследовать меня, я бы умер от страха!

Я не скоро пришел в себя, очень не скоро. И в течение остального пути меня томил такой страх, что от малейшего шороха дыхание у меня прерывалось.

Ну, не глупо ли? А как я испугался! Позднее, думая об этом, я понял, что тележку, без сомнения, толкал босой ребенок, а я искал человеческую голову на обычной высоте.

Вы понимаете, когда в душу уже закрался страх перед сверхъестественным... так страшно увидеть тележку, которая катится сама собой... какая жуть!

Он помолчал, затем продолжал:

— Знаете ли, сударь, мы присутствуем при любопытном и ужасном зрелище — вторжении холеры.

Слышите запах карболки, которым пропитаны вагоны? Это значит, что холера близка.

Побывать бы сейчас в Тулоне! Ясно чувствуется, что она там. И вовсе не от страха перед болезнью обезумели люди. Холера — нечто иное, это Невидимка, это бич древних времен, что-то вроде злого духа, возвращение которого и удивляет и ужасает нас, ибо он явился из глубины минувших столетий.

Мне смешны доктора с их микробами. Не эти козявки так пугают людей, что они готовы прыгать из окон,

а Холера — непонятная, ужасная гостья, пришедшая с Востока.

Поезжайте в Тулон: там на улицах пляшут.

Зачем плясать в дни смерти? На равнине вокруг города зажигают фейерверк, все горит огнями; в местах общественных гуляний оркестры играют веселые мотивы.

Зачем все эти безумства?

Потому что Она здесь, и люди бравируют своим отношением — не к микробам, а к ней, к Холере, хотят казаться бесстрашными, как перед лицом врага, скрывающегося, подстерегающего. Вот почему танцуют, смеются, кричат, зажигают огни, играют вальсы — все из-за этого несущего смерть злого духа, чье незримое грозное присутствие ощутимо повсюду. Холера подобна одному из тех гениев зла, которых заклинали в древности языческие жрецы.

ЛАСКИ

Нет, нет, мой друг, не думайте больше об этом. То, чего вы от меня хотите, возмущает меня, вызывает во мне отвращение. Можно подумать, что господь — ведь я верю в бога — пожелал ко всему благому, что он сотворил, примешать малую толику безобразного. Он дал нам любовь, самое чудесное, что есть на свете, но нашел, что она слишком прекрасна и чиста для нас, и создал чувственность, низкую, грязную, возмутительную, грубую чувственность; и выдумку эту он как бы в насмешку связал со всем нечистым в нашем теле, сделав так, что мы не можем думать об этом не краснея, не можем говорить об этом иначе, как шепотом. Проявления чувственности отвратительны, позорны. Их скрывают, ибо они возмущают душу, оскорбляют взоры; они осуждены моралью, преследуются законом, и люди отдаются страсти во мраке, словно совершая преступление.

Никогда не просите меня об этом, никогда!

Не знаю, люблю ли я вас,— просто мне с вами хорошо, ваш взгляд мне приятен, ваш голос ласкает мой слух. Но если, воспользовавшись моей слабостью, вы добьетесь того, чего хотите,— вы сразу станете мне ненавистны. Порвутся незаметные узы, соединяющие нас друг с другом, и нас разделит зияющая пропасть бесчестья.

Пусть наши отношения останутся прежними. И... любите меня, если хотите, я позволяю.

Ваш друг

Женевьева.

Сударыня, разрешите и мне, в свою очередь, поговорить с вами напрямик, без обиняков и любезностей — словом, так, как я стал бы говорить с другом, собравшимся навсегда уйти в монастырь.

Я тоже не знаю, люблю ли вас. По правде сказать, я понял бы это лишь после того самого, что так возмущает вас.

Помните стихи Мюссе:

> Чудесен этот миг или ужасен он?
> Могу ли позабыть я эти спазмы, стон,
> И поцелуй немой, и страсти натиск грубый,
> И бледное лицо, и стиснутые зубы?

Мы, мужчины, тоже испытываем подчас чувство омерзения и непреодолимого отвращения, когда, увлеченные властным порывом инстинкта, унижаемся до случайной связи. Но если женщина — наша избранница, всегда полная обаяния, неотразимо влекущая, как вы влечете меня, то обладание становится счастьем, самым жгучим, самым полным, самым безграничным.

Ласки, сударыня,— это испытание любви. Если после объятий наш пыл угасает — значит, мы обманулись. Если же он растет — значит, мы любим.

Некий философ, не признававший эту теорию, предостерегал против западни, расставленной нам природой. Природе нужны живые существа, говорил он, и, чтобы заставить нас создавать их, она кладет у ловушки двойную приманку: любовь и сладострастие. И он добавлял: лишь только мы попадемся, лишь только минутное опьянение пройдет — нас охватывает беспредельная грусть, ибо мы понимаем, как хитро нас обманули, мы видим, чувствуем, осязаем скрытую, тайную причину, толкнувшую нас вопреки воле в эту западню.

Так бывает часто, очень часто. И мы встаем тогда с отвращением. Природа победила нас, бросила нас по своей прихоти в раскрывшиеся объятия, ибо она хочет, чтобы объятия раскрывались.

Да, я знаю холодные, хоть и неистовые поцелуи незнакомых губ, пристальные и горящие взгляды глаз, которых я никогда раньше не видел и никогда боль-

ше не увижу... знаю и все остальное, о чем я не могу вам написать и что оставляет в душе и горечь и тоску.

Но когда облако страсти, называемое любовью, окутывает два существа и они подолгу, постоянно думают друг о друге; когда во время разлуки память продолжает бодрствовать и днем и ночью и в ней непрестанно всплывают черты лица, улыбка, звук голоса; когда всеми думами владеет один, отсутствующий и все же неотступно стоящий перед вами образ — разве не естественно, чтобы объятия наконец раскрылись, чтобы губы приникли к губам, чтобы тела слились?

Неужели вы никогда не испытывали жажды поцелуев? Скажите, разве уста не призывают уста, разве ясный взор, словно проникающий в самое сердце, не будит в вашей крови непреодолимых, пылких желаний?

Это ловушка, гнусная ловушка, скажете вы? Пускай, я это знаю, я готов попасть в нее, я этому рад. Природа научила нас ласкам, чтобы скрыть свою хитрость, чтобы заставить поневоле, без конца плодить новые поколения. Так давайте похитим у нее сладострастие; присвоим его, преобразим, сделаем утонченным, идеальным, если хотите! Обманем, в свою очередь, эту обманщицу Природу! Сделаем больше, чем она хотела, больше того, чему она могла или осмелилась нас научить. Сладострастие — словно необработанный драгоценный камень, добытый в недрах земли; возьмем его и станем шлифовать, чтобы придать ему красоту, не заботясь о первоначальных намерениях, о тайной воле того, кого вы зовете богом. И так как мысль все может сделать поэтичным — опоэтизируем сладострастие, сударыня, даже самые грубые его проявления, самые некрасивые его формы, самые чудовищные его выдумки!

Будем любить сладострастие, как пьянящее вино, как зрелый плод, благоухающий во рту, как все, что переполняет нас счастьем. Будем любить тело, потому что оно красиво, бело и упруго, округло и нежно, сладостно для губ и для рук.

Когда художники искали самую изысканную, самую чистую форму для кубков, из которых Искус-

ство могло бы пить опьяняющую влагу, они выбрали форму женской груди, сосок которой похож на бутон розы.

В одном ученом труде, в *Словаре медицинских наук,* я прочитал определение женской груди, как будто вышедшее из-под пера Жозефа Прюдома, ставшего доктором медицины:

«Грудь женщины можно рассматривать как нечто, приносящее одновременно и пользу и наслаждение».

Отбросим, если не возражаете, пользу и оставим только наслаждение! Неужели грудь имела бы эту восхитительную форму, вызывающую непреодолимое желание ласкать ее, если бы предназначалась только для кормления детей?

О сударыня! Пусть моралисты проповедуют стыдливость, а врачи — осторожность; пусть поэты, эти обманщики, всегда обманывающие самих себя, воспевают чистое слияние душ и беспредельное счастье; пусть некрасивые женщины помнят о своем долге, а рассудительные люди — о своих бесполезных делах; пусть теоретики останутся со своими теориями, а священники — со своими заповедями,— мы же будем любить сладострастие, которое пьянит, сводит с ума, обессиливает, доводит до изнеможения и вновь воскрешает! Оно нежнее благоухания, легче ветерка, острее боли; оно стремительно, ненасытно, заставляет молиться, совершать преступления и подвиги.

Будем любить сладострастие, но не спокойное, обычное, разрешенное законом, а яростное, буйное, исступленное! Будем искать его, как ищут золото и алмазы, ибо оно дороже, оно неоценимо, хотя и мимолетно. Будем вечно гнаться за ним, умирать за него или от него!

Хотите, сударыня, я скажу вам одну истину? Полагаю, вы не найдете ее ни в одной книге. Счастливы лишь те женщины, которых часто ласкают. Они живут без забот, не зная мучительных мыслей, не имея других желаний, кроме желания нового поцелуя, такого же сладостного и утоляющего их жажду, как и предыдущий.

Женщины, которых ласкают мало, неумело или редко, живут, мучимые тысячами жалких забот, тще-

славием, жаждой денег, всякими случайностями, причиняющими столько огорчений.

Но женщины, ласкаемые досыта, ни в чем не нуждаются, ничего не желают, ни о чем не сожалеют. Они грезят, спокойно улыбаясь; их едва задевает то, что для других было бы непоправимым несчастьем, ибо сладострастие заменяет им все, исцеляет от всего, утешает во всем!

Как много я мог бы еще сказать!..

Анри.

Оба эти письма на японской рисовой бумаге были найдены в маленьком сафьяновом бумажнике под скамеечкой в церкви Магдалины, вчера, в воскресенье, после утренней мессы.

СУМАСШЕДШИЙ?

Когда мне сказали: «Знаете, Жак Паран умер в сумасшедшем доме»,— болезненная дрожь пробежала по моему телу; со страхом и тоской вспомнил я этого высокого, странного малого, сошедшего с ума, быть может, уже давно, этого маньяка, внушавшего тревогу и даже ужас.

То был мужчина лет сорока, высокий, худощавый, немного сутулый. Глаза у него были, как у людей, подверженных галлюцинациям: до того черные, что не видно было зрачков, бегающие, беспокойные, блуждающие — глаза душевнобольного. Что за странный человек! Его присутствие волновало, вызывало какое-то болезненное чувство, смутное чувство физического и душевного недомогания, непонятным образом действовало на нервы, заставляло думать о сверхъестественном.

У него была странная привычка или мания — прятать руки. Почти никогда он не дотрагивался ими без нужды до предметов, до стола, как мы постоянно делаем. Сдвигая с места вещи, он никогда не брался за них так, как обычно делают люди. Никогда он не оставлял на виду свои длинные, костлявые, худые, лихорадочно дрожащие руки.

Он либо прятал их в карманы, либо, скрестив под пиджаком, засовывал под мышки. Можно было подумать, что он боялся, как бы они вопреки его воле не сделали чего-нибудь запретного, не совершили чего-

нибудь постыдного или смешного, если предоставить им полную свободу.

Обычно он делал руками резкие, порывистые, торопливые движения, словно стараясь не дать им времени действовать самим, выйти из повиновения, совершить что-нибудь другое. За столом он хватал стакан, вилку, нож с такой быстротой, что за его движениями невозможно было уследить.

Однажды вечером мне удалось узнать причину его поразительной душевной болезни.

Время от времени он проводил несколько дней у меня на даче. В этот вечер его нервы, казалось, были особенно взвинчены.

После убийственно жаркого дня собиралась гроза. Было душно и темно, ни малейшее дуновение ветерка не шевелило листвы. Парило; горячий воздух, как будто шедший из печи, обжигал лица, заставлял учащенно дышать. Я плохо себя чувствовал, тоже нервничал, и мне хотелось поскорее лечь в постель.

Увидев, что я встаю и собираюсь уйти, Жак Паран испуганно схватил меня за руку и воскликнул:

— Не уходи, еще немного побудь!

Я удивленно взглянул на него и сказал:

— Видишь ли, приближение грозы действует мне на нервы.

Он простонал, вернее, выкрикнул:

— А мне-то! Не уходи, прошу тебя! Я не хотел бы оставаться один.

Он совершенно потерял самообладание.

Я спросил:

— Что с тобой? Ты сам не свой.

— Да, иногда, в такие вечера, насыщенные электричеством, я... я боюсь... боюсь самого себя... Не понимаешь? Видишь ли, я одарен могуществом... нет, властью... нет, способностью... словом, не знаю чем, но я ощущаю в себе действие магнетической силы, столь необыкновенной, что боюсь себя... да, боюсь, как уже сказал!

Дрожа, как в лихорадке, он спрятал свои трепещущие руки за отвороты пиджака. И я, вздрогнув, в свою очередь, почувствовал неясный, томящий, мучи-

тельный страх. Мне захотелось уйти, убежать, не видеть Жака, не видеть, как его блуждающий взор то останавливается на мне, то убегает и скользит по потолку или отыскивает угол потемнее, как бы желая в нем спрятаться.

Я пробормотал:

— Ты никогда мне об этом не говорил!

— Разве я кому-нибудь говорю об этом? — возразил он.— Но, слушай, сегодня я не могу молчать. Лучше будет, если ты все узнаешь; быть может, ты сумеешь мне помочь.

Магнетизм! Известно ли тебе, что это такое? Нет. Никто этого не знает. А между тем он существует; это признают и применяющие его врачи; один из известнейших, господин Шарко, пользуется им для лечения. Итак, сомнений нет, магнетизм существует.

Некоторые люди обладают страшной и непонятной способностью — силой воли усыплять других людей и, покуда те спят, похищать их мысли, подобно тому как крадут кошелек. Магнетизер похищает их мысли, то есть душу, а ведь душа — это святилище, тайное тайных нашего «я», сокровенная глубина, куда, как раньше думали, невозможно проникнуть, убежище неисповедимых мыслей, всего, что скрывают, что любят, чего не хотят отдать другим. Он открывает этот тайник, нарушает его святость, выставляет его содержимое напоказ перед взорами публики! Разве это не жестоко, не преступно, не подло?

Зачем и как это делается? Кто знает? И вообще, разве мы что-нибудь знаем?

Все на свете — тайна. Мы общаемся с окружающим только при помощи наших жалких органов чувств, несовершенных, немощных и таких слабых, что вряд ли они в состоянии уловить все, что происходит вокруг нас. Решительно все — тайна. Возьми хоть музыку, это божественное искусство, которое потрясает, опьяняет, очаровывает, сводит с ума... Чем все это вызвано? Ничтожнейшей причиной.

Ты не понимаешь? Слушай. Два тела сталкиваются. Воздух приходит в колебание. Эти колебания более или менее часты, более или менее быстры, более или менее сильны, смотря по характеру удара. А в ушах у нас

крохотный кусочек кожи воспринимает эти колебания и передает их мозгу в виде звуков. Представь себе, что вода превращается у тебя во рту в вино. Барабанная перепонка и осуществляет такую же невероятную метаморфозу, поразительное чудо, превращая движение в звук. Вот и все.

Значит, музыка, такое сложное и таинственное искусство, точное, как алгебра, и расплывчатое, как сон, искусство, сплетенное из математических формул и порывов ветерка, возможно лишь благодаря странной способности крохотного кусочка кожи. Если бы его не существовало, то не было бы и звуков, так как звуки сами по себе — лишь колебания. Не будь у нас ушей, разве мы слышали бы музыку? Нет. Так вот, вокруг нас есть множество такого, о чем мы и не подозреваем, ибо у нас нет органов, способных уловить все это.

Магнетизм, вероятно, относится именно к такого рода вещам Мы можем лишь смутно чувствовать эту силу, с трепетом ощущать близость духов, можем лишь на секунду заглядывать в эту новую тайну природы, ибо не владеем способностью, необходимой для ее раскрытия.

Теперь обо мне... Я одарен некоей ужасной силой. Можно подумать, что во мне живет какое-то другое существо; оно хочет вырваться, действовать вопреки моей воле. Оно подтачивает и истощает мои силы. Кто оно? Не знаю. Но нас двое в моем несчастном теле, и это второе существо часто оказывается сильнее меня.

Стоит мне взглянуть на человека, как он впадает в оцепенение, словно я дал ему дозу опиума. Стоит мне протянуть руки, как происходит нечто... нечто ужасное... Если бы ты знал! О, если бы ты знал! Моя власть простирается не только на людей, но и на животных и даже... на предметы...

Это и мучит и ужасает меня. Часто мне хочется выколоть себе глаза, отрубить руки.

Постой, я хочу, чтобы ты узнал все... Я покажу тебе это... но не на людях, как делают некоторые, а на животном... Позови Мирзу!

Он расхаживал по комнате большими шагами как

одержимый, и вынул руки, спрятанные на груди. Мне стало опять страшно, словно он обнажил две шпаги.

Я машинально повиновался, порабощенный силой его взгляда, дрожа от ужаса, и вместе с тем охваченный непреодолимым желанием видеть, что произойдет. Открыв дверь, я свистнул собаке, лежавшей в передней. Тотчас послышался быстрый стук ее когтей по ступенькам лестницы, и она радостно вбежала, виляя хвостом.

Я велел ей прыгнуть в кресло; собака послушалась, и Жак стал ее гладить, пристально глядя ей в глаза.

Сначала она казалась обеспокоенной: вздрагивала, отворачивалась, чтобы избежать пристального взгляда человека, и ее как будто охватывал все возраставший ужас. Вдруг она начала дрожать всем телом, как иногда дрожат собаки. Она вся трепетала, сотрясаемая дрожью, и порывалась убежать. Но он положил руку на голову животного, и оно протяжно завыло. Так воют собаки в деревне по ночам.

Я и сам чувствовал тяжесть во всех членах, а голова у меня кружилась, как от морской качки. Мне казалось, что мебель качается, стены накренились. Я пробормотал: «Довольно, Жак, довольно!» Но он не слушал, продолжая пристально смотреть на Мирзу. Его взгляд был страшен. Теперь она закрыла глаза и опустила голову, как будто засыпая. Он обернулся ко мне и сказал:

— Готово! Теперь смотри!

И, бросив носовой платок в противоположный угол комнаты, он крикнул:

— Апорт! [1]

Собака поднялась и, пошатываясь, спотыкаясь, точно слепая, волоча лапы, как разбитая параличом, направилась к платку, белевшему у стены. Несколько раз она тщетно пыталась схватить его зубами, но каждый раз попадала мимо, словно не видела его. Наконец она подняла платок и вернулась на место той же неуверенной походкой лунатика.

---

[1] Принеси! *(франц.)*

Это было жуткое зрелище. Он скомандовал: «Куш!»[1] Она легла. Тогда, коснувшись ее лба, он сказал: «Заяц, пиль, пиль!» [2] И собака, лежа на боку, сделала попытку бежать, заворочалась, точно во сне, и коротко залаяла, не открывая рта, как это делают чревовещатели.

Жак, казалось, обезумел. На его лбу выступил пот. Он крикнул: «Куси, куси своего хозяина!» Мирза два — три раза судорожно вздрогнула. Ясно было, что она боролась, сопротивлялась. Он повторил: «Куси его!» И, поднявшись, собака направилась ко мне, а я отступил, дрожа́ от ужаса, подняв ногу, чтобы ударить и оттолкнуть ее.

Но Жак приказал: «Сюда, сейчас же!» Она вернулась. Тогда он стал тереть ей голову своими большими руками, как бы освобождая от невидимых уз.

Мирза открыла глаза.

— Вот и конец,— сказал он

Я не посмел дотронуться до Мирзы и отворил дверь, чтобы ее выпустить. Она медленно ушла, дрожащая, обессиленная, и я снова услышал стук ее когтей по ступенькам.

Жак повернулся ко мне.

— Это еще не все. Больше всего меня пугает, что мне повинуются даже предметы. Смотри!

На столе лежал нож, которым я разрезывал книги. Он протянул к нему руку. Его рука как бы ползла, медленно приближаясь. И вдруг я увидал... да, я увидал, как нож вздрогнул, сдвинулся с места и тихонько сам собой пополз по столу к вытянутой, ожидавшей его руке и скользнул в ее пальцы...

Я вскрикнул от ужаса. Мне казалось, что я схожу с ума, но резкий звук собственного голоса внезапно меня успокоил.

Жак продолжал:

— Я притягиваю все предметы. Вот почему я прячу руки. Что это такое? Магнетизм, электричество, притяжение? Не знаю, но это ужасно.

И понимаешь ли ты, почему это так ужасно? Как

---

[1] Ляг! *(франц.)*

[2] Возьми его! *(франц.)*

только я остаюсь один, я не могу помешать себе притягивать все, что меня окружает.

И я целыми днями сдвигаю предметы с мест, не уставая испытывать свою чудовищную власть над ними: мне словно хочется убедиться, не покинула ли она меня наконец.

Он засунул свои большие руки в карманы и смотрел в темноту.

Послышался легкий шорох, будто тихо зашелестели деревья.

Начинался дождь.

— Как страшно! — пробормотал я.

Он повторил:

— Да, это ужасно.

По листве пробежал шум, как от порыва ветра. Бурный ливень начал хлестать струями.

Жак глубоко и жадно вдохнул воздух, его грудь вздымалась.

— Оставь меня,— сказал он,— дождь меня успокоит. Теперь мне хочется побыть одному.

МОГИЛА

Семнадцатого июля тысяча восемьсот восемьдесят третьего года, в половине третьего ночи, сторож Безьерского кладбища, живший в маленьком домике на краю этой обители мертвецов, был разбужен тявканьем собаки, запертой в кухне.

Он тотчас же сошел вниз и увидел, что собака яростно лает, обнюхивая порог двери, словно чует бродягу, шатающегося вокруг дома. Сторож Венсан взял ружье и осторожно вышел.

Собака побежала по направлению к аллее генерала Бонне и остановилась возле памятника г-же Томуазо.

Неслышно подвигаясь вперед, сторож вскоре заметил огонек в аллее Маланвер. Он пробрался между могилами и стал свидетелем ужасного кощунства.

Какой-то человек разрыл могилу погребенной недавно молодой женщины и вытащил оттуда ее тело.

Потайной фонарик, поставленный на кучу земли, освещал эту отталкивающую сцену.

Сторож Венсан бросился на преступника, повалил его, связал руки и отвел в полицию.

Это оказался местный адвокат, по имени Курбатайль, молодой, богатый, занимавший видное положение.

Его судили. Прокурор напомнил о чудовищных преступлениях сержанта Бертрана, что взволновало публику.

Дрожь возмущения пробежала по залу. Когда прокурор кончил речь и сел, раздались крики: «Смерть ему! Смерть!» Председатель с большим трудом восстановил порядок.

Затем он сурово произнес:

— Подсудимый, что вы можете сказать в свое оправдание?

Курбатайль, не пожелавший взять себе защитника, поднялся.

Это был красивый молодой человек, высокий, смуглый, с энергичными чертами лица, открытым и смелым взглядом.

В публике засвистели.

Он не смутился и начал говорить. Его голос сначала был несколько глухим и тихим, но мало-помалу окреп.

— Господин председатель! Господа присяжные!

Мне нужно сказать немногое. Женщина, могилу которой я осквернил, была моей возлюбленной. Я любил ее.

Я любил ее, но не чувственной любовью и не просто был привязан к ней душой и сердцем; нет, то была безграничная, всепоглощающая, пылкая и безумная страсть.

Выслушайте меня.

Встретив ее впервые, я испытал странное чувство. Это было не удивление, не восторг, не состояние внезапного потрясения: это было чувство блаженства, как если бы я погрузился в теплую ванну. Ее движения были пленительны, ее голос меня обворожил; глядеть на нее было невыразимым наслаждением. И мне казалось, что я уже видел ее когда-то раньше, что я давно ее знаю. В ней было что-то родственное мне по духу.

Она была как бы ответом на призыв моей души, на вечный, безотчетный призыв к Надежде, к которой мы взываем всю жизнь.

Узнав ее ближе, я при одной мысли о встрече с нею испытывал невыразимо глубокое волнение; прикосновение ее рук было для меня счастьем, какого я раньше не мог себе представить. Ее улыбка зажигала в моих глазах безумную радость, возбуждала желание бегать, плясать, кататься по земле.

И вот она стала моей любовницей.

Больше того, она стала моей жизнью.

Я уже ничего на свете не ждал, ничего не желал, ни о чем не мечтал.

Однажды вечером, гуляя вдоль берега реки, мы забрели далеко и попали под дождь. Она простудилась.

На другой день обнаружилось, что у нее воспаление легких. Неделю спустя она скончалась.

Во время ее агонии ужас и смятение помешали мне понять, осмыслить происшедшее.

Когда же она умерла, я так отупел от горя и отчаяния, что в голове у меня не было ни одной мысли. Я только плакал.

Пока тянулась тяжелая процедура похорон, мои острые, невыразимые муки были все же муками безумца, походили на физическую, ощутимую боль.

Когда же ее похоронили, зарыли в землю, мои мысли внезапно прояснились, и я пережил такие ужасные душевные страдания, что даже счастье, которое она мне дала, порою казалось мне купленным слишком дорогою ценой.

И мною овладела навязчивая мысль: «Я больше никогда ее не увижу!»

Если об этом думаешь целый день, можно сойти с ума! Представьте себе: есть женщина, которую вы обожаете, единственная, ибо во всем мире нет похожей на нее. Эта женщина отдается вам, вступает с вами в таинственный союз, называемый Любовью. Ее глаза, так ласково вам улыбающиеся, кажутся вам необъятнее Вселенной, прекрасней всего существующего в мире. Эта женщина любит вас, и когда она говорит с вами, ее голос переполняет вас счастьем.

И вдруг она исчезает! Вы только представьте это себе! Она исчезает не только для вас, но для всех, навсегда. Она умерла. Понятно ли вам это слово? Никогда, никогда и нигде не будет больше существовать эта женщина! Эти глаза никогда ничего не увидят; ни один женский голос никогда не произнесет слова так, как произносила их она.

Никогда не возродится лицо, похожее на ее лицо. Никогда, никогда! Сохраняют формы, в которых отливались статуи; берегут слепки, чтобы воссоздать предметы, их очертания, даже их цвет. Но это тело, это лицо никогда уже не появится на земле. Родятся тысячи человеческих существ, миллионы, миллиарды и даже еще больше, но среди будущих женщин никогда не

найдется такой. Возможно ли? От таких мыслей сходят с ума!

Она жила на свете двадцать лет, не больше, и исчезла навсегда, навсегда, навсегда!

Она думала, улыбалась, любила меня. И ее нет! Мы в этом мире не больше, чем гибнущие осенью мухи. Ее нет! И я представил себе, как ее тело, такое молодое, горячее, нежное, белое, прекрасное, будет теперь гнить в деревянном ящике под землей. А ее душа, ее мысли? Где они?

Я больше не увижу ее! Не увижу! Меня преследовала мысль об этом разлагающемся теле, которое я, может быть, все-таки узнаю. И я решил взглянуть на него еще раз.

Взяв заступ, фонарь, молоток, я перелез через стену кладбища, нашел ее могилу — она была еще не совсем засыпана.

Я освободил гроб от земли и приподнял крышку. Ужасный смрад, отвратительный запах гниения пахнул мне в лицо. О, ее постель, благоухавшая ирисами!

Все же я открыл гроб, осветил его фонарем и увидал ее. Лицо было синим, распухшим, страшным... Струйка черной жидкости текла у нее изо рта.

И это она! Она! Меня охватил ужас. Но все же я протянул руку и взял ее за волосы, чтобы привлечь к себе это отталкивающее лицо.

В этот самый момент меня схватили.

И как после любовных объятий еще чувствуешь аромат женщины, всю ночь я ощущал ужасный запах гнили, запах моей возлюбленной...

Делайте со мной, что хотите.

Мертвая тишина царила в зале. Казалось, все ждали чего-то. Присяжные удалились на совещание.

Когда они через несколько минут вернулись, подсудимый не обнаруживал признаков страха и, казалось, ни о чем не думал.

Председатель объявил, что присяжные признали его невиновным.

Он не шевельнулся, но в публике раздались рукоплескания.

КРОПИЛЬЩИК

Когда-то он жил в домике у большой дороги, недалеко от въезда в деревню. Женившись на дочери местного фермера, он стал тележником, и так как он и его жена усердно работали, то скопили маленькое состояние. Но у них не было детей, и это их очень огорчало. Наконец родился сын; они назвали его Жаном и наперерыв ласкали его, окружали заботами и так горячо любили, что и часа не могли без него прожить.

Когда ему было пять лет, в их городок приехали странствующие акробаты и раскинули на площади мэрии свой балаган.

Увидав их, Жан убежал из дому, и отец после долгих поисков нашел его среди дрессированных коз и собак, проделывающих всякие штуки. Мальчик громко смеялся, сидя на коленях у старого клоуна.

Через три дня, садясь ужинать, тележник и его жена заметили, что сына нет дома. Они стали искать его в саду, но не нашли. Отец вышел на дорогу, крича изо всей силы: «Жан!» Наступал вечер. Горизонт затянулся мглой, и очертания предметов тонули в пугающей темной дали. Три больших ели, росших неподалеку, казалось, стонали. Никто не отзывался, но в воздухе словно прозвучало чье-то рыдание. Отец долго прислушивался, ему все мерещилось, что на его зов откликались то справа, то слева, и он растерянно кидался в темноту, беспрерывно крича: «Жан, Жан!»

Он искал сына до самого рассвета, и его крики раздавались во мраке, пугая бродячих собак. Он был убит

горем; временами ему казалось, что он сходит с ума. Его жена, сидя на камне перед дверью, проплакала всю ночь напролет.

Их сын так и не нашелся.

Безутешные, они жили в глубокой печали и быстро старели.

В конце концов они продали свой дом и отправились разыскивать ребенка.

Они расспрашивали пастухов на холмах, бродячих торговцев, крестьян в деревнях, городские власти. Прошло много времени с тех пор, как мальчик исчез; никто ничего о нем не знал, да, наверное, и сам он позабыл уже свое имя и откуда он родом; родители оплакивали его, потеряв всякую надежду на встречу.

Вскоре они прожили все деньги. Им пришлось наниматься на поденщину в трактирах и на фермах, выполнять самую тяжелую работу, питаться объедками, спать на голых досках, страдать от холода. Когда они ослабели от непосильного труда, их перестали нанимать, и им пришлось просить подаяния на дорогах. Унылые, грустные, подходили они к прохожим, выпрашивали кусок хлеба у жнецов, обедавших в полуденный час в поле, под деревом, и молча ели, присев на краю канавы.

Однажды трактирщик, которому они рассказали о своем горе, заметил:

— Я знавал одного человека, у которого потерялась дочь, вроде как у вас; он нашел ее в Париже.

И они тут же решили отправиться в Париж.

Добравшись до великого города, они были испуганы его грандиозностью и множеством народа на улицах. Им казалось, что их сын должен быть в этой толпе, но они не знали, как приняться за поиски. К тому же они боялись, что не узнают его: прошло ведь уже пятнадцать лет с тех пор, как он исчез.

Они обходили все площади и улицы, смешивались с толпой, надеясь на предначертанную провидением встречу, на счастливый случай, на милосердие судьбы.

Часто они брели наугад, держась за руки, с таким измученным и несчастным видом, что им подавали милостыню, даже когда они не просили.

Воскресные дни они проводили на папертях, глядя на входящих и выходящих людей и стараясь отыскать в их лицах хотя бы отдаленное сходство с собой. Иногда им казалось, что они видят сына, но всякий раз это была ошибка.

Одну церковь они посещали особенно часто. В дверях ее, у чаши со святой водой, сидел старый кропильщик; они подружились с ним. Его жизнь также была очень печальна, и сострадание, которое они испытывали к нему, сблизило их. Они даже поселились вместе в убогой конурке на чердаке большого дома, стоявшего на окраине города, где начинались поля. Иногда тележник заменял в церкви своего друга, когда тот бывал болен. Наступила суровая зима. Старый кропильщик умер, и его преемником приходский кюре назначил тележника, чьи злоключения были ему известны.

С тех пор старик каждое утро усаживался на одно и то же место, на один и тот же стул. На старой каменной колонне, к которой он прислонялся, появился след от постоянного прикосновения его спины. Он пристально смотрел на каждого входящего и нетерпеливо, как школьник, ждал воскресений, ибо по этим дням церковь бывала полна народу.

Он очень постарел; сырость церковных сводов губительно действовала на его здоровье, и его надежды мало-помалу исчезали.

Теперь он знал всех, посещавших богослужения: знал их привычки, часы прихода, различал звук их шагов.

Его жизнь была так бедна впечатлениями, что появление в церкви незнакомого лица становилось для него большим событием. Однажды пришли две женщины: одна старая, другая молодая,— по-видимому, мать с дочерью. Вслед за ними появился мужчина. Он поклонился им, выходя из церкви, и, когда они окропили себя святой водой, взял пожилую даму под руку.

«Это, наверное, жених молоденькой»,— подумал кропильщик.

До самого вечера он старался припомнить, где видел молодого человека, похожего на этого. Но тот, кто ему вспоминался, теперь, наверное, был уже стариком, так

как кропильщику казалось, что он знал его очень давно, в дни юности.

Молодой человек стал часто приходить в сопровождении обеих женщин, и его смутное, неуловимое сходство с кем-то, сходство отдаленное и в то же время делавшее его близким, не давало покоя старому кропильщику. Наконец он решил позвать жену, чтобы та помогла его ослабевшей памяти.

Однажды, когда уже смеркалось, все трое вошли в церковь.

— Ну что, знаешь ты его? — спросил старик.

Жена, взволнованная, тоже напрягала память. И вдруг она прошептала:

— Да, да... Но волосы у него чернее, он выше, крепче, одет барином... И все-таки, знаешь, отец, он напоминает тебя в молодости.

Старик вздрогнул.

Это была правда: молодой человек был похож на него самого, а также на его покойного брата и на отца, которого он помнил еще молодым. Они были так потрясены, что не могли вымолвить ни слова. Между тем обе женщины и мужчина показались снова, собираясь выйти. Молодой человек опустил пальцы в кропильницу. И тогда кропильщик, руки которого так дрожали, что святая вода дождем лилась на пол, воскликнул:

— Жан?!

Молодой человек остановился и взглянул на него.

Старик повторил уже тише:

— Жан?

Обе женщины смотрели на кропильщика, ничего не понимая.

Тогда он в третий раз воскликнул, плача:

— Жан?

Молодой человек склонился к нему, его лицо как бы озарили воспоминания детства, и он ответил:

— Папа Пьер, мама Жанна!

Он все забыл: и фамилию родителей, и где он родился, но все-таки помнил эти имена, которые когда-то столько раз повторял: «Папа Пьер, мама Жанна!»

Он упал и уткнулся лицом в колени старика. Пла-

ча, обнимал он то отца, то мать, задыхавшихся от невыразимой радости.

Обе женщины тоже плакали, поняв, какое произошло счастливое событие.

Потом все они отправились к сыну, и он рассказал, что с ним случилось.

Его похитили акробаты. В течение трех лет он побывал во многих местах. Потом труппа распалась, и одна старая владелица замка дала им денег, чтобы они оставили ребенка у нее, потому что он ей понравился. Мальчик он был умный, и его отдали в школу, а затем в коллеж; старая дама, не имевшая детей, завещала ему свое состояние. Он тоже искал родителей, но не мог найти, так как помнил только их имена: «Папа Пьер, мама Жанна». Теперь он собирался жениться и познакомил их со своей невестой, очень милой и красивой девушкой.

Старики, обнимая сына, в свою очередь, рассказали ему о перенесенных страданиях и лишениях. Они еще долго сидели в этот вечер, не решаясь ложиться, как бы боясь, что счастье, ускользавшее от них так долго, покинет их во время сна.

Но они взяли верх над неуступчивой судьбой и были счастливы до самой смерти.

ДОКТОР ИРАКЛИЙ ГЛОСС

ДОКТОР ИРАКЛИЙ ГЛОСС

ГЛАВА I

Чем был в духовном отношении доктор Ираклий Глосс

Весьма ученый человек был этот доктор Ираклий Глосс. Хотя никогда даже самое маленькое сочиненьице, носящее его имя, не появлялось у книгопродавцев просвещенного города Балансона, все жители считали доктора Ираклия весьма ученым человеком.

Как получил он степень доктора и какой науки, никто не мог бы этого сказать. Известно было только, что его отца и деда сограждане называли докторами. Их звание перешло к нему по наследству вместе с их именем и их имуществом; в его роду и отцы и сыновья были докторами, так же как и сыновья и отцы носили имя Ираклий Глосс.

Впрочем, если у доктора Ираклия Глосса и не было диплома, подписанного и засвидетельствованного всеми членами какого-нибудь прославленного университета, то из этого еще не следует, что он не был весьма достойным и весьма ученым человеком. Достаточно было увидеть сорок уставленных книгами полок, сплошь закрывавших все стены его просторного кабинета, чтобы вполне убедиться, что никогда доктор ученее его не украшал собою город Балансон. Наконец, всякий раз, когда об особе доктора заходила речь в присутствии господина декана или господина ректора, все видели, что они таинственно улыбались. Передают

даже, что господин ректор однажды горячо восхвалял его по-латыни перед архиепископом; свидетель, который это рассказывал, приводил в виде неоспоримого доказательства следующие слышанные им слова:

— Parturiunt montes: nascitur ridiculus mus [1].

Притом господин декан и господин ректор по воскресеньям обедали у него. Итак, никто не посмел бы усомниться в том, что доктор Ираклий Глосс — весьма ученый человек.

ГЛАВА II

Чем был в физическом отношении доктор Ираклий Глосс

Если верно, как это утверждают некоторые философы, что существует полная гармония между духовным и физическим обликом человека и что можно прочитать в чертах лица главные свойства характера, то доктор Ираклий не был создан для того, чтобы опровергнуть данное утверждение. Это был человек небольшого роста, живой и нервный. В нем было нечто от крысы, от муравья и от таксы, то есть он принадлежал к семье неутомимых искателей, грызунов и охотников. Глядя на него, нельзя было представить себе, чтобы вся изученная им мудрость могла войти в эту маленькую голову, но скорее можно было вообразить, что он сам внедрялся в науку и, грызя ее, жил в ней, как крыса в толстой книге. Что было в нем особенно странно, это его необыкновенная худоба; его друг декан предполагал, быть может, не без основания, что несколько столетий доктор Ираклий Глосс пролежал забытый между страницами какого-нибудь фолианта рядом с розой и фиалкой, потому что он всегда был очень кокетлив и сильно надушен. Его лицо было не шире лезвия бритвы, так что оправа его золотых очков, чрезмерно выступая к вискам, напоминала грот-рею корабля. «Не будь он ученым доктором Ираклием,— говорил иногда господин ректор Балансонского университета,— из него,

[1] Горы томятся родами, а мышь смешная родится *(лат.)* — стих из послания Горация к Пизонам.

верно, вышел бы отличный ножик для разрезывания бумаги».

Он носил парик, тщательно одевался, никогда не болел, любил животных, не питал ненависти к людям и обожал зажаренных на вертеле перепелок.

ГЛАВА III

На что доктор Ираклий употреблял первую половину суток

Проснувшись утром, доктор тотчас вставал, умывался, брился, съедал небольшую булочку с маслом, которую обмакивал в чашку шоколада с ванилью, и выходил в свой сад. Сад не очень обширный, как водится в городе, но приятный, тенистый, цветущий, безмолвный,— если бы я посмел, я сказал бы: рассудительный. Словом, постарайтесь вообразить, каков должен быть идеальный сад философа, ищущего истину, и вы почти точно представите себе сад, который доктор Ираклий Глосс обходил три или четыре раза, все ускоряя шаг, раньше чем приступить ко второму завтраку, обычно состоящему из зажаренных на вертеле перепелок. Эта маленькая прогулка, говорил он, была превосходна: она оживляла замедленное сном кровообращение, освежала мозг и подготовляла пищеварительные органы к деятельности.

После этого доктор завтракал. Затем, как только было выпито кофе — а он выпивал его одним глотком,— доктор, никогда не поддаваясь сонливости от начавшегося пищеварения, надевал свой длинный сюртук и выходил из дому. И каждый день, пройдя мимо университета и проверив свою луковицу эпохи Людовика XV по высокомерному циферблату университетских башенных часов, он исчезал в переулке Старых Голубей, откуда выходил только, когда пора было идти домой обедать.

Что же делал доктор Ираклий Глосс в переулке Старых Голубей? Что он там делал? Боже милосердный! Он искал там философскую истину, и вот каким образом.

В этом маленьком, темном и грязном переулке были сосредоточены лавки всех балансонских букинистов.

Понадобились бы годы, чтобы прочесть только заглавия всех нежданно попадавшихся там сочинений, загромождавших от погреба до чердака пятьдесят домишек, из которых состоял переулок Старых Голубей.

Доктор Ираклий Глосс смотрел на переулок, на дома, на букинистов и на книги как на свою личную собственность.

Иному продавцу старого хлама, уже собиравшемуся лечь в постель, нередко случалось услышать какой-то шум у себя на чердаке; вооружившись гигантским мечом былых времен и поднявшись туда потихоньку, он заставал... доктора Ираклия Глосса, по пояс заваленного книгами. Держа в одной руке огарок сальной свечки, таявшей между его пальцами, а другой перелистывая старинную рукопись, из которой он надеялся, может быть, извлечь истину, бедный доктор бывал очень удивлен, узнав, что на башне давно уже пробило девять часов и что ему придется есть прескверный обед.

Дело в том, что доктор Ираклий серьезно занимался изысканиями.

Он досконально знал всю древнюю и новую философию, он изучил индийские секты и религии африканских негров; не было такого незначительного народца среди варваров Севера и дикарей Юга, верований которого он не исследовал бы. Увы, увы! Чем больше он изучал, искал, допытывался, размышлял, тем более он колебался.

— Друг мой,— говорил он как-то вечером господину ректору,— насколько счастливее нас Колумбы, которые устремляются за моря на поиски нового мира: им надо только идти вперед! Трудности, останавливающие их, происходят лишь от материальных препятствий, которые смелый человек всегда преодолевает. Между тем мы, беспрерывно бросаемые из стороны в сторону океаном сомнений, внезапно, словно корабль бурным вихрем, увлекаемые какой-нибудь гипотезой, вдруг встречаем противоположную гипотезу, подобную противному ветру, и она приводит нас, утративших надежду, обратно в гавань, из которой мы вышли.

Однажды ночью, философствуя с господином деканом, он сказал:

— Справедливо предполагают, друг мой, что истина находится в колодце!.. Ведра разом спускаются за добычей и никогда не приносят ничего, кроме чистой воды... Предоставляю вам догадаться,— прибавил он лукаво,— как я пишу слово «ведра»[1].

Это единственный каламбур, который от него когда-либо слышали.

ГЛАВА IV

На что доктор Ираклий употреблял вторую половину суток

Когда доктор Ираклий возвращался домой, он оказывался гораздо толще, чем в момент ухода. Это происходило оттого, что каждый из его карманов — а у него их имелось восемнадцать — был набит старыми философскими книгами, только что купленными им в переулке Старых Голубей, и шутник-ректор утверждал, что если бы какой-нибудь химик в это мгновение подверг доктора анализу, то нашел бы, что в его состав входит старая бумага в количестве двух третей.

В семь часов Ираклий Глосс садился за стол и за обедом все время просматривал старые книги, владельцем которых только что стал.

В половине девятого доктор аккуратно вставал из-за стола; теперь это уже не был тот живой и суетливый человек, каким он был весь день, но важный мыслитель, чело которого склонялось под бременем высоких размышлений, как носильщик под слишком тяжелою ношею. Величественно бросив домоправительнице: «Меня ни для кого нет дома»,— он исчезал в своем кабинете. Там он усаживался за рабочий стол, заваленный книгами, и... думал. Какое странное зрелище представилось бы тому, кто мог бы проникнуть в мысли доктора!.. Чудовищная вереница самых различных божеств и самых противоречивых верований, фантастическое переплетение учений и гипотез. Это была словно арена, где бойцы всех философских учений стал-

[1] По-французски слово «ведра» (les seaux) звучит так же, как и слово «дураки» (les sots).

кивались на гигантском турнире. Он соединял, сопоставлял, смешивал древний восточный спиритуализм с немецким материализмом, мораль апостолов с моралью Эпикура. Он пытался производить соединения доктрин, подобно тому как в лабораториях стараются производить химические соединения, но ему никогда не приходилось видеть, чтобы на поверхности забурлила столь желанная истина. И его добрый друг, ректор, утверждал, что эта вечно ожидаемая философская истина весьма похожа на философский камень... прегкновения.

В полночь доктор ложился, и сонные грезы его были те же, что его грезы наяву.

ГЛАВА V

О том, как господин декан все надежды возлагал на эклектизм, доктор — на откровение, а господин ректор — на пищеварение

Однажды вечером, когда господин декан, господин ректор и доктор находились в просторном кабинете Глосса, у них произошел интереснейший спор.

— Друг мой,— говорил декан,— надо быть эклектиком и эпикурейцем. Выбирайте то, что хорошо, отбрасывайте то, что худо. Философия — это обширный сад, который простирается по всей земле. Нарвите ярких цветов Востока и бледных цветочков Севера, полевых фиалок и садовых роз, свяжите их в букет и нюхайте его. Если его запах не будет самым превосходным, о котором только можно мечтать, он будет во всяком случае очень приятен и в тысячу раз лучше запаха одного-единственного цветка, хотя бы тот был самым благоуханным в мире.

— Разнообразнее, конечно,— возразил доктор,— но не лучше! Вот если бы вам удалось найти цветок, который соединяет и концентрирует в себе благоухания всех остальных! Дело в том, что в вашем букете вы не можете помешать некоторым запахам портить другие запахи, а в философии — некоторым верованиям противоречить другим верованиям. Истина едина, а с вашим эклектизмом у вас всегда получится только истина, состоящая из частей и кусков. Я тоже был

прежде эклектиком, теперь я односторонен. Я хочу не случайного «почти что», но абсолютной истины. Всякий разумный человек обладает, мне кажется, предчувствием ее, и в тот день, когда он найдет ее на своем пути, он воскликнет: «Вот она!» То же самое с красотою. До двадцати пяти лет я не любил. Я видел много красивых женщин, но их красота ничего мне не говорила. Чтобы создать идеальное существо, которое мне смутно представлялось, надо было бы взять нечто от каждой; и это тоже походило бы на букет, о котором вы только что говорили: таким способом не получишь совершенной красоты, которая неразложима, как золото и истина. Наконец я встретил такую женщину, понял, что это она, и полюбил ее.

Доктор, несколько взволнованный, замолчал, а господин ректор лукаво улыбнулся, глядя на господина декана. Через мгновение Ираклий Глосс продолжал:

— На откровение должны мы возлагать все надежды. Откровение осенило апостола Павла на пути в Дамаск и дало ему христианскую веру...

— ...Которая не есть истина,— перебил, смеясь, ректор,— так как вы в нее не верите; следовательно, откровение не надежнее эклектизма.

— Извините, друг мой,— возразил доктор.— Павел не был философом, и полученное им откровение не было полным; его ум не мог бы воспринять абсолютную истину, которая абстрактна. Но с тех пор философия двинулась вперед, и в тот день, когда какое-нибудь обстоятельство — книга или одно слово — откроет ее человеку, достаточно просвещенному, чтобы ее понять, она осенит его сразу, и все суеверия померкнут перед нею, как звезды перед восходящим солнцем.

— Аминь,— сказал ректор,— но завтра перед вами предстанет второй человек, осененный свыше, послезавтра — третий, и они начнут запускать друг другу в голову своими откровениями, которые, к счастью, не особенно опасное оружие.

— Но вы, значит, ни во что не верите? — воскликнул доктор, уже начиная сердиться.

— Я верю в пищеварение,— важно ответил ректор.— Я без разбора глотаю все верования, все догматы, все нравственные учения, все суеверия, все гипотезы, все иллюзии, точно так же, как за хорошим обедом я ем с равным удовольствием суп, закуски, жаркое, овощи, пирожное и десерт, после чего философски заваливаюсь спать, уверенный, что мое спокойное пищеварение доставит мне приятный сон ночью, жизнь и здоровье на следующий день.

— Поверьте мне,— поспешно вставил декан,— лучше нам не продолжать это сравнение.

Час спустя, когда они выходили из дома ученого Ираклия, ректор вдруг рассмеялся и сказал:

— Бедный доктор! Если истина предстанет ему в виде любимой женщины, он будет, конечно, самым обманутым человеком, какого только носила земля.

И какой-то пьяный, старавшийся найти дорогу к своему дому, упал от испуга, услышав могучий хохот декана, который аккомпанировал пронзительному фальцету ректора.

ГЛАВА VI

О том, каким образом переулок Старых Голубей оказался путем в Дамаск для доктора и как осенила его истина в виде рукописи о переселении душ

Семнадцатого марта тысяча семьсот какого-то года от рождества христова доктор проснулся в лихорадочном волнении. Ночью ему несколько раз привиделся во сне высокий седой человек в античном одеянии, который касался его лба пальцем, произнося какие-то невнятные слова. И ученому Ираклию сон этот показался весьма знаменательным предвестием. Почему это было предвестие... и чем было оно знаменательно,— доктор не знал этого наверное и тем не менее чего-то ожидал.

Позавтракав, он по обыкновению отправился в переулок Старых Голубей и, когда било полдень, вошел

в дом № 31, к Николя Бриколэ, портному, торговцу старинной мебелью, букинисту и в свободное время реставратору древней обуви, то есть башмачнику. Словно движимый каким-то вдохновением, доктор тотчас поднялся на чердак, засунул руку на третью полку шкафа времен Людовика XIII и вытащил оттуда объемистую рукопись на пергаменте, носившую заглавие:

МОИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ.
ИСТОРИЯ МОИХ СУЩЕСТВОВАНИЙ, НАЧИНАЯ ОТ 184 ГОДА ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ.

Непосредственно за этим странным заглавием находилось следующее предисловие, которое Ираклий Глосс тут же и прочитал:

«Эта рукопись, содержащая точное повествование о моих переселениях, начата была мною в Римской области в CLXXXIV году христианской эры, как сказано выше.

Это объяснение касательно последовательных перевоплощений души, предназначенное для назидания смертным, я помечаю нынешним днем, 16 апреля 1848 года, в городе Балансоне, куда я заброшен превратностями судьбы.

Каждому просвещенному и занимающемуся философскими вопросами человеку достаточно будет взглянуть на эти страницы, чтобы самый яркий свет озарил его.

Для этого я в нескольких строках изложу вкратце сущность моей истории, которую можно прочесть далее, зная хотя бы немного латинский, греческий, немецкий, итальянский, испанский или французский языки, ибо в различные эпохи моих новых появлений в человеческом образе я жил среди этих различных народов. Затем я объясню, благодаря какому сцеплению идей, благодаря каким психологическим предосторожностям и каким мнемотехническим средствам я неизбежно пришел к заключению о своих перевоплощениях.

В 184 году я жил в Риме и был философом. Однажды, когда я гулял по Аппиевой дороге, мне пришла в голову мысль, что, возможно, Пифагор был как бы еще не совсем ясной зарею зарождающегося ве-

ликого дня. С этой минуты у меня было только одно желание, одна цель, одна постоянная забота: вспомнить о моем прошлом. Увы! Все мои усилия были тщетны, мне не вспоминалось ничего из предшествовавших существований.

И вот однажды я случайно увидел на подножии статуи Юпитера, стоявшей в моем атриуме, несколько слов, вырезанных мною самим когда-то в юности, и они вдруг напомнили мне о давно забытом происшествии. Это был точно луч света; я понял, что если нескольких лет, иногда одной ночи бывает достаточно, чтобы изгладить воспоминание, то и подавно должно изгладиться из нашей памяти все, что совершилось в предыдущих существованиях и над чем пронеслась великая дремота промежуточных и животных жизней.

Тогда я вырезал мою историю на каменных плитках в надежде, что судьба, может быть, явит ее когда-нибудь снова моим очам и что она будет для меня тем же, чем оказалась надпись, найденная мною на подножии статуи.

То, чего я желал, исполнилось. Сто лет спустя, когда я был архитектором, мне поручено было снести старый дом, чтобы на его месте воздвигнуть дворец.

Рабочие, которыми я руководил, принесли мне однажды разбитый, покрытый надписями камень, который они нашли, разрывая фундамент. Я начал разбирать надписи, и, когда я читал про жизнь того, кто начертал эти знаки, временами меня озаряли как бы мгновенные проблески забытого прошлого. Малопомалу свет проник в мою душу — я понял, я вспомнил! На этом камне когда-то вырезал надпись я сам.

Но что я делал, чем я был в этот столетний промежуток? В каком образе я страдал? Ничто не могло объяснить мне этого.

Однажды все-таки мне явилось указание, но такое слабое и такое туманное, что я с трудом решаюсь сослаться на него. Один старик, мой сосед, рассказал мне, что пятьдесят лет тому назад (как раз за девять месяцев до моего рождения) в Риме много смеха вы-

звало происшествие с сенатором Марком Антонием Корнелием Липою.

Его жена, которая, говорят, была красива и весьма развратна, купила у финикийских купцов большую обезьяну и очень полюбила ее. Сенатор Корнелий Липа приревновал свою половину, привязавшуюся к этому четверорукому с человечьим лицом, и убил обезьяну. Когда я слушал эту историю, мне очень смутно представилось, что этой обезьяной был я сам, что в таком виде я долго страдал как бы от воспоминания о каком-то падении; но ничего вполне ясного и вполне определенного припомнить я не мог. Вскоре я остановился на гипотезе, которая во всяком случае весьма правдоподобна.

Животный образ является наказанием, налагаемым на душу за преступление, совершенное в человеческом образе. Память о высших существованиях дается животному в виде кары, чтобы оно осознало свое падение.

Только очищенная страданием душа может снова принять человеческий образ; она теряет тогда воспоминания о животных периодах, пережитых ею, потому что она переродилась и помнить это было бы для нее незаслуженной мукой. Следовательно, человек должен защищать и уважать животное, как уважают преступника, который искупает свою вину; он должен это делать и для того, чтобы другие защищали его самого, когда он, в свою очередь, снова появится в образе животного. Это почти тождественно следующей догме христианской морали: «Не делай другому того, чего себе не желаешь».

Из рассказа о моих перевоплощениях станет ясно, каким образом я имел счастье мысленно восстанавливать каждое из моих существований, каким образом я снова начертал эту историю на медных дощечках, потом опять на египетском папирусе и, наконец, гораздо позднее, на немецком пергаменте, которым пользуюсь и сегодня.

Мне остается вывести философское резюме из этой доктрины.

Все философские учения останавливаются перед неразрешимой проблемой будущей участи душ. Хри-

стианские догматы, которые ныне одерживают верх над другими, учат, что бог соберет праведников в раю, а грешников отправит в ад, где они будут гореть вместе с дьяволом.

Но современный здравый смысл не верит в бога с наружностью патриарха, укрывающего под своими крыльями души праведных, как курица своих цыплят, и, кроме того, разум отвергает догматы христианства.

Ибо нигде не может находиться рай и нигде не может находиться ад.

Потому что безграничное пространство населено мирами, подобными нашему.

Потому что при бесконечном умножении числа поколений, которые следовали одно за другим от начала этой земли, на число тех поколений, что плодились в бесчисленных мирах, населенных подобно нашему, получилось бы такое сверхъестественное и невозможное количество душ, что бог неминуемо потерял бы голову, как бы ни была она крепка; то же самое случилось бы и с дьяволом, отчего произошло бы прискорбное замешательство.

Потому, наконец, что, если число праведных душ бесконечно, как число грешных душ и как пространство, то понадобился бы бесконечный рай и бесконечный ад, а это привело бы к следующему: рай был бы везде, и ад был бы везде, то есть нигде.

Значит, верование в переселение душ разумом не отвергается.

Душа, переходя из змеи в свинью, из свиньи в птицу, из птицы в собаку, доходит, наконец, до обезьяны и человека. Потом она всегда, при каждом новом содеянном проступке, начинает все сначала, до момента, когда она достигает полного земного очищения, после которого переселяется в высший мир. Так переходит она беспрерывно из животного в животное и из сферы в сферу, восходя от наименее совершенного к наиболее совершенному, чтобы достигнуть, наконец, планеты высшего блаженства, откуда новый проступок может снова низринуть ее в области наибольшего страдания, и там она вновь начнет свои переселения.

Итак, круг, этот роковой и всеобъемлющий символ, замыкает смену наших существований, подобно тому, как он управляет движением миров».

ГЛАВА VII

О том, каким образом можно двояко толковать один и тот же стих Корнеля

Прочитав этот странный документ, доктор Ираклий остолбенел от изумления, а затем купил его, не торгуясь, за сумму в двенадцать ливров одиннадцать су, так как букинист выдавал его за еврейскую рукопись, найденную при раскопках в Помпее.

В продолжение четырех дней и четырех ночей доктор не покидал своего кабинета, и ему удалось при помощи терпения и словарей расшифровать кое-как немецкие и испанские периоды рукописи. Дело в том, что, зная языки греческий, латинский и отчасти итальянский, он почти совсем не знал ни немецкого, ни испанского. Наконец, боясь впасть в грубейшие ошибки, он попросил своего друга, ректора, прочитать его перевод. Тот обещал с большим удовольствием, но целых три дня не мог серьезно взяться за работу, потому что при беглом просмотре перевода доктора им овладевал такой долгий и бурный хохот, что дважды он чуть не лишился чувств. Когда ректора спрашивали о причине такой необычайной веселости, он отвечал:

— Причина? Да их три: во-первых, смехотворное лицо моего превосходного собрата Ираклия; во-вторых, его смехотворный перевод, который походит на оригинал почти так же, как гитара на ветряную мельницу, и, в-третьих, наконец, сам текст, являющийся наиболее забавной вещью, какую только можно себе представить.

О, упрямый ректор! Ничем нельзя было его убедить. Если бы само солнце взяло да опалило ему бороду и волосы, он принял бы его за сальную свечку.

Что же касается доктора Ираклия Глосса, мне нет

надобности говорить, что он сиял, был осенен свыше, преображен. Он поминутно повторял, как Полина:

Я вижу, верю я теперь, разубежден.

И каждый раз ректор прерывал его, чтобы указать, что «разубежден» следовало бы писать не как одно, а как два слова:

Я вижу, верю я теперь, раз убежден

ГЛАВА VIII

Каким образом по той же самой причине, по которой можно крепче короля стоять за королевскую власть и быть набожнее римского папы, можно также сделаться бóльшим приверженцем переселения душ, чем Пифагор

Как бы ни была сильна радость потерпевшего кораблекрушение, который после долгих дней и долгих ночей странствования по безбрежному морю на утлом плоту без мачты, без паруса, без компаса и без надежды замечает вдруг столь желанный берег, эта радость была ничто сравнительно с той радостью, которой преисполнился доктор Ираклий Глосс, когда, после того, как волны философских школ так долго кидали его во все стороны на плоту сомнений, он вошел наконец, торжествующий и осененный свыше, в гавань веры в переселение душ.

Истинность этой доктрины так сильно поразила его, что он воспринял ее сразу, вплоть до всех самых крайних выводов. Здесь для него не было ничего неясного, и в несколько дней он дошел путем раздумий и расчетов до того, что стал точно определять время, когда человек, умерший в таком-то году, вновь появится на земле. Он знал приблизительно срок всех переселений души в низшие существа и сообразно предполагаемой сумме добра или зла, совершенного в последний период человеческой жизни, мог определить момент, когда эта душа войдет в тело змеи, свиньи, ломовой лошади, быка, собаки, слона или обезьяны. Повторяющиеся появления души в своей выс-

шей оболочке следовали через правильные промежутки времени, независимо от предшествовавших грехов.

Таким образом, степень наказания, всегда пропорциональная степени виновности, заключалась не в большей или меньшей продолжительности ссылки в тела животных, но в длительности пребывания данной души в шкуре животного нечистого. Лестница животных начиналась на низших ступенях — змеей или свиньей, а заканчивалась обезьяной, «которая есть человек, лишенный дара слова»,— говорил доктор; на что его превосходный друг, ректор, отвечал всегда, что в силу того же рассуждения сам Ираклий Глосс не что иное, как обезьяна, обладающая даром слова.

ГЛАВА IX

Медали и их оборотные стороны

Доктор Ираклий был счастлив в течение нескольких дней, последовавших за его поразительным открытием. Его жизнь была сплошным торжеством. Он сиял от сознания побежденных трудностей, разоблаченных тайн, осуществленных великих надежд. Метампсихоз, как небо, окружал его. Ему казалось, что внезапно разорвалась завеса и что глаза его открылись для неведомого.

Он усаживал рядом с собою за стол свою собаку; он сосредоточенно сидел с нею наедине перед камином, стараясь уловить в глазах невинного животного тайну предыдущих существований.

Однако он усматривал два темных пятна на небе своего блаженства: это были господин декан и господин ректор.

Декан яростно пожимал плечами всякий раз, когда Ираклий пытался склонить его к вере в переселение душ, а ректор преследовал его самыми неуместными шутками. Последнее было особенно невыносимо. Как только доктор начинал излагать свою веру, этот чертов ректор горячо поддерживал его; он прикидывался учеником, который внимает речам великого

апостола, и придумывал самые невероятные скотские родословные для всех окружающих лиц. Так, он говорил, что дядюшка Лабонд, соборный звонарь, в первом своем воплощении был, наверное, не чем иным, как дыней, и с тех пор очень мало изменился, вполне довольствуясь тем, что утром и вечером звонит в колокол, под которым когда-то рос. Он утверждал, что аббат Дозанкруа, старший викарий церкви Сент-Элали, когда-то был, несомненно, щипцами для орехов, потому что сохранил внешность и атрибуты щипцов. Затем, самым отчаянным образом перепутывая роли, он уверял, что аптекарь Бойкаль не что иное, как выродившийся ибис, потому что он принужден пользоваться некоторым инструментом для вливания того простейшего лекарства, которое, по словам Геродота, священная птица себе впускала единственно при помощи своего длинного клюва.

ГЛАВА X

О том, что скоморох может быть хитрее ученого доктора

Тем не менее доктор Ираклий, не теряя бодрости, совершил ряд новых открытий. Отныне всякое животное имело для него таинственное значение: он переставал видеть в нем зверя и созерцал лишь человека, который очищался в этой оболочке. Он угадывал былые грехи по одному виду искупительной шкуры.

Однажды, прогуливаясь по городской площади, он увидел большой дощатый балаган, из которого неслось ужасное завывание, между тем как на эстраде паяц, болтая руками и ногами, приглашал публику зайти посмотреть, как работает грозный укротитель, апаш Томагавк, или Грохочущий Гром. Ираклия это заинтересовало, он уплатил десять сантимов и вошел. О фортуна, покровительствующая великим умам! Едва проник он в балаган, как увидел огромную клетку, на которой были написаны следующие два слова, внезапно сверкнувшие перед его пораженными очами: «Лесной человек».

Доктор вдруг почувствовал нервную дрожь, как это бывает при сильных нравственных потрясениях, и, спотыкаясь от волнения, подошел ближе. Он увидел огромную обезьяну, которая спокойно сидела, скрестив ноги наподобие портных и турок. Перед этим великолепным образчиком человека в его последнем воплощении Ираклий Глосс, бледный от радости, погрузился в глубокие раздумья. Через несколько минут Лесной человек, несомненно угадывая непреодолимую симпатию, внезапно расцветшую в сердце пристально смотревшего на него человека, скорчил своему возродившемуся собрату такую ужасную рожу, что доктор почувствовал, как волосы дыбом встают у него на голове. Затем, совершив фантастический прыжок, нимало не совместимый с достоинствами даже окончательно падшего человека, четверорукий гражданин предался непристойнейшей шаловливости пред самым носом доктора. Последний не оскорбился, однако, веселостью этой жертвы былых заблуждений. Напротив, он увидел в ней лишнее сходство с человеческой породою, бóльшую вероятность родства, и его научное любопытство настолько возросло, что он решил во что бы то ни стало купить этого искусного гримасника, дабы изучать его на досуге. Какая честь для него, какое торжество для великой доктрины, если ему удастся наконец установить связь с животной частью человечества: понять эту бедную обезьяну и достигнуть того, чтобы и она его понимала!

Естественно, хозяин зверинца стал чрезвычайно восхвалять своего воспитанника: это — самое умное, самое кроткое, самое симпатичное животное, какое только он видал на своем долгом поприще демонстратора диких зверей; и, чтобы подкрепить сказанное, он подошел к решетке и просунул в нее свою руку, которую обезьяна тотчас же в виде шутки укусила. Естественно также, он запросил за обезьяну баснословную цену, и Ираклий уплатил ее не торгуясь. Затем, предшествуемый двумя носильщиками, сгибавшимися под тяжестью огромной клетки, доктор торжественно направился к своему жилищу.

ГЛАВА XI

Где доказывается, что Ираклий Глосс отнюдь не был свободен от всех слабостей сильного пола

Но чем более приближался он к дому, тем более замедлял шаги, потому что тревожно решал в уме проблему, представлявшую совершенно иные трудности, нежели проблема философской истины, и сводившуюся для злополучного доктора к следующей формуле: «К какой хитрости мне прибегнуть, чтобы скрыть от моей доброй Онорины проникновение под мой кров этого лишь вчерне законченного человека?» Ах, дело в том, что бедный Ираклий, неустрашимо встречавший грозное пожимание плечами господина декана и ужасные шутки господина ректора, бывал далеко не таким храбрым при вспышках доброй Онорины. Почему же доктор так сильно боялся этой маленькой, еще свежей, привлекательной женщины, которая казалась такою милою и столь преданной интересам своего хозяина? Почему? Спросите, почему Геркулес прял у ног Омфалы, почему Самсон допустил, чтобы Далила похитила у него силу и мужество, которые пребывали в его волосах, как сказано в библии?

Увы! Однажды, когда доктор, гуляя за городом, старался развеять отчаяние обманутой великой страсти (ибо недаром господин декан и господин ректор так сильно потешались насчет Ираклия, уходя от него в тот вечер), он встретил у какого-то плетня молоденькую девушку, пасшую овец. Ученый муж не всегда искал исключительно философскую истину и еще не подозревал тогда о великой тайне переселения душ; вместо того, чтобы заняться только овцами, что он, конечно, сделал бы, если бы знал то, чего тогда еще не ведал, — он, увы, пустился в беседу с тою, которая их пасла. Он вскоре взял ее к себе в услужение, а первая слабость влечет за собою последующие: скоро он сам сделался ягненком этой пастушечки, и втихомолку стали поговаривать, что если бы эта деревенская Далила, подобно Далиле библейской, обрезала волосы слишком доверчивого бедняги, она этим не лишила бы его чела всех бывших на нем украшений

Увы, то, что он предвидел, осуществилось и даже превзошло его опасения! Увидев жителя лесов, заключенного в клетку из железных прутьев, Онорина тотчас воспылала самой неуместной яростью и, ошеломив своего испуганного хозяина проливным дождем весьма неблагозвучных эпитетов, обратила гнев на явившегося к ней нежданного гостя. Но последний, не имея, без сомнения, одинаковых с доктором оснований щадить столь плохо воспитанную домоправительницу, начал кричать, рычать, топать ногами, скрежетать зубами; он уцепился за перекладины своей клетки с такой яростной запальчивостью, сопровождаемой до такой степени нескромными жестами по адресу особы, увиденной им впервые, что та принуждена была отступить и, подобно побежденному воину, бежать и запереться у себя в кухне.

Ираклий, овладев таким образом полем сражения и восхищаясь неожиданной помощью, которую он получил от своего разумного товарища, велел внести его в кабинет, где поместил клетку и ее обитателя перед столом у камина.

ГЛАВА XII

О том, что учитель совсем не то, что укротитель

И вот начался обмен самыми многозначительными взглядами между двумя особами, которые находились друг перед другом; каждый день в течение целой недели доктор по целым часам разговаривал посредством глаз (по крайней мере так ему казалось) с интересным субъектом, которым он обзавелся. Но этого было мало. Ираклию захотелось изучать животное на свободе, подстерегать его тайны, его желания, его мысли, позволить ему ходить взад и вперед по собственной воле и, ежедневно проникая в его интимную жизнь, увидеть наконец проявление в нем забытых привычек и, таким образом, распознать по верным признакам воспоминание о предыдущем существовании. А для этого нужно было, чтобы гость был свободен, — следовательно, чтобы клетка была отворена. Но подобное предприятие менее всего могло обещать спокойствие. Доктор напрасно

пытался пускать в ход то магнетизм, то пирожные, то орехи; четверорукий предавался действиям, внушавшим Ираклию опасения всякий раз, когда доктор слишком близко подходил к решетке. Наконец однажды доктор, не будучи в состоянии противиться желанию, которое его мучило, быстро подошел к клетке, повернул ключ в замке, отворил настежь дверь и, трепеща от волнения, отступил на несколько шагов, выжидая событий, которые и не заставили себя долго ждать.

Удивленный четверорукий сначала недоумевал, затем одним прыжком очутился вне клетки, другим на столе, на котором менее чем в одну секунду разбросал все книги и бумаги, затем третьим прыжком очутился в объятиях доктора, и выражения его нежности были так сильны, что, не будь на Ираклии парика, его последние волосы, наверно, остались бы в пальцах его грозного брата. Но, как ни проворна была обезьяна, Ираклий оказался проворен не менее ее: он прыгнул направо, затем налево, скользнул, как угорь, под стол, перескочил, как борзая собака, через кресла и, все еще преследуемый, достиг наконец двери, которую быстро захлопнул за собой; после этого, запыхавшись, как беговая лошадь, добежавшая до столба, он прислонился к стене, чтобы не упасть.

Остаток дня Ираклий Глосс был в состоянии полной растерянности. Он испытывал как бы внутреннее крушение, но особенно заботило его то, что он совершенно не знал, каким способом его непредусмотрительный гость и он сам могли бы выйти из создавшейся ситуации. Он придвинул стул к неприступной двери и устроил себе наблюдательный пункт у скважины замка. Тогда он увидел — о чудо!.. о неожиданное блаженство!.. — своего счастливого победителя, развалившегося в кресле и греющего ноги у камина. В порыве радости доктор сгоряча едва не вошел в кабинет, но размышление остановило его, и, как бы озаренный внезапным светом, он сообразил, что голод, несомненно, сделает то, чего не могла сделать кротость. На этот раз события показали, что он был прав: проголодавшийся четверорукий капитулировал. Так как, в сущности, это был добрый малый, то примирение было полное, и с этого дня они с доктором зажили, как два старых друга.

ГЛАВА XIII

О том, как доктор Ираклий Глосс очутился точно в таком же положении, как добрый король Генрих IV, который, выслушав спор двух адвокатов, решил, что они оба правы

Спустя некоторое время после этого достопамятного дня доктор Ираклий из-за проливного дождя не мог пойти по обыкновению в свой сад. Он сидел с утра в кабинете и философски созерцал своего четверорукого, который, вскарабкавшись на письменный стол, забавлялся тем, что бросал комочками бумаги в пса Пифагора, растянувшегося перед камином.

Доктор изучал градации непрерывного развития интеллекта у этих падших людей и сравнивал степень понятливости обоих находившихся перед ним животных. «У собаки, — думал он, — господствует еще инстинкт, тогда как у обезьяны преобладает рассудительность. Первая чует, слушает, воспринимает своими чудесными органами, которые наполовину составляют ее разум; вторая комбинирует и размышляет». В это мгновение обезьяна, выведенная из терпения равнодушием и неподвижностью своего врага, который спокойно лежал, опустив голову на лапы, ограничиваясь лишь тем, что время от времени взглядывал на задиру, занявшего столь выгодную позицию, решила пойти на разведку. Она легонько соскочила с письменного стола и двинулась вперед так тихо, что слышно было лишь потрескивание дров да тикание маятника, которое в глубокой тишине кабинета казалось слишком громким; затем быстрым и неожиданным движением она обеими руками схватила пушистый хвост злополучного Пифагора. Но пес при всей своей неподвижности следил за каждым движением обезьяны: его спокойствие было только уловкой, чтобы привлечь на близкое к себе расстояние недосягаемого до того времени противника; и в то самое мгновение, когда четверорукий господин схватил его хвостовой придаток, Пифагор вскочил одним прыжком и, прежде чем соперник успел обратиться в бегство, вцепился сильной пастью охотничьей собаки в ту часть тела, которую стыдливо называют окороком. Неизвестно, каков был бы исход боя, если бы не вме-

шался Ираклий; но когда доктор, восстановив мир и сильно запыхавшись, вновь усаживался на свое место, он задавал себе вопрос: не выказала ли в данном случае его собака, если принять во внимание все обстоятельства, гораздо больше хитрости, нежели животное, называемое «хитрым по преимуществу»? И он остался погруженным в глубокое недоумение.

ГЛАВА XIV

О том, как Ираклий чуть не съел зажаренных на вертеле прекрасных дам былых времен

Так как пора было завтракать, доктор вошел в столовую, сел за стол, засунул себе за воротник салфетку, развернул лежавшую рядом драгоценную рукопись и готовился поднести ко рту крылышко прежирной и ароматной перепелки, как вдруг его глаза, устремленные в священную книгу, остановились на нескольких строках, которые заблистали перед ним ужаснее, чем знаменитые три слова, внезапно начертанные неведомой рукой на стене пиршественной залы славного царя, именовавшегося Валтасаром.

Вот что прочел доктор:

«...Итак, воздерживайся от всякой пищи, прежде имевшей жизнь, ибо вкушать животное — значит вкушать себе подобного. И я говорю, что человек, убежденный в великой истине переселения душ, но убивающий и пожирающий животных, которые суть не что иное, как люди в их низших образах, — такой же преступник, как свирепый людоед, который съедает своего побежденного врага».

А на столе лежали рядышком полдюжины только что зажаренных и жирных перепелок, нанизанных на небольшой серебряный вертел и распространявших в воздухе аппетитный запах.

Ужасна была битва между духом и желудком, но скажем, к прославлению Ираклия, что она длилась недолго. Голодный, доведенный до отчаяния человек,

опасаясь, что не в состоянии будет противиться страшному искушению, позвонил и разбитым голосом приказал служанке немедля убрать это отвратительное блюдо и впредь подавать ему только яйца, молоко и овощи. Онорина чуть не упала навзничь, услышав эти поразительные слова, она хотела протестовать, но непреклонный взор хозяина заставил ее бежать вместе с отвергнутыми пернатыми; однако она утешалась приятною мыслью, что потерянное для одного еще не потеряно для всех.

«Перепелки, перепелки... Кем могли быть перепелки в иной жизни?—задал себе вопрос несчастный Ираклий, печально кушая превосходную цветную капусту со сливками, показавшуюся ему в этот день отчаянно скверною. — Какие человеческие существа могли быть настолько изящными, хрупкими, нежными, что перешли в тела этих восхитительных маленьких созданий, таких кокетливых и хорошеньких? Ах, конечно, это могли быть только прелестные жеманницы прошлых веков...» И доктор еще сильнее побледнел, подумав, что в течение тридцати с лишком лет он каждый день съедал за завтраком полдюжины прекрасных дам былых времен.

ГЛАВА XV

О том, как господин ректор толкует божественные заповеди

Вечером этого злополучного дня господин декан и господин ректор пришли поболтать часок—другой в кабинете Ираклия. Доктор тотчас же рассказал им о затруднении, в котором находился, и объяснил, каким образом перепелки и другие съедобные животные сделались для него столь же запретными, как свинина для еврея.

Господин декан, который, без сомнения, плохо пообедал, потерял тогда всякое терпение и начал так страшно богохульствовать, что бедный доктор, очень уважавший его, хотя оплакивавший в то же время его ослепление, не находил себе места. Что касается господина ректора, то он вполне одобрил совестливость Ираклия и указал ему даже, что ученик Пифагора,

питающийся мясом животных, может подвергнуться опасности съесть ребро своего отца с шампиньонами или начиненные трюфелями ноги своего деда, что совершенно противоречит духу всякой религии; в подтверждение же сказанного ректор сослался на пятую заповедь христианского бога:

Отца и матерь почитай,
И будешь долголетен.

— Правда, — прибавил он, — лично я, как неверующий, предпочел бы не морить себя голодом и слегка изменить эту заповедь:

Отца и матерь пожирай,
И будешь долголетен.

ГЛАВА XVI

О том, как доктор прозрел после сорок второго чтения рукописи

Подобно тому как богатый человек может каждый день черпать из своего большого состояния новые удовольствия и новые утехи, так доктор Ираклий, собственник неоценимой рукописи, делал в ней удивительные открытия всякий раз, как ее перечитывал.

Однажды вечером, когда он в сорок второй раз читал этот документ, внезапное озарение снизошло на него с быстротой молнии.

Как мы видели раньше, доктор мог с приблизительной достоверностью определить, в какое время исчезнувший человек закончит свои перевоплощения и вновь появится в своем первоначальном виде. Поэтому он внезапно был поражен мыслью, что автор рукописи, быть может, уже снова завоевал себе место среди человечества.

И в таком же лихорадочном волнении, как алхимик, который думает, что сейчас найдет философский камень, он принялся за самые тщательные расчеты, чтобы установить вероятность этой гипотезы, и после нескольких часов упорной работы и многочисленных научных соображений о переселении душ пришел к выводу, что этот человек должен быть его современником или по крайней мере готовиться вновь возродить-

ся к сознательной жизни. Действительно, не имея никакого свидетельства, могущего указать ему точную дату смерти великого апостола переселения душ, Ираклий не был в состоянии с уверенностью определить момент его возвращения.

Поняв возможность найти это существо, которое для него было более, чем человеком, более, чем философом, почти что более, чем богом, он вдруг испытал глубокое потрясение, вроде того, которое испытывает человек, внезапно узнавший, что отец, которого он долгие годы считал умершим, жив и находится близко. Святой отшельник, который провел свою жизнь, питаясь любовью ко Христу и помышлениями о нем, постигнув внезапно, что сейчас ему явится его бог, был бы взволнован не более, чем доктор Ираклий Глосс, когда он удостоверился, что может встретить автора рукописи.

ГЛАВА XVII

Что предпринял доктор Ираклий Глосс, чтобы разыскать автора рукописи

Через несколько дней читатели *Балансонской звезды* с удивлением заметили на четвертой странице этой газеты следующее объявление: «Пифагор — Рим в 184 году — надпись, обнаруженная на подножии статуи Юпитера, — философ, архитектор, солдат, земледелец, монах, геометр, врач, поэт, моряк, размышляй и вспоминай — рассказ о твоей жизни в моих руках. Писать до востребования: Балансон, для И. Г.».

Доктор не сомневался, что если человек, которого он так страстно жаждал, прочитает это уведомление, непонятное никому иному, то немедля постигнет его сокровенный смысл и явится к нему. Теперь каждый день, перед тем как сесть за стол, он ходил на почту справляться, не получено ли писем на инициалы И. Г. И в то мгновение, когда он отворял дверь, на которой были написаны слова «Почтовое отделение, справки, выдача корреспонденций», он волновался, конечно, сильнее, чем влюбленный, собирающийся распечатать первое письмо любимой женщины.

Дни шли за днями и безнадежно походили один на другой, почтовый чиновник каждое утро давал доктору один и тот же ответ, и каждое утро доктор возвращался домой все более печальный и унылый. И балансонский народ, который, как все народы на свете, подозрителен, нескромен, злоречив и жаден до новостей, вскоре соединил удивительное объявление, помещенное в «Звезде», с ежедневными хождениями доктора в почтовую контору. Тогда народ задал себе вопрос, какая тайна может здесь скрываться, и возроптал.

ГЛАВА XVIII

Где доктор Ираклий с изумлением узнает автора рукописи

Однажды, во втором часу ночи, когда доктору не спалось, он встал, чтобы пойти перечитать одно место в рукописи, которое, как ему казалось, он еще не совсем хорошо уразумел. Он надел туфли и отворил дверь своей комнаты как можно тише, чтобы не нарушить сна всех категорий людей-животных, которые искупали свое прошлое под его кровом. И каковы бы ни были предыдущие состояния этих счастливых зверей, конечно, они никогда не наслаждались таким полным спокойствием и счастьем, потому что находили в этом гостеприимном доме хороший ужин, хороший ночлег и все прочее, — до такой степени сострадательное сердце было у этого прекраснейшего человека. Он добрался, не произведя ни малейшего шума, до порога своего кабинета и вошел. Ах, конечно, Ираклий был храбр! Он не боялся ни призраков, ни привидений. Но как бы ни был неустрашим человек, на него может иной раз нахлынуть внезапный ужас, способный пробить, подобно пушечному ядру, самое стойкое мужество, — и доктор остановился на месте, посинев от страха, с дикими глазами, с поднявшимися дыбом волосами, стуча зубами, охваченный ужасом перед непостижимым зрелищем, которое ему представилось.

Рабочая лампа горела на столе, а перед камином, спиною к двери, в которую вошел доктор, он увидел... доктора Ираклия Глосса, внимательно читающего руко-

пись. Нельзя было усомниться — это был он сам... в его собственном длинном халате из старинного шелка с крупными красными цветами, в его греческой шапочке из черного бархата, расшитой золотом. Доктор понял, что, если этот другой *он* обернется, если оба Ираклия взглянут в лицо друг другу,— тот, кто дрожал в это мгновение в его коже, падет, как пораженный молнией, перед своим двойником. Охваченный нервной судорогой, доктор разжал руку, и подсвечник, который он держал, со стуком покатился по полу. Ираклий Глосс подскочил от ужаса при этом грохоте. Другой быстро обернулся, и растерявшийся Ираклий Глосс узнал четверорукого. В течение нескольких секунд мысли кружились в мозгу доктора, как увядшие листья, уносимые бурей. Затем им вдруг овладела самая сильная радость, какую он только когда-либо испытывал, потому что он понял: желанный автор, ожидаемый им, как мессия евреями, находится перед ним! Это его обезьяна! Чуть не обезумев от счастья, он бросился вперед, заключил в свои объятия почитаемое существо и обнял его с таким жаром, с каким никогда любовник не обнимал обожаемую возлюбленную. Потом он сел против него по другую сторону камина и благоговейно созерцал его до самого утра.

ГЛАВА XIX

О том, как доктор очутился перед ужаснейшей альтернативой

Подобно тому как самые прекрасные летние дни иногда внезапно омрачаются сильной грозой, так блаженство доктора было вдруг нарушено страшным наваждением. Он действительно нашел того, кого искал, но, увы, это была лишь обезьяна. Без всякого сомнения, они понимали друг друга, но они не могли говорить друг с другом. Доктор снова упал с небес на землю. Прощайте, долгие разговоры, из которых он надеялся извлечь столько пользы! Прощай, прекрасный крестовый поход против суеверия, который они должны были предпринять вдвоем! Потому что, будучи один, доктор не обладал достаточным оружием, чтобы ниспровергнуть гидру невежества. Ему нужен был

человек, апостол, исповедник, мученик,— а эту роль четверорукий, увы, неспособен исполнить. Что делать?

Ужасный голос крикнул ему в уши: «Убей его!»

Ираклий вздрогнул. В одну секунду он сообразил, что, если убьет его, освободившаяся душа немедля войдет в тело готового родиться ребенка, и этому ребенку надо будет предоставить по крайней мере двадцать лет для достижения зрелости. Доктору будет тогда семьдесят лет. Однако это было возможно. Но найдет ли он тогда опять этого человека? Притом его религия воспрещала ему уничтожать какое бы то ни было живое существо; иначе собственная душа Ираклия перейдет после его смерти в тело дикого зверя, как это бывает с убийцами. Но что за важность? Он будет жертвою науки и веры. Доктор схватил большую турецкую саблю, висевшую среди воинственных украшений, и собрался нанести удар, как Авраам на горé, но размышление остановило его руку. А что, если срок искупления этого человека еще не кончился и душа его, вместо того, чтобы перейти в тело ребенка, опять возвратится в тело обезьяны? Это было возможно, даже правдоподобно, почти достоверно! Совершая, таким образом, бесполезное преступление, доктор обрекал себя ужасному наказанию без всякой выгоды для своих ближних. Он снова в изнеможении повалился на стул. Эти повторяющиеся волнения истощили его силы, и он лишился чувств.

ГЛАВА XX

В которой доктор ведет маленький разговор со своей служанкой

Когда он опять раскрыл глаза, служанка Онорина смачивала ему виски уксусом. Было семь часов утра. Первым делом доктор вспомнил об обезьяне. Животное исчезло.

— Моя обезьяна, где моя обезьяна?— воскликнул он.

— Ладно, ладно, что говорить-то о ней,— быстро ответила ему служанка-барыня, всегда готовая сер-

диться.— Великая беда, если бы она и пропала! Хорошее животное, нечего сказать! Она подражает всему, что при ней делает барин. Не застала ли я ее на днях, когда она надевала ваши сапоги? А сегодня утром, когда я вас здесь подобрала,— бог ведает, какие проклятые мысли бродят с некоторых пор в вашей голове и не дают вам спать,— разве эта подлая скотина, сущий дьявол в обезьяньей шкуре, не надела вашу шапочку и халат? Она словно смеялась, глядя на вас, как будто так весело смотреть на человека, лежащего в обмороке. А когда я хотела подойти ближе, эта каналья набросилась на меня, словно хотела меня съесть, но, слава богу, мы не робкого десятка и кулаки у нас еще хорошие; я взяла лопату да так хватила по ее мерзкой спине, что она убежала в вашу комнату и там, должно быть, затевает какую-нибудь новую шутку в том же роде.

— Вы прибили моего четверорукого! — зарычал доктор, выйдя из себя.— Знаете, сударыня, что я велю впредь оказывать ему уважение и служить, как хозяину этого дома.

— О да, конечно! Он не только хозяин дома, но стал уже хозяином хозяина! — пробормотала Онорина и удалилась к себе на кухню в полной уверенности, что доктор Ираклий Глосс положительно сошел с ума.

ГЛАВА XXI

О доказанности того положения, что достаточно одного нежно любимого друга, чтобы облегчить бремя самой глубокой печали

Как сказал доктор, с того дня четверорукий стал действительно хозяином дома, а Ираклий сделался покорным слугою этого благородного животного. Он созерцал его по целым часам с бесконечной нежностью, он ухаживал за ним, как влюбленный; при всяком случае он расточал перед ним целый словарь ласковых выражений; пожимал ему руку, как другу; говорил с ним, пристально глядя на него; объяснял те ме-

ста в своих речах, которые могли казаться непонятными; окружал это животное самыми нежными заботами и самым отменным вниманием.

И обезьяна соглашалась на такое обращение с собою — спокойная, как божество, которое принимает поклонение своих почитателей.

Подобно всем великим умам, живущим в уединении, потому что свойственная им возвышенность мысли выделяет их из общего уровня всенародной глупости, Ираклий до сих пор чувствовал себя одиноким. Одиноким в своих трудах, одиноким в своих надеждах, одиноким в своих борениях и падениях, одиноким, наконец, в своем открытии и в своем торжестве. Он еще не обратил толпу в свою веру. Он даже не мог убедить двух ближайших своих друзей: господина ректора и господина декана. Но с того дня, когда он открыл в обезьяне великого философа, о котором так долго мечтал, доктор почувствовал себя менее одиноким.

Убежденный, что животное лишено дара слова только в наказание за былые прегрешения и что вследствие той же кары оно полно воспоминаниями о предыдущих существованиях, Ираклий горячо полюбил своего товарища и утешался этой привязанностью во всех своих горестях.

Действительно, с некоторого времени жизнь доктора стала печальнее. Господин декан и господин ректор посещали его гораздо реже, и оттого он ощущал вокруг себя страшную пустоту. Они даже перестали приходить обедать по воскресеньям — с тех пор, как он запретил подавать за своим столом всякую пищу, прежде обладавшую жизнью. Изменения в его питании были для него также большим лишением, и оно временами принимало размеры настоящего горя. Он, который, бывало, так нетерпеливо ожидал сладостного часа завтрака, теперь чуть не страшился его. Печально входил он в свою столовую, хорошо зная, что ему теперь нельзя было ожидать ничего приятного, и там ему постоянно являлось воспоминание о жаренных на вертеле перепелках, мучившее его, как угрызение совести. Увы! Он не столько терзался из-за того, что так много их съел, сколько предавался отчаянию, что навеки от них отказался.

ГЛАВА XXII

В которой доктор открывает, что его обезьяна походит на него еще более, чем он думал

Однажды утром доктор Ираклий проснулся от необычайного шума; он вскочил с постели, поспешно оделся и направился в кухню, откуда неслись крики и неслыханный топот.

Онорине, давно лелеявшей втихомолку самые черные замыслы мести непрошеному гостю, который отнимал у нее любовь ее господина, коварной Онорине, которая знала вкусы и аппетиты живших в доме животных, удалось посредством какой-то уловки привязать бедную обезьяну к ножкам кухонного стола. Затем, убедившись, что обезьяна привязана очень крепко, Онорина отошла на другой конец кухни и стала забавляться, показывая ей угощение, которое могло более всего возбудить ее аппетит: она заставляла обезьяну испытывать ужасные муки Тантала, которые в аду должны налагаться только на самых страшных грешников; злая домоправительница хохотала во всю глотку, изобретая утонченные пытки, которые способна измыслить только женщина. Человек-обезьяна отчаянно корчился при виде вкусных блюд, подносимых ему издали, но, привязанный к ножкам массивного стола, строил в ярости чудовищные гримасы, только удваивавшие радость палача-искусителя.

Наконец, как раз в то мгновение, когда доктор, ревнивый хозяин, появился на пороге, жертве ужасной западни удалось посредством чрезвычайного усилия разорвать веревки, которые ее удерживали, и, если бы не бурное вмешательство возмущенного Ираклия, бог весть какими лакомствами угостился бы этот новый четверорукий Тантал.

ГЛАВА XXIII

О том, как доктор заметил, что его обезьяна недостойным образом обманула его

На этот раз гнев одержал верх над уважением, и доктор, схватив за горло рычащую обезьяну-философа, потащил ее в свой кабинет и подверг ее самому страш-

ному исправительному воздействию, какое когда-либо доводилось испытать перевоплощенцу.

Когда усталая рука Ираклия немного разжала горло бедного зверя, виноватого только в том, что вкусы его оказались слишком похожи на вкусы его высшего брата, он освободился из объятий оскорбленного хозяина, вскочил на стол, схватил с книги большую табакерку доктора и бросил ее, открытую, в голову ее владельца. Последний успел только закрыть глаза, чтобы избегнуть табачного вихря, который, конечно, ослепил бы его, но, когда он их снова открыл, преступник исчез, унеся с собой рукопись, предполагаемым автором которой он был.

Отчаяние Ираклия было безгранично, и он бросился сломя голову по следам беглеца, готовый на величайшие жертвы, чтобы отыскать драгоценный пергамент. Он обежал дом от погреба до чердака, отворил все шкафы, перешарил под всею мебелью — поиски оставались совершенно бесплодными. Наконец в отчаянии он присел под деревом в своем саду. Через несколько минут ему почудились какие-то легкие удары по черепу, и он подумал, что это засохшие листья, сорванные ветром,— как вдруг увидел бумажный шарик, который катился перед ним по дороге. Он поднял его, развернул. Боже милосердный! Это был один из листов его рукописи. В ужасе поднял он голову и увидел гнусное животное, которое спокойно изготовляло новый метательный снаряд того же рода; при этом занятии чудовище скорчило такую ужасную улыбку довольства, что страшнее едва ли состроил бы и сам сатана, увидев, как Адам берет роковое яблоко, которое женщины, от Евы вплоть до Онорины, не перестают подносить нам. При виде этого ужасный свет внезапно озарил ум доктора, и он понял, что обманут, осмеян, самым гнусным образом одурачен этим мохнатым плутом, который так же не был столь долгожданным автором рукописи, как не был римским папой или турецким султаном. Драгоценное сочинение погибло бы целиком, если бы Ираклий не заметил возле себя кишку насоса, с помощью которого садовники поливают дальние грядки. Он быстро схватил ее и, действуя со сверхчеловеческой силой, угостил вероломного таким неожиданным душем, что тот запрыгал с ветки

на ветку, издавая пронзительные крики, и вдруг, пустив в ход ловкую военную хитрость,— конечно, чтобы хоть на мгновение получить передышку,— бросил изорванный пергамент прямо в лицо противнику и, быстро покинув свою позицию, побежал к дому.

Рукопись еще не коснулась доктора, но он, потрясенный волнением, упал навзничь, всеми четырьмя конечностями кверху. Когда Ираклий поднялся, у него не было сил отомстить за новую обиду; он с трудом вернулся в свой кабинет и удовлетворенно убедился, что исчезли всего лишь три листка.

ГЛАВА XXIV

Эврика!

Приход господина декана и господина ректора вывел доктора из состояния подавленности. Они беседовали втроем час или два, не говоря ни слова о переселении душ; но в то мгновение, когда оба друга уходили, Ираклий не мог долее сдержаться. Пока господин декан надевал свою медвежью шубу, он отвел в сторону господина ректора, которого меньше боялся, и рассказал ему о своем горе. Он поведал, как ему показалось, что он нашел автора своей рукописи, как он ошибся, как его обманула самым недостойным образом негодная обезьяна, каким он чувствовал себя покинутым и несчастным; и, видя крушение своих иллюзий, Ираклий заплакал. Растроганный ректор взял его за руки и собирался заговорить, когда в прихожей раздался басистый голос декана:

— Ну, что же, идете вы, ректор?

Тогда тот, в последний раз обняв доктора, сказал ему, нежно улыбаясь, словно утешая огорченного ребенка:

— Ну, ну, успокойтесь, друг мой. Как знать? Может быть, вы сами автор этой рукописи.

Затем он погрузился в мрак улицы, оставив на пороге остолбеневшего Ираклия.

Доктор медленно вернулся к себе в кабинет, поминутно шепча сквозь зубы: «Я, может быть, автор этой рукописи!» Он внимательно перечитал, каким образом

вновь обнаруживали этот документ после каждого перевоплощения автора, затем припомнил, как сам его нашел. Сон, предшествовавший тому счастливому дню, как предвестие, ниспосланное провидением, его волнение при входе в переулок Старых Голубей — все это снова представилось ему ясно, отчетливо, ярко. Тогда он выпрямился во весь рост, простер руки, как вдохновенный свыше, и громко воскликнул:

— Это я, это я!

Трепет пробежал по всему дому. Пифагор отчаянно залаял, потревоженные животные внезапно проснулись и заволновались, словно каждое на своем языке хотело прославить великое воскресение апостола переселения душ. Изнемогая от сверхчеловеческого волнения, Ираклий сел, раскрыл последнюю страницу этой новой библии и набожно приписал к концу ее всю историю своей жизни.

ГЛАВА XXV

«*Ego sum qui sum*»[1]

С этого дня Ираклием Глоссом овладела непомерная гордость. Как мессия происходит от бога-отца, так он, Глосс, происходит прямо от Пифагора; или, скорее, он сам Пифагор, ибо некогда жил в теле этого философа. Его генеалогия, таким образом, численностью поколений может поспорить с родословными древнейших феодальных домов. Он относился с высокомерным презрением ко всем великим людям человечества, самые высокие подвиги казались ему ничтожными в сравнении с его собственными; он одиноко и величественно возносился над мирами и живыми существами; он был приверженцем учения о метампсихозе, и дом его становился храмом метампсихоза.

Он запретил служанке и садовнику убивать животных, считающихся вредными. Гусеницы и улитки плодились в его саду; бывшие люди, отвратительно перевоплощенные в больших пауков с мохнатыми лапками, разгуливали по стенам его кабинета,— и этот против-

[1] Азм есть сущий *(лат.)* — слова, по библейской легенде, сказанные богом Моисею.

ный ректор говорил, что если бы все бывшие блюдолизы, на свой лад перевоплотившиеся, собрались на черепе слишком сострадательного доктора, тот не стал бы, конечно, заводить войну с этими бедными падшими паразитами. Одно только смущало Ираклия в его прекрасном просветлении: он видел, как животные беспрестанно пожирают друг друга, как пауки подстерегают летящих мух, как птицы уносят пауков, как кошки съедают птиц и как его пес Пифагор с радостью душит всякую кошку, пробежавшую на близком расстоянии от его зубов.

Он следил с утра до вечера за медленным и постепенным ходом перевоплощения на всех ступенях животной лестницы. Наблюдая воробьев, искавших пищу в кровельных желобах, он приходил к величайшим открытиям; муравьи, неутомимые и предусмотрительные работники, бесконечно умиляли его: он видел в них всех бездельников и бесполезных людей, осужденных искупить этим упорным трудом свою былую праздность и лень. Он смотрел на них целыми часами, уткнувшись носом в траву, и изумлялся своей проницательности.

Потом, как Навуходоносор, он ходил на четвереньках, катался со своей собакой в пыли, ел вместе со своими животными, валялся с ними на земле. Для него человек исчезал мало-помалу в творении, и вскоре он стал видеть в людях только животных. Созерцая животных, он чувствовал себя их братом; он разговаривал только с ними, а когда ему случалось говорить с людьми, он оказывался беспомощным, словно попал к чужестранцам, и внутренне возмущался глупостью себе подобных.

ГЛАВА XXVI

О чем шел разговор в лавке мадам Лаботт, торговки фруктами (Огородная улица, д. № 26).

Мадмуазель Виктория, кухарка за повара, служившая у господина декана Балансонского университета, мадмуазель Гертруда, служанка ректора упомянутого университета, и мадмуазель Анастази, домоправитель-

ница господина аббата Бофлери, настоятеля церкви Сент-Элали,— вот какое почтенное общество собралось как-то утром в четверг в лавке мадам Лаботт, торговки фруктами (Огородная улица, д. № 26).

Названные дамы, с корзинками для провизии на левой руке, в маленьких, кокетливо надетых белых чепчиках, украшенных кружевами, плойками и свешивавшимися на спину лентами, внимательно слушали рассказ мадмуазель Анастази о том, как господин аббат Бофлери как раз накануне изгонял бесов из бедной женщины, одержимой пятью демонами.

Вдруг вихрем влетела мадмуазель Онорина, домоправительница доктора Ираклия, и упала на стул, задыхаясь от сильного волнения; потом, увидев, что все общество достаточно заинтриговано, она воскликнула:

— Нет, это, наконец, слишком! Пусть говорят, что хотят, а я не останусь больше в этом доме.

Закрыв лицо руками, она зарыдала, но через минуту, несколько успокоившись, заговорила снова:

— Впрочем, он, бедняга, не виноват, если он сумасшедший.

— Кто? — спросила Лаботт.

— Да ее хозяин, доктор Ираклий,— ответила мадмуазель Виктория.— Так, значит, правду говорил господин декан, что ваш хозяин сошел с ума?

— Я думаю! — воскликнула мадмуазель Анастази. — Отец-настоятель уверял на днях господина аббата Розанкруа, что доктор Ираклий — окаянный грешник, что он обожает животных по примеру какого-то господина Пифагора, который, должно быть, такой же гнусный нечестивец, как Лютер.

— И что же?— прервала мадмуазель Гертруда.— Что с вами случилось?

— Представьте себе,— начала опять Онорина, утирая слезы уголком передника, — мой бедный хозяин вот уже скоро полгода, как помешался на животных: он думает, что создан и явился на свет лишь для того, чтобы служить им; он разговаривает с ними, как с разумными существами. Мыслимое ли это дело! Он слышит будто бы, что они ему отвечают. Я давно уже заметила, что мыши едят у меня провизию, и вчера вечером поставила в буфет мышеловку. Сегодня утром

вижу, что в нее попала мышь; я позвала кошку и уже собиралась отдать ей эту мерзость. Вдруг мой хозяин вбежал, словно бешеный, выхватил у меня из рук мышеловку и выпустил мышь в мои запасы, а когда я рассердилась, он повернулся ко мне и так со мною поступил, как не поступают и с какой-нибудь ветошницей.

На несколько секунд воцарилось глубокое молчание, потом мадмуазель Онорина снова заговорила:

— Впрочем, я не сержусь на него, бедного: он сумасшедший.

Через два часа история докторской мыши обошла все кухни Балансона. В полдень обыватели за завтраком передавали ее друг другу как анекдот. В восемь часов председатель за кофе рассказывал ее обедавшим у него шести членам суда, и эти господа, приняв важные позы, слушали его задумчиво, без улыбки и покачивая головой. В одиннадцать часов префект, у которого был званый вечер, с беспокойством пересказывал ее шести болванам из полиции, и когда он спросил ректора, сновавшего от группы к группе со своими злыми остротами и белым галстуком, что тот об этом думает, ректор ответил:

— Что из этого в конце концов следует, господин префект? То, что если бы Лафонтен был еще жив, он мог бы написать новую басню под заглавием «Мышь философа», и она кончалась бы так:

Глупей из двух не тот, кого глупей считают.

ГЛАВА XXVII

О чем доктор Ираклий нимало не подумал, как тот дельфин, который, вытащив из воды обезьяну, опять ее утопил и пустился искать какого-нибудь человека, чтобы ее спасти.

Когда на другой день Ираклий вышел из дому, он заметил, что все смотрят на него с любопытством и оборачиваются, чтобы поглядеть на него еще. Внимание, предметом которого он был, сначала удивило его; он стал искать причину, и ему пришло в голову, что его доктрина, быть может, без его ведома распростра-

лась и что наступила та пора, когда он будет понят своими согражданами. Тогда он почувствовал вдруг великую любовь к этим обывателям, в которых уже видел восторженных учеников, и начал, улыбаясь, раскланиваться направо и налево, как государь среди народа. Сопровождавшее его шушуканье казалось ему хвалебным гулом, и он сиял от радости, думая о предстоящем посрамлении ректора и декана.

Так дошел он до набережной Бриля. Кучка детей шумела и хохотала, швыряя камни в воду, а несколько лодочников, куря трубки на солнце, казалось, внимательно смотрели на игру мальчишек. Ираклий подошел и вдруг отступил назад, как будто получив сильный удар в грудь. Метрах в десяти от берега, то погружаясь, то вновь показываясь, тонул в реке котенок. Несчастное маленькое животное делало отчаянные усилия, чтобы добраться до берега, но каждый раз, когда оно поднимало голову над водою, камень, брошенный одним из негодяев, забавлявшихся его мучениями, заставлял ее опять исчезнуть.

Злые мальчишки наперебой изощрялись в ловкости и подзадоривали друг друга, и, когда хорошо нанесенный удар поражал бедное животное, на набережной раздавались радостные взрывы хохота и топанье ногами.

Вдруг острый камень попал котенку прямо в лобик, и струйка крови показалась на его белой шерстке. Среди палачей раздались неистовые крики и аплодисменты, но они внезапно сменились страшной паникой. Бледный, дрожащий от ярости, опрокидывая все перед собою, нанося удары ногами и кулаками, доктор ринулся в толпу ребят, как волк в овечье стадо. Ужас был так велик и бегство так поспешно, что один из мальчишек, вне себя от страха, бросился в реку и скрылся под водою. Тогда Ираклий быстро снял сюртук, скинул башмаки и, в свою очередь, бросился в реку. Видно было, как он энергично плыл несколько минут, схватил котенка, уже исчезавшего под водою, и победоносно вернулся на берег. Потом он сел на тумбу, обтер, поцеловал, погладил маленькое существо, только что вырванное им у смерти. Любовно, как сына, укрывая его своими руками и не заботясь о ребенке, которого в это вре-

мя два лодочника вытаскивали на берег, не обращая внимания на суматоху, происходившую за его спиною, доктор крупными шагами пошел к своему дому, забыв на берегу башмаки и сюртук.

ГЛАВА XXVIII

Вы убедитесь все историею сей,
Как мы, к нам равному спеша на избавленье,
Котят охотнее спасая, чем детей,
Великое родим в соседях возмущенье,
И как, хоть все пути приводят в Рим людей,
Приводит в желтый дом нас перевоплощенье...
(«Балансонская звезда»)

Часа два спустя несметная толпа народа, издавая буйные вопли, теснилась перед окнами доктора Ираклия Глосса. Вскоре под градом камней зазвенели оконные стекла, и народ уже собирался выбить двери, когда в конце улицы показался отряд жандармов. Постепенно водворилось спокойствие: толпа наконец рассеялась, но до следующего дня два жандарма стояли на посту перед домом доктора. Последний провел вечер в чрезвычайном волнении. Он объяснял себе неистовство толпы тайными происками против него священников и взрывом ненависти, которую всегда вызывало возникновение новой религии среди последователей старой. Он взвинчивал себя до мученичества и чувствовал в себе готовность исповедать свою веру перед палачами. Он приказал привести в кабинет всех животных, которых могла вместить эта комната; восходящее солнце застало его дремлющим между собакой, козой и бараном и прижимающим к своему сердцу спасенного котенка.

Его разбудил сильный стук в дверь, и Онорина ввела весьма почтенного господина, за которым следовали два полицейских агента. Немного позади них скрывался полицейский врач. Почтенный господин представился в качестве участкового комиссара и учтиво пригласил Ираклия следовать за ним; тот повиновался, сильно взволнованный. У дверей ждал экипаж, его усадили туда рядом с комиссаром напротив доктора и одного из агентов, другой поместился на козлах, возле кучера. Экипаж проследовал по Еврейской улице, по

Магистратской площади, по бульвару Жанны д'Арк и наконец остановился перед большим мрачным зданием, на воротах которого была надпись: «Убежище для умалишенных». Ираклию стало вдруг ясно, в какую страшную западню он попал. Он понял ужасную хитрость врагов и, собрав все силы, попытался броситься на улицу; две могучие руки опрокинули его обратно на его место. Завязалась страшная борьба между ним и тремя людьми, которые его стерегли; он отбивался, извивался, колотил, кусался, рычал от ярости, но был повален наземь, крепко связан и унесен в мрачный дом, большие ворота которого затворились за ним со зловещим стуком.

Его ввели в узкую келью странного вида. Камин, окно и зеркало были прочно заделаны решетками, кровать и единственный стул прикреплены к полу железными цепями. Здесь не было никакой мебели, которую обитатель этой тюрьмы мог бы поднять и взять в руки. Обстоятельства доказали, впрочем, что эти предосторожности не лишние. Очутившись в этом совершенно новом для него жилище, доктор немедля поддался душившей его ярости. Он пытался переломать мебель, вырвать решетки и разбить стекла. Видя, что сделать это непосильно, он стал кататься по полу, испуская такой ужасный вой, что в комнату быстро вошли два человека в блузах и каких-то форменных фуражках; их сопровождал высокий господин с лысым черепом, одетый во все черное. По знаку, поданному этой личностью, оба человека набросились на Ираклия, в одно мгновение надели на него смирительную рубашку и взглянули на человека в черном. Тот посмотрел с минуту на доктора и, обратившись к своим помощникам, сказал:

— В залу с душем.

Ираклий был унесен в большую холодную комнату, посреди которой находился бассейн без воды. Он был раздет, поставлен в эту ванну и, прежде чем успел опомниться, чуть не задохся под лавиной холодной воды; более ужасный ледяной поток вряд ли когда-либо обрушивался на смертных в самых что ни на есть северных странах. Ираклий сразу замолк. Черный господин, по-прежнему пристально смотря на него, важно пощупал его пульс и сказал:

— Еще один.

С потолка обрушился второй душ, и доктор, дрожа от холода, хрипя, задыхаясь, упал на дно своей ледяной ванны. Его вытащили, закутали в теплые одеяла и уложили на кровать в его келье, где он проспал глубоким сном тридцать пять часов.

Когда он проснулся на следующий день, пульс его бился ровно и голова была легка. Несколько минут он размышлял о своем положении, а затем принялся за чтение своей рукописи, которую позаботился увезти с собою. Вскоре вошел черный господин. Принесли накрытый стол, и они вместе закусили. Ираклий, не забыв о вчерашнем купании, выказывал себя вполне спокойным и весьма учтивым. Не говоря ни слова о предмете, который мог опять навлечь на него подобную неприятность, он долго беседовал самым занимательным образом, стараясь доказать своему гостю, что здрав рассудком, как семь мудрецов Греции.

Покидая Ираклия, черный господин предложил ему прогуляться в саду заведения. Это был большой двор, усаженный деревьями. Там гуляли с полсотни человек, одни — смеясь, крича и разглагольствуя, другие — важно и задумчиво.

Доктор сразу заметил человека высокого роста с длинной бородой и длинными седыми волосами, который ходил одиноко, поникнув челом. Не зная почему, доктор заинтересовался судьбой этого человека, и в то же мгновение незнакомец, подняв голову, пристально посмотрел на Ираклия. Затем они подошли друг к другу и церемонно раскланялись. Завязался разговор. Доктор узнал, что этого его товарища звали Дагобер Фелорм и что он был преподавателем новых языков в Балансонской гимназии. Он не заметил никакого повреждения в рассудке этого человека и уже задавал себе вопрос, что могло привести его в подобное место, когда тот, внезапно остановившись, взял его за руку и, крепко сжимая ее, спросил, понизив голос:

— Верите ли вы в переселение душ?

Доктор покачнулся, забормотал что-то; их взгляды встретились, и несколько секунд оба простояли, рассматривая друг друга. Наконец волнение охватило

Ираклия, слезы брызнули из его глаз, он раскрыл объятия, и они расцеловались. Начался дружеский разговор, и они вскоре узнали, что просвещены одною истиною, исповедуют одно учение. Не было ни одного пункта, в котором не сходились бы их мысли. Но по мере того, как доктор устанавливал это удивительное сходство идей, он замечал, что им овладевает какое-то странное, неприятное чувство: ему казалось, что чем более неизвестный вырастает в его глазах, тем более умаляется он сам в собственном уважении. Зависть ужалила его сердце.

Собеседник внезапно воскликнул:

— Метампсихоз — это я; это я открыл закон эволюции душ; это я соединил воедино участи людей. Это я был Пифагором...

Доктор вдруг остановился, он был белее савана.

— Извините,— сказал он,— Пифагор — это я.

И они опять посмотрели друг на друга. Тот продолжал:

— Я последовательно был философом, архитектором, солдатом, земледельцем, монахом, геометром, врачом, поэтом и моряком.

— И я,— сказал Ираклий.

— Я написал историю моей жизни по-латыни, по-гречески, по-немецки, по-итальянски, по-испански и по-французски! — кричал незнакомец.

Ираклий возразил:

— И я.

Оба остановились, и их взгляды скрестились, как клинки шпаг.

— В сто восемьдесят четвертом году,— завопил учитель,— я жил в Риме и был философом!

Доктор, дрожа, словно лист под бурным ветром, вытащил из кармана свой драгоценный документ и взмахнул им, как оружием, перед носом своего противника. Тот отскочил назад.

— Моя рукопись! — закричал он и протянул руку, чтобы схватить ее.

— Она моя! — ревел Ираклий, с изумительной быстротой поднимая спорный предмет над головой, перекладывая его из одной руки в другую за своей спиной и проделывая с ним тысячи самых необыкновенных

эволюций, чтобы спасти его от неистового преследования соперника.

Тот скрежетал зубами, топал ногами и ревел:

— Вор! Вор! Вор!

Наконец ему удалось быстрым и ловким движением ухватиться за край документа, который Ираклий старался у него отнять. В течение нескольких секунд каждый тянул его к себе с одинаковым гневом и равной силой; но так как ни тот, ни другой не уступал, рукопись, служившая им физическим соединительным пунктом, окончила борьбу так мудро, как мог бы сделать покойный царь Соломон: она разделилась сама собой на две равные части, и враги разом шлепнулись наземь в десяти шагах друг от друга, причем каждый сжимал свою половину трофея в сведенных судорогой руках.

Они не вставали, но вновь принялись изучать один другого, как две соперничающие державы, которые, померявшись силами, не решаются снова начать распрю.

Дагобер Фелорм первый возобновил враждебные действия.

— Доказательство, что я автор этой рукописи, — сказал он,— в том, что я знал о ней раньше вас.

Ираклий не отвечал.

Тот снова заговорил:

— Доказательство, что я автор этой рукописи, в том, что я могу повторить вам ее наизусть с начала до конца на семи языках, на которых она написана.

Ираклий не проронил ни слова. Он погрузился в размышления. В нем совершался переворот. Сомневаться было нельзя, победа оставалась за его соперником. Но этот автор, о появлении которого он некогда так горячо молился, теперь возмущал его, как ложный бог; будучи теперь сам лишь поверженным богом, доктор поднял восстание против божества. Пока он не считал себя автором рукописи, он страстно хотел увидеть автора, но с того дня, когда он дошел до мысли: «Я сделал это, метампсихоз — это я»,— он уже не мог согласиться, чтобы кто-нибудь занял его место. Подобно тому человеку, который скорее сожжет свой дом, нежели позволит другому занять его, Ираклий, увидев,

что на воздвигнутом им для себя алтаре водворился этот незнакомец, предал сожжению и храм и бога, предал сожжению метампсихоз. И после долгого молчания он сказал медленно и серьезно:

— Вы сумасшедший!

При этом слове его противник вскочил, как бешеный, и началась бы новая борьба, ужаснее прежней, если бы не прибежали сторожа и не водворили зачинщиков новых религиозных войн в их убежища.

Около месяца доктор не покидал своей комнаты; он проводил дни один, обхватив голову обеими руками, погруженный в глубокую думу. Господин декан и господин ректор навещали его время от времени и бережно, посредством искусных сравнений и деликатных намеков, помогали работе, совершавшейся в его уме. Они рассказали ему о некоем Дагобере Фелорме, преподавателе языков в Балансонской гимназии, который сошел с ума, сочиняя философский трактат об учении Пифагора, Аристотеля и Платона; этот трактат, как ему казалось, он начал в царствование императора Коммода.

Наконец в одно прекрасное солнечное утро доктор, вновь ставший самим собою — Ираклием лучших дней, крепко пожал руки обоим своим друзьям и объявил им, что навеки отказывается от перевоплощения с его животными искуплениями и метампсихозом и горько кается, сознавая свои ошибки.

Через неделю двери больницы распахнулись перед ним.

ГЛАВА XXIX

О том, как, спасшись от Харибды, можно иногда попасть к Сцилле

Покидая роковой дом, доктор на мгновение остановился на пороге и вдохнул всею грудью воздух свободы. Затем обычными быстрыми шагами пустился в путь по направлению к своему дому. Он шел уже минут пять, как вдруг какой-то мальчишка, заметив его, испустил протяжный свист, на который тотчас ответил подобный же свист из соседней улицы. Немедля подбежал второй мальчуган, а первый, указывая на Ираклия, закричал во всю мочь:

— Вот звериный человек из сумасшедшего дома!

И оба, идя в ногу вслед за доктором, начали замечательно талантливо воспроизводить крики всевозможных животных.

К первым шалунам скоро присоединилась дюжина других. Они образовали вокруг бывшего сторонника переселения душ столь же шумный, как и неприятный конвой. Один из них шел шагах в десяти впереди доктора, неся, как флаг, палку от метлы с привязанной кроличьей шкуркой, найденной, верно, где-нибудь на улице; трое других следовали непосредственно за ним, выбивая барабанную дробь. Затем шествовал смущенный доктор: затянутый в длинный сюртук, с надвинутой на глаза шляпой, он казался генералом среди войска. За ним бежала, прыгала, ходила на руках банда негодяев, визжа, мыча, лая, мяукая, ревя, крича «ку-ка-ре-ку», испуская ржание и откалывая тысячи других веселых штук к величайшей потехе обывателей, показывавшихся у своих дверей. Растерявшийся Ираклий все более и более ускорял шаги. Вдруг бродячая собака сунулась ему под ноги. Волна гнева прихлынула к мозгу доктора, и он закатил такой страшный удар ногою бедному животному, которое в былое время приютил бы у себя дома, что собака умчалась, завывая от боли. Ужасный взрыв радостных восклицаний раздался вокруг доктора Ираклия, и он, теряя голову, пустился бежать изо всех сил, неотступно преследуемый своей адской свитой.

Орда вихрем пронеслась по главным улицам города и разбилась о дом доктора. Увидя полуотворенную дверь, он бросился в нее и захлопнул за собою; затем, все еще бегом, поднялся в кабинет, где был встречен обезьяной, показавшей ему язык в знак приветствия. Это зрелище заставило его попятиться, словно перед его очами встало привидение. Обезьяна была живым напоминанием о всех несчастиях, одною из причин его безумия, унижений и тех оскорблений, которые он только что претерпел.

Схватив дубовую скамеечку, оказавшуюся у него под рукой, доктор одним ударом рассек череп несчастного четверорукого, грузно повалившегося к ногам сво-

его палача. И, облегчив себя этой казнью, он упал в кресло и расстегнул сюртук.

Появилась Онорина и едва не лишилась чувств от радости, увидя Ираклия. В восторге она бросилась на шею своему господину и расцеловала его в обе щеки, забывая, таким образом, о расстоянии, которое разделяет в глазах света господина и служанку, в чем, как говорили, доктор сам некогда подал ей пример.

Однако толпа шалунов не рассеялась и продолжала перед домом такой ужасный кошачий концерт, что Ираклий, теряя терпение, вышел в сад.

Страшное зрелище поразило его.

Онорина, которая действительно любила своего господина, хотя оплакивала его безумие, хотела приготовить ему приятный сюрприз к возвращению. Она, как мать, пеклась о существовании всего зверья, собранного в этом месте, так что благодаря плодовитости, свойственной всем породам животных, сад являл теперь зрелище, подобное тому, которое, должно быть, являла, когда иссякли воды потопа, внутренность ковчега, где Ной собрал все породы живых тварей. Это было беспорядочное скопление, кишащая масса животных, среди которых исчезали деревья, кусты, травы и земля. Ветки гнулись под тяжестью полчищ птиц, а на земле возились в пыли кошки, собаки, козы, овцы, куры, утки и индейки. Воздух был наполнен разнообразными криками, совершенно подобными тем, которые испускала детвора, бушевавшая по ту сторону дома.

При виде всего этого Ираклий уже не мог сдержаться. Схватив стоявшую у стены лопату и уподобившись славным воителям, о подвигах которых повествует Гомер, доктор размахивал ею взад и вперед, нанося удары направо и налево, с бешенством в сердце, с пеной на губах; он произвел ужасное избиение всех своих безобидных друзей. Испуганные куры перелетали через стены, кошки карабкались на деревья, никому не было от него пощады; смятение было неописуемое! Когда земля была усеяна трупами, он наконец упал от усталости и, как победивший вождь, заснул на поле сечи.

На другой день, когда его возбуждение улеглось, Ираклий попытался пройтись по городу. Но едва он

переступил через порог, как мальчишки, сидевшие в засаде по углам улиц, снова начали его преследовать, вопя: «Гу, гу, гу! Звериный человек, друг зверей!»,— и возобновили вчерашние крики с бесчисленными вариациями.

Доктор поспешил вернуться домой. Ярость душила его, и, не будучи в состоянии разделаться с людьми, он поклялся, что будет питать неугасимую ненависть к животным всех пород и вести ожесточенную войну с ними. С этой поры у него было лишь одно желание, одна цель, одно постоянное занятие — убивать животных. Он подстерегал их с утра до вечера, расставлял силки в саду, чтобы ловить птиц, ставил капканы на желобах своей крыши, чтобы душить окрестных кошек. Его всегда полуотворенная дверь позволяла видеть вкусные куски мяса пробегавшим мимо голодным собакам и быстро захлопывалась, как только неосторожная жертва впадала в искушение. Скоро со всех сторон на него полетели жалобы. Сам полицейский комиссар не раз приходил к нему требовать, чтобы он прекратил эту ожесточенную войну. Судебные повестки так на него и сыпались, но ничто не могло остановить его мстительности. Наконец негодование сделалось всеобщим. Второй бунт вспыхнул в городе, и, конечно, Ираклий был бы растерзан толпою, если бы не вмешалась вооруженная сила. Все балансонские врачи были приглашены в префектуру и единогласно удостоверили, что доктор Ираклий Глосс сумасшедший. И во второй раз проехал он через город между двумя полицейскими агентами и увидел, как затворились за ним тяжелые ворота с надписью: «Убежище для умалишенных».

ГЛАВА XXX

О том, что пословица: «Чем больше сумасшедших, тем больше смеха» — не всегда бывает вполне справедлива

На другой день он спустился во двор убежища, и первым человеком, который предстал его очам, был автор рукописи о переселении душ. Оба врага начали наступать друг на друга, измеряя один другого взгляда-

ми. Около них образовался круг. Дагобер Фелорм воскликнул:

— Вот человек, желавший похитить труд моей жизни, украсть у меня славу моего открытия!

Ропот пробежал по толпе. Ираклий ответил:

— Вот тот, кто утверждает, что животные — люди, а люди — животные.

Затем оба заговорили вместе; понемногу они разгорячились и, как в первый раз, скоро дошли до рукопашной. Зрители их разняли.

С этого дня каждый из них с удивительным упорством и настойчивостью старался завербовать себе последователей, и вскоре вся колония разделилась на две соперничающие секты, восторженные, ожесточенные и до такой степени непримиримые, что сторонник учения о перевоплощении не мог встретиться ни с одним из своих противников без того, чтобы немедля не последовал ужасный бой. Чтобы предупредить кровавые стычки, директор вынужден был назначить каждой партии различные часы для прогулки, потому что никогда еще, со времен распри гвельфов и гибеллинов, ненависть не воодушевляла с бо́льшим упорством два враждующих лагеря. Впрочем, благодаря данной мере предосторожности предводители этих вражеских кланов жили счастливые, любимые, окруженные внимательными, послушными и почитающими их учениками.

Иногда ночью, услышав вой собаки за стенами, Ираклий и Дагобер дрожат в своих постелях. Это верный Пифагор, который, чудом избегнув мщения своего хозяина, последовал за ним до порога его нового жилища и пытается проникнуть в ворота этого дома, куда входить имеют право только люди.

ЧУЖЕЗЕМНАЯ ДУША

ЧУЖЕЗЕМНАЯ ДУША

I

Публики в игорном зале было немного: в тот день в Эксе, в театре нового казино, впервые шла комедия Анри Мельяка. Однако за четырьмя игорными столами, по сторонам крупье, уже теснились привычным кругом, стоя или сидя, мужчины и женщины — неутомимые игроки, завсегдатаи рулетки. В остальной части зала было тихо: пустовали длинные диваны, прижавшиеся к стенам, низкие кресла по углам, стулья с уже потускневшими кожаными сиденьями. Первый салон также был безлюден. По нему ходил взад и вперед, заложив руки за спину, украшенный цепью служитель, тот благосклонный служитель, на котором лежит обязанность распознавать сомнительных лиц, пытающихся проникнуть в игорный зал, не будучи представленными администрацией, которая удостоверяет добропорядочность игроков.

Слышен был негромкий, но непрерывный звон монет: то звенел, разливаясь по четырем столам, золотой поток, поток луидоров, заглушавший своим звоном тихие, пока еще несмелые и спокойные людские голоса.

В дверях игорного зала показался высокий человек, стройный, довольно молодой. Он держал себя с непринужденностью, свойственной людям, чья юность протекла в элегантной и богатой парижской светской среде. Голова его немного облысела на макушке, но уцелевшие русые волосы мягко кудрявились на висках, а над губой изящно закруглялись красивые усы с завитыми кончиками. В его светло-голубых приветливых глазах мелькала насмешливость, а смелая, любезная

и элегантно-высокомерная осанка говорила о том, что он не был ни выскочкой, недавно пробравшимся в светское общество, ни одним из тех подозрительных завсегдатаев казино, которые рыщут по миру в поисках легкой наживы.

В то мгновение, когда он собирался откинуть портьеру над дверью, которая вела в игорный зал, к нему подошел служитель.

— Не будете ли вы любезны напомнить мне ваше имя, сударь? — вежливо спросил он.

— Робер Мариоль,— ответил немедля новоприбывший.— Я записался сегодня.

— Благодарю вас, сударь.

Мариоль вошел в игорный зал, отыскивая кого-то взглядом.

Его окликнул чей-то голос, и невысокий, полный, безукоризненно одетый мужчина лет сорока подошел к нему с протянутыми руками. На нем был так называемый *смокинг* — странная куртка, которую ввел в моду принц-кутила и которая напоминает одежду юноши в день первого причастия.

Мариоль взял его руки, пожал их и сказал, улыбаясь:

— Здравствуйте, дорогой Люсетт.

Граф де Люсетт, добродушный, богатый и беспечный холостяк, изо дня в день, из года в год ездил туда же, куда ездили все люди его круга, делал то же, что делали все, говорил то же, что говорили все, и благодаря своему незлобивому уму был желанным посетителем светских салонов.

— Ну, как сердце? — с подчеркнутым интересом спросил он у Мариоля.

— О, хорошо, все кончено.

— Совсем?

— Да.

— Ты приехал в Экс, чтобы окончательно выздороветь?

— Вот именно. Мне нужно подышать другим воздухом.

— Это верно: в том воздухе, которым человек дышал, будучи влюбленным, всегда может сохраниться опасный микроб любви.

— Нет, милый мой; больше нет ни малейшей опасности. Но я прожил с ней три года. Мне приходится менять свои привычки, а для этого нет ничего лучше путешествия.

— Ты приехал сегодня утром?

— Да.

— И пробудешь здесь некоторое время?

— Пока не соскучусь.

— О, ты не соскучишься: здесь забавно, даже очень забавно.

И Люсетт набросал ему картину жизни в Эксе. Он очертил этот город — город вани и казино, медицины и развлечений, город, где, съехавшись со всего света, мирно общаются друг с другом монархи, лишившиеся трона, и сомнительные богачи, для которых не нашлось места в тюрьмах. Он описал со свойственным ему юмором это единственное в своем роде смешение светских дам и продажных женщин: те и другие обедают за смежными столами, громко судачат друг о друге, а часом позже играют за одним и тем же игорным столом. Он остроумно обрисовал подозрительно непринужденные отношения, непостижимое благодушие людей, которые обычно совершенно неприступны, но, решив повеселиться в этом маленьком савойском городке, не брезгуют никаким знакомством. Монархи, будущие или уже свергнутые, высочества, князья, великие или маленькие,— дядья, двоюродные братья, шурины или свояки королей,— высокопоставленные представительницы французской или международной аристократии, которые всячески подчеркивают неизмеримое расстояние, отделяющее их от простых буржуа, и которые зимою в Канне образуют непроницаемо-замкнутые аристократические группы, куда могут проложить себе доступ лишь английское лицемерие или огромные состояния американских и еврейских богачей,— все они с наступлением летней жары устремляются в шумные казино Экса, словно одержимые единственным желанием отвести душу, отказавшись от излишней разборчивости в знакомствах.

Граф де Люсетт рассказывал обо всем этом веселым, пренебрежительным тоном благовоспитанного светского человека, который, знакомя вас с каким-ни-

будь притоном, прекрасно себя там чувствует, подсмеивается над самим собою так же, как и над другими, и сгущает краски, чтобы усилить впечатление. Благодаря бакенбардам, подстриженным на уровне ушей, его небольшое жирное бритое лицо казалось еще круглее. С присущей ему веселой, оживленной, слегка искусственной мимикой аристократических салонных остроумцев граф де Люсетт приводил факты, называл женские имена, добродушно рассказывал пикантные эпизоды — любовные или игорные.

Мариоль слушал его, улыбаясь и порой одобрительно кивая головой, как будто наслаждался этим легкомысленным, а на самом деле заранее подготовленным рассказом. Но какая-то печальная, тщетно отгоняемая мысль, казалось, заволакивала и омрачала его голубые глаза.

Друг его умолк; наступило молчание.

— А ты знаешь последнюю гадость, которую она мне сделала? — спросил Мариоль, казалось, забывший и про Экс и про всех тех, о ком рассказывал Люсетт.

— Какую гадость? Кто? — удивленно спросил тот.

— Антриетта.

— А! Твоя бывшая возлюбленная?

— Да.

— Нет, не знаю. Расскажи.

— Она упросила меня дать взаймы денег одной торговке подержанными вещами, а сама устраивала у нее свидания.

Люсетт расхохотался: проделка показалась ему очаровательной.

— Да,— продолжал Мариоль,— она разжалобила меня, выдав эту сводню за свою кузину. К тому же сочинила целую историю об обольщении, о брошенном ребенке, оставшемся на руках бедной кузины; словом, целый роман, глупейший роман, какой только и могла сочинить девица легкого поведения, достойная дочка привратника.

Люсетт продолжал смеяться.

— И ты поверил?

— Признаться, да.

— Странно! Такой человек, как ты, выросший на коленях у папаши Мариоля, хитрейшего из людей.

Мариоль слегка пожал плечами, как человек, полный презрения к себе, а может быть, и к другим.

— В делах с женщинами самые проницательные люди оказываются дураками,— сказал он как бы про себя.

— Милый мой, когда их любят, они обычно становятся дрянями.

— Это, пожалуй, слишком сильно сказано.

— Нет. Но зато когда они сами любят, это ангелы, правда, ангелы, у которых наготове когти, серная кислота и анонимные письма, порой неотвязно прицепившиеся ангелы, но все-таки ангелы — в смысле верности, самоотверженности, преданности... Во всяком случае, вся эта история порядком помучила тебя, хотя твоя Анриетта оказалась, кажется, непостоянной.

— Да. Но именно ее измены и подготовили мое выздоровление. Теперь я исцелился от нее.

— По-настоящему?

— По-настоящему. Три раза — это уж слишком.

— Так, значит, ты в третий раз изобличаешь ее в неверности?

— Да.

— Когда ты написал мне третьего дня, прося занять для тебя номер в гостинице, ты только что накрыл ее?

— Да.

— Значит, ты совсем недавно узнал об ее неверности?

— Ну да. Четыре дня тому назад.

— Черт возьми! Смотри, как бы болезнь не вернулась снова.

— О, нет. Я ручаюсь за себя.

И Мариоль, чтобы отвести душу, рассказал Люсетту всю историю своей связи, как будто он хотел отогнать, выбросить из памяти и сердца мучившие его воспоминания, события, подробности.

Его отец, бывший сначала депутатом, затем министром, наконец, директором большого политико-финансового банка *Объединение промышленных городов* и наживший на этой последней должности крупное состояние, оставил Мариолю, своему единственному сыну, более пятисот тысяч франков ренты и дал ему перед смертью совет: жить, ничего не делая, и презирать

всех других. Это был старый ловкий финансист, прожженный делец, убежденный скептик; он рано открыл своему наследнику глаза на все людские проделки.

Воспитанный под его руководством, посвященный в махинации богачей и власть имущих, Робер стал одним из тех светских молодых людей, которым в тридцать лет кажется, что в жизни для них нет уже ничего неизведанного.

Он был одарен тонким умом и насмешливой проницательностью, обостряемой врожденной прямотой его характера. Он плыл по течению жизни, избегая забот и наслаждаясь всеми удовольствиями, встречавшимися на пути. Не имея семьи — мать его умерла спустя несколько месяцев после его рождения,— не зная пылких страстей и неудержимых увлечений, он долгое время ни к чему не испытывал особой склонности. Его привлекали только удовольствия светской жизни, клуб, многочисленные парижские развлечения, да, кроме того, он чувствовал известный интерес к картинам и другим предметам искусства. Этот интерес зародился в нем сначала благодаря тому, что один из его друзей был коллекционером и сам он инстинктивно любил вещи редкие и тонкой работы, а затем потому, что ему надо было обставить и убрать красивый, только что купленный дом на улице Монтеня, и, наконец, потому, что ему нечего было делать. Затратив некоторое время и довольно крупную сумму денег, он стал одним из тех, кого называют просвещенными любителями, одним из тех, которые слывут знатоками, потому что богаты, и которые создают модных живописцев, потому что оплачивают их. Подобно стольким другим, накупив множество картин и ценных безделушек, он завоевал себе право на самостоятельное мнение в области искусства; с ним стали считаться и советоваться; поощряя модные течения и не умея оценить истинный талант, он стал одним из тех, из-за кого Дворец Промышленности ежегодно наводняется ремесленнической живописью, которую награждают медалями, чтобы затем протолкнуть ее в галереи любителей-коллекционеров.

Вскоре он охладел к искусству, убедившись, что и в этой области, как и во всех прочих, царит общее заблуждение, что настоящих знатоков нет и что вкусы в

искусстве меняются вместе с модой, точь-в-точь как и в туалетах.

Он становился все равнодушнее, все скептичнее. Как истый парижанин, достигший тридцати пяти лет, иными словами, ставший почти уже старым холостяком, он замкнулся в круг обычных развлечений мужчин его возраста. Он обдуманно строил свою жизнь, отчетливо в ней разбирался, трезво взвешивал, какое место уделить в ней каждому отдельному развлечению — игре, лошадям, светским отношениям и прочему.

Он с удовольствием бывал в обществе, охотно обедал вне дома, а вечера, от десяти до часу, проводил в излюбленных салонах, где чувствовал себя как дома. Везде его принимали с большой охотой, его приходу радовались, за ним ухаживали, потому что он был богат, остроумен и внушал симпатию.

Истый француз, представитель того старинного племени, любезного и насмешливого, презирающего все, что его не волнует, невежественного во всем, что не кажется ему забавным, уделяющего внимание лишь некоторым вещам, некоторым людям, даже некоторым кварталам Парижа, Мариоль считал, что жизнь в конечном счете не стоит особенных хлопот и что лучше над ней смеяться, чем от нее плакать.

Тогда-то он и встретил однажды за ужином любовницу одного из своих друзей. Она сразу понравилась Мариолю: в ней было какое-то внутреннее очарование, неприметное, но ощутительное. Садясь с ней рядом за стол, вы сначала почти не обращали на нее внимания, но, поговорив с ней какой-нибудь час, уже чувствовали себя под обаянием ее прелести. Это была красивая тоненькая женщина, неяркая, вся в каких-то полутонах, сдержанная, с мягкими и скромными манерами; в тех высших слоях полусвета, где она вращалась, она играла роль скромной хозяйки дома.

Почти неизвестная в прославленном кругу куртизанок высшего полета, она всегда была чьей-нибудь открыто признанной любовницей и держалась в тени, в роскошной и благоуханной тени. Ловкая женщина, она была из тех, которые умеют усладить домашними радостями жизнь богатого и кутящего холостяка и которые, пока им не встретился наивный возлюбленный,

обреченный жениться на них, сохраняют особую специальность: продают за дорогую цену богатым и праздным людям видимость семейного очага.

Робер Мариоль увлекся ею, начал ухаживать за нею, как за светской дамой, осмелился признаться в своих чувствах, писал о своей любви. Зная, что он богат, она поддалась не сразу, потом уступила его настояниям, придав их отношениям форму лжеадюльтера, подобно тому как ее отношения с другим ее любовником имели вид лжесупружеского счастья. Когда она уверилась в том, что сумела привязать к себе Мариоля, у нее появились угрызения совести: она объявила ему, что должна порвать с одним из них. Если Мариоль хочет, она останется с ним. Он был в восторге от ее выбора и ответил, что берет ее.

Тогда она очень ловко, без историй и ссор, рассталась с тем, кто оплачивал ее уютную благосклонность. Жизнь ее оставалась по-прежнему спокойной. Даже оба соперника, и те сохранили добрые отношения; в течение нескольких недель они, правда, холодно сторонились друг друга, но однажды обменялись рукопожатием и стали снова друзьями.

С тех пор Мариоль жил на два дома: в одном были собраны картины, редкая мебель, бронза и тысячи дорогих вещей, в другом ждала его красивая женщина, всегда готовая встретить его, развлечь улыбкой, словами любви, ласками. Ему полюбился этот второй дом, где он нашел приют своей праздности, и он постепенно перенес туда свою жизнь. Он привык обедать там — сначала время от времени, потом чаще, потом каждый вечер. Он принимал там друзей, устроил несколько вечеринок, причем его подруга выполняла роль хозяйки дома со скромным изяществом, наполнявшим Мариоля гордостью. Близ нее он вкушал редкое наслаждение — иметь нечто вроде рабыни, служащей ему своей любовью: прелестной, послушной, преданной рабыни, которую он оплачивал. Она в совершенстве выполняла роль мнимой жены, и Мариоль так привязался к ней и был так счастлив с нею, что, только застав ее, совершенно неожиданно для себя, на месте преступления, смог поверить в ее измену.

Последовала дуэль. Мариоль был легко ранен и

вернулся к прежнему образу жизни Через два месяца — они показались ему невыносимы — Мариоль встретил Анриетту как-то утром на улице. Она подошла к нему, покраснев от смелости и робости.

— Я люблю вас,— сказала она.— Если я изменила вам, так это потому, что я девка. Но вы это и сами знали. Я хочу сказать, что тут было увлечение. У кого их не бывает! Разве вы всегда оставались мне верны, когда я была вашей любовницей? Разве у вас ни разу не было любовного свидания с какой-нибудь прежней подругой — признайтесь! Нет, не говорите ничего: мне ведь вы платили, а это — совсем другое дело.

Объяснение их длилось два часа. Они ходили взад и вперед по тротуару, от одной улицы до другой.

Мариоль говорил жестко, гневно, страстно; она вся сжалась, смиренная, трогательная. Она плакала, не обращая внимания на прохожих, не вытирая глаз, плакала настоящими слезами: она по-своему любила его, эта куртизанка.

Мариоль, растроганный, принялся утешать ее, пришел навестить на другой день — и она снова стала его любовницей. «Ба! — говорил он, желая оправдать себя в собственных глазах.— В конце концов это моя содержанка, и только».

Однако он несколько изменил образ жизни, принимал в своей второй квартире лишь немногих избранных друзей, в том числе графа де Люсетта, и зажил с любовницей более замкнутой и более уединенной жизнью.

И тогда она окончательно завоевала его своими чарами, милой заботливостью, лукавым, бойким остроумием, приберегаемым, казалось, для него одного, даже чтением вслух — она читала ему по вечерам, когда они оставались одни. Мало-помалу часы, проводимые наедине с нею, начали казаться ему приятнее почти всех тех развлечений, которые забавляли его раньше. Но вдруг однажды утром перехваченное Мариолем у горничной письмо открыло ему имя нового соперника.

Он подумал, что было бы наивно и смешно затевать вторую дуэль из-за этой распутницы, и попросту бросил ее. Но он два года прожил в постоянной близости этого нежащего тела, он томился по своим уже сложившимся привычкам, по ее особенным поцелуям, которые

не мог ни забыть, ни заменить поцелуями других женщин,— и в течение трех месяцев ночи его были беспокойны, дни тревожны.

Она прислала ему письмо; он оставил его без ответа. Второе письмо взволновало его. Она каялась в своей вине, приводя смягчающие обстоятельства, и просила у него, как милости, чтобы он изредка навещал ее, хотя бы только как друг.

После полуторамесячного сопротивления он уступил ее просьбам. Спустя несколько дней они снова зажили вместе.

Так прошел еще год. Затем к Мариолю явилась однажды старуха, торговавшая подержанными вещами, которой он несколько раз оказывал денежную помощь по ходатайству Анриетты. Женщины рассорились, и старая сводня пришла к Мариолю единственно затем, чтобы из мести сообщить ему, что Анриетта превратила ее дом в место своих свиданий.

Тут Мариоль окончательно возмутился. Он был так взбешен, что почувствовал себя исцеленным, — как будто его сердечная рана сразу зарубцевалась. Он решил отныне иметь дело с женщинами лишь на правах господина, который оплачивает их и которого ничто не волнует. Желая переменить местопребывание и образ жизни, он уехал из Парижа.

Он выбрал Экс, потому что там находился его друг граф де Люсетт, и, встретившись с графом, тотчас рассказал ему эту тяжелую историю; тот, впрочем, уже знал ее почти всю по частям. Однако он с чуть насмешливым любопытством выслушал Мариоля до конца. Потом, глядя ему прямо в глаза, спросил:

— Через сколько же времени ты снова возьмешь ее?

— О! Никогда.

— Молчи уж лучше.

— Никогда.

— Шутник ты, право! Ведь ты всего полчаса здесь, а только о ней и говоришь.

— Прости, пожалуйста, я говорю о себе, как говорят все.

— Да, но в связи с нею.

— Точно так же, как я говорил бы о себе в связи с каким-нибудь путешествием, если бы возвратился из

Китая или Японии; это еще не доказывало бы, что я собираюсь туда вернуться.

— Это доказывает, что ты думаешь о ней.

— О, только по вечерам.

— Ого! Самое опасное время.

— Но утром, когда я просыпаюсь, я в восторге, в полном восторге, что порвал с ней. За целый день я ни разу не подумаю о ней, как будто ее и на свете нет. Правда, с наступлением сумерек в моей душе всплывают воспоминания, кое-какие интимные воспоминания, и от них становится чуть грустно. Но я так презираю ее, что между нами все кончено.

Их внимание отвлекла хлынувшая в зал толпа. Кончился спектакль; зрители, которые привыкли ложиться рано, расходились по своим гостиницам и виллам, а привыкшие ложиться поздно двинулись толпами в игорные залы. Одна за другой появились кокотки, старые кокотки пляжей и казино, из Биаррица, из Дьеппа, из Монте-Карло, легендарные подстерегательницы счастливых игроков,— сестры Делабарб, Розали Дюрдан, высокая Мари Боннфуа,— в охотничьих костюмах и шляпках, выдававшихся над головами толпы наподобие видных издали маяков. Вокруг них теснились мужчины — высокие, низкорослые, толстые, худые,— и на каждом из них, то вплотную прильнув к костлявой спине, то выпукло обрисовывая жирные формы, красовалось все то же смехотворное одеяние, изобретенное, как говорят, наследником английского престола.

Появились в зале и светские женщины, представительницы высшего общества, его избранных кругов, сопровождаемые свитой кавалеров: княгиня де Герш, маркиза Эпилати, леди Уормсбери, английская красавица, одна из любимых подруг принца Уэльского, знатока женщин,— и ее соперница, белокурая американка миссис Филдс.

И сразу же, несмотря на то, что шум шагов и голосов все усиливался, звон золота на столах стал таким громким, что его ясный, неумолкающий металлический звук начал покрывать гул толпы.

Мариоль смотрел на прибывающих, узнавал знакомые лица и, претендуя на роль эксперта в оценке женской красоты, спорил с Люсеттом о том, о чем случа-

лось спорить любому светскому человеку. Появилась еще одна дама, брюнетка, одна из тех жгучих брюнеток, которые встречаются только на Востоке; над ее лбом и висками вздымалась густая копна черных волос, словно венец из ночного мрака. Среднего роста, с тонкой талией, с полной грудью, она шла гибкой походкой, с задорно-веселым и в то же время лениво-небрежным видом, как вызывающе красивая завоевательница сердец.

— Вот эта недурна! — сказал Мариоль.

— Могу предстазить тебя в любое время! — отвечал Люсетт.

— Кто это?

— Графиня Мосска, румынка.

— Странно,— продолжал Мариоль,— я никогда особенно не увлекался брюнетками.

— Да ну! Почему же?

— Не знаю, не подвернулось такой брюнетки, что ли. А потом мне больше нравятся шатенки и блондинки.

— Они крашеные, эти блондинки.

— Да нет же, мой милый.

— Вот именно крашеные, мой друг. Или по крайней мере их так много и красятся они так искусно, что их не отличишь от настоящих блондинок и самые большие знатоки часто попадают впросак. Найти настоящую блондинку так же трудно, как купить художественную безделушку, которая не оказалась бы поддельной; никогда не знаешь в точности, кого обнимаешь.

— Да нет же, совсем нет. В блондинках есть та прелесть, какой не найти у брюнеток. Затылок, например. Что может быть красивее, чем тот легкий пушок первых коротких волос, золотистых или каштановых, которые отливают красным деревом, на фоне белой шеи, постепенно переходящей в плечо? В брюнетках есть какая-то жесткость; они воительницы любви. Посмотри на эту: она кажется амазонкой кокетства. Помнишь медлительную походку и нежные позы Анриетты?

— Еще бы. Она хорошо знала свое ремесло.

Подумав с минуту, Мариоль добавил:

— А все-таки, будь она не такая подлая или я чуть-чуть подлее, из нас вышла бы неразлучная пара.

Несколько мужчин, завидя их, подошли, протягивая руки. Только и слышалось: «Здравствуйте, Мариоль!», «Ба! И вы здесь?», «Как поживаете?», «Когда приехали?», «Так и вам, значит, случается выезжать из Парижа?»

Мариоль пожимал руки направо и налево и отвечал, улыбаясь, что чувствует себя превосходно и что приехал в Экс повеселиться.

Один из собеседников, маркиз Пимперани, знатный разорившийся итальянец, вечно кочующий по курортам, спросил у него:

— Вы знакомы с княгиней де Герш?

— Да. Я езжу к ней на охоту и даже иногда у нее обедаю.

— Так подойдите к ней: она пригласит вас принять участие в нашей завтрашней прогулке.

Княгиня была маленькая худая женщина, почти всегда одетая несколько на мужской лад: она носила суконные плотно облегающие жакеты и не стеснявшие движений юбки, удобные для женщины, которая любит пешеходные прогулки, охоту, верховую езду. Княгиня беседовала с миссис Филдс. Вокруг них теснилась, подобно отряду телохранителей, группа мужчин.

Увидев Мариоля, княгиня дружески протянула ему руку.

— А! Здравствуйте, господин Мариоль,— сказала она.— Так и вы приехали в Экс?

Она тут же представила его прекрасной американке, ясное лицо которой, обрамленное золотыми волосами, улыбалось всегда одной и той же улыбкой. Это было не то легкое облако, которое как бы ореолом окружает лица некоторых английских красавиц, а солнечносияющая масса волос, напоминающая созревшую на девственной почве жатву. Слава о миссис Филдс гремела во всех столицах мира.

Они разговорились. Княгиня никогда не играла. Она приходила в казино посмотреть на игру в качестве простой зрительницы. Осенью, на псовой охоте, она схватила ревматизм и проходила в Эксе серьезный курс лечения. Знатного рода, окруженная избранным обществом, она довела до крайности свою любовь к лоша-

дям и спорту. Ничто в мире, кроме этого, не занимало, не интересовало, не волновало ее. Ей было лет тридцать, у нее была некрасивая, но привлекательная, несколько мальчишеская внешность, нежные и в то же время задорные синие глаза, красивые каштановые волосы; худая, гибкая, элегантная, мускулистая, она ездила верхом наравне с мужчинами, скакала по лесам, охотилась на зверя, задавала праздники, устраивала фейерверки и, казалось, не помышляла о романах. Муж княгини, депутат одного из округов Турени, где у него было великолепное имение, предоставил жене полную свободу и занимался почти исключительно историческими изысканиями.

Он был уже дважды премирован Французской Академией. Ссылки на собранную им коллекцию рукописей встречались в трудах специалистов всех европейских стран.

— Вы приехали лечиться? — спросила княгиня у Мариоля.

— Нет, княгиня.

— Так, значит, поразвлечься?

— Только для этого.

— Это лучше. Не хотите ли принять участие в нашей прогулке: мы едем завтра в Ла-Шамботт?

— С наслаждением.

— Ну, так будьте завтра в десять часов, после утренних ванн, у Отеля Королей: там назначен сборный пункт.

Мариоль поблагодарил княгиню, в восторге от приглашения, которое давало ему возможность более тесно сблизиться с тем миром, куда он только еще вступал.

Тут к ним подсели маленькая маркиза Эпилати и высокая леди Уормсбери, эта professional beauty[1],— обе они прогуливались до этого вокруг игорных столов, отваживаясь время от времени поставить несколько луидоров через посредство кого-нибудь из своих кавалеров. И все дамы занялись кишевшей кругом публикой, главным образом куртизанками. Мужчины называли их имена, сообщали вполголоса различные подробности, рассказывали шепотом скабрезные эпи-

[1] Патентованная красавица *(англ.)*.

зоды. Очень развеселила всю компанию история, касавшаяся Розали Дюрдан, но рассказ графа де Люсетта о последнем похождении старшей из сестер Делабарб накануне вечером в гостинице показался слишком вольным, несмотря на все искусство рассказчика.

Княгиня, не забывавшая о своем здоровье, сказала вдруг:

— Уже поздно. Пойдемте выпьем по чашке чая и вернемся домой.

Она встала и, окруженная своей свитой, прошла в длинную стеклянную галерею между двумя парками, в которых днем били фонтаны, а вечером жгли фейерверки. Галерея представляла собой огромное кафе, ресторан, где завтракали и обедали те, кого раздражал общий стол гостиниц и кто не стеснялся в деньгах.

Там, за чашками с дымящимся чаем, тон и содержание разговора резко изменились. Собеседники как будто вернулись к какой-то прежней, прерванной ими непринужденно-светской беседе, привычной, вечно возобновляемой и словно указывавшей на существование своеобразного франк-масонского союза, к которому принадлежали все эти женщины, столь различные по происхождению, все эти мужчины, представители столь несхожих народов, но принадлежащие — те и другие — к единому высшему и не имеющему отечества классу. Вокруг них кишела толпа, вульгарная, банальная, суетливая, толпа мелких или обыденных людей — пусть даже богатых, пусть известных. Но они уже не сливались с этой толпой! Они уже не интересовались ею, не видели ее! Они только что порвали с нею, незаметно отделились от нее и, усевшись вокруг ресторанного столика, образовали свой замкнутый круг, как будто это было в аристократическом салоне.

Теперь они беседовали о людях своего круга — об отсутствующих,— о французах, русских, итальянцах, англичанах, немцах. Казалось, они знали их, как родных братьев или соседей по кварталу, ибо мелькавшие в их беседе имена, по большей части незнакомые Мариолю, видимо, были всем хорошо известны.

Он с любопытством слушал этот разговор. Для него была несколько непривычна окружавшая его среда, среда немногочисленного племени аристократов, не

связанного никакими границами, того избранного интернационального high life'a [1], члены которого знают, узнают и находят друг друга всюду: в Париже, Канне, Лондоне, Вене, Петербурге; той касты, которая зиждется на происхождении, воспитании, на традициях элегантной роскоши, на одинаковом представлении об аристократической жизни, на браках и которую в особенности укрепляют придворные связи и дружеские отношения между отдельными монархами, что ставит членов этой касты выше весьма распространенного и пошлого предрассудка национальности.

И только тот или другой акцент, отличавший речь отдельных собеседников, свидетельствовал, что язык, которым они пользовались в том или ином городе, где им приходилось бывать, они изучали в различных странах.

Княгиня и сидевший с ней рядом Мариоль вскоре перестали принимать участие в общем разговоре и перешли на другую тему. Желая понравиться княгине, Мариоль расхваливал охоты в ее владениях, ее выдающиеся способности в верховой езде, ее неутомимость в псовой охоте. Его слова задели в ней самую чувствительную струнку, и в ее глазах и голосе промелькнуло то особое благорасположение, которое появляется у страстно увлекающихся людей, если собеседник льстит их мании. Затем они заговорили о путешествиях, о море, о горах, об Альпах. Особенно много хвалили окрестности Экса.

— Завтрашняя экскурсия будет чудесна,— сказала княгиня.— Не буду ее вам описывать: вы увидите сами эти места.

Потом, в знак того, что Мариолю удалось завоевать ее симпатию, она добавила:

— Знаете что? Садитесь завтра в мою коляску. Там будет, кроме вас, одна очаровательная женщина, румынка графиня Мосска.

— Она только что была в игорном зале, не правда ли? — спросил Мариоль.

— Да. С ней был ее отец — такой высокий старик с усами и седой бородкой.

---

[1] Высшего общества *(англ.)*.

Княгиня рассказала ему о некоторых обстоятельствах жизни этой молодой женщины, обращавшей на себя в Эксе всеобщее внимание своей красотой. Она была вдова графа Мосска, королевского конюшего, убитого на дуэли из-за какой-то карточной ссоры. Это произошло всего полтора года назад. С тех пор графиня все время путешествовала: говорили, что она покинула Бухарест, чтобы прийти в себя от глубокого горя.

— И что ж, она пришла в себя? — спросил с чуть заметной иронией Мариоль.

— Кажется, да,— ответила с улыбкой княгиня.

Затем она поднялась с места: лечебный режим требовал соблюдения правильного образа жизни. После ее ухода вышел из казино и Мариоль: ему хотелось пройтись перед сном по парку.

Время, проведенное в приятном обществе этих изящных женщин, оживило, развеселило, утешило его. Он ясно чувствовал, как среди этих людей, принявших его столь приветливо, испаряется остаток его печали; и он принялся думать о них, как это бывает, когда покидаешь людей интересных и малознакомых.

Он долго бродил по аллеям парка жаркой, душной ночью, одной из тех ночей, что в летние месяцы превращают этот затерянный в глубине долины городок в настоящую баню. Но по мере того как в уме Мариоля бледнели непосредственные впечатления от тех женщин, с которыми он недавно сидел рядом, им снова завладевало ощущение одиночества, пробуждавшееся в нем каждый вечер после разрыва с Анриеттой. Никто уже не ждал его в спальне,— и мрак казался ему безграничным, а земля безлюдной. Он испытывал и смутную потребность в женской любви и ясную потребность в женских ласках, которые властвуют над мужчинами, прожившими долгое время в интимной близости с какой-нибудь одной женщиной. Как он сказал графу де Люсетту, его отвлекали до вечера от этих переживаний сначала веселость утренних часов,— то чувство, похожее на чувство неопределенной надежды, которое ежедневно пробуждается вместе с нами в нашем сердце,— потом волнения жизни, ее прикосновения, ее мелкие, отвлекающие заботы. Но каждый вечер, в те же часы, кризис возобновлялся, и в нем сме-

шивались воспоминания, желания, враждебность, вновь возгоравшееся чувство гнева против этой негодяйки, из-за которой он столько страдал и страдает до сих пор. Все же он поздравлял себя с тем, что бросил ее, и, как бы желая укрепить себя, ободрить, убедить себя в том, что не следует жалеть о ней, повторял:

— Черт возьми, как хорошо, что все это кончено!

Не торопясь, он вернулся в гостиницу, прошел в свою комнату, лег и почти тотчас уснул, утомленный путешествием и дневными впечатлениями.

II

Робер Мариоль проснулся рано: его разбудило начавшееся в гостинице движение. Маркиза была поднята, и солнечные лучи лились сквозь оконные стекла таким потоком, что комната с ее светлыми стенами и белыми занавесками казалась чашей, наполненной ослепительным светом. Мариоль не утерпел и встал.

Одевшись, он вышел из комнаты и пошел по узкому коридору, где перед дверями стояли, словно охраняя их, свежевычищенные туфельки, ботинки и сапоги. Эти куски кожи, то изящные, то грубые, рассказывали о жизни, о быте, о степени элегантности и о социальном положении того, той или тех, кто еще лежал в постели за стеной. Мариоль, полный утренней бодрости и веселости, с улыбкой думал об этом. Два одиноко стоящих изящных башмачка вызывали в нем желание войти в дверь, а мимо толстых, усеянных гвоздями подошв он проходил с презрением, угадывая за дверями храп туриста. Вдруг Мариоль увидел нечто вроде сундука, скрытого занавесками и занимавшего почти всю ширину коридора; сундук несли двое запыхавшихся савояров. В первую минуту ему почудилось, что произошел несчастный случай; сердце его слегка сжалось, как если бы он встретил на улице крытые носилки. Потом он вспомнил, что находится на курорте, где некоторых больных несут прямо из постели принимать предписанные им ванны, а затем приносят обратно. Ему еще два раза пришлось остановиться на лестнице, давая дорогу таким же носилкам, и он понял, откуда несут...

. . . . . .

Анжелюс

АНЖЕЛЮС

I

Часы пробили шесть. Графиня де Бремонталь отвела глаза от книги, которую она читала, и взглянула на красивые часы в стиле Людовика XVI, висевшие на стене. Потом она окинула медленным взглядом свою большую гостиную, несколько темную, хотя в ней горели четыре лампы: две на столе, на котором разбросано было много книг, и две на камине. Огонь, пылавший в камине, настоящий деревенский огонь, настоящий огонь дворянского замка, бросал яркие отблески на стены, освещая фигуры людей на гобеленах, позолоченные рамы, фамильные портреты и темно-красные драпировки, которыми были занавешены окна. Но несмотря на весь этот свет, большая комната казалась мрачной, холодной, как будто и на ней лежала печать зимы. Чувствовалось, что за окнами, где земля была покрыта снежной пеленой, дул резкий, ледяной ветер, от которого трещали старые деревья парка.

Графиня поднялась, медленной, усталой походкой беременной женщины подошла к камину, села и протянула ноги к огню. Жар от пылающих в камине поленьев охватил ее лицо, создавая ощущение горячей и в то же время грубой ласки, тогда как ее спина, плечи и затылок еще вздрагивали от мертвящего холода зимы, той ужасной зимы, которая нависла над Францией. Холод пронизывал ее всю, заполняя и душу и тело, и к этому физическому томлению присоединялась

тоска при мысли об ужасной катастрофе, обрушившейся на родину.

Нервная, истерзанная заботами, охваченная ужасным предчувствием, г-жа де Бремонталь снова встала. Где он сейчас, ее муж, от которого она уже пять месяцев не имела никаких известий? В плену у пруссаков или убит? Замучен в неприятельской крепости или зарыт в яме на поле битвы вместе со многими другими трупами, разлагающаяся плоть и кости которых перемешались вместе?

О, какой ужас! Какой ужас!

Она ходила теперь взад и вперед по большому безмолвному залу. Пушистые ковры заглушали шум ее шагов. Никогда еще не чувствовала она такого гнета, тоски и отчаяния. Что еще может случиться? О, эта ужасная зима, зима, предвещающая конец света, разорившая целую страну, убивающая взрослых сыновей, последнюю надежду и поддержку несчастных матерей, отнимающая отцов у беспомощных детей, мужей у молодых жен! Она видела всех их умирающими, изуродованными ружейной пулей, саблей, пушечным ядром, придавленными конской подковой и погребенными в одну из таких же, как эта, ночей под снежным саваном, запятнанным кровью.

Она почувствовала, что сейчас заплачет, закричит, подавленная страхом перед неизвестным будущим, и снова взглянула на часы. Нет, она не в силах больше ждать в одиночестве, пока приедут отец, сельский кюре и доктор, которые должны были у нее обедать. Но удастся ли им вообще выйти из дома и добраться до замка? Особенно беспокоилась она об отце. Ему предстояло проехать в карете несколько километров по берегу Сены. Кучер, опытный и старый, хорошо знал дорогу, знала ее и лошадь; но эта ночь, казалось, сулила несчастья.

Двое других приглашенных, кстати сказать, бывавшие у нее почти каждый вечер, должны были переправиться на лодке через реку. Это было еще хуже. Хотя вода здесь никогда не замерзала, потому что сюда доходил морской прилив, которому ничто не может сопротивляться, но громадные глыбы льда, приносимые течением сверху, могли опрокинуть лодку перевозчика.

Графиня вернулась к камину и потянула за шнурок звонка.

Появился старый слуга.

— Что, маленький еще не спит? — спросила она.

— Думаю, что нет, госпожа графиня.

— Скажите Аннетте, чтобы она привела его ко мне, я хочу поцеловать его.

— Сейчас, госпожа графиня!

Слуга уже уходил, когда она снова позвала его:

— Пьер!

— Что изволите, госпожа графиня?

— Как вы думаете, не опасно господину Бутмару ехать берегом реки по такой погоде?

Старый нормандец ответил:

— Нисколько, госпожа графиня! Кучер Филипп и его лошадь Барб очень смирного нрава и хорошо знают дорогу, будьте уверены.

Успокоившись за отца, она спросила:

— А удастся ли господину кюре и доктору Патюрелю благополучно переправиться из Ла-Буйя через реку? Ведь сейчас там идет лед.

— Ну, конечно, госпожа графиня. Старик Пишар так ловок, что ему не страшен никакой ледоход. Кроме того, у него есть большая зимняя лодка, в которой он, когда нужно, переправляет даже корову или лошадь.

— Хорошо,— сказала она,— пришлите же ко мне маленького Анри.

Она села к столу и открыла книгу.

Это были *Размышления* Ламартина, и случайно глаза ее упали на последние стихи *Праздника у Терезы:*

Все стихло, пала ночь; огни пылать кончали;
Во тьме дубрав ручьи уныло заропгали;
И где-то, схоронясь среди густых ветвей,
Любовник и поэт, залился соловей
Рассыпалась толпа под пышною листвою,
Шалунья скромника, смеясь, влечет с собою;
Возлюбленною в тень влюбленный уведен
И в смутном забытье, напоминавшем сон,
Они следили, как, приливом постепенным,
С их тайным говором, со взором их блаженным,
С их сердцем, чувствами, с их гаснущим умом
Сливался лунный свет, рассеянный кругом.

Сердце графини сжалось при мысли о том, что существуют ночи, как в этих стихах, и такие, как сегодня. Почему такие контрасты: эта чарующая нежность — и эта жестокость природы?

Дверь открылась; она встала. Молодая няня, красивая, свежая нормандка, вошла в комнату, держа за руку маленького четырехлетнего мальчика. Свет от лампы падал на белокурые вьющиеся волосы, которые обрамляли его личико светлым ореолом.

— Оставьте его здесь, у меня, до приезда гостей,— сказала графиня.

Когда няня вышла, она посадила ребенка к себе на колени и посмотрела ему в глаза. Они улыбались друг другу той единственной, неповторимой улыбкой, которой обмениваются мать и дитя, улыбкой любви, вечной, ни с чем не сравнимой и не имеющей себе соперников.

Потом она обняла мальчика и поцеловала в головку. Она целовала волосы, веки, рот, дрожа от затылка до пят той восхитительной дрожью счастья, какую испытывают всеми фибрами своего существа настоящие матери. Затем она стала баюкать его, а он обнял ее за шею и спросил своим тоненьким голоском:

— Мама, скажи, скоро вернется папа?

Она схватила его и прижала к себе, как бы желая защитить, оградить от далекой, но чудовищной опасности войны, которая в будущем могла потребовать и его.

И она прошептала, снова целуя ребенка:

— Да, дорогой мой, скоро. О мой мальчик, какое счастье, что ты еще совсем маленький! Они не могут взять тебя, негодяи!

О каких негодяях говорила она? Она и сама не знала.

Но вот мальчик своим чутким слухом уловил доносившийся издали в тишине ночи слабый звук колокольчика.

— Вот и дедушка! — сказал он.

— Где ты видишь дедушку? — спросила мать.

— Это бубенчики его лошадки.

Она тоже услышала звон, и когда на душе стало одной заботой меньше, она как будто сразу успокоилась и с облегчением вытянула ноги.

Теперь они оба прислушивались ко все более отчет-

ливому позвякиванию колокольчика и ударам хлыста, раздававшимся в морозном воздухе и предвещавшим прибытие гостей.

Минуту спустя дверь отворилась и вошел пожилой, хорошо сохранившийся мужчина, холеный, со свежим цветом лица и белыми бакенбардами, блестевшими, как серебро.

Высокий, довольно полный, он имел вид баловня судьбы, и его все еще называли красавцем Бутмаром. Это был типичный коммерсант, нормандский промышленник, нажививший большое состояние. Ничто не могло нарушить его хорошего настроения, непоколебимого хладнокровия, абсолютной веры в себя. С начала войны только одно глубоко огорчало его: перестали дымить четыре трубы двух так обогативших его химических заводов. Вначале он верил в победу с той крепкой и хвастливой убежденностью шовиниста, которой был проникнут каждый французский буржуа до рокового 1870 года. Теперь же, во время кровавых поражений, разгромов и отступлений, он повторял с непоколебимой уверенностью человека, которому неизменно сопутствовала удача во всех его начинаниях:

— Да, это тяжелое испытание, но Франция воспрянет снова.

Дочь устремилась ему навстречу с распростертыми объятиями, а маленький Анри схватил его за руку. Они долго целовались.

— Есть ли какие-нибудь новости? — спросила она.

— Есть. Говорят, что пруссаки заняли сегодня Руан. Армия генерала Бриана отступила на Гавр по левому берегу. Она должна быть теперь в Понт-Одемере. Шаланды и пароходы ждут прибытия армии в Гонфлёре, чтобы переправить ее в Гавр.

Графиня вздрогнула. Как? Пруссаки так близко, в Руане, всего в нескольких милях от них? И она прошептала:

— Тогда нам грозит большая опасность, отец.

Он ответил:

— Конечно, мы не совсем в безопасности, но им дан приказ относиться с уважением к мирным жителям и к тем домам, в которых остались хозяева. Не будь этого приказа, который они всегда соблюдают, я

бы переехал сюда. Но в таком старике, как я, тебе мало проку, а мне, может быть, удастся спасти свои заводы. Застанут они меня здесь или нет, мы все равно не можем сопротивляться и протестовать, а потому рискованно покинуть Дьепдаль и переехать сюда.

Она пробормотала, испуганная, растерянная:

— Но ведь я одна в этом замке. Я потеряю голову среди этих дикарей!

Поняв, что действительно невозможно оставить дочь одну перед этой ужасной непосредственной угрозой,— эта мысль пришла ему в голову впервые и ошеломила его,— он ответил:

— Ты права! Но сегодня вечером еще нет опасности,— не рискнут же они в ночь своего прибытия отправиться дальше по незнакомым местам! Я вернусь в Дьепдаль, сделаю необходимые распоряжения, а завтра приеду сюда ночевать и останусь с тобой до конца оккупации.

Она поцеловала его. Тонким чутьем женщины, хорошо знающей его, она поняла, какую огромную жертву он ей приносил, покидая свои заводы, и сказала:

— Спасибо, отец!

Няня Аннетта пришла за ребенком. Взгляд, который г-н Бутмар бросил на нее, и тот, более скромный, еле заметный, которым ответила ему лукавая нормандка, вызвали легкую краску на бледных щеках графини, так как она начала замечать внимание отца к служанке и молчаливое согласие последней.

После смерти жены, умершей девять лет тому назад, г-н Бутмар никогда не покидал Дьепдаля и свои химические заводы, но у него было немало любовных интрижек в окрестностях. Эти случайно обнаруженные связи доказывали его нетребовательность, вульгарный вкус, и г-жа де Бремонталь страдала, оскорбленная в своей дочерней гордости и в том аристократическом тщеславии, которое появилось у нее с тех пор, как она стала графиней и владелицей замка.

Маленький Анри, простившись с матерью и дедушкой, ушел, посылая им воздушные поцелуи.

Не успел он выйти, как послышался звонок у входной двери, возвещавший о прибытии двух других при-

глашенных. Первым вошел аббат Марво, высокий, худой, совершенно прямой, с глубокими морщинами на лбу и щеках. Нетрудно было видеть и догадаться, что этот человек много страдал, что у него была душа скорбного мыслителя и это еще с молодых лет наложило на его черты печать усталости.

Дворянин по происхождению — его фамилия была де Марво,— он был дальним, очень дальним родственником Бремонталей. Он начал свою жизнь с военной службы — из желания хоть чем-нибудь заняться, но также и из потребности живой деятельности, борьбы и смутного стремления к героизму, которое он в себе ощущал. Образованный, начитанный, он скоро почувствовал скуку и праздность гарнизонной жизни и с радостью принял участие в итальянской кампании 1859 года. Он храбро сражался в нескольких битвах, но благодаря странному повороту мыслей, одной из тех причудливых аномалий, которые иногда пробуждают в человеке самые противоположные и противоречивые инстинкты, зрелище этой резни, этих людских стад, истерзанных картечью, вскоре внушило ему отвращение и ненависть к войне. Все же его отличили, он был награжден орденом и получил чин капитана. Но как только кончилась война, он подал в отставку.

После нескольких лет свободной жизни, посвященной любимому им умственному труду — науке, чтению и изданию брошюр,— он встретил молодую вдову, полюбил ее и женился. У него родилась дочь; потом в течение одной недели мать и дочь умерли от тифозной горячки.

Что произошло с ним тогда? Что за странный мистицизм пробудился в нем после этого ужасного события? Он вступил в монашеский орден и сделался священником. Но с того момента, как он надел на себя черную сутану, он никогда больше не носил красной ленточки, заслуженной на поле битвы, и называл ее своим кровавым пятном.

Он бы мог и на этом новом, духовном поприще сделать отличную карьеру, но предпочел остаться сельским кюре у себя на родине. Возможно также, что независимость его характера, его смелые речи вызывали недоверие к нему в епархии. Ведь он, уже несколько раз уча-

ствуя в теологических и догматических спорах с епископом, возражал ему, и так как обладал большой эрудицией и красноречием, то выходил из этой борьбы победителем.

Лишенный тщеславия, отрешившийся от всего, он или смирился, или решил добровольно поселиться в этой прекрасной местности, которую обожал. Имея небольшое состояние, он делал много добра. Его любили и уважали. Он был священником великодушным, отзывчивым на все нужды. Народная любовь оберегала и защищала его от растущих подозрений и недоброжелательства со стороны начальства.

Доктор Патюрель, вошедший вслед за ним, человек невысокого роста, с брюшком, был бы совершенно лыс, если бы не две вьющиеся белые полоски у висков, похожие на пуховки.

Когда они вошли, слуга доложил, что обед подан, и графиня де Бремонталь, взяв врача под руку, прошла в столовую.

Едва усевшись перед тарелкой супа, священник сказал:

— Вы знаете, что они в Руане?

Послышались тихие «да». А г-н Бутмар спросил:

— У вас есть какие-нибудь новости?

— Немного. Три корпуса захватчиков появились одновременно у трех ворот города, и почти в ту же минуту на городской площади встретились их авангарды.

Доктор прибавил:

— Я был вчера в Бур-Ашаре и видел отступающую французскую армию.

И они стали обсуждать вполголоса различные подробности, как бы уже чувствуя возле себя грозное присутствие победителей.

— Сегодня,— сказал священник,— я в первый раз с тех пор, как покинул армию, жалею, что я больше не солдат.

Молодую женщину охватила тревога.

— Как вы думаете, они придут сюда?

Аббат Марво подтвердил это предположение и спросил:

— От вашего мужа, графиня, по-прежнему нет вестей?

— Да, господин кюре,— сказала она с отчаянием в голосе.

Но Бутмар, убежденный в том, что все, касающееся его, должно непременно кончиться благополучно, прибавил:

— Да он в плену. Вернется после войны.

Графиня прошептала:

— В плену или... убит.

Ее отец, которого раздражали грустные настроения, сделал нетерпеливый жест.

— Зачем такие предположения? Ты все время живешь в ожидании несчастья, как будто только оно одно и существует на свете.

Аббат Марво тихо сказал:

— Да, пожалуй, другого-то ничего и нет, сударь, если хорошенько вдуматься. Вспомните, что переживает сейчас Франция!

Бутмар не согласился с этим:

— Да нет же, нет! Возьмите меня: я никогда не был несчастлив.

— Это потому,— сказала печально дочь,— что ты ничего не хотел и не искал, кроме богатства, а оно у тебя есть.

Отец засмеялся:

— Черт возьми! Да ведь у кого богатство, у того все. Остальное пустяки. В данном же случае несомненно, что списки убитых уже повсюду составлены и семьи оповещены. Что касается пленных, то о них действительно ничего не известно.

Она вздохнула:

— Есть еще и без вести пропавшие...

Бутмар подал удачную реплику:

— Ну, это мертвецы, которые завтра воскреснут.

Доктор вмешался в разговор:

— А мне повезло: я узнал, где мой сын. Он в армии Федерба, и мы переписываемся. Какое счастье для меня, что он получил докторский диплом до войны: врачам в армии особенно бояться нечего. Но все это не мешает моей жене ужасно беспокоиться, она так любит своего Жюля!

И он начал расхваливать сына, который в Париже делал такие блестящие успехи в медицинских науках,

что после присуждения ему докторского звания все учителя стали убеждать его добиваться профессуры. Кто-кто, а его мальчик не закиснет в провинции. Он будет крупным врачом, крупным столичным врачом.

Разговор вяло переходил с одной темы на другую; собеседников как бы парализовала мысль о близости неприятельского вторжения.

После того как мужчины выпили кофе и выкурили сигары, они вернулись в гостиную к графине, которая грела ноги у огня. И все-таки она зябла, зябла душой и телом.

Г-н Бутмар первый заговорил об отъезде. Он беспокоился о своих заводах и велел подать коляску в половине десятого под тем предлогом, что не такие теперь времена, чтобы возвращаться поздно. Двое других последовали его примеру и надели сапоги: им предстояло идти по снегу до парома на Сене. Графиня осталась одна.

Она перелистала несколько книг без всякого интереса, с трудом понимая, что читает. Она выбирала у своих любимых поэтов те стихотворения, которые чаще всего приходили ей на память, но теперь и они показались ей банальными, ненужными, бесцветными, и она снова села к огню. Не лечь ли спать? Нет, не сейчас,— она все равно не уснет. Она хорошо знала эти нескончаемые бессонные ночи: они измерялись ударами маятника, которые превращали их в мучительную ночную агонию души и тела.

Она задумалась. В ней пробудились воспоминания о молодости, о прежней жизни, интимные воспоминания, возникающие в унылые часы, признания, которые можно делать только самой себе.

Она вспомнила свое детство, которое прошло здесь, в Дьепдале, в доме родителей, построенном около заводов; вспомнила свою умершую мать, добрую, милую мать. И она заплакала, закрыв глаза руками.

Ее отец, вначале мелкий коммерсант, унаследовавший большой участок земли на берегу Сены и фабрику кислот и искусственного уксуса, в конце концов составил себе крупное состояние как владелец химических заводов. Он женился на дочери офицера Первой империи,

молодой и красивой, независимой, поэтичной, какими были девушки той эпохи. Немного меланхоличная и к тому же разочарованная в браке, который не вполне соответствовал мечтам ее юности, его жена утешалась любовью к Природе, придавая этому слову смысл, в настоящее время почти забытый.

Она полюбила этот прекрасный лесистый край, эти речные берега, где у самой воды дымились трубы заводов мужа, а по высоким склонам росли великолепные леса Румэра, тянувшиеся от Руана до Жюмьежа. Она составила себе библиотеку из романов и книг философов и поэтов, и вся ее жизнь проходила в чтении и размышлениях. Вечером, гуляя в сумерках по берегу Сены, зеленые острова которой заросли тополями, она вполголоса читала для себя, только для себя одной, стихи Шенье и Ламартина. Потом она увлеклась Виктором Гюго и стала обожать Мюссе. Когда у нее появилась дочь, она воспитала ее с пламенной нежностью, усиленной сентиментальным влиянием всей той литературы, которую она впитала.

Девочка росла похожей на мать, очаровательной и умной. В Руане им завидовали и говорили о г-же Бутмар: «Эта женщина достойна всяческого уважения».

Она воспитывала дочь чрезвычайно заботливо, в чем ей помогала гувернантка. Уже в шестнадцать лет девушка казалась маленькой женщиной. Это была брюнетка с голубовато-лиловыми глазами цвета барвинка — оттенок, который так редко встречается.

Душа и зарождающаяся чувственность этой почти взрослой девушки, которой мать позволяла многое читать, развивались одновременно. Иногда девушка потихоньку смотрела книги, не разрешенные ей, и знала уже наизусть некоторые стихотворения, которые казались ей нежными, как благоухание, как звуки музыки, как дуновение ветра.

Эта семья была счастлива или почти что счастлива. Но в одну очень холодную зиму после слишком долгой прогулки в лесу по глубокому снегу г-жа Бутмар слегла, заболев воспалением легких, и через неделю скончалась.

Оставшись вдвоем с дочерью, отец спрашивал себя,

что ему делать? Не оставить ли дочь при себе? Ведь иначе он будет чувствовать себя совсем уж покинутым и одиноким в этой деревне среди машин и рабочих.

Его сестра, бездетная вдова инженера путей сообщения, достаточно состоятельная, согласилась на несколько месяцев покинуть Париж, чтобы побыть с ним и тем самым смягчить первые приступы горя и одиночества.

Уравновешенная, как и ее брат, она держалась трезвых взглядов и умела извлекать из любых событий и обстоятельств наибольшую пользу для себя. Уверенная в своем благополучии, спокойная по натуре, она в сорок лет ничего уже больше не требовала от судьбы.

Она скоро полюбила племянницу, и когда Бутмар сказал о своем намерении оставить дочь дома, она сделала все, чтобы разубедить его, говоря, что Жермэна к моменту замужества будет пользоваться большим успехом и потому нужно прежде всего как можно лучше завершить ее образование и воспитание.

А это возможно только в Париже. Жермэна со временем станет блестящей партией, и очень важно, чтобы наряду с серьезными предметами она знала также музыку, танцы и многое другое, что необходимо для богатой девушки. Было решено, что отец поместит ее в хороший пансион, а тетка обещала как можно чаще навещать ее, каждую неделю бывать с ней где-нибудь и даже иногда оставлять ее у себя на несколько дней.

Эта женщина, муж которой занимал видное положение в министерстве общественных работ, овдовев, сохранила большие связи и была хорошо принята в обществе. Ее брат, понимая все выгоды подобного предложения, согласился, и тетка в начале весны увезла племянницу с собою.

Она устроила ее в один из фешенебельных светских пансионов, где воспитывались сироты благородного происхождения и куда помещали богатых иностранок, в то время как родители их путешествовали. Там у нее была прелестная комната, собственная горничная и избранные учителя. Кроме того, она посещала вне пансиона курсы для молодых девиц, где встречается и заводит знакомства, полезные для будущего, добрая половина девушек Парижа — дочери

буржуа и дворян, и малосостоятельные, и обеспеченные, и очень богатые.

Тетка приезжала за ней, возила ее на прогулки, развлекала, знакомила с Парижем, с его памятниками и музеями.

Глубокая печаль, в которую была погружена Жермэна со времени смерти матери, постепенно начинала исчезать. Ее красивые фиалковые глаза, веки которых часто бывали красны от слез при воспоминании о горячо любимой матери, приобрели прежнюю ясность.

Тем не менее она много думала о своем доме в Дьепдале, об одиноком отце и тосковала по простору, деревне и свободе. Она узнала смутную тоску, которую испытывают люди, в силу своего долга или профессии оторванные от родных мест и запертые в душном городе, все те, чьи глаза, легкие и кожа с раннего детства впитали в себя чистый воздух полей и чьи маленькие ножки бегали по лесным дорогам, по лугам, по свежей прибрежной траве.

Точно так же дети Парижа, вынужденные жить и работать в провинции, страдают всю жизнь, словно от физического лишения, от непреодолимой потребности бродить по тротуарам и большим, многолюдным улицам.

Когда наступили каникулы, Жермэна с радостью уехала в Нормандию и была огорчена, когда осенью ей пришлось вернуться в Париж. Она провела там три зимы: с шестнадцати до девятнадцати лет. Затем г-н Бутмар взял ее к себе, чтобы скрасить свое одиночество вдовца.

Вскоре ему представился случай подумать о замужестве дочери. Он знал ее большую любовь к деревне, где она выросла, и сам в силу своей привязанности к Жермэне, своего эгоизма и избалованности считал удобным и приятным сохранить ее возле себя, особенно если бы к этому представилась возможность.

Обычно он очень легко находил способы для выполнения своих желаний.

Он уже давно знал графа де Бремонталь, своего соседа, владельца замка Дю-Бек в Саюре, напротив Ла-Буйя, всего в нескольких километрах от Дьепдаля. Он был знаком с графом по генеральному совету, чле-

нами которого они оба состояли; они вместе охотились и поддерживали добрососедские отношения.

Графу было двадцать восемь лет. Родители его умерли, оставив ему большое состояние, заключавшееся в землях; красивый собою, он прекрасно ездил верхом и был страстным охотником. Все его помыслы и желания были направлены к тому, чтобы хорошо управлять своим обширным имением, разводить домашний скот и обрабатывать землю, в чем он и преуспевал благодаря любви к земле, свойственной всем нормандцам. Он обладал немного тяжеловесным, но веселым умом нормандца, изяществом и хорошими манерами дворянина-помещика, умеющего держать себя в любом обществе.

Бутмар стал ухаживать за ним, обворожил его, обласкал, сделался его другом и спутником по охоте и развлечениям. Они часто обедали друг у друга, и когда молодая девушка окончательно вернулась к отцу, она встретила этого приятного соседа, который чувствовал себя у них как дома.

Он произвел на нее отличное впечатление. Она показалась ему очаровательной. Они вместе совершали по лесу длинные прогулки верхом, причем для соблюдения требуемых приличий их всегда сопровождал грум.

Устраивались всевозможные поездки, пикники, деревенские праздники с участием всех наиболее почтенных местных семейств. В конце концов он влюбился в нее, начал за ней ухаживать и вскоре пробудил в ней желание нравиться и побеждать, которое дремлет в сердце каждой молодой девушки. Она стала с ним более любезной, затем кокетливой, и он полюбил ее со всей страстью своей бесхитростной души. Через полгода он попросил ее руки. Отец сообщил об этом Жермэне, и когда она приняла предложение, с радостью дал свое согласие. Это был хороший брак.

Через пять лет у них родился сын. Графиня полюбила ребенка страстной материнской любовью. В ней как бы пробудился могучий инстинкт, о котором она до той поры и не подозревала, инстинкт, заставивший ее желать еще детей.

Особенно хотелось ей иметь дочь, чтобы воспитать ее согласно своим взглядам и вкусам, своему идеалу женщины.

Видя, что желание ее не исполняется, она грустила, волновалась, беспокоилась и, терзаемая этой несбывающейся мечтой, воссылала к небу свои женские мольбы. Своеобразная мистическая набожность заставляла ее взывать к деве Марии, покровительнице матерей. Она не молила ее, как молят фанатики, не прибегала к словам и заклинаниям, но обращалась к ней из глубины сердца с нежной и настойчивой молитвой.

Она не была богомольна, не отличалась пламенной верой, так как воспитывалась в семье, где отец относился к религии равнодушно, а мать была почти неверующей. Г-жа Бутмар, родившаяся в эпоху революции, великая моральная, философская и религиозная борьба которой привела к исчезновению во многих семьях старых благочестивых верований, сохранила на всю свою жизнь независимые взгляды, внушенные ей отцом.

Жермэну все же окрестили, и она была у первого причастия, но мать в дальнейшем не внушала ей никаких догматов и никакого стремления к религии.

В парижском пансионе для молодых девушек, где она провела три года после смерти матери и где пополняла свое образование во всех областях, ей преподавали и закон божий наряду с уроками музыки и прочим. Пансионский священник, которому надлежало следить за религиозным воспитанием девушек, был человеком ловким, гибким, настойчивым и властным. Обнаружив неопределенные, неустойчивые верования Жермэны, он с упорством миссионера задался целью обратить ее к вере, но добился этого только наполовину: она уверовала всем своим сердцем и воображением лишь в трогательную христианскую легенду.

Иногда ее охватывали порывы сентиментальной любви и сладостной набожности, обращенные к Спасителю и деве Марии, но обряды никогда не имели для нее значения, и она считала их созданными для простого народа. Правда, она охотно посещала церковь по воскресеньям и выполняла необходимые обязанности как из чувства долга, так и из чувства приличия.

Вот почему деву Марию, мать Христа, она молила послать ей дочь. Ее молитва не была услышана, но вне-

запно объявленная война 1870 года оказала гораздо большее влияние на исполнение ее желания, чем призывы к небу.

Несмотря на то, что г-н де Бремонталь был свободен от обязательства военной службы, он, как пылкий патриот, при первом же известии о надвигавшейся на Францию опасности пожелал записаться добровольцем и идти на войну.

Жермэна, любившая его без особой страсти, как верная и преданная жена, скорее как мать, чем как женщина, безумно испугалась, что потеряет его: она только того и желала, чтобы прожить всю жизнь с ним и детьми в этом замке, который ей нравился, в этой местности, которую она обожала.

Мысль об опасности, угрожавшей мужу, возможность его смерти, беспокойство, от которого она стала бы страдать во время его отсутствия, побудили ее испробовать все средства, придумать все возможное, чтобы он отказался от своего решения.

Что же она сделала? То, что попробовала бы каждая молодая, красивая женщина: она опять стала любящей и до такой степени утонченно-кокетливой, что он был как бы захвачен новой любовью.

Удерживая мужа, стремившегося к выполнению великого долга, она обрела неожиданно средства обольщения и отдавалась ему со страстью пылкой и влюбленной любовницы.

Никогда еще она не была с ним такой, никогда он не испытывал этого волнующего соблазна, исходящего от нее, этой покоряющей власти поцелуев, которая заставляет все забыть, на все согласиться. Он с удивлением и восхищением наблюдал этот внезапный порыв страсти, охвативший его жену. И, побежденный, он сначала поддался всем ласкам, всем нежностям, всем искушениям любви, которыми она его сковала и пленила.

Но когда отступление французских армий стало неизбежным, когда он узнал об ужасной катастрофе, когда гибель страны стала очевидной, его чувства дворянина и патриота взяли верх над чувствами любовника. Потомок старинных нормандских дворян, унаследовавший их храбрость и предприимчивую отвагу, он понял

и почувствовал, что должен показать достойный пример окружающим, и однажды утром внезапно уехал со слезами на глазах и отчаянием в душе.

В течение нескольких недель она получала от мужа письма и узнала, что ему удалось присоединиться к армии генерала Шанзи, которая еще сопротивлялась. Потом всякие известия прекратились. Потом она заболела, и в один прекрасный день доктор Патюрель сообщил ей о том, что в другое время было бы для нее величайшей радостью: она должна была снова стать матерью.

О, какие ужасные месяцы она провела! Пять месяцев отчаянной тоски, в течение которых она ничего от него не получала!

Убит он или в плену?

Этот вопрос, все один и тот же, не давал ей покоя ни днем, ни ночью.

И сейчас она опять задавала его себе, медленно прохаживаясь взад и вперед по комнате.

Проходил час за часом, а графиня все еще не решалась подняться наверх. Тоска, еще более острая, чем в другие вечера, и какое-то мрачное предчувствие сжимали ей сердце. Она села, снова встала, задумалась, а затем принесла диванные подушки и устроила себе из большого кресла перед камином нечто вроде постели. Утомленная душой и телом, она решила немного подремать здесь, так как спальня ее пугала.

Ее глаза уже начали смыкаться, мысли цепенеть, и все ее существо погружалось в состояние покоя, как это бывает в полусне. Вдруг странный, незнакомый шум заставил ее вздрогнуть и выпрямиться.

Тяжело дыша, она прислушалась. Это были голоса приближающихся мужчин. Она подбежала к окну и приоткрыла его, чтобы лучше слышать. Она различила топот лошадиных копыт по снегу, бряцание железа, звон сабель. А голоса все приближались, и до нее доносились иностранные слова.

Это они! Пруссаки!

Она бросилась к звонку и стала звонить, звонить изо всех сил, как бьют в набат в минуту опасности. Потом мысль о ребенке, о маленьком Анри пронзила ее, как пуля, и она бросилась на лестницу в спальню.

Разбуженные, полуодетые слуги сбегались с зажженными свечами: лакей, кучер, горничная, кухарка и няня.

Графиня кричала:

— Пруссаки, пруссаки!!

В то же мгновение сильный стук, похожий на удар тараном, потряс дверь, и грубый голос снаружи выкрикнул по-немецки какое-то приказание, которого никто не понял.

Тогда г-жа де Бремонталь сказала двум старым слугам:

— Сопротивляться им нечего, надо избежать насилий. Откройте им поскорей и дайте все, что они потребуют. Я же запрусь у себя с сыном. Если они спросят обо мне, скажите, что я больна и не могу спуститься.

Вторичный удар потряс дверь, и от него задрожал весь замок. Один за другим последовали новые удары. Они раздавались в коридорах, как пушечные выстрелы. Неистовые крики доносились из-за стен; казалось, началась осада.

Графиня вместе с Аннеттой спряталась в детской, в то время как двое мужчин со всех ног бросились открывать захватчикам. Кухарка и горничная, потеряв голову от страха, продолжали стоять на ступеньках лестницы, ожидая дальнейших событий и готовясь бежать в любую открытую дверь.

Когда г-жа де Бремонталь приоткрыла полог кроватки Анри, мальчик безмятежно спал: он ничего не слышал. Она разбудила его, но не знала, что сказать, чтобы его не взволновать и не испугать сообщением о прибытии этих негодяев, которые находились внизу с оружием в руках.

Когда под ее поцелуями мальчик открыл глаза, она рассказала ему, что проходившие в этой местности солдаты пришли в замок. И так как ребенок часто слышал разговоры о войне, он спросил:

— Это чужие солдаты, мама?

— Да, дитя мое, чужие.

— Как ты думаешь, они не видели папу?

Она почувствовала болезненный толчок в сердце и ответила:

— Не знаю, мой дорогой.

Вместе с Аннеттой она быстро одевала его во все самое теплое, так как ничего нельзя было ни знать, ни предвидеть.

Удары тарана прекратились. Теперь внутри замка слышались только шумный гул голосов и позвякивание сабель. Это был захват, вторжение в жилище, насилие над святостью очага.

Графиня, прислушиваясь, вздрагивала, и в ней поднималось яростное чувство возмущения, гнева и протеста. В ее доме! Они были в ее доме, эти ненавистные пруссаки, и вели себя полновластными хозяевами, имевшими право даже убить.

Вдруг кто-то постучал к ней в дверь.

— Кто там? — спросила она.

Голос лакея ответил:

— Это я, госпожа графиня.

Она открыла, и слуга вошел.

— Ну, что? — пролепетала она.

— Они хотят, чтобы вы спустились.

— Я не пойду.

— Они сказали, что если хозяйка не захочет, они сами придут за ней.

Она не испугалась. К ней вернулось все ее хладнокровие и смелость отчаявшейся женщины. Это война; ну, что же, она будет вести себя, как мужчина.

— Ответьте им, что они не могут приказывать мне и что я останусь здесь.

Пьер колебался: он видел, что начальник отряда — грубое животное.

Но она так твердо повторила: «Идите», — что он послушался. Она не заперла за ним двери, чтобы не показать, что прячется, и стала с трепетом ждать.

Вскоре тяжелые шаги, шаги нескольких мужчин, послышались на лестнице, и в дверь вновь постучали. Она спросила:

— Кто тут?

Чужой голос ответил:

— Прусский офицер.

— Войдите,— сказала она.

Вошел высокий молодой человек, поклонился и на хорошем французском языке, почти без акцента, сказал:

— Прошу извинить меня, сударыня, но я выполняю приказание моего начальника, который велел мне привести вас к нему. Я советую вам спуститься добровольно. Это лучшее, что вы можете сделать для себя и для нас.

Минуту она раздумывала:

— Хорошо, я иду с вами.

И, обращаясь к слуге, стоявшему позади офицера, она сказала:

— Возьмите ребенка на руки и идите за мной. Я не хочу с ним разлучаться.

Слуга повиновался и последовал за ней. Она прошла мимо прусского офицера и медленными шагами стала спускаться по лестнице, держась за перила, стесненная своею беременностью. Аннет осталась в комнате одна, до того испуганная, что не могла двинуться с места.

Переступив порог гостиной, графиня увидела человек семь или восемь офицеров, расположившихся здесь как дома; солдаты были расквартированы в деревне. Офицеры курили, развалившись в креслах, разбросав сабли по столам, где лежали книги ее любимых поэтов; двое вестовых охраняли дверь.

Она сразу отличила начальника, стоявшего спиной к камину и отогревавшего поднятую ногу у огня. Он был в фуражке, его лицо, обросшее рыжей бородой, сияло радостью победы и удовольствием от ощущаемого тепла.

Когда она вошла, он, не снимая фуражки, слегка притронулся к козырьку, нагло и небрежно, и сказал с сильным немецким акцентом, отдающим сосисками с капустой.

— Фи фладелица этого замка?

Она стояла перед ним, не ответив на его нахальное приветствие, и сказала «да» таким сухим тоном, что все присутствующие перевели глаза с нее на начальника.

Не обратив на это внимания, он продолжал:

— Сколько фас сдесь шеловек?

— У меня двое старых слуг, три женщины и трое батраков.

— Где фаш муж? Что он делает?

Она храбро ответила:

— Он такой же солдат, как и вы, он сражается.

Офицер дерзко возразил:

— Ф таком случае он попежден.

И он грубо захохотал.

Двое или трое из офицеров засмеялись столь же тяжеловесно и на разные лады, в духе обычной тевтонской веселости. Остальные молчали, внимательно наблюдая за храброй француженкой.

Тогда она сказала, вызывающе и бесстрашно глядя на начальника:

— Сударь, вы не джентльмен, если позволяете себе оскорблять женщину в ее доме.

Последовало долгое, напряженное, страшное молчание. Немецкий солдафон сохранял хладнокровие, продолжая посмеиваться с видом хозяина, который может позволить себе все что угодно.

— Та нет ше,— сказал он.— Фи не у себя, фи у нас. Никто польше не у себя тома фо Франции.

И он опять захохотал с восторгом и уверенностью человека, изрекшего неоспоримую и ошеломляющую истину.

В отчаянии она сказала:

— Насилие еще не есть право. Это — преступление. Вы не больше у себя дома, чем жулик, ограбивший жилище.

В глазах пруссака зажегся гнев.

— А я покажу фам, что это фи не у себя дома. Я фам приказываю покинуть этот том, или я фас выгоню.

При звуке этого злого, грубого и резкого голоса маленький Анри, вначале более удивленный, чем испуганный видом чужих людей, издал пронзительный крик.

Услышав плач ребенка, графиня потеряла голову. Мысль о зверствах, на которые была способна эта солдатня, опасность, которой мог подвергнуться ее дорогой мальчик, внезапно вселили в нее непреодолимое, безумное желание бежать, скрыться в любую деревенскую хижину. Ее гонят. Тем лучше!..

. . . . . .

[На этом обрывается начало романа. Сохранился список его предполагаемых персонажей и еще три небольших фрагмента. Список персонажей таков:

Морво, Кормюзель, де Ла Шарлери, Шарлери, доктор Паризо, аббат де Праксевиль, Антуан де Пракса, Бремонталь, Курмарен, Ираль, Мармелен, Бутмар, семья и барышни де Серизэ, аббат Марво, доктор Патюрель, перевозчик Пишар, кучер Филипп...

Первый из нижеследующих фрагментов содержит портрет и характеристику того самого доктора Патюреля, о котором отец его в первой главе романа говорит как о человеке, который не закиснет в провинции, а станет крупным столичным врачом.— *Ред.*]

Его лицо своей худобой немного напоминало лица Вольтера и Бонапарта. У него был тонкий заостренный нос с горбинкой, сильно развитые челюсти, выдающиеся около ушей, острый подбородок и светло-серые глаза с черным пятном зрачка посредине; авторитетность его речи и профессиональных приемов внушали всем большое доверие. Он вылечивал людей, давно считавшихся неизлечимыми: ревматиков, деревенских жителей, страдающих неподвижностью суставов, искалеченных сыростью; он вылечивал их гигиеной, питанием и упражнениями, а также порошками, которые возвращали им аппетит. Он лечил старые раны новыми антисептическими средствами и боролся с микробами при помощи новейших способов. Кроме того, когда он пользовал больного, казалось, что он оставлял после себя в доме атмосферу какой-то опрятности. Он добился успеха, его стали приглашать издалека, и деньги потекли к нему, так как он знал им цену и устанавливал плату за визит, согласно расстоянию и имущественному положению больного.

Второй фрагмент посвящен разговору доктора Патюреля (сына) с аббатом Марво возле колясочки, в которой лежит калека Андре, младший сын г-жи де Бремонталь.— *Ред.*]

— Вы первый врач этого округа... У вас богатство и все что угодно.

— Но, живя здесь, я томлюсь, гублю свою жизнь. Все, что мне дорого и чего я желаю, — всего этого у меня нет. Ах, Париж, Париж!.. Можно ли мне работать здесь для себя, работать для науки? Разве я могу иметь здесь под рукой лаборатории, госпитали, редкостных больных, все известные и неизвестные миру болезни? Могу ли я производить опыты, делать сообщения, стать членом Академии медицины? Здесь я лишен

всего; у меня нет ни будущего, ни развлечений, ни удовольствий, ни женщины, которую я мог бы взять себе в жены или хотя бы полюбить. Ни славы, ничего, ровно ничего, кроме известности в пределах нашей округи. Да, я лечу народ, скупых буржуа, которые платят серебром, иногда золотом, но никак не банковыми билетами. Я лечу ничтожные страдания обыкновенных людей, но никогда не лечу князей, послов, министров, знаменитых людей искусства, исцеление которых получило бы громкую огласку и стало бы известным при иностранных дворах. Одним словом, я лечу и излечиваю в провинциальной глуши отбросы человечества.

Священник слушал его с видом некоторого раздражения и недовольства.

Он произнес:

— Но это, пожалуй, более благородно, более достойно и прекрасно...

Врач с бешенством возразил:

— Я живу не для других, я живу для себя, господин кюре.

Аббат почувствовал, что его душа проповедника возмутилась.

— Христос умер за малых мира сего,— промолвил он.

Врач проворчал:

— Но я-то не Христос, черт возьми! Я доктор Патюрель, экстраординарный профессор медицинского факультета в Париже.

Мысль аббата в одно мгновение пробежала целый круг идей, достигнув почти предела мыслительной способности человека, и, осознав все величие и все ничтожество идеалов, успокоилась. И он заключил:

— Возможно, вы и правы. С вашей точки зрения, истина на вашей стороне. И для вас это единственное благо.

— Еще бы! — воскликнул врач звучным голосом, зазвеневшим в сухом воздухе.

Священник прибавил:

— И все же вы человек великодушный, если остаетесь здесь ради матери.

Доктор вздрогнул: коснулись его раны, его горя, его сокровенных чувств.

— Да, я никогда ее не покину.

Их глаза одновременно остановились на калеке, который напряженно слушал их и прекрасно понимал все, о чем они говорили. Взгляды обоих мужчин, встретившись затем, обменялись невысказанной мыслью о судьбе и будущем этого ребенка, мысленно сравнив его судьбу со своей. Вот кто был истинным страдальцем.

Но мысль о Христе никогда не оставляла аббата. Он возобновил разговор:

— Я благоговею перед Христом.

Врач возразил:

— Господин кюре, с тех пор, как существует этот мир, все боги, порожденные человеческой мыслью,— только чудовища. Разве Вольтер не сказал: «Священное писание утверждает, что бог создал человека по своему образу и подобию, однако человек отплатил ему тем же»?

И он стал приводить доказательства несправедливости, жестокости и злодеяний Провидения. Он прибавил:

— Я как врач бедняков отлично вижу эти злодеяния, я констатирую их каждый день. Так же обстоит и с вами, раз вы лечите их души. Если бы мне пришлось писать книгу — собрание документов по этому поводу,— я озаглавил бы ее «Дело господа бога». И оно было бы ужасным, господин кюре.

Аббат Марво вздохнул.

— Мы не можем проникнуть в эти вопросы и тайны; это за пределами наших умственных возможностей. Я лично не думаю, чтобы я мог постигнуть бога. Он слишком вездесущ и слишком всеобъемлющ для нашего ума. Слово «бог» представляет собою некоторую концепцию и некоторое объяснение, защиту от сомнений, убежище от страха, примирение со смертью, средство против эгоизма. Это формула религиозной фразеологии. Бог — это не просто какое-то определенное божество. Мы, люди, можем любить бога, только если он видим и осязаем. И тот, неведомый, непостижимый, необъятный, не давая нам возможности его познать, сжалившись над нами, послал нам Христа.

Священник взволнованно умолк. Затем, преследуемый все той же единственной мыслью, пробормотал:

— И кто знает? Быть может, Христос так же был обманут богом в возложенной на него миссии, как и мы. Но он сам стал богом для земли, для нашей несчастной земли, для нашей жалкой земли, населенной страдальцами и невеждами. Он бог, наш бог, мой бог, и я люблю его всем моим человеческим сердцем и всей душой священника. О учитель, распятый на Голгофе, я твой сын, твой слуга, я весь принадлежу тебе!

Изумленный врач промолвил:

— Как странно все то, что вы мне говорите.

— Да,— продолжал священник,— Христос, должно быть, тоже жертва бога. Он получил от него ложную миссию — миссию обмануть нас новым религиозным учением. Но божественный посланец выполнил эту миссию так прекрасно, так чудесно, так самоотверженно, так скорбно, с таким невообразимым величием и милосердием, что заменил нам своего вдохновителя. Что означало неопределенное слово «бог» до Христа? Мы, которые ничего не знаем и общаемся с чем-либо только при помощи наших жалких органов восприятия,— можем ли мы благоговеть перед этими буквами, смысл которых нам непонятен, перед этим мрачным богом, которого мы совершенно себе не представляем? Мы не имеем представления ни о его существовании, ни о намерениях, ни о могуществе, известном нам только из одного его опыта, неудачного опыта сотворения земли, этой каторги для душ, мучимых жаждой познания, и для немощных тел. Нет, такого бога мы любить не можем. Но Христос, у которого все его милосердие, все его величие, вся философия, все знание человечества явились неизвестно откуда, кто сам был несчастнейшим из всех несчастных, кто родился в яслях и умер распятым на стволе дерева,— Христос, оставивший нам единственное слово истины, которое должно было стать мудрым утешением для жизни в этой юдоли скорби,— это мой бог, мой бог, которому я принадлежу.

Раздавшийся возле него вздох заставил аббата замолчать. Андре плакал в своем передвижном кресле.

Священник поцеловал его в лоб. Юноша пролепетал:

— Как я люблю вас слушать! Я прекрасно вас понимаю.

И священник ответил.

— Бедный мальчик, тебе от неумолимой судьбы досталась печальная участь. Но я верю, что взамен плотских радостей ты получишь по крайней мере то единственно прекрасное, что доступно человеку,— способность мечтать, мыслить и рассуждать...

[Третий фрагмент представляет собою характеристику бога и, по указанию в издании Конара, по-видимому, отделен от предыдущего текста лишь одной утерянной страницей.— *Ред.*]

Вечный убийца, он, кажется, с радостью творит для того только, чтобы усладить свою ненасытную, неистовую страсть к убийству, и возобновляет свою работу по истреблению, как только создаст новые существа. Поставщик кладбищ, он беспрестанно изготовляет новые трупы и забавляется, разбрасывая снова семена и зародыши жизни, для того чтобы непрерывно удовлетворять свою ненасытную потребность разрушения. Скрытый в пространстве убийца, жаждущий смерти, он создает живые существа, для того чтобы потом уничтожать их, калечить, казнить их всевозможными страданиями, поражать всеми болезнями; он подобен неутомимому разрушителю, который никогда не прекращает свою отвратительную работу. Он придумал холеру, чуму, тиф, микробов, разъедающих человеческое тело, хищных зверей, пожирающих слабых. Однако одни животные не знают об этой жестокости, ибо им неизвестен закон смерти, который тяготеет над ними, так же как и над нами. Лошадь, скачущая в поле на солнце, коза, легко и свободно прыгающая по скалам, преследуемая козлом, который гонится за нею, воркующие на крыше голуби, голубки, целующиеся в листве деревьев, подобно любовникам, которые говорят друг другу нежности, соловей, поющий при луне возле своей самки, что сидит на яйцах,— все они не знают о вечном акте убийства, совершаемого богом, который их создал. Баран, который . . . . . :

. . . . . .

КОРСИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ

Я ехал из Аяччо в Бастию сперва побережьем, а потом свернул в глубь острова; путь мой лежал через невозделанную и каменистую долину Ниоло, которую там называют цитаделью свободы, потому что при каждом захвате Корсики генуэзцами, маврами или французами корсиканские партизаны всегда искали прибежища в этом неприступном краю, откуда их не могли выбить и где их не могли покорить.

Время от времени я видел на высоких кручах что-то серое, похожее на груду камней, упавших с вершины. Это были деревни, гранитные деревушки, подвешенные, прилепившиеся к склону, точно птичьи гнезда, и почти незаметные на огромной горе.

Гигантские каштаны казались кустарником по сравнению с громадами вздыбленных на этом острове складок земли; а маки, заросли вечнозеленых дубов, можжевельника, толокнянки, мастиковых деревьев, крушины, вереска, самшита, мирты, букса, спутанных, как копна волос, сплетенных между собой вьющимся ломоносом, гигантскими папоротниками, жимолостью, каменным розаном, розмарином, лавандой, терновником, точно густое руно, покрывали склоны гор, к которым я приближался.

Гранитные скалы, возвышающиеся над этим зеленым ковром, словно врезаются в небо своими серыми, розовыми или голубоватыми вершинами.

Моя норовистая лошадка с бешеными глазами и

взъерошенной гривой резвой рысью обогнула обширный Сагонский залив, после чего мы проехали через Карагез, греческое поселение, некогда основанное беглецами, изгнанными из отечества. Рослые красивые девушки с тонкими чертами лица, узкими руками и стройными бедрами, исполненные необычайной грации, собрались у водоема. Я, не останавливаясь, поздоровался с ними, и они ответили мне певучими голосами на мелодичном языке своей покинутой отчизны.

Проехав Пьяну, я увидел перед собой фантастический лес из розового гранита, лес шпилей, колонн, причудливых фигур, выточенных временем, дождем, ветром и соленой морской пеной.

С трудом взяв подъем мрачной долины Ота, я к вечеру попал в Эвизу и попросил пристанища у г-на Паоли Палабретти, к которому у меня было рекомендательное письмо.

Это оказался высокий, чуть сутулый мужчина, хмурый на вид, какими часто бывают чахоточные. Он проводил меня в отведенную мне комнату, унылую комнату с голыми каменными стенами, но роскошную для этого края, не знающего прикрас. Не успел он выразить своим гортанным говором на корсиканском наречии, смеси французского с итальянским, какая для него радость оказать мне гостеприимство, как его прервал звонкий голосок, и в комнату вбежала маленькая женщина, брюнетка со жгучим румянцем, большими черными глазами и тонким станом. Обнажая в улыбке сверкающие зубы, она бросилась ко мне и стала трясти мою руку:

— Здравствуйте, сударь! Как поживаете?

Потом отобрала у меня шляпу и саквояж, орудуя только одной рукой, так как вторая была у нее на перевязи, и тут же выпроводила нас, заявив мужу:

— Пойди погуляй с гостем до обеда.

Мы повиновались. Палабретти шел рядом со мной, еле шевеля ногами и языком, и беспрестанно кашлял, приговаривая после каждого приступа:

— В долине-то свежо, вот грудь мне и заложило.

Он вел меня глухой тропкой между высокими каштанами.

Внезапно остановившись, он заговорил тягучим голосом:

— На этом самом месте моего двоюродного брата Жана Ринальди убил Матье Лори. Глядите, я стоял вот здесь, возле Жана, а Матье как выпрыгнет шагах в десяти от нас да как закричит: «Жан, не смей ходить в Альбертаче! Говорю тебе, Жан, не смей, а не то, верь моему слову, я тебя убью!» Я схватил Жана за руку: «Не ходи, Жан, он и впрямь тебя убьет». (А они оба одну девушку, Полину Синакупи, обхаживали.) Ну, а Жан и закричи в ответ: «Нет, пойду! И не тебе, Матье, помешать мне в этом». Тут, не успел я схватиться за ружье, как Матье прицелился и выстрелил. Жан подпрыгнул, верите ли, сударь, не меньше чем на два фута, ну, точно как ребенок прыгает через веревочку, и со всего маха рухнул на меня, так что ружье мое отлетело вон до того большого каштана. Рот у Жана был открыт, только он не вымолвил ни слова. Он уже кончился.

Меня поразил невозмутимый вид свидетеля такого преступления.

— А что же убийца? — спросил я.

Паоли Палабретти долго кашлял, прежде чем ответить:

— Удрал в горы. А на другой год его убил мой брат. Знаете моего брата, Филиппа Палабретти, бандита?

Я пролепетал:

— У вас брат — бандит?

Глаза благодушного корсиканца блеснули гордостью.

— Да, сударь, еще какой знаменитый! Четырнадцать жандармов укокошил. Он погиб вместе с Николо Морали, когда их окружили в Ниоло. Шесть дней они держались и уж совсем пропадали с голоду.— И тем же философским тоном, каким говорил по поводу своей чахотки: «В долине-то свежо»,— он добавил:

— Обычаи в нашей стране такие.

Чтобы подольше удержать меня, на следующий день устроили охоту, и еще через день — тоже. Я лазил по оврагам вместе с проворными горцами, и они не уставали занимать меня рассказами о похождениях бандитов, о зарезанных жандармах, о кровавой мести, которая приходит к концу только после истребления це-

лой семьи. При этом они каждый раз поясняли, как мой хозяин: «Обычаи в нашей стране такие».

Я прожил там четыре дня, и молодая корсиканка, пожалуй, чересчур маленькая, но прелестная, крестьяночка с дамскими замашками, обращалась со мной, как с братом, как с близким, старым другом.

Когда настало время уезжать, я зазвал ее к себе в комнату и, сто раз подчеркнув, что у меня и в мыслях нет предлагать ей плату, стал просить, чтобы она позволила прислать ей из Парижа какой-нибудь пустячок на память о моем пребывании здесь.

Я убеждал, настаивал, даже злился. Она долго отказывалась. Наконец согласилась.

— Так и быть,— сказала она,— пришлите мне пистолет, только совсем маленький.

Я глаза раскрыл от удивления. А хозяйка пояснила шепотом, на ушко, как поверяют сладостную, заветную тайну:

— Мне деверя убить надо.

Теперь уж я просто испугался. А она, улыбаясь, торопливо размотала перевязку на своей бездействующей руке и показала на ее белоснежной округлости сквозную кинжальную рану, почти успевшую зарубцеваться.

— Не будь я одной с ним силы,— сказала она,— он убил бы меня. Муж — тот не ревнует, он меня знает; и потом он ведь больной, это ему кровь-то и остужает. Я, сударь, и в самом деле женщина честная; ну, а деверь всяким россказням верит и ревнует за мужа. Он, конечно, набросится на меня опять. Вот тут, когда при мне будет пистолет, не он меня, а я его убью.

Я пообещал прислать ей пистолет и свое обещание исполнил. А на прикладе велел вырезать: «Орудие мести».

ПЕТИЦИЯ СОБЛАЗНИТЕЛЯ ПРОТИВ ВОЛИ

Господа председатели,
Господа судьи,
Господа присяжные!

Дожив до таких лет, когда седины служат порукой бескорыстия в данном вопросе, я позволю себе поднять протест против ваших приговоров, против возмутительной пристрастности ваших решений, против какого-то слепого почтения к слабому полу, из-за которого вы неизменно оправдываете женщину и обвиняете мужчину, как только на ваш суд выносится любовное дело.

Господа, я старик, я за свою жизнь много, или, вернее, часто любил. Как ни настрадалось мое бедное сердце, оно все еще трепещет при воспоминании о былых ласках. И в грустные одинокие ночи, когда прошлое встает перед нами только как изжитая иллюзия, когда давние увлечения, поблекшие наподобие старинных гобеленов, внезапной тоской сжимают грудь, а на глаза навертываются слезы безнадежности, в такие ночи я открываю простую ореховую шкатулку, где лежат мои жалкие любовные сувениры, где покоится моя, ныне завершенная, жизнь, и дрожащими пальцами ворошу прах всего того, что было мне дорого на земле.

Но вовсе не об этом собираюсь я говорить с вами. Я только хотел показать, что и ко мне не раз бывали... снисходительны, хоть нет мужчины застенчивей, неуверенней, нерешительней меня.

Я до такой степени застенчив, что никогда бы сам

не отважился... вы понимаете на что, если бы женщины не отваживались за меня. И я задним числом додумался до того, что в девяти случаях из десяти соблазнен, обманут, подчинен, связан жестокими путами бывает мужчина, тот, кого вы клеймите как совратителя. Он добыча, а охотник — женщина.

Недавно в Англии разбиралось дело, которое послужило мне толчком к раскрытию истины.

Некая девушка — продавщица в магазине — была, как по-вашему называется, соблазнена молодым морским офицером. Девушка уже вышла из юного возраста и успела познать любовь. Спустя некоторое время офицер ее бросил. Она покончила с собой. Английские судьи не находили достаточно бранных слов, оскорбительных, унизительных, бичующих выражений, чтобы заклеймить подлого растлителя.

Вы, господа, поступили бы точно так же. Так вот, вы не знаете, не понимаете женщины, вы чудовищно несправедливы.

Выслушайте меня.

Когда я был совсем еще молодым офицером, мой полк стоял гарнизоном в одном приморском городе; я бывал в обществе, любил танцевать и, как уже говорил, отличался большой застенчивостью. Но вот мне показалось, что одна женщина зрелых лет, хотя еще очень привлекательная, замужняя дама, мать семейства и притом безупречной репутации, особо отличает меня. Во время вальса ее глаза так упорно искали мои, что ошибки быть не могло. Разумеется, она ничего мне не сказала. Разве женщина когда-нибудь говорит первая, разве она может, должна говорить? Зато она умеет посмотреть таким взглядом, который будет куда более вызывающим, нескромным и недвусмысленным, чем самые наши пылкие излияния. Вначале я делал вид, будто ничего не понимаю. Но от этого настойчивого немого вызова у меня в конце концов закружилась голова. Я начал нашептывать ей всякие нежности. И вот однажды она мне отдалась. Я, видите ли, соблазнил ее. Сколько раз она упрекала меня за это!

Она воспылала ко мне грозной, ненасытной, свирепой страстью.

— Ты сам добивался меня,— говорила она.

Что я мог ответить? Поставить ей в вину взгляды? Посудите сами, господа. Ведь словами-то она ничего не высказывала.

Наконец я узнал, что мой полк переводят. Я был спасен. Однако как-то вечером, часов около одиннадцати, она появилась в моей офицерской комнатушке.

— Ты уезжаешь,— сказала она,— и я пришла предложить тебе самое большое доказательство любви, какое только доступно женщине: я поеду с тобой. Ради тебя я брошу мужа, детей, семью. Я погублю себя в глазах света и покрою позором своих близких. Но мне радостно сделать это для тебя.

Холодный пот проступил у меня на спине. Я схватил ее руки, умоляя не приносить этой жертвы, которую я не вправе принять; я пытался успокоить, образумить ее. Тщетный труд.

— Неужели ты подлец? — прошипела она, глядя мне прямо в глаза.— Неужели ты тоже способен соблазнить женщину и бросить ее, когда вздумается?

Это обвинение я отвел. Зато я постарался ей показать, что ее поступок безрассуден, что он роковым образом отразится на всей нашей жизни.

Она же упорно твердила одно:

— Я тебя люблю!

Под конец, потеряв терпение, я сказал ей напрямик:

— Я этого не хочу и не допущу, чтобы ты ехала со мной.

Она встала и, не сказав ни слова, ушла.

На следующий день я узнал, что она пыталась отравиться. Целую неделю она была между жизнью и смертью. Ко мне пришла ее подруга и наперсница, наговорила мне много обидного и назвала мое поведение бесчестным. Но я не сдался. Целый месяц я ничего определенного не слышал о ней. Говорили только, что она очень больна. Потом вдруг та же приятельница объявила мне, что она в безнадежном положении и может найти силы для жизни только, если я обещаю любить ее. Я пообещал все что угодно. Она выздоровела. Я увез ее.

Разумеется, мне пришлось выйти в отставку. И мы два года прожили вместе в маленьком итальянском го-

родке мучительной жизнью порвавших с обществом любовников.

Однажды утром, когда я был один, явился ее муж. Он не стал оскорблять меня, даже не выразил гнева. Он приехал, чтобы вернуть жену, не ради себя, а ради детей, ради их дочек.

Поверьте мне, господа присяжные, я с восторгом отпустил бы ее.

Как только она пришла, я оставил ее наедине с покинутым супругом. Она отказалась уехать с ним. Я, в свою очередь, просил, умолял ее. Поистине дикая и неправдоподобная ситуация: я заклинал ее бросить меня, а он — вернуться к нему.

Она крикнула нам: «Оба вы негодяи!» — и выбежала из комнаты.

Муж взял шляпу, поклонился мне со словами: «От души сочувствую вам, сударь!» — и ушел.

Я прожил с ней еще шесть лет. По виду она годилась мне в матери. Она умерла.

Так вот, господа, раньше об этой женщине никто дурного слова не мог сказать. За ней не числилось никаких увлечений, и в глазах общества именно я ее погубил, обесчестил, убил. Я навлек позор на ее семью, забрызгал грязью все вокруг. Я негодяй и подлец.

Вы в один голос осудили меня.

Эта история наделала шума. Я прослыл соблазнителем. Все женщины смотрели на меня с волнением и любопытством. Мне стоило только руку протянуть, чтобы увлечь любую. Я несколько раз влюблялся, и мои избранницы изменяли мне. А остальные всячески меня поносили. Словом, передо мной неизменно вставал выбор: либо быть Иосифом и пожертвовать своим плащом, либо отдать себя на растерзание львицам.

Я кончаю, господа.

Посмотрите на Париж между двенадцатью и часом дня. Вы увидите юных девушек-модисточек, попарно, без шляпок разгуливающих по тротуару, бросающих дерзкие, задорные взгляды, готовых согласиться на любое свидание, ищущих любви на улицах.

Это все ваши подопечные. Загляните им в сердце. Послушайте их разговоры.

— Нет, душенька, если уж мне посчастливится най-

ти богатого кавалера, будь покойна, он меня не бросит, как бросил Амели. А не то угощу его серной кислотой.

И когда какой-нибудь славный малый проходит мимо, его до самого сердца пронизывают выразительным взглядом, говорящим: «Когда вам будет угодно». Он останавливается: девица миловидна и покладиста — он уступает.

Месяц спустя вы на чем свет ругаете и осуждаете мерзавца, покинувшего несчастную соблазненную девушку.

Итак, кто же здесь гончая, а кто дичь? Запомните, господа: для женщин любовь — основа жизни. Они играют нами, как кошка мышью. Девушка ищет мужа повыгодней.

И те, кто ловит любовников, преследуют такую же цель.

А когда мужчина, почуяв ловушку, вырывается у них из рук, они мстят ему, по примеру охотника, который стреляет в кролика, выскользнувшего из силка.

В ПУТИ

Сент-Аньес, 6 мая.

Дорогая,

Вы просили меня почаще писать и непременно рассказывать о том, что мне случится увидеть. Вы также просили меня порыться в своих путевых воспоминаниях и приберечь для вас те беглые рассказы, которые слышишь порою от встречного крестьянина, хозяина гостиницы или случайного прохожего и которые запечатлеваются в памяти, отражая своеобразие данной страны. Вы полагаете, что обрисованный в нескольких строках пейзаж и набросанный в нескольких фразах эпизод могут живо, наглядно и выразительно передать подлинный характер местности. Попытаюсь выполнить ваше желание. Итак, я буду время от времени писать вам письма, но говорить в них буду не о вас и не о себе, а лишь о картинах, развертывающихся передо мной, и о людях, которых я встречу. Не откладывая, начинаю.

Весна — это, по-моему, такое время года, когда нужно упиваться и насыщаться пейзажем. Весной мы трепещем от восторга, осенью размышляем. Весенняя природа волнует нашу плоть, осенняя проникает в душу.

Мне захотелось в этом году подышать запахом цветущих апельсиновых деревьев: я отправился на юг — в ту пору, когда все возвращаются оттуда. Я побывал в Монако, этом городе паломников, соперничающем с Меккой и Иерусалимом,— побывал, не оставив при этом ни одной монеты в чужих карманах,— и тут по тропинке, осененной, как сводом, лимонными, апельсиновыми и оливковыми деревьями, я поднялся на высокую гору.

Случалось ли вам спать среди апельсиновых деревьев, дорогая? Вы вдыхаете упоительный воздух — какую-то квинтэссенцию благоуханий. Этот крепкий и нежный запах, сладостный, как лакомство, словно внедряется в ваше существо, пропитывает вас, опьяняет, обессиливает, наводит на вас дремотное и мечтательное оцепенение. Таков был бы опиум, будь он изготовлен руками фей, а не аптекарей.

Здесь край оврагов. Выступы горы всюду изборождены глубокими расселинами, впадинами, и в этих извилистых лощинах растут целые леса лимонных деревьев. Время от времени, когда крутой склон образует уступы, попадаются каменные водоемы, собирающие дождевую воду. Это глубокие, широкие ямы с гладкими стенками, без единого выступа, за который мог бы ухватиться упавший в воду человек.

Я медленно поднимался в гору по дну одной из этих лощин, любуясь еще не сорванными плодами, которые блестели сквозь листву. Застоявшийся в лощине густой воздух придавал особую крепость пряному запаху цветов. Усталый, я огляделся, ища, где бы мне присесть, и увидел ручеек, струившийся в траве. Я подумал, что невдалеке находится родник, и поднялся немного выше в гору, чтобы найти его. Но вместо источника я набрел на один из таких широких и глубоких водоемов.

Я уселся по-турецки, поджав под себя ноги, и задумался, глядя на зияющее передо мной отверстие, как будто налитое чернилами — так черна была в нем вода. Вдали сквозь ветки блестело пятнами ослепительно яркое Средиземное море. Но глаза мои вновь и вновь обращались к этому широкому мрачному

колодцу, где, казалось, не обитало ни одного живого существа, до того недвижной была его поверхность.

Вдруг рядом со мною раздался голос; я вздрогнул. Ко мне обратился какой-то старый господин, собиравший цветы (во всей Европе нет местности, более заманчивой для составителей гербариев).

— Вы не родственник ли этих бедных детей? — спросил он меня.

Я посмотрел на него с изумлением.

— Каких детей, сударь?

Он смутился и с поклоном продолжал:

— Прошу прощения. Видя, как вы сидите задумавшись перед этим водоемом, я решил, что вы вспоминаете о той ужасной драме, которая здесь разыгралась.

Его слова заинтересовали меня, и я попросил его рассказать мне эту историю.

Это мрачная, удручающая история и в то же время очень банальная. Это — обыкновенное происшествие из газетной хроники. Быть может, меня взволновала та драматическая обстановка, в которой оно было мне передано,— этот горный пейзаж кругом, этот контраст между ликованием солнца и цветов и черным, смертоносным колодцем,— не знаю, но услышанный мною рассказ перевернул мне сердце, потряс мои нервы. Но, быть может, он не покажется вам таким мучительно-печальным, дорогая, когда вы будете читать его у себя в комнате, не видя той обстановки, где разыгралась эта драма.

Дело было года два назад, весной. К этому водоему нередко приходили два мальчика. Пока они играли, гувернер их читал книгу, растянувшись под деревом. Однажды, в жаркое послеполуденное время, он задремал. Пронзительный крик разбудил его — он услышал плеск тела, упавшего в воду, и вскочил на ноги. Младший из двух детей, одиннадцатилетний мальчик, выл от ужаса, стоя у водоема, где вода расходилась кругами, сомкнувшись над головою стар-

шего мальчика: он упал туда, бегая по каменному краю.

Потеряв голову, не колеблясь ни минуты, ни о чем не думая, гувернер бросился в воду — и больше не появлялся: он ударился черепом о дно.

В ту же минуту из воды показался упавший мальчик; он протягивал руки брату. Тот лег на землю и перегнулся через край водоема. Утопавший, стараясь удержаться на воде, подплыл к стене — и вскоре четыре маленьких руки схватили, сжали друг друга, сцепившись с судорожной силой. Дети затрепетали от радости: казалось, опасность миновала.

Старший брат попытался взобраться на гладкий край водоема, но безуспешно, а младший брат, слишком слабый, медленно сползал к воде.

Тогда они остановились, вновь охваченные ужасом. И, не двигаясь, стали ждать.

Младший изо всех сил сжимал руки старшего: он плакал, истерически повторяя: «Я не могу тебя вытащить, я не могу тебя вытащить». Вдруг он закричал: «Спасите! Спасите!» Но его тоненький голосок едва пробивался сквозь свод листвы, распростертой над их головами.

Часы текли. Они оставались все в том же положении, лицом к лицу, эти два ребенка. Их мучила одна и та же мысль, одна и та же тревога, один и тот же страх — как бы один из них не разжал в изнеможении своих слабых рук. Они звали на помощь — и все так же никто не откликался.

Наконец старший, дрожа от холода, сказал младшему: «Я больше не могу. Я сейчас упаду. Прощай, братец». Но другой твердил, задыхаясь: «Нет, нет, подожди».

Наступил вечер, ясный вечер, в воде замерцали звезды.

Старший сказал, изнемогая: «Отпусти мне одну руку, я отдам тебе часы». Он получил эти часы в подарок несколько дней тому назад и не мог на них нарадоваться. Ему удалось достать часы, протянуть их брату — и тот, рыдая, положил их рядом с собой на траву.

Настала ночь. Два несчастных маленьких сущест-

ва в смертельной тоске из последних сил цеплялись друг за друга. Наконец старший почувствовал, что спасения нет. «Прощай, братец, поцелуй папу и маму»,— прошептал он. Его онемевшие пальцы разжались. Он скрылся под водой и больше не появлялся.

Младший брат, оставшись один, принялся исступленно звать его: «Поль! Поль!» Но все было тщетно.

Тогда он бросился бежать по склону горы, спотыкаясь о камни, падая, охваченный самым страшным отчаянием, которое когда-либо терзало детское сердце. Смертельно бледный, вбежал он в гостиную, где родители ждали его с братом. Когда он вел их обратно к мрачному водоему, он не раз сбивался с пути, не узнавал местности. Наконец он узнал ее: «Это здесь,— да, вот здесь».

Надо было опорожнить водоем. Но владелец не разрешил этого: ему нужна была вода для его лимонных деревьев.

Оба трупа нашли только на другой день.

Вы видите, дорогая, это просто одно из происшествий газетной хроники. Но если бы вы видели, как я, этот водоем, у вас, как и у меня, раздиралось бы сердце при мысли об агонии ребенка, который висел, держась за руки своего брата,— о той нескончаемой борьбе, какую пришлось вести двум мальчуганам, привыкшим лишь играть да смеяться, об этой, такой простой, подробности: о подаренных на память часах.

И я говорил себе: «Да оградит меня судьба от такого подарка». Ничего не может быть ужаснее подобного воспоминания, неразлучного с вещью, с которой не смеешь расстаться. Подумайте: ведь каждый раз, как мальчик прикоснется к этим священным для него часам, ему будет рисоваться та ужасная сцена: водоем, стена, неподвижная вода и искаженное лицо его брата, еще живого, но уже безвозвратно погибшего. И в течение всей его жизни, всякий час эта картина будет вставать перед ним, едва он притронется пальцами к жилетному карману.

До самого вечера грусть не покидала меня. Я поднимался все выше в гору; из пояса апельсиновых де-

ревьев я перешел в пояс оливковых деревьев, потом в пояс сосен. Оттуда я спустился в каменистую долину, наконец дошел до развалин старинного замка; говорят, что его выстроил в X веке мудрый сарацинский вождь, принявший крещение из любви к какой-то христианской девушке.

Всюду вокруг меня горы; впереди море,— море, где виднеется вдали почти неразличимое пятно: это Корсика, или, вернее, тень Корсики.

Но на высотах, обагренных закатом, среди необъятного неба, над морем, на фоне всего этого блистательного пейзажа, которым я приехал полюбоваться, я видел только двух бедных детей: одного — склоненного над черной водой водоема, другого — погруженного в эту воду по шею,— двух детей, держащих друг друга за руки, растерянных, плачущих, и все время казалось мне, что я слышу, как слабый, изнемогающий голос повторяет: «Прощай, братец, возьми на память мои часы».

Вероятно, это письмо покажется вам уж очень безотрадным, дорогая. Постараюсь в другой раз написать вам что-нибудь повеселее.

СТАРИК

Во всех газетах появилось следующее объявление: «Новая бальнеологическая станция в Ронделе предоставляет приезжим наилучшие условия как для продолжительного пребывания, так и для кратковременного лечения. Местные железистые воды, всемирно известные своим действием при лечении различного рода заболеваний крови, обладают, по-видимому, особыми свойствами, способствующими продлению человеческой жизни. Эти необычайные качества, возможно, отчасти объясняются исключительно благоприятным расположением городка, раскинувшегося на вершине холма, в самой гуще елового леса. В течение вот уже нескольких столетий среди жителей этой местности наблюдаются случаи редкого долголетия».

И публика валом повалила туда.

Однажды утром местного врача вызвали к новому пациенту, г-ну Дарону, который прибыл несколько дней назад и снял очаровательную виллу на опушке леса. Это был старичок восьмидесяти шести лет, еще крепкий и здоровый — сухонький, живой и прилагавший немало усилий к тому, чтобы скрыть свой возраст.

Он предложил доктору сесть и тотчас же заговорил:

— Доктор, если я здоров, то лишь благодаря строгому режиму. Не будучи очень старым, я, тем не менее, в годах, однако режим спасает меня от болезней.

от недомоганий и даже от легких расстройств. Утверждают, что здешний климат весьма благоприятно действует на здоровье. Я готов этому поверить, но прежде чем окончательно обосноваться здесь, я хотел бы получить тому доказательства. Я бы вас попросил приходить ко мне раз в неделю и давать подробные сведения следующего рода.

Прежде всего мне нужен полный перечень, повторяю, полный перечень всех жителей города и окрестностей — стариков, которым перевалило за восемьдесят. Мне необходимо знать о них все физические и физиологические подробности, их профессию, образ жизни, привычки. Всякий раз, когда кто-нибудь из них умрет, извольте меня оповестить и точно указать причину смерти, а также сопутствовавшие ей обстоятельства.

Затем он присовокупил ласковым тоном:

— Я надеюсь, доктор, что мы станем друзьями.

С этими словами он протянул свою сморщенную ручку, которую доктор пожал, обещая полнейшее содействие.

Г-н Дарон всегда испытывал какой-то непонятный ужас перед смертью. Он лишил себя почти всех удовольствий, ибо они опасны, и когда кто-нибудь удивлялся, что он не хочет выпить вина,— вина, что веселит людей и кружит им головы,— старик отвечал: «Я хочу сохранить свою жизнь»,— и в голосе его слышался страх. Слово «свою» он произносил так, будто эта жизнь, е г о жизнь, имела бо́льшую, чем полагали, ценность. Этим словом он подчеркивал, что его собственная жизнь намного дороже чужих жизней, и все терялись, не находя, что ответить.

Впрочем, ему вообще была свойственна манера подчеркивать притяжательные местоимения, относившиеся к его персоне и даже к вещам, которые ему принадлежали. Когда он говорил: «Мои глаза, мои ноги, мои руки»,— становилось ясно, что эти органы ни в коем случае не могли бы принадлежать кому-либо другому. Эта его особенность всего заметней становилась тогда, когда старик говорил о своем враче «мой

доктор». Можно было подумать, что этот доктор лечил лишь его одного, занимался только его болезнями и ничем иным и был лучшим из всех врачей мира, без исключения.

Остальных людей г-н Дарон считал чем-то вроде живых кукол, созданных для украшения природы. Старик делил всех на две категории: с одними он здоровался, когда случайно сталкивался с ними; с другими не здоровался. Впрочем, обе эти категории оставались для него одинаково безразличны.

Начиная с того дня, когда местный врач принес ему список семнадцати обитателей городка старше восьмидесяти лет, старик почувствовал, что в его сердце пробудился новый интерес, неизвестная ему прежде забота об этих стариках, которые один за другим будут гибнуть у него на глазах.

Он не хотел знакомиться с ними, однако о каждом имел довольно полное представление. С доктором, который обедал у него по четвергам, он говорил только о них. Старик спрашивал: «Ну, доктор, как чувствует себя сегодня Жозеф Пуэнко? На прошлой неделе ему что-то нездоровилось». И, прослушав бюллетень о состоянии больного, г-н Дарон предлагал провести те или иные наблюдения, иной режим, новые методы лечения, которые он смог бы впоследствии применить и к себе, если бы они оказались полезными для других. Они, эти семнадцать стариков, служили ему подопытными кроликами.

Однажды вечером доктор объявил: «Розали Турнель умерла». Г-н Дарон вздрогнул и тотчас же спросил: «От чего?»

— От ангины.

Старичок с облегчением перевел дух.

— Она была слишком грузна, слишком тучна, — проговорил он.— Должно быть, эта женщина чересчур много ела. В ее возрасте я бы больше следил за собой.

Господин Дарон был на два года старше покойницы, однако он утверждал, что ему только семьдесят лет

Несколько месяцев спустя наступила очередь Анри Бриссо. Г-н Дарон очень разволновался. На этот раз умер человек столь же худощавый, одного с ним возраста, даже на три месяца моложе, и, ко всему прочему, благоразумный. Он не решался расспрашивать далее, ожидая, что доктор заговорит сам, однако не вытерпел и сказал с беспокойством:

— Значит, он так сразу и умер? Но ведь на прошлой неделе бедняга был совсем здоров. Он, верно, был в чем-нибудь неосторожен, не правда ли, доктор?

Доктор с улыбкой ответил:

— Не думаю. Дети его мне говорили, что покойный был человек осмотрительный.

Тогда, не в силах более сдерживаться, г-н Дарон произнес голосом, полным муки:

— Но... но от чего же он тогда умер?

— От плеврита.

Для старика это была радость, подлинная радость. Он даже захлопал своими сухонькими, сморщенными ручками:

— Черт возьми, я ж вам говорил, что он был в чем-то неосторожен. Плеврит не появляется без всякой причины. Вероятно, он хотел прогуляться после обеда, и холодный воздух охватил ему грудь. Плеврит! Ведь это несчастный случай, а не болезнь. Только безумцы умирают от плеврита.

И он весело принялся за обед, заговорив о тех, кто остался в живых.

— Теперь их всего пятнадцать, но ведь эти-то крепкие, не правда ли? Такова жизнь — наиболее слабые падают первыми. Люди, которые перешагнули за тридцать, вполне могут дожить до шестидесяти, а те, которым за шестьдесят, часто доживают и до восьмидесяти. Те же, кому перевалило за восемьдесят, почти всегда достигают ста лет, потому что они более крепкие, более мудрые и больше закалены, нежели остальные.

В течение года умерли еще две старухи. Одну свалила дизентерия, другую — удушье Г-на Дарона очень позабавила смерть первой. Он решил, что она,

вероятно, поела накануне чего-нибудь возбуждающего.

— Дизентерия — бич неразумных. Черт возьми! Вам, доктор, следовало бы проследить за режимом пациентки.

Что же касается второй старухи, погибшей от удушья, то смерть ее можно было объяснить лишь пороком сердца, скрытым прежде.

Но вот однажды вечером доктор объявил о кончине Поля Тимоне, похожего на мумию человечка, чью сотую годовщину хотели использовать в целях рекламы курорта.

Когда г-н Дарон по своему обыкновению спросил, от чего тот умер, доктор ответил:

— Ей-богу, ничего об этом не знаю.

— Как ничего не знаете? Вы же всегда знали. Не было ли у него какого-нибудь органического повреждения?

Доктор покачал головой.

— Нет, никакого.

— Может быть, заболевание печени или почек?

— Нет, и печень и почки были здоровы.

— А уверены ли вы в том, что желудок его работал исправно? Ведь приступ часто происходит из-за несварения желудка.

— Никаких приступов у него не было

Г-н Дарон, весьма озадаченный, заволновался:

— Послушайте, но от чего-то он все-таки умер? От чего же, как вы полагаете?

Доктор развел руками.

— Я ничего не знаю, совершенно ничего. Он умер, потому что умер, вот и все.

Г-н Дарон спросил расстроенным голосом:

— Сколько же ему было лет? Я что-то не припомню.

— Восемьдесят девять.

И старичок, недоверчиво взглянув на доктора, радостно воскликнул:

— Восемьдесят девять лет! Так, значит, он умер не от старости!

ПОЦЕЛУЙ

Дорогая крошка!

Итак, ты плачешь с утра до вечера и с вечера до утра из-за того, что твой муж невнимательно к тебе относится; ты не знаешь, что делать, и просишь совета у своей старой тетки, видимо, считая ее очень опытной. Я не так осведомлена в этой области, как ты думаешь, однако не являюсь и полной невеждой в искусстве любить, или, вернее, в искусстве быть любимой, а этого искусства тебе немножко не хватает. В моем возрасте такие признания позволительны.

Ты говоришь, что твой муж видит с твоей стороны только знаки внимания и нежности, только ласки, только поцелуи.

Отсюда, может быть, и все зло; я думаю, что ты его слишком много целуешь.

Душа моя, в руках у нас власть, страшнее которой нет в мире,— любовь.

Мужчина одарен физической силой: насилие дает ему власть. Женщина одарена обаянием: ей дает господство ласка.

Это наше оружие, оружие грозное и непобедимое, но им надо уметь пользоваться.

Мы властительницы земли, пойми это. Рассказать историю любви от начала мира — это значило бы рассказать историю самого человечества. Из любви проистекает все: искусство, великие события, нравы, обычаи, войны, падение государств.

В библии ты находишь Далилу, Юдифь; в мифо-

логии — Омфалу, Елену; в истории — сабинянок, Клеопатру и многих других.

Итак, мы всемогущие царицы, мы царствуем. Но нам нужно, как это делают монархи, действовать с утонченной дипломатичностью.

Любовь, дорогая крошка, соткана из тонких мелочей, из едва уловимых ощущений.

Мы знаем, что она сильна, как смерть, но она и хрупка, как стекло. Малейший удар разбивает это стекло, и тогда наша власть непоправимо рушится.

Мы умеем заставлять мужчин обожать нас, но нам недостает одной мелочи — недостает способности различать оттенки ласки, недостает того тонкого чутья, которое предупреждало бы нас об излишестве нашей нежности. В часы объятий мы утрачиваем восприимчивость к тонким мелочам, мужчина же, над которым мы господствуем, сохраняет самообладание, сохраняет способность ощущать комизм некоторых слов, неуместность некоторых жестов.

Остерегайся этого, моя крошка; здесь щель в нашей броне, здесь наша ахиллесова пята.

Знаешь ли ты, откуда проистекает наша истинная власть? Из поцелуя, только из поцелуя! Если мы умеем протянуть и отдать наши губы, мы можем стать царицами.

Поцелуй, правда, только предисловие, но предисловие очаровательное, более восхитительное, чем само произведение; предисловие это перечитывают беспрестанно, тогда как нельзя же вечно... перечитывать книгу.

Да, встреча уст — это самое совершенное, самое божественное ощущение, доступное людям, последний, наивысший предел счастья.

В поцелуе, только в поцелуе нам чудится порою это неосуществимое единение душ, к которому мы стремимся, это слияние изнемогающих сердец.

Помнишь ли ты стихи Сюлли-Прюдома:

> Напрасен наших ласк тоскующий порыв:
> То бедная любовь пытается бесплодно
> Слить две души в одну, тела в объятьях слив.

Только одна ласка дает это глубокое, невыразимое ощущение двух существ, сливающихся воедино: поце-

луй. Все исступление полного обладания не стоит этого трепещущего сближения уст, этого первого прикосновения, влажного и свежего, не стоит этого неподвижного слияния уст с устами — головокружительного и долгого-долгого.

Так вот, моя крошка: поцелуй — самое могучее наше оружие, но бойся притупить его. Ценность его относительна, чисто условна, не забывай этого. Она беспрестанно изменяется сообразно обстоятельствам, мгновенному настроению, чувству ожидания и восхищения, которые испытывает душа.

Подкреплю мои слова примером.

Другой поэт, Франсуа Коппе, создал стих, всем нам памятный,— очаровательный стих, при воспоминании о котором сердце наше трепещет.

Поэт описывает влюбленного, ожидающего встречи в занавешенной, закрытой комнате, зимним вечером; описывает его тревогу, его нервное нетерпение, его отчаянный страх, что любимая женщина не придет. Потом поэт рассказывает, как она, наконец, входит, торопясь, запыхавшись, принося зимний холод в складках своих юбок,— и он восклицает:

О первый поцелуй — еще чрез вуалетку!

Разве этот стих не проникнут пленительной свежестью чувства, тонкой и очаровательной наблюдательностью, безупречной жизненной правдой? Все те женщины, которые бегали на тайное свидание, которых страсть бросала в объятия мужчины, хорошо знают их — эти восхитительные первые поцелуи сквозь вуалетку — и доныне трепещут при воспоминании о них. И, однако, эти поцелуи черпают свое очарование лишь из окружающих обстоятельств, из опаздывания, из тревожного ожидания; с точки зрения чисто — или, если угодно, нечисто — чувственной, они, право же, никуда не годны.

Подумай. Холод. Молодая женщина шла быстрым шагом, вуалетка влажна от ее охлаждавшегося дыхания. На черном кружеве блестят капельки воды. Влюбленный бросается к молодой женщине и приникает своими горячими губами к этой влаге осевшего дыхания. Влажная, линяющая вуалетка, пропитанная

противным запахом химической краски, проникает в рот молодого человека, смачивает его усы. На губах у него остается не ощущение любимых губ, а лишь краска мокрого, холодного кружева.

И, однако, мы все восклицаем вместе с поэтом:

О первый поцелуй — еще чрез вуалетку!

Так вот, если ценность этой ласки вполне условна, остерегайся обесценивать ее.

А я должна сказать тебе, душа моя, что ты несколько раз вела себя при мне очень неловко. Впрочем, ты в этом отношении не одинока; большинство женщин утрачивают свою власть над мужем лишь из-за злоупотребления поцелуями, несвоевременными поцелуями. Иной раз они находят своего мужа или возлюбленного несколько рассеянным — в те часы утомления, когда сердце, как и тело, нуждается в отдыхе; и вот, вместо того чтобы понять, что происходит с любимым человеком, они упорствуют в неуместных ласках, надоедают ему, то и дело протягивая губы, утомляют его бестолковыми объятиями.

Поверь моей опытности. Прежде всего никогда не целуй своего мужа при посторонних, в вагоне, в ресторане. Это крайне дурной тон; сдерживай свои порывы. Твой муж почувствует себя смешным и никогда тебе этого не простит.

Но больше всего остерегайся бесполезных поцелуев, расточаемых наедине. Я уверена, что ты чудовищно злоупотребляешь ими.

Однажды, например, ты была совершенно невыносима. Ты, вероятно, не помнишь этого.

Мы сидели втроем в твоей маленькой гостиной. Так как передо мной вы не стеснялись, ты сидела на коленях у мужа, и он, блуждая губами в завитках волос на твоей шее, не отрываясь, целовал тебя долгим поцелуем в затылок. Вдруг ты воскликнула: «Ай, камин!» Вы о нем забыли, он потухал. Очаг тускло озаряли красноватым отсветом несколько потемневших, гаснувших головней. Твой муж поднялся, бросился к ящику с дровами, схватил два огромнейших полена,— и вот в ту минуту, когда он, изнемогая под их тяжестью, шел к очагу, ты, подойдя, протянула к

нему молящие губы и прошептала: «Поцелуй меня». Он, едва не падая под тяжестью поленьев, с усилием повернул голову. Тогда тихим, медленным движением ты приложила свои губы к губам этого несчастного — а он стоял с вывернутой шеей, искривленной поясницей, мучительно ноющими руками, дрожа от усталости и отчаянного усилия. И, ничего не видя, ничего не понимая, ты затягивала до бесконечности этот поцелуй-пытку. Потом, выпустив мужа из объятий, ты пробормотала раздосадованно: «Как ты плохо целуешь!».

Ну-ну, душа моя!

Остерегайся этого! Нам всем присуща глупая мания, бессознательная и нелепая потребность бросаться к мужчине в самые неподходящие моменты: когда он несет стакан, полный воды, когда он надевает башмаки, завязывает галстук, словом, когда он находится в самой неудобной позе,— тут-то мы и обрекаем его на неподвижность стеснительной лаской, которая принуждает его на минуту остановиться с единственным желанием освободиться от нас.

Главное, не сочти эту критику малозначащей и мелочной. Любовь чувствительна, моя крошка, какой-нибудь пустяк оскорбляет ее: в ласках все зависит от чувства меры, запомни это. Неловкий поцелуй может наделать много бед.

Проверь мои советы на опыте.

Твоя старая тетка
Колетта.

С подлинным верно: *Мофриньёз.*

ВОСТОК

Вот и осень! Каждый раз, когда я чувствую первые холода зимы, я вспоминаю своего друга, живущего там, на границе Азии.

Когда я был у него в последний раз, я понял, что больше его не увижу. Это было три года тому назад, в конце сентября. Он лежал на диване, погруженный в грезы, которые навевает опиум. Не двигаясь с места, он протянул мне руку и сказал:

— Сядь здесь и можешь говорить; время от времени я буду отвечать тебе, но не буду двигаться; ты ведь знаешь: когда снадобье принято, нужно лежать на спине.

Я сел и принялся рассказывать ему разные новости из жизни веселящегося Парижа.

— Это меня не интересует,— сказал он,— я думаю лишь о солнечных краях. О, как, должно быть, страдал бедный Готье, вечно одержимый жаждой Востока! Ты не знаешь ведь, как этот край овладевает человеком, берет его в плен, проникает в самое его сердце и уже не выпускает своей добычи. Он внедряется в тебя всеми своими неодолимыми соблазнами через твои глаза, через твою кожу; он держит тебя, как на невидимой нити, и непрестанно тянет за эту нить, куда бы ни закинула тебя судьба. И снадобье это я принимаю, чтобы размышлять о Востоке, погрузившись в то восхитительное забытье, которое дарует опиум.

Он замолчал и закрыл глаза.

— Но неужели тебе приятно принимать этот яд? —

спросил я.— И что же представляет собою вызываемое им физическое наслаждение? Почему люди опьяняются им до смерти?

— Это не физическое наслаждение,— отвечал мой друг,— это нечто лучшее, нечто большее. Мне часто бывает грустно; я ненавижу жизнь, которая непрестанно ранит меня своими острыми углами, своею грубостью и жестокостью. Опиум — мой утешитель во всех горестях, и он позволяет мне примиряться с ними. Знакомо ли тебе настроение, которое я назвал бы непрерывным, неотвязным раздражением? Я обычно живу в этом состоянии. Две вещи могут меня исцелить от него: опиум и Восток. Как только я принял опиум, я ложусь и жду. Жду час, иногда два. Затем я чувствую сначала легкую дрожь в руках и ногах,— не судорогу, а трепетное онемение; затем мало-помалу появляется странное и сладостное ощущение, как будто отмирают члены моего тела. Их словно отнимают у меня; это ощущение распространяется, поднимается все выше, завладевает мною целиком. У меня нет больше тела. О нем сохраняется только нечто вроде приятного воспоминания. Остается одна голова, и она работает. Я мыслю. Я мыслю с бесконечной радостью и воодушевлением, с несравненной ясностью, с поразительной остротой. Я рассуждаю, я делаю выводы, мне все понятно, мне открываются идеи, которых раньше я и не предчувствовал; я спускаюсь в неизведанные глубины, всхожу на чудесные высоты, плаваю в океане. Мысли упиваются невыразимым счастьем, высочайшим наслаждением этого чистого и ясного опьянения ума, одного только ума.

Он вторично замолчал и снова закрыл глаза.

— Это постоянное опьянение и стало единственною причиной твоей страсти к Востоку,— сказал я.— Ты живешь в мире галлюцинаций. Как можно стремиться в этот варварский край, где умер Дух, где бесплодная Мысль не выходит за узкие пределы жизни, не делает никакого усилия, чтобы взлететь, вырасти и победить?

Он ответил:

— Разве дело в практическом мышлении? Я люблю лишь грезы. Только в них благо, только в них сладость.

Беспощадная действительность уже давно толкнула бы меня на самоубийство, если бы грезы не давали мне силу ждать.

Но ты сказал, что Восток—страна варваров. Умолкни, несчастный: это страна мудрецов. В этой знойной стране жизнь предоставлена ее естественному течению, и все острые углы сглаживаются и округляются.

Напротив, это мы варвары, мы, западные люди, мнящие себя цивилизованными; мы отвратительные варвары, живущие грубой жизнью животных.

Посмотри на наши каменные города, на нашу деревянную мебель, угловатую и жесткую. Мы поднимаемся, задыхаясь, по узким и крутым лестницам, мы входим в тесные квартиры, куда со свистом врывается ледяной ветер, тотчас улетающий через каминную трубу, похожую на насос: труба эта вызывает смертоносные сквозняки, такие сильные, что они могли бы вращать крылья ветряной мельницы. Наши стулья жестки, наши стены холодны и оклеены отвратительной бумагой. Всюду ранят нас углы: углы столов, каминов, дверей, кроватей. Мы живем стоя или сидя, но никогда не лежа, разве когда спим, а это нелепо, ибо во сне человек уже не чувствует, какое счастье быть распростертым.

Подумай и о нашей интеллектуальной жизни. Это борьба, это непрестанный бой. Беспокойство тяготеет над нами, заботы преследуют нас; у нас нет времени искать или добиваться тех немногих хороших вещей, которые нам доступны.

Это битва насмерть. И острых углов тут еще больше, чем в нашей мебели, в нашем характере. Всюду углы!

Едва встав с постели, в ненастье и стужу мы бежим на работу. Мы боремся против соперников, соискателей, недругов. Каждый человек — враг, которого нужно бояться и одолевать, с которым нужно лукавить. Даже любовь у нас принимает облик победы и поражения: и здесь — борьба!

Он задумался на несколько секунд, затем продолжал:

— Дом, который я собираюсь купить, я вижу ясно. Он квадратный, с плоской крышей и резными деревянными украшениями на восточный лад. С террасы видно

море, по нему плывут белые паруса греческих или мусульманских фелюг, подобные острым крыльям. Наружные стены почти глухие. Посреди этого обиталища помещается большой сад. Там воздух душен и благоуханен под зонтиками пальм. Струя осененного деревьями фонтана бьет ввысь и, рассыпаясь брызгами, ниспадает в просторный мраморный бассейн, дно которого усыпано золотым песком. Там буду я купаться во всякое время между двумя трубками, двумя грезами или двумя поцелуями.

У меня не будет служанки, той отвратительной служанки в засаленном фартуке, которая, уходя, на каждом шагу шлепает стоптанной туфлей, задевая грязный подол своей юбки. О эта туфля, обнажающая желтую лодыжку! Когда я ее вижу, меня мутит от отвращения, а я не могу ее не видеть. Они все так шлепают туфлями, проклятые!

Я больше не услышу шарканья подошв по паркету, стука дверей, закрываемых со всего размаху, грохота падающей посуды.

У меня будут рабы — черные и прекрасные, закутанные в белую одежду, бесшумно ступающие босыми ногами по мягким коврам.

Стены моих комнат будут мягки и упруги, как женская грудь; каждая комната будет опоясана кругом диванами с подушками всевозможных видов, которые дадут мне возможность улечься в любом положении.

А когда я устану от этого восхитительного отдыха, устану наслаждаться неподвижностью и вечными грезами, устану от этого безмятежного покоя, я прикажу подвести к дверям быстроногого коня белой или вороной масти.

И я помчусь верхом, впивая в себя хлещущий, хмельной ветер, свистящий ветер бешеного галопа.

Я полечу, как стрела, по этой красочной земле, вид которой опьяняет взор и дурманит, как вино.

В тихий вечерний час я полечу сумасшедшим галопом к широкому горизонту, розовому от заходящего солнца. Там, в сумерках, все становится розовым: выжженные солнцем горы, песок, одежды арабов, белая масть лошадей.

Я увижу розовых фламинго, взлетающих с болот в

розовое небо, и я буду исступленно кричать, утопая в беспредельности розового мира.

Я уже не буду видеть, как вдоль тротуаров, среди резкого, оглушительного грохота проезжающих фиакров сидят на неудобных стульях люди, одетые в черное, пьют абсент и толкуют о делах.

Я не буду знать биржевого курса, колебания ценностей, всех тех бесполезных глупостей, на которые мы попусту расточаем наше краткое, жалкое и обманчивое существование. К чему эти тяготы, страдания, борения? Я буду отдыхать, защищенный от ветра, в моем роскошном и светлом жилище.

И у меня будет четыре или пять жен, живущих в комнатах с мягкими стенами, пять жен из пяти частей света; они принесут мне сладостное своеобразие женской красоты, свойственной каждой расе.

Он вновь умолк, потом произнес тихо:

— Оставь меня.

Я ушел. Больше я не видел его.

Два месяца спустя он написал мне письмо, состоящее всего из двух слов:

«Я счастлив».

Его письмо пахло ладаном и какими-то нежнейшими благовониями.

РЕБЕНОК

Как-то после обеда заговорили об одном случае детоубийства, недавно происшедшем в местном селе. Баронесса возмущалась: мыслимо ли это! Девушка, обольщенная приказчиком мясной лавки, бросила своего ребенка в реку. Какой ужас! Было даже доказано, что бедное маленькое существо умерло не сразу.

Врач, обедавший в тот вечер у баронессы, спокойно рассказывал об ужасных подробностях этого случая. Он изумлялся мужеству несчастной матери, которая, родив без посторонней помощи, прошла два километра пешком, чтобы убить своего ребенка.

— Она просто железная, эта женщина,— твердил он.— Какая нужна была дикая энергия, чтобы пройти ночью по лесу с кричащим ребенком на руках! Я теряюсь при мысли о таких душевных страданиях. Подумайте о том, как содрогалась от ужаса ее душа, как разрывалось ее сердце! До чего отвратительна и презренна жизнь! Гнусные предрассудки, да, сударыня, гнусные предрассудки, ложные понятия о чести, еще более отталкивающие, чем самое преступление, целая гора лицемерных чувств, показной благопристойности, возмутительной честности — все это толкает бедных девушек на убийство, на детоубийство из-за того лишь, что они покорно повиновались властному закону жизни. Какой позор для человечества, что оно установило подобную мораль и объявило преступлением свободное соединение двух существ!

Баронесса сидела бледная от негодования.

— Так, значит, доктор, вы считаете порок выше добродетели, проститутку выше честной женщины! — возразила она.— Вы ставите на одну доску и женщину, которая предается постыдным инстинктам, и безупречную супругу, выполняющую свой долг с незапятнанной совестью!

Врач был старый человек, и в своей жизни ему случалось прикасаться ко многим ранам. Он встал и сказал, повысив голос:

— Вы говорите, сударыня, о вещах, которых не знаете, ибо вам незнакомы неодолимые страсти. Позвольте рассказать вам об одном недавнем случае, свидетелем которого мне довелось быть.

О, сударыня, будьте всегда снисходительны, добры и милосердны: вы многого не испытали! Горе тем, кому коварная природа дала ненасытные чувства. Люди спокойного нрава, лишенные буйных инстинктов, поневоле остаются честными. Исполнение долга легко для тех, кого никогда не мучат бешеные желания. Я часто вижу, как мещаночки с холодной кровью, со строгими нравами, с ограниченным умом и с сердцем, не способным на сильные переживания, разражаются криками негодования, узнав о падении какой-нибудь женщины.

О! Вы спокойно спите в мирной постели, где вас не тревожат безумные сны. Окружающие вас люди — такие же, как и вы; они поступают, как вы, охраняемые инстинктивной умеренностью своих чувств. Вам ничего не стоит побороть ваши мнимые увлечения. Только умом вы поддаетесь порою соблазну нездоровых мыслей, но тело ваше не трепещет при одном прикосновении искушающей мечты.

Для тех же, сударыня, кого судьба создала страстными, чувственные влечения неодолимы. Можно ли сдержать ветер, остановить бушующее море? Можно ли обуздать силы природы? Нет. Чувственные влечения — это те же силы природы, непобедимые, как море и ветер. Они охватывают, увлекают человека, бросают его в объятия сладострастия, и он не в силах противиться пламенности своего желания. Безупречные женщины — это женщины без темперамента. Таких много. Я не ставлю им в заслугу их доброде-

тель: им не приходится бороться. Но никогда, слышите ли, никогда никакая Мессалина, никакая Екатерина не будет добродетельна. Она неспособна на это. Она создана для исступленных ласк! Ее органы не похожи на ваши; ее плоть — иная, более трепетная, бурно откликающаяся на малейшее прикосновение чужой плоти, а ее нервы приходят в возбуждение и потрясают, обессиливают ее, в то время как ваши ничего бы не ощутили. Попробуйте кормить ястреба теми круглыми зернышками, которые вы даете попугаю! А ведь ястреб, как и попугай, тоже птица с большим крючковатым клювом. Только инстинкты их различны.

О чувственные влечения! Если бы вы знали, как они могущественны. От этих влечений вы задыхаетесь всю ночь напролет, тело ваше горит, сердце усиленно бьется, ум осаждают пламенные видения! Видите ли, сударыня, люди с непоколебимыми принципами — это просто-напросто люди холодного темперамента, отчаянно, сами того не сознавая, завидующие тем, другим.

Послушайте, что я вам расскажу.

Та особа, которую я назову Еленой, была чувственна. Она была чувственной с младенческих лет. Чувственные влечения пробудились в ней в то же время, как и способность речи. Вы скажете мне, что это болезнь. Но почему? Не вы ли скорее рождены расслабленной? Когда ей минуло двенадцать лет, ко мне обратились за советом. Я установил, что она уже сложившаяся женщина и что ее неотступно преследуют любовные желания. Это чувствовалось при одном взгляде на нее. У нее были сочные, выпуклые, раскрытые, как цветок, губы, полная шея, горячая кожа, широкий нос с раздувающимися, трепещущими ноздрями и большие светлые глаза, взгляд которых возбуждал мужчин.

Кто смог бы угомонить кровь этого распаленного животного? Она плакала целые ночи беспричинными слезами. Она смертельно томилась по самцу.

В пятнадцать лет ее наконец выдали замуж. Через два года муж ее умер от чахотки. Она истощила его. Второго постигла через полтора года та же участь.

Третий продержался четыре года, затем покинул ее, и вовремя.

Оставшись одна, она решила соблюдать воздержание. Она разделяла все ваши предрассудки. Кончилось тем, что она обратилась ко мне: ее встревожили непонятные нервные припадки. Я тотчас увидел, что вдовий образ жизни убьет ее. Я сказал ей об этом. Она была порядочной женщиной, сударыня: несмотря на испытываемые ею муки, она отказалась последовать моему совету и завести любовника.

Местные крестьяне считали ее помешанной. Она выходила по ночам и брела наудачу, стараясь быстрой ходьбой утомить свое бунтующее тело. С ней случались обмороки, за которыми следовали ужасающие судороги. Она жила одна в своей усадьбе, неподалеку от усадьбы ее матери и усадьбы родных. Время от времени я навещал ее, хотя и не мог понять, как мне бороться и с чем: с упорной ли волей природы или с ее собственной волей.

Однажды вечером, около восьми часов, когда я заканчивал обед, она явилась ко мне. Как только мы остались одни, она сказала:

— Я погибла. Я беременна!

Я подскочил на стуле:

— Как вы сказали?

— Я беременна.

— Вы?

— Да, я.

И без перехода, отрывисто, глядя на меня в упор, она заговорила:

— Я беременна от своего садовника, доктор. Гуляя как-то в парке, я почувствовала, что теряю сознание. Садовник увидел, что я падаю. Он подбежал и поднял меня на руки, чтобы отнести домой. Что я сделала? Не помню. Обняла ли я его, поцеловала ли? Может быть. Вам известны мое несчастье и мой позор. Словом, он овладел мною! Я виновата! На следующий день я вновь отдалась ему, и так было еще не раз. Все было кончено. Я уже не в силах была сопротивляться!..

Рыдание на миг перехватило ей горло. Она продолжала с волнением:

— Я платила ему. Я решила, что это лучше, чем взять, по вашему совету, любовника. Я забеременела от него. О, я исповедуюсь перед вами без утайки и колебаний. Я пробовала вызвать выкидыш. Я принимала обжигающие горячие ванны, ездила верхом на норовистых лошадях, делала гимнастические упражнения на трапеции, пила снадобья, абсент, шафранную настойку и разные другие вещи. Но я потерпела неудачу. Вы знаете моего отца, моих братьев? Я погибла. Моя сестра замужем за порядочным человеком. Мой позор падет и на них. А подумайте только о всех наших друзьях, о всех соседях, о нашем добром имени... Моя мать...

Она разрыдалась. Я взял ее за руки и стал расспрашивать. Затем посоветовал ей отправиться надолго в путешествие и разрешиться от бремени где-нибудь подальше.

— Да... да... да... так... так...— отвечала она, видимо, не слушая меня.

Затем она ушла.

Я несколько раз побывал у нее. Она сходила с ума.

Мысль об этом ребенке, растущем в ее утробе, об этом живом позоре, подобно острой стреле, вонзилась ей в душу. Она непрерывно думала об этом и уже не осмеливалась выходить в дневное время, не смела ни с кем видеться, боясь, как бы не обнаружилась ее постыдная тайна. Каждый вечер она раздевалась перед зеркальным шкафом и рассматривала свой все увеличивающийся живот; потом бросалась на пол, заткнув салфеткой рот, чтобы заглушить свои крики. Раз двадцать в ночь она вставала, зажигала свечу и снова направлялась к тому же широкому зеркалу и снова видела в нем отражение обнаженного тела с выступающим животом. И, теряя голову, она била себя кулаками в живот, чтобы уничтожить это существо, которое губило ее. Между ними шла ужасающая борьба. Но ребенок не умирал; он постоянно ворочался, как бы защищаясь. Она каталась по паркету, стараясь раздавить его об пол, она пробовала спать, положив на живот тяжесть, чтобы задушить его. Она ненавидела его, как ненавидят лютого врага, угрожающего вашей жизни.

После этой бесполезной борьбы, после этих бесплодных усилий освободиться от ребенка, она, не помня себя, убегала в поля, обезумев от горя и ужаса.

Однажды утром ее нашли у ручья: ноги ее были опущены в воду, глаза блуждали; решили, что это припадок безумия, но ничего не заметили.

Неотступная мысль овладела ею: удалить из своего тела этого проклятого ребенка.

Как-то вечером мать, смеясь, сказала ей:

— Как ты толстеешь, Елена, будь ты замужем, я подумала бы, что ты беременна.

Эти слова, должно быть, произвели на нее впечатление смертельного удара. Она почти тотчас же ушла от матери и вернулась домой.

Что она сделала? Вероятно, еще раз долго рассматривала свой вздутый живот, вероятно, опять била его до синяков и колотилась об углы мебели, как делала это каждый вечер.

Затем она босиком спустилась на кухню, открыла шкаф и достала большой кухонный нож, которым резала мясо. Потом вернулась к себе наверх, зажгла четыре свечи и села на плетеный стул перед зеркалом.

И тут, вне себя от ненависти к этому неведомому и грозному зародышу, желая, наконец, вырвать и убить его, желая добраться до него, задушить его и отшвырнуть прочь, она нажала то место, где шевелилось это полусущество, и одним взмахом отточенного лезвия вскрыла себе живот.

О, несомненно, операция была произведена быстро и удачно. Ей удалось схватить его, этого недосягаемого для нее врага. Она схватила ребенка за ногу, вырвала его из себя и хотела было кинуть в пепел очага. Но младенца держали связки, которых она не смогла разрезать, и, прежде чем она успела понять, что ей оставалось делать, чтобы отделить его от себя, она упала бездыханной, заливая его своей кровью.

Так ли уж была она виновна, сударыня?

Доктор замолчал и ждал ответа.

Баронесса не сказала ни слова.

НАСЛЕДСТВО

Г-н и г-жа Сербуа кончали завтрак, с хмурым видом сидя друг против друга.

Г-жа Сербуа, миниатюрная голубоглазая блондинка с нежным румянцем и мягкими движениями, ела медленно, опустив голову, словно во власти печальной и неотвязной думы.

Сербуа, рослый толстяк с бакенбардами и осанкой министра или маклера, был явно озабочен и обеспокоен.

Наконец он произнес, как будто подумал вслух:

— Право же, это очень странно!

— Что именно, мой друг? — спросила жена.

— Да то, что Водрек нам ничего не оставил.

Г-жа Сербуа вспыхнула; краска, словно розовая вуаль, поднялась от шеи ко лбу.

— Может быть, у нотариуса есть завещание,— сказала она,— а мы еще ничего не знаем.

На самом деле она, по-видимому, все знала.

— Возможно,—подумав, согласился Сербуа.—Ведь, в конце концов, он был нашим лучшим другом, и твоим и моим. По целым дням сидел у нас, два раза в неделю обедал, ну да, он задаривал тебя, это, конечно, тоже плата за гостеприимство. Но все-таки странно было бы обойти в завещании таких близких друзей. Уж я, если бы захворал, непременно вспомнил бы о нем, хотя ты законная моя наследница.

Г-жа Сербуа не поднимала глаз. И пока муж разре-

зал курицу, она упорно сморкалась, как сморкаются, когда плачут.

Сербуа заговорил снова:

— Весьма возможно, что у нотариуса есть завещание и нам что-нибудь оставлено. Мне ведь много и не надо, так, пустячок, мелочь, в знак того, что он был к нам привязан.

Тогда жена нерешительно сказала:

— Если хочешь, пойдем после завтрака к господину Ламанеру и все сразу узнаем.

— Отлично, прекрасная мысль! — согласился он.

Их приход в нотариальную контору Ламанера вызвал заметное волнение среди служащих, и когда г-н Сербуа счел нужным назваться, хотя его здесь превосходно знали, старший клерк вскочил с подчеркнутым усердием, а его помощник ухмыльнулся.

И супругов Сербуа ввели в кабинет нотариуса.

Это был низенький человечек, весь кругленький. Все у него было круглое. Голова напоминала шар, насаженный на другой шар, побольше, который передвигался на двух ножках-коротышках, тоже похожих на шарики.

Он поздоровался, предложил сесть и, бросив многозначительный взгляд на г-жу Сербуа, сказал:

— Я только что собирался написать вам и пригласить ко мне в контору, чтобы вы ознакомились с завещанием господина Водрека: оно непосредственно касается вас.

— Так я и думал! — не удержался г-н Сербуа.

— Сейчас я зачитаю вам этот документ, кстати, очень лаконичный,— продолжал нотариус.

Он взял лежавшую перед ним бумагу и начал читать:

«Я, нижеподписавшийся, Поль-Эмиль-Сиприен Водрек, находясь в здравом уме и твердой памяти, выражаю сим свою последнюю волю.

Так как смерть может настичь нас в любую минуту, я, в предвидении ее, вознамерился составить завещание, которое будет храниться у нотариуса Ламанера.

Не имея прямых наследников, я все свое имущество, состоящее из биржевых ценностей на сумму четыреста тысяч франков и недвижимого имущества, оцененного круглым счетом в шестьсот тысяч франков, без всяких условий и оговорок завещаю госпоже Клер Гортензии Сербуа. Прошу ее принять этот дар умершего друга как свидетельство его глубокой, неизменной и почтительной привязанности.

Составлено в Париже, 15-го июня 1883 г.

Подпись *Водрек».*

Г-жа Сербуа опустила голову и не шевелилась, меж тем как супруг ее, вытаращив глаза, попеременно смотрел на нотариуса и на жену.

После минутного молчания нотариус заговорил опять:

— Само собой разумеется, сударь, что госпожа Сербуа не может без вашего согласия принять этот дар.

Г-н Сербуа встал.

— Мне нужно подумать,— сказал он.

Нотариус наклонил голову с чуть заметной лукавой усмешкой.

— Я вполне понимаю ваши колебания, милостивый государь: люди только и ищут, о чем бы позлословить. Не откажите в любезности прийти с ответом завтра, в это же время.

Г-н Сербуа утвердительно кивнул.

— Хорошо, сударь. До завтра.

Он отвесил церемонный поклон, предложил руку жене, у которой пылали щеки, а глаза были упорно опущены в землю, и проследовал через контору с таким величавым видом, что клерки даже струсили.

Как только супруги вернулись домой, г-н Сербуа закрыл дверь и отрывисто произнес:

— Ты была любовницей Водрека.

Жена, снимавшая шляпу, стремительно обернулась:

— Я! Бог с тобой!

— Да, ты!.. Кто же оставил бы все состояние женщине, если бы...

Краска сошла с ее лица, и пальцы слегка дрожали,

завязывая длинные ленты, которые иначе волочились бы по земле.

Собравшись с мыслями, она сказала:

— Что с тобой? Ты с ума сошел, право же, с ума сошел. Ведь сам ты час назад надеялся, что он... что он... тебе что-нибудь оставит.

— Да, он мог оставить мне, слышишь, мне, а не тебе!..

Она посмотрела ему в глаза пристальным и загадочным взглядом, словно стараясь что-то прочесть там, увидеть то неведомое, что прочно спрятано в человеке и о чем можно только догадаться в те краткие минуты, когда ослабление внимания и самозащиты, порыв откровенности оставляют приотворенной дверь в заповедные тайники души.

— А мне кажется,— медленно проговорила она,— что если бы он оставил такое крупное наследство... тебе, это бы тоже нашли по меньшей мере странным.

— Почему, собственно? — спросил он с лихорадочной торопливостью, словно кто-то посягал на его права.

— Да потому...— начала она, отвернулась в смущении и замолчала.

Он крупными шагами ходил из угла в угол.

— Ты не можешь принять этот дар! — заявил он.

— Прекрасно,— равнодушным тоном ответила она.— Тогда незачем и ждать до завтра, можно сейчас же сообщить наше решение господину Ламанеру.

Сербуа остановился перед ней, и несколько мгновений они стояли лицом к лицу, глядя друг другу прямо в глаза, и каждый старался увидеть, понять, разгадать другого, проникнуть в самые его сокровенные мысли; в глазах у них был жгучий и немой вопрос, как у людей, которые живут вместе, ничего друг о друге не зная, но вечно подозревая, подкарауливая и выслеживая друг друга.

И вдруг он шепотом бросил ей в лицо:

— Признавайся, ты была любовницей Водрека?

Она пожала плечами:

— До чего же ты глуп! Водрек, кажется, любил меня, но я ни разу... ни разу ему не уступила.

Он топнул ногой.

— Лжешь, этого быть не может!

— И все-таки это правда,— спокойно сказала она.

Он снова зашагал по комнате и через минуту остановился:

— Тогда объясни, почему он оставил все свое состояние тебе, именно тебе...

— Да очень просто,— ответила она невозмутимым тоном.— Ведь ты сам говорил, что, кроме нас, у него не было друзей, он больше жил здесь, чем у себя дома, и, задумав писать завещание, прежде всего вспомнил о нас. А затем уж из учтивости поставил на бумаге мое имя. Что ж тут удивительного? Подарки он тоже делал не тебе, а мне. Он постоянно приносил мне цветы и каждый месяц, пятого числа, дарил какую-нибудь безделушку, потому что мы с ним познакомились пятого июня. Да ты сам это отлично знаешь. А тебе он очень редко делал подарки, ему это и в голову не приходило. Внимание всегда оказывают женам, а не мужьям. Вот и последний знак его внимания относится ко мне, а не к тебе. Это вполне понятно.

Она говорила таким спокойным, естественным тоном, что Сербуа заколебался.

— Все равно,— возразил он,— это произведет отвратительное впечатление. Никто не поверит в твою невинность. Нет, мы не можем согласиться.

— Ну и не надо, мой друг. У нас в кармане будет миллионом меньше, только и всего.

— Да, конечно... миллион,— заговорил он, не обращаясь к жене, а как будто размышляя вслух.— Об этом и думать нечего, нас бы заклевали. Что ж, так и быть. Другое дело, если бы он половину завещал мне.

Сербуа сел, положил ногу на ногу и начал теребить свои бакенбарды, что было у него признаком глубокого раздумья.

Г-жа Сербуа открыла рабочую корзинку, достала оттуда вышивание и, принимаясь за работу, заметила:

— Мне это и не нужно. Решай, как знаешь.

Он долго не отвечал, потом нерешительно начал:

— Так вот, есть один способ. Ты должна перевести на меня половину наследства путем прижизненной дар-

ственной записи. Детей у нас нет, значит, и препятствий быть не может. А этим мы заткнем рот злопыхателям.

— Почему же, собственно, это заткнет им рот? — спросила она очень серьезно.

— Какая же ты непонятливая! — разозлился он.— Мы скажем, что получили наследство пополам. И это не будет враньем. Незачем всем объяснять, что завещание было на твое имя.

Она снова пристально посмотрела на него:

— Делай, как знаешь, я со всем согласна.

Он опять вскочил и зашагал из угла в угол. Казалось, у него возникли новые сомнения, хотя лицо по-прежнему сияло:

— Нет, пожалуй, для нашего достоинства лучше отказаться совсем... Хотя... так, как я говорил, это будет вполне прилично. Даже самые придирчивые люди ничего такого не усмотрят... Да, да, это все поставит на свои места...

Он остановился подле жены.

— Знаешь что, кошечка? Я пойду к нотариусу один, объясню, как обстоит дело, и посоветуюсь с ним. Скажу ему, что тебе так будет приятнее. Да и с точки зрения приличий... Это сразу пресечет всякие толки. Раз я согласен принять половину наследства, следовательно, я знаю, что делаю, положение для меня ясно, и я не вижу в нем ничего двусмысленного и предосудительного. Я этим как бы говорю тебе: «Ты смело можешь согласиться, дорогая, если согласился я, твой муж». А иначе это, право, было бы несовместимо с нашим достоинством.

— Тебе виднее,— коротко сказала г-жа Сербуа.

Он вдруг сделался многоречив:

— Да, в случае дележа все будет вполне понятно. Мы получаем наследство от друга, который не пожелал выделить одного из нас, проявить особую заботу о ком-то одном, который не хотел сказать своим завещанием: «Я и после смерти кому-то отдаю предпочтение, как отдавал при жизни». Будь уверена, если бы он как следует подумал, он именно так бы и поступил. Он просто не сообразил, не предусмотрел последствий. Ты

совершенно верно сказала, что подарки он тоже делал тебе.

Она с явным раздражением прервала его:

— Отлично. Я все поняла. Не к чему вдаваться в такие пространные объяснения. Ступай прямо к нотариусу.

Он вдруг сконфузился, покраснел и забормотал:

— Ты права. Иду.

Он взял шляпу и, подойдя к жене, вытянул губы для поцелуя.

— До свидания, душенька.

После того как муж звонко чмокнул ее в лоб и пышные бакенбарды пощекотали ее щеки, г-жа Сербуа, уронив рукоделие, горько заплакала.

МАРСИАНИН

Я был поглощен работой, когда вошел мой слуга.

— Сударь, какой-то господин хочет вас видеть.

— Проси.

В следующую минуту вошел человек невысокого роста и поклонился. В очках, в большом, не по росту костюме, который висел мешком на его тщедушном, хилом теле, он походил на захудалого школьного учителя.

Пришелец пробормотал:

— Прошу прощения, сударь. Нижайше прошу прощения за то, что помешал вам.

— Садитесь, сударь,— отвечал я.

Незнакомец сел.

— Поверьте, сударь,— продолжал он,— я очень смущен своей бесцеремонностью. Но мне необходимо было кого-нибудь видеть, а, кроме вас, мне не к кому... не к кому обратиться... В конце концов я собрался с духом... Только, право же... я не смею.

— Почему же? Продолжайте, сударь.

— Дело в том, что как только я начну говорить, вы примете меня за сумасшедшего.

— Все зависит от того, о чем вы будете говорить.

— Признаться, то, что я вам расскажу, всякому покажется очень странным. Но умоляю вас, поверьте, я вовсе не сумасшедший, ведь я сам заявляю о необычности своего признания.

— Ну, хорошо, я вас слушаю.

— Нет, сударь, я не сумасшедший. Просто у меня несколько странный вид, какой бывает у людей, размышляющих больше других, и которым чуть-чуть, совсем чуть-чуть удалось переступить границы обычного мышления. Задумывались ли вы, сударь, над тем, что в этом мире никто ни о чем не беспокоится? Каждый поглощен собственными делами, собственными удовольствиями, наконец, собственной жизнью или же забавными глупостями вроде театра, живописи, музыки, политики — самой большой глупости из всех. Некоторых интересуют вопросы промышленности. Ну, а кто же думает? Кто? Да никто! Однако я заболтался. Простите! Вернемся к началу разговора.

Вот уже пять лет, как я живу здесь. Вы меня не знаете, зато я вас знаю прекрасно... Я никогда не смешиваюсь с публикой вашего пляжа или казино. Живу я среди скал и положительно восхищен утесами Этрета. Не знаю ничего более прекрасного, более полезного. Полезного для ума, я хочу сказать. Как прекрасна эта дорога между небом и морем, дорога, поросшая травой, бегущая по гигантской стене, над бездной! Я провел лучшие дни своей жизни, мечтая, растянувшись под лучами солнца на лужайке на высоте ста метров над краем обрыва. Вы меня понимаете?

— Да, сударь, вполне.

— А сейчас позвольте задать вам один вопрос.

— Пожалуйста.

— Вы верите, что другие планеты обитаемы?

Я ответил, не колеблясь и ничем не выказывая своего удивления:

— Ну, конечно, верю.

Моего гостя охватила неистовая радость. Он поднялся, потом снова сел, обуреваемый очевидным желанием обнять меня. Затем воскликнул:

— О! Какая удача! Какое счастье! Наконец-то я могу свободно вздохнуть! Как я только мог усомниться в вас? Разве можно назвать здравомыслящим человека, если он не верит, что существуют обитаемые планеты! Нужно быть круглым дураком, кретином, идиотом, скотиной, чтобы предположить, что мил-

лиарды миров светят и вращаются лишь для того, чтобы развлекать и поражать такое глупое насекомое, как человек; чтобы не понять, что Земля — не больше, чем невидимая песчинка в пыли мироздания; что вся наша система — не более, чем несколько молекул звездной жизни, которым суждено скоро погибнуть! Посмотрите на Млечный путь, эту звездную реку, и подумайте о том, что это только пятнышко в *бесконечном* пространстве. Подумайте об этом хоть десять минут, и вы поймете, почему мы ничего не знаем, ни о чем не догадываемся, ничего не понимаем. Нам известна только ничтожная частица вселенной. Мы ничего не знаем о том, что находится вне нас, вне пределов нашей досягаемости; но мы позволяем себе быть уверенными, утверждать!.. Ха-ха-ха!.. Каково было бы всеобщее удивление, если бы неожиданно раскрылась тайна великой жизни за пределами нашей Земли! Но нет... нет... Я тоже глупец. Ведь мы не разгадали бы эту тайну, ибо наш разум создан лишь для того, чтобы понимать земное. Наша мысль не может простираться далее; она имеет предел, как и наша жизнь; она прикована к этому крохотному шарику, который носит нас; она судит обо всем лишь путем сравнения. Видите, сударь, насколько люди глупы, ограничены и все же уверены в могуществе своего ума, который едва превосходит инстинкт животных. Мы даже не способны замечать свои недостатки. Мы можем только разбираться в ценах на масло или хлеб. В лучшем случае мы сможем сравнивать достоинства двух лошадей, двух пароходов, двух министров или двух художников.

Вот и все. Правда, мы весьма искусно обрабатываем землю и кое-как используем ее недра. Едва научившись создавать машины, способные передвигаться, мы по-детски удивляемся каждому новому открытию, которое нам следовало бы сделать несколько столетий назад, будь мы существами более совершенными. Понадобились тысячи лет сознательной жизни, чтобы догадаться о существовании электричества. Неизвестность до сих пор окружает нас. Вы разделяете мое мнение?

— Да, сударь,— ответил я с улыбкой.

— Что ж, очень хорошо. Теперь, сударь, скажите: интересовались ли вы когда-нибудь Марсом?

— Марсом?

— Да, планетой Марс.

— Нет, сударь.

— Разрешите сказать вам о ней несколько слов.

— Разумеется, сударь, буду очень рад.

— Вам, несомненно, известно, что миры нашей системы, нашей маленькой небесной семьи, созданы путем конденсации в сферы первоначальных кольцеобразных скоплений газов, отрывавшихся одно за другим от солнечной туманности?

— Конечно, сударь.

— Исходя из этого, можно заключить, что планеты, наиболее удаленные от Солнца, наиболее стары и, следовательно, наиболее цивилизованны. Вот последовательность их рождения: Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Земля, Венера, Меркурий. Допускаете ли вы, что эти планеты могут быть обитаемы, подобно Земле?

— Ну, конечно. Зачем же думать, что Земля является исключением?

— Прекрасно. Поскольку житель Марса более древен, чем обитатель Земли... Однако я забегаю вперед. Сначала я хочу доказать вам, что Марс обитаем. Марс для нас более удобен для наблюдения, чем Земля для марсиан. Океаны там занимают меньшую площадь, к тому же они более разбросаны. Их можно узнать по более темной окраске, поскольку вода поглощает свет, в то время как континенты его отражают. Поверхность Марса претерпевает частые изменения, что доказывает активность его жизни. Там тоже существуют времена года. В зависимости от них количество снега на полюсах то увеличивается, то уменьшается — таким же образом, как и у нас. Марсианский год очень долог, он составляет шестьсот восемьдесят семь земных дней или шестьсот шестьдесят семь марсианских. Из них сто девяносто один день приходится на весну, сто восемьдесят один — на лето, сто сорок восемь—на осень и сто сорок семь дней—на зиму. По наблюдениям, облачность на Марсе меньше,

чем у нас. Должно быть, сильная жара чередуется там с чрезвычайным холодом.

— Прошу прощения, сударь,— прервал я его.— Мне кажется, поскольку Марс дальше от Солнца, чем Земля, то там всегда должно быть холодней, чем у нас.

Мой странный посетитель загорячился.

— Ошибаетесь, сударь! Ошибаетесь, решительно ошибаетесь! Ведь летом мы находимся гораздо дальше от Солнца, чем зимой. На вершине Монблана намного холодней, чем у подножия. А впрочем, я отсылаю вас к механической теории тепла Гельмоца и Скиапарелли. Теплота почвы зависит главным образом от количества паров, содержащихся в атмосфере. И вот почему. Абсорбирующая способность молекулы пара в шесть тысяч раз больше абсорбирующей способности сухого воздуха. Следовательно, водяной пар — наше хранилище тепла, потому-то на Марсе, где облачность меньше, чем на Земле, переходы от очень высоких температур к температурам весьма низким гораздо резче, чем у нас.

— Больше я не спорю.

— И хорошо. А теперь прошу вас, сударь, выслушайте меня с особым вниманием.

— Я весь внимание.

— Слышали ли вы о знаменитом открытии, сделанном Скиапарелли в 1884 году?

— Очень мало.

— Возможно ли это? Так знайте, что в 1884 году, когда Марс, будучи в противостоянии, находился всего лишь в двадцати четырех миллионах лье от нас, Скиапарелли, один из крупнейших астрономов нашего столетия и опытнейший наблюдатель, неожиданно открыл на этой планете множество черных линий — прямых и ломаных, которые соединяли моря Марса, перерезая его континенты! Да, да, сударь, это каналы, это прямые каналы строгой геометрической формы, одинаково широкие на всем протяжении, каналы, построенные разумными существами! Да, сударь, вот вам доказательство того, что Марс обитаем, что там умеют видеть, мыслить, трудиться, что на нас смотрят — вы понимаете это? Понимаете? Двадцать шесть

месяцев спустя, во время следующего противостояния, снова были замечены эти каналы. Их стало больше. Да, сударь, больше. И они были огромны, ширина их достигала ста километров.

Я улыбнулся в ответ.

— Шириной в сто километров? Ну и здоровяки, должно быть, рыли их.

— О сударь! Что вы говорите! Вы забываете, что подобную работу на Марсе выполнить гораздо проще, чем на Земле, потому что плотность составных элементов планеты не превышает шестьдесят девятой доли плотности земных элементов. Сила же тяготения на Марсе едва достигает тридцать седьмой доли силы земного притяжения. Килограмм воды там весит всего триста семьдесят граммов!

Он произнес эти цифры с уверенностью и точностью коммерсанта, знающего цену числам, так что я не смог удержаться от смеха и с трудом удержался, чтобы не спросить, сколько весят на Марсе сахар и масло.

Незнакомец покачал головой.

— Вы смеетесь, сударь. Приняв меня за сумасшедшего, вы теперь считаете меня глупцом. Но цифры, которые я вам назвал, вы найдете во всех специальных трудах по астрономии. Диаметр Марса почти наполовину меньше нашего. Его поверхность составляет всего двадцать шесть сотых поверхности Земли; объем его в шесть с половиной раз меньше объема Земли, и скорость двух его спутников доказывает, что он весит в десять раз меньше, чем мы. Следовательно, сударь, поскольку сила тяготения зависит от массы и объема, то есть от веса и расстояния от поверхности планеты до ее центра, то, несомненно, на Марсе существует состояние, приближающееся к невесомости; а это условие совершенно меняет там образ жизни, неизвестным нам способом определяет характер механических действий и служит причиной тому, что на планете преобладают крылатые существа. Да, сударь, на Марсе Царь природы имеет крылья.

Он летает, переносясь с одного континента на другой, словно призрак витает вокруг своей планеты,

однако он не может проникнуть за пределы ее атмосферы.

Итак, сударь, представляете ли вы себе эту планету, с ее растениями, деревьями, животными, виды которых мы не можем и вообразить, планету, где обитают крылатые существа, подобные ангелам? Я вижу их, вижу мысленным взором, как они порхают над равнинами и городами в воздухе, пронизанном золотом Солнца. Прежде считали, что атмосфера Марса имеет красную окраску, подобно тому, как наша имеет голубую. Однако она желтая, сударь, хорошего золотистого оттенка.

Вы, верно, удивляетесь, как эти существа могли выкопать каналы шириной в сто километров? Тогда вспомните, чего достигла у нас наука всего за один век — только за один век... А ведь возможно, что обитатели Марса — существа более совершенные, чем мы.

Неожиданно мой гость замолчал, опустив глаза, затем пробормотал очень тихим голосом:

— А вот теперь вы наверняка примете меня за сумасшедшего... если я вам скажу, что вчера вечером мне почти удалось увидеть... Вы знаете, вернее, вы не знаете, что мы попали в полосу падающих звезд. Ежегодно в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое их можно видеть бесчисленное количество. Вероятно, в настоящий момент мы пересекаем след какой-нибудь сгоревшей кометы.

Так вот, я сидел на Ман-Порт, на этой скале, похожей на ногу шагающего в море колосса, и смотрел, как на мою голову сыплется дождь крошечных миров. Это зрелище, сударь, более забавно и красиво, чем фейерверк. И вдруг я увидел над собой, совсем близко, прозрачный светящийся круглый предмет, окруженный гигантскими движущимися крыльями. По крайней мере, в вечерних сумерках мне показалось, что я видел крылья. Предмет этот со странным и резким шумом метался из стороны в сторону, словно раненая птица. Казалось, кто-то задыхался, погибая. Этот предмет пролетел мимо меня. То был чудовищной величины хрустальный шар, наполненный обезумевшими и еле различимыми существами. Они были

возбуждены, словно экипаж терпящего бедствие корабля, который потерял управление и стал игрушкой бурных волн. Неожиданно, описав огромную кривую, странный шар разбился, упав далеко в море, откуда до меня донесся шум его падения, похожий на пушечный выстрел.

Жители округи тоже слышали этот страшный удар, но приняли его за удар грома. Один только я все видел... да, видел... Если бы шар упал возле меня, мы бы узнали, что представляют собой жители Марса. Не говорите ни слова, сударь. Подумайте, подумайте хорошенько, а потом, если захотите, расскажите об этом людям. Да, я видел... Я видел первый воздушный корабль, первый звездный корабль, выпущенный в бесконечность мыслящими существами, если только я не был свидетелем гибели обыкновенного метеора, пойманного Землей. Не забывайте, сударь, что каждая планета преследует блуждающие в пространстве светила, подобно тому, как мы у себя ловим бродяг. Легкая и слабая Земля может остановить на пути лишь маленьких прохожих необъятной вселенной.

Мой странный гость поднялся, в волнении, почти в бреду, и широко раскинул руки, словно очерчивая путь звезд.

— Кометы, сударь, которые бродят возле границ гигантской туманности, чьей конденсацией является наша Земля,— эти кометы, свободные, светлые птицы, из глубин бесконечности стремятся к Солнцу.

Таща за собой гигантский хвост света, они летят, они несутся, влекомые к ослепительной планете, настолько убыстряя свой безумный бег, что не могут соединиться с ней. Едва ее задев, они устремляются назад, в пространство, отброшенные силой столкновения.

Если же во время своих путешествий они проносятся вблизи какой-нибудь крупной планеты, если они почувствуют, отклоняясь от своего пути, ее непреодолимое притяжение, то тогда они подчиняются своему новому повелителю, который с этой поры держит их в плену. Их бесконечная парабола превращается в

замкнутую кривую. Зная величину этой кривой, мы можем рассчитать момент возвращения периодических комет. У Юпитера,—восемь планет-рабов, у Сатурна — одна, Нептун тоже имеет в своей орбите планету, которая, в свою очередь, обладает спутником и целой армией блуждающих звезд. Итак... Итак... возможно, я просто видел, как Земля поймала маленькую блуждающую звезду...

Прощайте, сударь. Не отвечайте мне, не нужно! Но подумайте, подумайте и расскажите когда-нибудь обо всем этом людям, если вам будет угодно...

Я так и сделал, ибо этот чудак показался мне менее глупым, чем какой-нибудь рантье.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

В настоящий том включены посмертно опубликованные прозаические произведения Мопассана: сборники новелл «Дядюшка Милон», «Разносчик», «Мисти», не изданная при жизни Мопассана ранняя повесть «Доктор Ираклий Глосс», отрывки из двух незаконченных романов: «Чужеземная душа» и «Анжелюс» и в приложении — ряд новелл разных лет, не составивших специального сборника.

После смерти Мопассана право на издание сочинений писателя, согласно воле покойного и желанию его матери, было закреплено за Оллендорфом. Готовясь приступить к изданию первого полного иллюстрированного собрания сочинений Мопассана, Оллендорф опубликовал в 1899 году два посмертных сборника новелл: «Дядюшка Милон» и «Разносчик» (по другим данным, этот второй сборник вышел в феврале 1900 года). Затем, после появления в 1908—1910 годах более полного издания Конара, Оллендорф дополнил в 1912 году свое издание третьим посмертным сборником новелл «Мисти» (в конаровском издании новеллы этого тома не были собраны в один сборник). Заглавия посмертных сборников и порядок расположения в них новелл даны Оллендорфом.

Три этих сборника по своему составу во многих отношениях весьма пестры. Здесь и те новеллы, которые Мопассан не успел включить в очередной сборник, и те, которые он по разным причинам не собирался переиздавать, и те, наконец, которые были найдены в его бумагах еще не вполне готовыми к печати.

Сюжеты, впоследствии более искусно переданные в других новеллах и романах, неоправданная рискованность и недостаточно глубокая разработка некоторых тем и, в общем, более или менее ощутимая печать незавершенности — вот что характерно для произведений, вошедших в эти сборники, хотя в них есть немало замечательных страниц.

Сборники разнятся и между собою. Получив от Лоры де Мопассан согласие на их издание, Оллендорф для первого сборника, «Дядюшка Милон», отобрал на скорую руку забытые новеллы Мопассана, напечатанные в прессе в 1881—1883 годах; второй сборник он составлял уже с большим разбором, включая в него

более законченные и сильные вещи из опубликованного в печати за 1880—1887 годы; третий сборник был составлен из найденных впоследствии произведений Мопассана — из ранних его рассказов 70-х годов, из новелл, по типу своему приближающихся к очерку, и из ряда произведений эскизных, недоработанных,— хотя в сборнике встречается и полная волнующего трагизма «Усыпительница».

Посмертные сборники — свидетельство высокой художественной требовательности Мопассана. Почти все произведения, напечатанные в них, при жизни он не хотел переиздавать, желая предать забвению.

Совершенно ясно, что Мопассан не собирался переиздавать свои первые рассказы («Коко, коко, холодный коко!», «Кропильщик», «Рука трупа» и «Женитьба лейтенанта Ларе»), считая их слабыми; вдобавок две последние новеллы были им затем переработаны. По этой же причине не хотел он переиздавать и такие вещи, как «Миллион», «Ивелина Саморис».

Считал он ненужным повторно печатать и те новеллы, которые были этюдами к «Жизни» и к другим романам. Это новеллы: «Старые вещи», «В весенний вечер», «Прыжок пастуха», «Мститель», «Тик», «Мои двадцать пять дней», «Сумасшедший?», «Кончено!»; так же обстояло с новеллой «Грезы», близкой к одному эпизоду из книги «На воде».

Мопассан, вероятно, воздерживался и от переиздания ряда новелл, более или менее повторявших те проблемы, настроения или сюжетные ситуации, которые уже не раз им разрабатывались; таковы были «Ужас» и «Страх», в которых он снова касался одной из постоянных своих тем, новелла «Слепой», где он опять говорил о жестокости крестьян, «Ночное бдение», со столь характерной для Мопассана темой тягостных открытий, такие лирические новеллы-causerie, как «Переписка» и «Ласки».

Многие новеллы Мопассан, видимо, забраковал из-за анекдотичности их содержания. Таковы, надо полагать, «У смертного одра», «Каверза», «Ожидание», «Корсиканский бандит», «Плутня», «Простая драма», «Госпожа Эрме». Основной недостаток этих вещей — преобладание внешнего действия при слабой обрисовке характеров. Между тем одна из замечательных особенностей таланта Мопассана — его способность создавать живые и развивающиеся характеры.

Всего шире мопассановское новеллистическое творчество развернулось в 1882—1885 годах, зато новеллы последующих лет, сократившись в количестве, были в большинстве случаев гораздо более отделаны и больше отвечали строгим требованиям Мопассана. Вот почему можно полагать, что если бы писатель рассчитывал издать новый сборник новелл, то он ввел бы туда и «Латынь», и «Фермера», и «Крик тревоги», и «Новогодний подарок», и «Усыпительницу», а возможно, добавил бы и такие вещи 1883—1885 годов, как «Оранжерея», «Дуэль», «Новоселье», «Первый снег» и «Письмо, найденное на утопленнике».

О появлении в прессе при жизни писателя новелл «Разносчик» и «Последствия» нет никаких сведений (возможно, они-то и были найдены в его бумагах).

Повесть «Доктор Ираклий Глосс», опубликованная только в

1921 году, по-видимому, является одним из самых ранних прозаических опытов Мопассана. Писатель работал над нею в 1875 году. В письме к матери от 6 октября этого года Мопассан сообщал (упоминая об одном эпизоде из XXII главы): «Я решительно не знаю, как справиться с главой о служанке и обезьяне в «Ираклии», и это причиняет мне массу затруднений».

Повесть была закончена около 1877 года, но Мопассан не печатал ее, будучи неудовлетворен ею. Действительно, это еще первая проба сил, произведение ученическое и несамостоятельное, в котором французская критика отмечает вольтеровское влияние. В творчестве Мопассана повесть эта стоит совершенно особняком. Она необычна для него по своей форме и технике.

В «Докторе Ираклии Глоссе» преобладает многословная описательность, рассказ о действии, вместо его показа, частые авторские комментарии, наконец, почти полностью отсутствует диалог; прямая речь персонажей тоже редка и не слишком выразительна. Вдумавшись в эти особенности повести, можно понять, какую громадную внутреннюю работу пришлось проделать Мопассану, чтобы прийти к подлинно реалистическому мастерству.

Два отрывка из незаконченных романов «Чужеземная душа» и «Анжелюс» относятся к числу последних, незавершенных работ писателя.

В июльских записях 1890 года Тассар отмечает, что Мопассан собирает материал для «Чужеземной души», а в записи от 5 августа приводит слова писателя о том, что он «начал писать «Чужеземную душу» и, вероятно, это будет хороший роман, хотя, пожалуй, и немного сенсационный» (Souvenirs sur Guy de Maupassant par François, P. 1911, pp. 230—232, 248).

Действие романа должно было целиком или в значительной степени происходить на курорте Экс-ле-Бен. Об этом сообщает тот же Тассар:

«Мы много раз поднимались на Ревар. Мой господин долго и с большим вниманием осматривал все горы и пейзажи вокруг Экс-ле-Бен. Как-то раз мы остались на вершине горы до наступления ночи. Наблюдая открывавшуюся перед нами обширную панораму, г-н де Мопассан хотел изучить малейшие ее детали в момент красивого заката. Он доволен и находит, что картина чудесная: солнце исчезло в долине, справа, но его лучи еще освещают озеро, воды которого горят великолепным пожаром, хотя вершины гор уже погрузились во мрак. Это означало, что наступала ночь. Спускаясь с горы, господин сказал мне: «Вы хорошо это видели! Ну так все это вы найдете в новом моем романе. Экс и его окрестности дадут мне превосходную рамку для действий моих персонажей» (Souvenirs... par François, pp 233—234).

В своем новом романе Мопассан вновь намеревался дать критику светского общества, его космополитических и растакуэрских кругов. Курорт Экс-ле-Бен с его казино, где так тесно переплетались игра, деньги, любовь, давал писателю для этого богатый материал. Для работы над образом румынской графини Мосска Мопассан собирался принять приглашение румынской королевы, писательницы Кармен Сильва, и посетить Румынию (A. Lumbroso, p. 335).

В одной из недатированных записей 1891 года, относящихся к марту или апрелю, когда Мопассан плавал на своей яхте по Средиземному морю, Тассар сообщает, что работа над начатым романом прервалась, и притом окончательно, и что с этого момента Мопассан «работает только над одним произведением, над «Анжелюсом» (Souvenirs... par François, p. 265).

Почему же Мопассан прервал работу над «Чужеземной душой»? Конечно, он чувствовал себя больным, тяжело больным. В одном из писем 1891 года к матери он передает слова, сказанные ему одним врачом: «Вы ведете трудовую жизнь, которая убила бы десяток обыкновенных людей... Вы опубликовали 27 томов за десять лет, и этот безумный труд пожрал ваше тело. В данный момент тело мстит, парализуя вашу мозговую деятельность. Вам нужен очень длительный и полный отдых... Я очень хотел бы видеть вас в *полной изоляции, в очень здоровой местности,* где бы вы ни о чем не думали, ничего бы не делали и, главное, не принимали никаких лекарств».

Сильное ухудшение здоровья Мопассана,— конечно, очень важный фактор. Но оно не заставило его прервать работу над «Анжелюсом». Следовательно, дело было в том, что тема «Чужеземной души», как и других романов о светском обществе («Сильна как смерть», «Наше сердце»), стала казаться писателю слишком мелкой. Разоблачать по-прежнему ничтожество, пустоту и паразитарное существование светских людей, разоблачать их мелкие страстишки, их чванство и лицемерие — нет, это уже не удовлетворяло Мопассана в ту пору, когда он начал предчувствовать свой близкий конец.

Отложив «Чужеземную душу», Мопассан взялся за «Анжелюс», которому он придавал особое значение, усматривая в нем некий итог своего писательского пути.

В «Анжелюсе» соединился ряд тем, которые всегда особенно глубоко волновали Мопассана: франко-прусская война, насилия прусских захватчиков, горе одиноких, обездоленных людей, незаслуженные мучения жертв болезни, трагическая гибель иллюзий, богоборческие мотивы. Роман кончается проклятием богу, равнодушному к страданиям и гибели людей. Впервые Мопассан поставил своего страдающего человека в позицию бунтаря, мятежника, словно этой субъективно-высокой нотой он и хотел закончить свое творчество.

Любопытна запись Тассара от 29 июня 1891 года. В этот день Мопассан был в Авиньоне, где осмотрел старинную церковь; внимание писателя, в частности, привлекла статуя одной святой.

«Вечером он объявил мне,— пишет Тассар,— что мы теперь можем ехать в Ним, и добавил: «Забавно будет, когда позднее г-н Дюма спросит меня, где я видел лицо моей героини, а я отвечу: «В раке авиньонской Notre-Dame des Doms». По правде говоря, я не нашел в этом лице всего того, что мне необходимо для моего женского типа. Тем не менее выражение этого лица — тот неотделанный алмаз, который смогу шлифовать; я схватил в нем такие художественные детали, которые пригодятся для рельефного воспроизведения моего сюжета; последний же я надеюсь

выполнить захватывающим образом, близким к совершенству. Я попытаюсь вложить в «Анжелюс» всю силу экспрессии, на какую только способен, и все детали отделаю с особой тщательностью, но, впрочем, так, чтобы не утомлять читателя. Я чувствую себя в отличном настроении для работы над этой книгой, материалом которой так хорошо овладел и которую обдумал с удивительной легкостью. Это будет венец моей карьеры, и я убежден, что достоинства романа приведут в такой энтузиазм читателя-художника, что он спросит себя: роман ли перед ним или сама действительность?»

В июле или в начале августа 1891 года Мопассан продолжал работать над новым романом, как явствует из одной беглой записи Тассара. В последний же раз Тассар упоминает об этой работе в записи от 2 ноября 1891 года: «Ги де Мопассан между прочим снова принялся за «Анжелюс» и работает над ним медленно, но настойчиво» (Souvenirs... par François, pp. 270—271, 278, 288). Запись грустная, щадящая больного писателя, который работать уже не мог.

Поэт Огюст Доршен рассказывает, что еще в августе 1891 года он встретился на курорте Шампель-ле-Бен с Мопассаном, приехавшим туда в сопровождении своего друга, доктора Казалиса.

«Мопассан держал под мышкой портфель, полный бумаг,— пишет Доршен,— он открыл его и показал мне листы.

— Вот первые пятьдесят страниц моего романа «Анжелюс». В течение целого года я не мог написать больше ни строчки. Если через три месяца книга не будет написана, я покончу с собой.

Это были его первые слова».

Доршен пишет дальше, что Мопассан рассказал ему содержание романа.

«Оканчивая свой рассказ, длившийся два часа, Мопассан плакал, и мы тоже плакали, видя, сколько еще оставалось таланта, нежности и жалости в этой душе, которая никогда уже больше не сможет выразить того, что она хотела бы передать другим» (Auguste Dorchain. Quelques Normands. «Annales politiques et littéraires», 3 juin 1900).

Нет смысла приводить полностью сообщение Доршена, потому что он весьма произвольно передал замысел «Анжелюса», а о некоторых существенных сторонах романа просто умолчал. Так, он не захотел упомянуть о богоборческой теме.

Более точна в своих высказываниях о романе г-жа Леконт дю Нуи, близкий друг Мопассана.

«Мопассан рассказывал мне план романа со всеми подробностями и даже читал главы, которых потом не нашли.

...Г-жа де Бремонталь (избитая и изгнанная из своего дома пруссаками.— *Ю. Д.)*, спасаясь бегством, падает. Несчастной удается из последних сил дотащиться до стойла, и она, задыхаясь, вытягивается на соломе. Падение способствует ускорению родов. Этой же ночью она дает жизнь сыну, который, подобно Христу, родится в яслях. Бедный ребенок появляется на свет живым, но он — жертва страданий, испытанных матерью во вре-

мя беременности и последнего потрясения, которое она только что испытала: его ноги атрофированы.

Наступает конец войны. В последнем сражении убит г-н де Бремонталь. Молодая вдова считает, что жизнь ее кончена, и приходит к мужественному решению: она посвятит себя воспитанию своих двух сыновей.

Старший вырастает храбрым и сильным. Он меньше нуждается в материнских заботах, чем маленький калека. Поэтому Анри (старшего.— *Ю. Д.*) помещают в коллеж, чтобы изолировать его от печальной домашней атмосферы.

Младший, Андре, подрастает, но он не способен стоять на ногах. Однако если ноги бедняжки остаются парализованными, то ум его развивается. Мать приставила к нему учителями аббата Марво и сына доктора Патюреля (тоже врача.— *Ю. Д.*). Характеры двух этих людей были обрисованы очень интересно. Аббат представлял собою возвышеннейший спиритуализм, а доктор, сторонник новых идей, был склонен, в противоположность ему, скорее отрицать, чем утверждать, но при всем том был милосерден и добр, не в пример иному святоше. Настойчиво, но бесплодно пытался доктор Патюрель исцелить юного Бремонталя, но был вынужден убедиться, что человеческая наука бессильна перед лицом неотвратимых жестокостей природы; не имея возможности превратить Андре в здорового и крепкого мальчика, он поставил себе задачей воспитать в нем философский ум, который помог бы ему понимать и переносить жизнь.

Однажды аббат и доктор сошлись в парке г-жи де Бремонталь возле кресла, в котором лежал пятнадцатилетний калека. Постепенно завязался спор. Оба собеседника не обращали внимания на ребенка и незаметно перешли от самых личных тем к самым общим идеям (здесь г-жа Леконт дю Нуи приводит второй из дополнительных фрагментов романа, где врач говорит о «Деле господа бога», а священник — о Христе.— *Ю. Д.*).

Прошло несколько лет. Обучение Андре было закончено, и доктор Патюрель послал г-жу де Бремонталь с ее сыновьями на воды в Экс в надежде, что такое лечение принесет хорошие результаты: доктор слишком любил своего больного, чтобы не надеяться на это.

Путешествие состоялось. Анри и Андре остановились в гостинице вместе с матерью. Анри, искусный спортсмен, познакомился по приезде с группой юношей и девушек и вместе с ними участвовал в экскурсиях, а главное, играл в лаун-теннис, отдавая этому все время.

Из окна своей комнаты брат смотрел на него. Андре не чувствовал себя счастливым: жизнь, которую вели на водах, ему не нравилась, а разговоры, которые он слышал, утомляли его своей бессодержательностью. Гораздо выше ценил он своих друзей из Руана (аббата Марво и доктора Патюреля.— *Ю. Д.*) и с сожалением вспоминал об их беседах, осмысленных и ободряющих.

Печаль больного возрастает со дня на день. Мать обеспокоена.

Как-то Анри предлагает брату присутствовать на игре, но Андре отказывается под тем предлогом, что ему там не место.

Тогда г-жа де Бремонталь и ее старший сын составляют заговор, и то, чего они не могут добиться от Андре, удается одной молодой девушке.

Она находит такие доводы, на которые ему нечего возразить, а за разговором, не оставляя ему времени вернуться к своему решению, везет кресло калеки к теннису, где и представляет его своим друзьям. Она помогает несчастному выказать в лучшем свете свой ум; интеллектуальное превосходство Андре производит впечатление на всех. Он чувствует вдруг, что как бы возрождается к жизни, и его матери приходит мысль: «Это воскресение!»

Вечер. Стоит жара, благоухают цветы. Андре беседует на террасе гостиницы с молодой девушкой. Он жалуется на свой печальный жребий, на скорбь, овладевающую им при мысли, что никогда, никогда и никто его не полюбит.

Его подруга протестует, и он слушает ее, как в экстазе. Схватив руку девушки, он покрывает ее пламенными поцелуями; удивленная этой внезапной вспышкой, она не отнимает руки,— она боится огорчить бедного больного да и так далека от мысли, что он ее любит!

Но Андре уже считает себя любимым. Когда на следующий день мать входит в его комнату, она изумлена: он чувствует себя лучше, у него сияющий вид; таким она еще никогда его не видела. Впервые после столь многих лет г-жа де Бремонталь почти счастлива Несколько дней назад обручился Анри, и она еще не решалась сказать об этом своему несчастному ребенку; теперь она почувствовала себя смелее.

— На ком же он женится? — весело спросил Андре.

— На мадмуазель Х...

Это была та девушка, которую полюбил Андре, та, которая, как он думал, любит его!

Он лишается сознания. Как только он приходит в себя, он хочет уехать, уехать тотчас же, не видя никого.

Возвратившись в Руан, бедный калека не выдерживает больше. Он разражается рыданиями и упрекает мать не только за то, что она дала ему жизнь, но и за то, что заботилась о развитии его ума. Он, родившийся при первых колокольных звуках анжелюса вечернего, умирает при первом звоне утреннего анжелюса.

И мать, бывшая до этого момента страстной католичкой, в порыве возвышенного безумия, перед лицом спокойной красоты и равнодушия природы, проклинает бога и осыпает его оскорблениями» (En regardant passer la vie..., par l'auteur d'«Amitié amoureuse» et Henri Amic. P. 1903, pp. 50—61).

Таков был этот замысел. Любимые герои Мопассана были в этом романе горькими жертвами прусских захватчиков, на всю жизнь искалеченными ими физически или духовно. Против его страдающих героев обращена и жестокость природы, не дающей исцеления бедному калеке Андре, не позволяющей значительной части человечества, обреченной болезням, вернуть себе здоровье. За что же все эти незаслуженные страдания? И должен же кто-то отвечать за них! Кто же? Бог! Вторым Христом родится Андре в яслях, но он не приносит в мир ничего,

кроме своего страдания, отверженности и глубокой скорби. Неясно, проводил ли Мопассан какую-нибудь параллель между Андре и героем евангельских легенд (диалог аббата Марво с доктором Патюрелем и третий дополнительный фрагмент говорят о наличии в романе какого-то религиозного или антирелигиозного мотива), но все это должно было только подготовлять финал с тезисом о жестокости бога, о судебном «Деле господа бога». Этот финал не был неожиданным: богоборческие мотивы уже встречались у Мопассана: в «Муароне» (т. III), в «Бесполезной красоте» (т. IX) и др.

ПРИМЕЧАНИЯ

ДЯДЮШКА МИЛОН

Дядюшка Милон

Новелла была впервые напечатана в «Голуа» 22 мая 1883 года.

Стр. 6. *Генерал Федерб* (1818—1889) — французский генерал, прославился двумя победами над пруссаками в кампании 1870—1871 годов.

В весенний вечер

Напечатано в «Голуа» 7 мая 1881 года. Новелла представляет собою один из этюдов к «Жизни» (гл. IV).

Стр. 13. *Родившись в дни, когда во Франции царил Беранже, она носила имя Лизы.*— Своей музе Беранже дал имя Лизы (Лизетты).

Слепой

Напечатано в «Голуа» 31 марта 1882 года.

Торт

Напечатано в «Жиль Блас» 19 января 1882 года.

Прыжок пастуха

Напечатано в «Жиль Блас» 9 марта 1882 года под псевдонимом Мофриньёз. Один из этюдов к «Жизни» (гл. X).

Старые вещи

Напечатано в «Жиль Блас» 29 марта 1882 года. Новелла входит в круг «Жизни» (гл. XII).

Стр. 31. *Сен-Бёв* (1804—1869) — французский поэт романтической школы, впоследствии известный критик.

Магнетизм

Напечатано в «Жиль Блас» 5 апреля 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 35. *Доктор Шарко* (1825—1893) — известный французский ученый, работы которого в области изучения нервных болезней приобрели большую популярность.

Корсиканский бандит

Напечатано в «Жиль Блас» 25 мая 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 41. *Вендетта* — распространенный на Корсике старинный обычай кровной мести.

Стр. 43. *Маки́* — непроходимые заросли кустарника, в которых находили себе убежище корсиканские бандиты; в годы Сопротивления (1940—1944) слово «маки» стало обозначать французских партизан, боровшихся против гитлеровских оккупантов.

Ночное бдение

Напечатано в «Жиль Блас» 7 июня 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Грезы

Напечатано в «Голуа» 8 июня 1882 года. По теме новелла близка к записи от 10 апреля в «На воде» (т. VII).

Стр. 50. *Бодлера я читал.*— Намек на книгу Бодлера «Искусственный рай», где рассказывается об употреблении гашиша и опиума.

Исповедь женщины

Новелла эта, озаглавленная «L'Affût» («Шалаш»), была напечатана в «Жиль Блас» 28 июня 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 53. *Ужасная месть этого отвратительного аптекаря из Пека.*— Намек на одно из событий французской уголовной хроники 1882 года.

Лунный свет

Напечатано в «Голуа» 1 июля 1882 года.

Страсть

Напечатано в «Жиль Блас» 22 августа 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Переписка

Напечатано в «Жиль Блас» 30 августа 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 75. *Восхитительный Коклен.*— В 80-х годах на французской сцене выступали два талантливых актера, братья Коклены, Старший (1841—1909) и Младший (1848—1909). Неясно, кто из них имеется в виду

Жан-Поль Лоранс (1838—1921) — французский художник, писавший на исторические темы; некоторые полотна Лоранса воспроизводят сцены ужасов инквизиции.

Сюлли-Прюдом (1839—1907) — французский поэт парнасской школы.

Стр. 78. *Ле Пуатвен* (1806—1870) — дядя Мопассана, художник-маринист.

Плутня

Напечатано в «Жиль Блас» 12 декабря 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Ивелина Саморис

Напечатано в «Голуа» 20 декабря 1882 года. Новелла представляет собою первый набросок будущей «Иветты».

Приятель Жозеф

Напечатано в «Голуа» 3 июня 1883 года.

Стр. 95. *«Вольтер», «Репюблик франсэз», «Жюстис», «Энтрансижан»* — газеты республиканского направления, чересчур левые в глазах четы Меруль.

Рошфор (1830—1913) — французский публицист, ожесточенный враг Второй империи, падению которой содействовал его памфлет «Фонарь»; в 80-х годах Рошфор был руководителем независимой республиканской газеты «Энтрансижан», бичевавшей оппортунистов и реакцию; позднее стал отъявленным националистом и реакционером.

«Голуа», «Клерон» — газеты консервативно-аристократического лагеря.

Сирота

Напечатано в «Голуа» 15 июня 1883 года.

РАЗНОСЧИК

Разносчик

Была ли эта новелла при жизни Мопассана напечатана в прессе, остается неизвестным.

У смертного одра

Напечатано в «Жиль Блас» 30 января 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 115. *Мюссе* (1810—1857) — французский поэт-романтик Альфред де Мюссе

«Ролла» — поэма Альфреда де Мюссе.

Стр. 116. *Шопенгауэр* (1788—1860) — немецкий реакционный философ.

Ты счастлив ли, Вольтер? Язвительной улыбкой... — Двустишие Альфреда де Мюссе (из «Роллы») направлено против Вольтера (1694—1778). Враждебное отношение Мюссе к Вольтеру

определялось разочарованием европейской буржуазной интеллигенции начала XIX столетия в деятельности просветителей и в результатах французской революции XVIII века

Оранжерея

Напечатано в «Жиль Блас» 26 июня 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Дуэль

Напечатано в «Голуа» 14 августа 1883 года.

Стр. 126. *Война кончилась.*— Речь идет о франко-прусской войне 1870—1871 годов: перемирие было подписано 28 января 1871 года

Стр. 128. *Бисмарк* (1815—1898) — прусский фельдмаршал и государственный деятель.

Новоселье

Напечатано в «Голуа» 21 сентября 1883 года.

Стр. 132. *Саис* — опера Маргариты Оланье, поставленная в 1881 году; сюжет — из арабской жизни.

Стр. 133. *Генрих VIII* — опера французского композитора Сен-Санса (1835—1921), написанная в 1883 году.

Дохлая Крыса.— В 1870—1880 годах в Париже появилось множество кабачков с необычными дотоле названиями — «Черный Кот», «Кабаре Каторги» и т. д., являвшихся местом встреч парижской богемы.

Стр. 134. *Салон* — ежегодная выставка картин в Париже.

Генрих III (1551—1589) — французский король.

Бонна (1833—1922) — французский художник-портретист.

Гийеме (1842—1918) — французский художник, один из друзей Мопассана.

Жервекс (1852—1929) — французский художник.

Беро (1849—1935) — французский художник, один из друзей Мопассана, посвятившего ему новеллу «Шали» (т. III).

Эбер (1817—1908) — французский художник, портретист и автор исторических полотен.

Дюез (1843—1896) — французский художник.

Как только наступает срок квартирной платы.— Квартирная плата взималась во Франции поквартально, и художник каждые три месяца сбегал с квартиры.

Стр. 140. *Батист* — здесь в смысле: лакей.

Мститель

Напечатано в «Жиль Блас» 6 ноября 1883 года под псевдонимом Мофриньёз. По своей теме новелла напоминает конец II главы второй части «Милого друга».

Ожидание

Напечатано в «Голуа» 11 ноября 1883 года.

Советы бабушки

Напечатано в «Голуа» 13 сентября 1880 года. Новелла, вероятно, входила в круг первоначального замысла «Жизни».

Стр. 154. *Амуры минувшего века.*— Речь идет о восемнадцатом веке.

Стр. 156. *Великий галантный век.*— Подразумевается восемнадцатый век.

Стр. 157. *Революция.*— Имеется в виду французская буржуазная революция XVIII века

Стали писать стихи, где проповедуют, будто от любви умирают...— намек на поэзию романтической школы XIX века.

Первый снег

Напечатано в «Голуа» 11 декабря 1883 года.

Каверза

Напечатано в «Жиль Блас» 18 декабря 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Письмо, найденное на утопленнике

Напечатано в «Жиль Блас» 8 января 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 177. *Луи Буйле* (1822—1869) — французский поэт парнасской школы, первый литературный руководитель Мопассана.

Ужас

Напечатано в «Голуа» 18 мая 1884 года.

Тик

Напечатано в «Голуа» 14 июля 1884 года. Новелла, возможно, входит в круг «Монт-Ориоля».

Стр. 188. *Эдгар По* (1809—1849) — американский писатель-романтик. Имеются в виду герои его фантастических рассказов.

Кончено!

Напечатано в «Голуа» 25 июля 1885 года. Новелла представляет собою первый набросок темы, которую Мопассан развернул в романе «Сильна как смерть».

Мои двадцать пять дней

Напечатано в «Жиль Блас» 25 августа 1885 года. Подобно «Тику», новелла, возможно, входит в круг «Монт-Ориоля».

Стр. 204. *Вергилиевский уголок.*— В «Буколиках», собрании эклог древнеримского поэта Вергилия (70—19 до н. э.), воспевалась природа, благостная покровительница человеческой любви.

Латынь

Напечатано в «Голуа» 2 сентября 1886 года.

Стр. 209. *Солецизм* — синтаксическая ошибка.

Фермер

Напечатано в «Голуа» 11 октября 1886 года.

Стр. 223. *Апатия, что ли.*— Речь идет о гепатите, болезни печени.

Крик тревоги

Напечатано в «Жиль Блас» 23 ноября 1886 года.

Новогодний подарок

Напечатано в «Жиль Блас» 7 января 1887 года.

Последствия

Указаний о первоначальном появлении этой новеллы в прессе не имеется.

МИСТИ

Мисти

Напечатано в «Жиль Блас» 22 января 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Простая драма

Напечатано в «Жиль Блас» 2 октября 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Господин Иокаста

Напечатано в «Жиль Блас» 23 января 1883 года под псевдонимом Мофриньёз. Иокаста — одна из героинь древнегреческих сказаний, мать Эдипа, который по воле рока женился на ней, не зная, что она его мать.

Госпожа Эрме

Напечатано в «Жиль Блас» 18 января 1887 года.

Белое и синее

Напечатано в «Жиль Блас» 3 февраля 1885 года под псевдонимом Мофриньёз.

Усыпительница

Напечатано в «Эко де Пари» 16 сентября 1889 года.

Стр. 285. *Генерал Буланже* (1837—1891) — претендент на пост военного диктатора Франции. Подробнее о нем — в примечаниях к роману «Сильна как смерть» (т. VIII, стр. 498).

Сара Бернар (1844—1923) — знаменитая французская драматическая актриса.

Жюдик (1850—1911) — известная французская опереточная актриса.

Гранье (родилась в 1852 году) — известная французская комедийная и опереточная актриса.

Муне-Сюлли Жан (1841—1916) —известный французский драматический артист.

Дюма.— Имеется в виду французский драматург Александр Дюма-сын (1824—1895).

Мельяк (1831—1897) — французский драматург.

Галеви (1834—1908) — французский романист и драматург.

Сарду (1831—1908) — французский драматург.

Бек (1837—1899) — французский драматург.

Французская Комедия — лучший из парижских драматических театров.

Женитьба лейтенанта Ларе

Напечатано впервые в еженедельном журнале «Мозаика» 25 мая 1878 года. Это первый вариант темы, развернутой затем Мопассаном в новелле. «Взгляды полковника» (т. IV).

Неизданная страница истории

Напечатано в «Голуа» 27 октября 1880 года в связи с путешествием Мопассана по Корсике в сентябре — октябре 1880 года.

Стр. 295. *Фраза Паскаля о песчинке, которая изменила судьбы вселенной, положив конец успехам Кромвеля.*— По словам французского философа Паскаля (1623—1662), причиной смерти Кромвеля была песчинка в его мочевом пузыре.

Стр. 296. *Смерть Людовика XVI.*— Французский король Людовик XVI был казнен 21 января 1793 года.

Генерал Паоли (1725—1807) — корсиканец, в пору французской революции XVIII века был сепаратистом, стоявшим за отделение Корсики от Франции; умер в изгнании в Англии, оказывавшей ему активную поддержку в его борьбе против французской революции.

Стр. 302. *...была провозглашена независимость Корсики; дом Бонапарта сожгли.*— Рассказываемый Мопассаном эпизод из жизни Наполеона относится к июню 1793 года.

Рука трупа

Первая из напечатанных новелл Мопассана, опубликованная им в 1875 году в «Альманахе Понт-а-Муссон» под псевдонимом Жозеф Прюнье. Тему этой новеллы Мопассан затем переработал в новелле «Рука» (т. IV).

Стр. 303. *Из Мабиля!* — из парижского увеселительного заведения.

Стр. 304. *...как у компаньона святого Антония.*— Спутником святого Антония была свинья.

Стр. 305. *Трапписты* — монашеский орден.

«Коко, коко, холодный коко!»

Опубликовано 14 сентября 1878 года в журнале «Мозаика». *Коко* — популярный в то время во Франции напиток: настойка лакрицы с лимоном.

Моя жена

Напечатано в «Жиль Блас» 5 декабря 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Александр

Напечатано в «Эко де Пари» 2 сентября 1889 года.

Старик Иуда

Напечатано в «Голуа» 28 февраля 1883 года.

Стр. 327. *Вечный Жид, сударь.*— Старый крестьянин путает Иуду, предавшего Христа, с другим его легендарным современником, одним еврейским ремесленником, получившим прозвище Вечного Жида.

Миллион

Напечатано в «Жиль Блас» 2 ноября 1882 года под псевдонимом Мофриньёз. Впоследствии Мопассан переработал эту тему в повести «Наследство» (т. III).

Страх

Напечатано в «Фигаро» 25 июля 1884 года. Мопассан мимоходом возвращается здесь к воспоминанию об И. С. Тургеневе, памяти которого он ранее посвятил очерк «Изобретатель слова нигилизм» («Голуа» 20 ноября 1880 года), некролог «Иван Тургенев» («Голуа» 5 сентября 1883 года) и очерк «Фантастическое» («Голуа» 7 октября 1883 года) (т. XI).

Стр. 339. *Эдгар По или Гофман.*— Речь идет о писателях, работавших в фантастическом жанре, американце Эдгаре По и немце Эристе-Теодоре-Амадее Гофмане (1776—1822).

Овидиевское речное божество.— Имеется в виду, вероятно, Ахелой, речной бог, упоминаемый в сборнике поэм древнеримского поэта Овидия «Метаморфозы» (кн. VIII, стихи 546—611).

Стр. 341. *...огромных камней, священных* (ниже: *друидические камни*).— Имеются в виду менгиры и долмены, культовые камни древних кельтов.

Ласки

Напечатано в «Жиль Блас» 14 августа 1883 года.

Стр. 345. *Чудесен этот миг или ужасен он?..*— Приведенное четверостишие французского поэта-романтика Альфреда де Мюссе взято из его драматической поэмы «Уста и чаша».

Некий философ.— Имеется в виду Шопенгауэр.

Стр. 347. *Жозеф Прюдом* — комический тип буржуа, олицетворение удовлетворенного ничтожества и чиновной пошлости, созданный французским драматургом и карикатуристом Анри Монье (1799—1877).

Сумасшедший?

Напечатано в «Фигаро» 1 сентября 1884 года. По настроению новелла близка к повести «Орля».

Могила

Напечатано в «Жиль Блас» 29 июля 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Кропильщик

Напечатано в сентябре 1877 года в журнале «Мозаика» под псевдонимом Ги де Вальмон.

ДОКТОР ИРАКЛИЙ ГЛОСС

Повесть впервые опубликована в журнале «Ревю де Пари» 15 ноября 1921 года.

Стр. 372. *Эпикур* (IV—III вв. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист.

Стр. 375. *Пифагор* (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ.

Стр. 379. *При раскопках в Помпее.*— Раскопки в Помпее начались в XVIII веке.

Стр. 380. *Полина* — персонаж трагедии французского писателя Корнеля (1606—1684). «Полиевкт» (1643).

Стр. 382. *Геродот* (ок. 484 — ок. 425 до н. э.) —знаменитый древнегреческий историк.

Стр. 401. *Навуходоносор* (604—562 или 561 до н. э.).— Речь идет о вавилонском царе Навуходоносоре Великом, знаменитом полководце древности, завоевателе Иерусалима. По древнееврейской легенде, бог наказал Навуходоносора, наслав на него безумие, и царь прожил семь лет среди животных, считая себя быком, после чего снова вернулся на трон

Стр. 403. *Глупей из двух не тот, кого глупей считают* — немного измененный стих Лафонтена из басни «Мельник, его сын и осел».

Как тот дельфин, который, вытащив из воды обезьяну...— Намек на басню Лафонтена «Обезьяна и дельфин».

Стр. 407. *Семь мудрецов Греции* — наименование, дававшееся семи древнегреческим философам: Фалесу из Милета, Питтаку, Биасу, Клеовулу, Мисону, Хилону и Солону. Иногда два каких-нибудь имени из перечисленных заменялись именами Периандра и Анахарсиса.

Стр. 410. *Коммод* — римский император, царствовавший с 180 по 192 год.

Стр. 414. *Гвельфы и гибеллины* — политические партии в средневековой Италии, боровшиеся между собою.

ЧУЖЕЗЕМНАЯ ДУША

Печатаемый фрагмент романа был впервые опубликован в журнале «Ревю де Пари» 15 ноября 1894 года.

Стр. 418. *Принц Кутила.*— Имеется в виду принц Уэльский (1841—1910), будущий английский король Эдуард VII, славившийся своими кутежами в Париже в 70—80-х годах.

АНЖЕЛЮС

Печатаемые фрагменты романа были впервые опубликованы в журнале «Ревю де Пари» 1 апреля 1895 года.

Стр. 437. *Той ужасной зимы.*— Речь идет о зиме 1870—1871 годов, когда шла франко-прусская война, неудачная для французов

Стр. 439. *Ламартин* (1790—1869) — французский поэт-романтик. Его сборник элегий и лирических песен «Поэтические размышления» был издан в 1820 году.

Стр. 443. *Итальянская кампания 1859 года* — война, которую

Франция вела против Австрии под предлогом освобождения Италии из-под австрийского влияния.

Стр. 447. *Первая империя* — период истории Франции с 1804 по 1814 год.

Шенье.— По-видимому, речь идет о французском поэте Андре Шенье (1762—1794).

Стр. 451. *В эпоху революции.*— Имеется в виду французская буржуазная революция XVIII века.

Стр. 453. *Шанзи* (1823—1883) — французский генерал, командовавший в войну 1870—1871 годов одною из армий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложении к настоящему тому помещены новеллы Мопассана, которые отчасти не были включены Оллендорфом в три посмертных сборника, отчасти же обнаружены библиографами Мопассана лишь за последние годы (см. двухтомник Guy de Maupassant. Contes et nouvelles. P. 1957, éd. Abbin Michel).

Корсиканская история

Напечатано в «Жиль Блас» 1 декабря 1881 года; первоначальный вариант одного из эпизодов пятой главы романа «Жизнь».

Петиция соблазнителя против воли

Напечатано в «Жиль Блас» 12 января 1882 года; первая редакция новеллы «Страсть», помещенной в настоящем томе.

В пути

Напечатано в «Жиль Блас» 10 мая 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Старик

Напечатано в «Жиль Блас» 26 сентября 1882 года.

Поцелуй

Напечатано в «Жиль Блас» 14 ноября 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Восток

Напечатано в «Голуа» 13 сентября 1883 года. Конец этой хроники Мопассан включил затем в книгу «На воде» (т. VII).

Ребенок

Напечатано в «Жиль Блас» 18 сентября 1883 года.

Стр. 495. *Екатерина.*— Имеется в виду Екатерина II.

Наследство

Напечатано в «Жиль Блас» 23 сентября 1884 года; почти дословный текст VI главы второй части «Милого друга».

Марсианин

Напечатано в Литературном приложении к «Лантерн» 10 октября 1889 года.

Стр. 510. *Гельмоц* (Helmotz) — вероятно, с искажением напечатанное имя знаменитого немецкого ученого Гельмгольца (1821—1894).

Скиапарелли (1835—1910) — известный итальянский астроном.

Ю. ДАНИЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр. 64. «Дядюшка Милон». Худ. Ш. Юар. 1904.
Стр. 65. «Слепой». Худ. Ш. Юар. 1904.
Стр. 96. «Переписка». Худ. Ш. Юар. 1904.
«Приятель Жозеф». Худ. Ш. Юар. 1904.
Стр. 97. «Первый снег». Худ. Жаннио.
Стр. 288. «Неизданная страница истории». Худ. Верже-Сарра. [1935.].
Стр. 289. «Рука трупа» Худ. Рикардо Флорес.
Стр. 320. «Коко, коко, холодный коко!» Худ. Рикардо Флорес.
Стр. 321. «Александр». Худ. Рикардо Флорес.

СОДЕРЖАНИЕ

ДЯДЮШКА МИЛОН

Дядюшка Милон. *Перевод Д. Лившиц.* 5
В весенний вечер. *Перевод Н. Гарвея* 12
Слепой. *Перевод его же* 17
Торт. *Перевод его же* 21
Прыжок пастуха. *Перевод его же* 26
Старые вещи. *Перевод его же* 31
Магнетизм. *Перевод его же* 35
Корсиканский бандит. *Перевод его же* 40
Ночное бдение. *Перевод его же.* 44
Грезы. *Перевод его же* 49
Исповедь женщины. *Перевод его же* 53
Лунный свет. *Перевод его же* 59
Страсть. *Перевод его же* 64
Переписка. *Перевод его же* 73
Плутня. *Перевод его же* 79
Ивелина Саморис. *Перевод его же* 86
Приятель Жозеф. *Перевод его же* 91
Сирота. *Перевод его же* 97

РАЗНОСЧИК

Разносчик. *Перевод Н. Соколовой* 107
У смертного одра. *Перевод Е. Гунст* 115
Оранжерея. *Перевод его же* 120
Дуэль. *Перевод его же* 126
Новоселье. *Перевод его же* 132
Мститель. *Перевод его же* 142
Ожидание. *Перевод его же* 148

Советы бабушки. *Перевод его же* 154
Первый снег. *Перевод Льва Остроумова* 159
Каверза. *Перевод его же* 168
Письмо, найденное на утопленнике. *Перевод Е. Гунст.* . . 174
Ужас. *Перевод Льва Остроумова* 180
Тик. *Перевод его же* 187
Кончено! *Перевод Валентина Дмитриева* 193
Мои двадцать пять дней. *Перевод его же* 200
Латынь. *Перевод его же* 208
Фермер. *Перевод его же* 218
Крик тревоги. *Перевод Н Соколовой* 225
Новогодний подарок. *Перевод ее же* 233
Последствия. *Перевод ее же* 240

МИСТИ

Перевод Валентина Дмитриева

Мисти 249
Простая драма 255
Господин Иокаста 261
Госпожа Эрме 266
Белое и синее 274
Усыпительница 280
Женитьба лейтенанта Ларе 290
Неизданная страница истории 295
Рука трупа 303
«Коко, коко, холодный коко!» 309
Моя жена 313
Александр 320
Старик Иуда 326
Миллион 330
Страх 336
Ласки 344
Сумасшедший? 349
Могила 356
Кропильщик 360

ДОКТОР ИРАКЛИЙ ГЛОСС

Доктор Ираклий Глосс. *Перевод Н. О. Лернера* 367

ЧУЖЕЗЕМНАЯ ДУША

Чужеземная душа. *Перевод М. П. Столярова* 417

АНЖЕЛЮС

Анжелюс. *Перевод А. Н. Толстой* 437

ПРИЛОЖЕНИЕ

Корсиканская история. *Перевод Н. Касаткиной* 463
Петиция соблазнителя против воли. *Перевод ее же* . . . 467
В пути. *Перевод М. П. Столярова* 472
Старик. *Перевод В. Кузнецова* 478
Поцелуй. *Перевод М. П. Столярова* 483
Восток. *Перевод его же* 488
Ребенок. *Перевод его же* 493
Наследство. *Перевод Н. Касаткиной* 499
Марсианин. *Перевод В. Кузнецова* 506

КОММЕНТАРИИ

Историко-литературная справка 515
Примечания 523
Перечень иллюстраций 533

ГИ ДЕ МОПАССАН.
Полное собрание сочинений в 12 томах. Том 10.
Редактор И. А. Лилеева.
Оформление художника Ю. Красного.
Технический редактор А. Ефимова.

Подписано к печати 3/XII 1958 г. Тираж 310 000 экз. Изд. № 1404. Заказ 2272. Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Печ. л. 27,47+4 вкл. (0,41 п. л.). Бум. л. 8,375. Уч.-изд. л. 25,46.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, улица «Правды», 24.